КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ

проза

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ

КОНСТАНТИН
ВАНШЕНКИН

ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ

проза

Москва
Советский писатель
2006

ББК 84(2Рос — Рус) 6
В17

СОВЕТ ИЗДАТЕЛЕЙ:

Ларионов А. В. — председатель,
Бондарев Ю. В., Гусев В. И.,
Жуков А. Н., Круглов Ю. Г., Кожедуб А. К.,
Тихонов М. П.

**Федеральная целевая программа
«Культура России»
(подпрограмма
«Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)**

*Художник
Галина ВАНШЕНКИНА*

Ваншенкин К. Я.

В17 Его опасные пасы: Проза. — М.: Советский писатель, 2006. — 544 с.

ISBN 5—265—06363—3

Константин Ваншенкин — выдающийся поэт, лауреат Государственных премий СССР и РФ, участник войны. Книга прозы «Его опасные пасы» составлена из повестей и рассказов разных лет.

**4702010201—29
В———————Без объявл. ББК 84(2Рос — Рус)6
083(02) — 2006**

© Ваншенкин К. Я., 2006
© Оформление. Издательство «Советский писатель», 2006

ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ
(история одного пристрастия)

1

Его первое футбольное впечатление: ощущение утомительной пестроты, рассеивающей внимание. Очень много людей. Время от времени накатывается яркая, блестящая зелень поля, приближаются красные или желтые майки играющих. Видимо, он совсем маленький, потому что запомнилось — до стадиона шли долго, а ведь они и тогда жили рядом. Отец берет его на руки. Это прекрасно.

— Смотри, Игорек, они в футбол играют. Ногой можно мячик бить, головой, грудью, чем хочешь. А вот руками нельзя. Понял? А это ворота, в них голкипер...

И отчетливое чувство разочарования при следующем объяснении отца, что голкиперу играть руками разрешается. Какая несправедливость!

Потом другое. Красно-синий резиновый мячик. Ребята постарше играют, кидаются на него тучей, каждый норовит ударить, а Игорь следит, не отвлекаясь. Мяч отскакивает как попало и вдруг отлетает в сторону и катится к нему. И он бросается навстречу, — не затем, чтоб схватить мяч, а чтобы тоже ударить ногой, и пинает его, но, к своему удивлению, не попадает по мячу, а вместо этого с размаху шлепается на попку.

Потом бывало всякое. Бывали и мячи из тряпок, и покрышка, набитая сеном. Но такие заменители никогда не доставляли ему удовольствия. Мяч должен был п р ы г а т ь.

Во дворе было две или три покрышки, вполне приличные, но лишь одна камера, и, играя, они постоянно страшились за нее, особенно при сильных встречных ударах, — она и так еле дышала. Надували каждый раз заново, потому что и накачанный до отказа мяч держал

недолго, за ночь совершенно спускал, да и в игре часто начинал катастрофически съеживаться. Это было ужасно, — только разыгрались, а каждый видит и чувствует: отскок уже не тот, сейчас все кончится.

Расшнуровывали опавшую покрышку и с трепетом вынимали камеру. Не лопнула? Пока еще нет, просто где-то пропускает.

Камеру надували. Она давно уже потеряла симметричность, — была вся в заплатах, а сбоку, ниже соска, пугающе выпирали пористые грыжи. Прикладывали ухо, определяя, где проходит воздух. Если оставалась вода в кадке под водостоком, поиски упрощались, — камеру смачивали, и пузырьки безошибочно выдавали пораженное место.

Все смотрели на Пашу Сухова. Он был старший среди них, и, кроме того, у него был резиновый клей. Паша, не спеша, поднимался домой и выносил все, что нужно. С замиранием сердца следил Игорь за его действиями: степенный Паша вырезал заплатку, зачищал резину шкуркой, мазал клеем. Теперь нужно было ждать, еще боясь поверить, что все обошлось, что все будет хорошо.

Но вот Паша сам надувает мяч, воздух из его легких наполняет камеру, а она изнутри приникает к покрышке, раздвигает, расправляет ее складки, делает неузнаваемой. Мяч уже позванивает, а Паша, красный, все дует, и хочется крикнуть: «Да хватит!» Но вот он сам перехватывает мокрый сосок, ловко загибает и еще раз — обратно, и держит, пока кто-нибудь другой затягивает бечевкой. Потом шнуруется покрышка, и все! — неужели это правда?

Горькое воспоминание. Они играли во дворе, просто били в одни ворота против глухой стены двухэтажного дома. Мяч срезался, покатился поперек двора к дороге. А там ехал грузовик. Он ехал совсем небыстро, а они застыли на миг, прикидывая, и закричали все вместе, но поразному, один: «Стой!» — другие просто: «А-а-а!» — а кто-то даже: «Дяденька!»

Шофер не свернул, не прибавил скорость, не притормозил. Он как ехал, так и ехал. Мяч перед самой машиной миновал первое левое колесо, с внутренней стороны толкнулся в переднее правое и медленно-медленно, будто это был сон, откатился влево под задние парные скаты. Раздался не выстрел, нет, — взрыв!

Они, словно не понимая, со всех ног бросились к дороге и подняли разорванную пополам — даже не по шву, прямо по коже — покрышку.

Грузовика давно уже не было видно.

Эта беда имела самые неожиданные последствия.

Отец с бригадой ездил в командировку, в Москву, получать для завода оборудование и привез Игорю не только новый мяч, но и тридцать пятого размера бутсы, и щитки, и гетры, и наколенники, и в придачу пластмассовый судейский свисток-сирену на четыре трубочки.

Он выложил все это нарочито небрежно, сказал подчеркнуто буднично: «Примерь! Впору?» — и все. Вот это был отец!

Бутсы поразили всех даже больше, чем мяч. Это были совсем настоящие бутсы с твердыми носками, обязательными ушками и шипами — по шесть на подошве. Ах, как он гремел ими по лестнице. Бутсы не то чтобы добавили ему авторитета, а скорее узаконили его. Важно, на чьих они ногах. Ведь если бы их обул не умеющий играть, над ним только бы посмеялись.

А он уже был человек. Его уважали. Не то что иных: пришел — играет, не пришел — тоже не беда. Его звали. Его ждали.

— Игоря подождем, Алтынова.

— Алтын, пошли!

Какое это счастье, когда ты можешь подбросить мяч головой, покидать с ноги на ногу, когда ты не боишься ударить с лету или приземлить высокую свечу.

Если время позволяло, играли не во дворе, а около леса, там была большая, ровная поляна, и стояли даже

ворота, одни, правда, без перекладины. Тут же разбивались на две команды. Делалось это по справедливости. Определяли капитанов, а они уже быстро составляли всех по двое, так, чтобы в каждой паре были игрочки примерно одинаковой силы. Те расходились, обняв друг друга за плечи или за шеи, и с г о в а р и в а л и с ь. Потом возвращались и называли свой засекреченный девиз, а капитаны выбирали по очереди.

— Вам «Спартак» или «Динамо»?

— Москва или Ленинград?

— Сосна или елка?

У кого сколько хватало фантазии. А самый маленький, вертлявый Левка Шухов, по прозвищу Щучка, всегда предлагал какую-нибудь похабную несуразность.

2

В ту весну Игорь учился во вторую смену и с утра до школы проводил время на поляне. Иногда он появлялся первый, чаще там уже ожидали трое или четверо. Потом подходили еще, и уже можно было сыграть в двое ворот.

Нет, он учился вполне прилично, упрекнуть его было трудно. Но его обуяла страсть — играть, играть и играть. Вдвоем, втроем, одному, но только играть, чувствовать ногами, да что ногами, — каждой порой и нервом, всем собой, — чувствовать этот мяч, это поле. Лишь зимой он немного отдыхал от своей страсти.

Как же он играл? У него были недостатки и слабости. Многого он не умел. Придет время — ему скажут об этом. Кое о чем знал он и сам. Он не любил играть головой, особенно сильно пробитый мяч или идущий с дальнего высокого навеса.

Однажды, он учился во втором или третьем, в доме были гости, и зашла речь о футболе. И один старинный приятель отца, который, правда, бывал у них очень редко, сказал:

— Самое совершенное и тонкое устройство на земле — это человеческий мозг. Природа спрятала его, поместила в удобную и довольно прочную шкатулку. Это сделано не просто так и не затем, чтобы ее трясти без надобности.

Вероятно, эти слова произвели на мальчика впечатление. Мать тут же стала высказывать опасения, что Игорь слишком увлекается футболом. Но другой друг отца, частенько бывавший у них, сказал слова, тоже запомнившиеся крепко:

— Футбол воспитывает настоящего мужчину. Он прививает смелость, силу, сметливость.

— Стойкость, — вставил отец, — благородство.

— Правильно. И нет лучше игры для мужчины. Так что ты за него не бойся...

Что же еще?

У него не было сильного удара. Может быть, оттого, что он был такой легкий, худой, стесняющийся своих тонких ног. А с левой он хотя и бил, но гораздо хуже, чем с правой. «Одноногий» — скажут ему потом.

Но у него были и достоинства. Скорость! Никто не мог с такой резвостью рвануться с места, да еще не теряя мяча, и столь же неожиданно затормозить, — противник в первом случае отставал, во втором пролетал мимо. У него было умение обыграть, обмануть, качнуться в одну сторону, а пойти в другую, и еще одно редкостное качество — чутье, футбольный инстинкт: он, и не глядя, чувствовал, где свои, где чужие и как следует поступать. А сильного удара у него не было. Но у него был т о ч н ы й удар. И почти каждый его пас был как подсказка, как шпаргалка. По голу издали он не бил, но когда уж выходил на ворота, вратарю бывало трудно угадать, в какой угол влетит мяч.

Он уже не раз слыхал за спиной: «Здорово играет Алтын!» — и чуть не подпрыгивал, но кровь не приливала к щекам, и не сиял, а, как отец, сохранял спокойствие. Так было еще приятней. Да он и играл-то не для похвалы, а для себя — для удовольствия, для радости, для счастья.

За час до школы он бросал играть и шел к дому. Шел именно он, — ноги не шли, при каждом шаге приходилось преодолевать их упрямое сопротивление. Все свои силенки он оставлял на поляне. Усталость в ногах сидела такая, что можно было думать лишь об одном: дотащиться до дому и рухнуть, — пропуск занятий подразумевался. Правда, глядя на него, никто об этом не догадывался.

В пустой квартире он разувался прямо в коридоре, бережно ступая, входил в кухню и, поочередно стоя на одной ноге, задирал другую в раковину. Смывая руками въевшуюся в кожу, но легко сходящую грязь, он затыкал пяткой выливное отверстие, а потом отворачивал ногу и смотрел, как, закручиваясь, проваливается в трубу ледяная артезианская вода.

Потом он, чаще всего не разогревая, съедал оставленный матерью обед и вскоре, размахивая портфелишком и пиная по дороге камешки, вышагивал в школу.

По вечерам, если задавали не слишком много, он еще успевал поиграть во дворе. День заметно удлинялся, но все равно между домами сумерки сгущались быстро, нужно было спешить. Вот уже посторонние не видят мяча, а они, как кошки, видят и все играют, но вот и они уже замечают мяч в последний миг, когда он, пугая и заставляя невольно отшатнуться, вылетает из мрака, а потом совсем ничего не видно, и нужно кончать. Ах, еще бы немножко, какая обида!

А кругом покой, где-то вдалеке поют, уютно светятся окна, кто-то курит возле крыльца, и голос матери зовет наугад:

— И-и-горь!..

А самое скверное, когда, проснувшись, видишь за окном низкое серое небо, уныло стучит дождь, мокро, холодно, и чувствуешь себя обманутым, брошенным, никому не нужным.

Сладостное воспоминание. Играли во дворе, а мимо шли два футболиста из взрослой заводской команды —

вратарь Платов, знаменитый на весь городок, и один нападающий — Игорь не знал его по фамилии, но видел на поле много раз. Они остановились, посмотрели, и нападающий сказал:

— Ну, давайте сыграем по-быстрому. Вас сколько, пятеро?

В воротах стоял Щучка, но он испугался, и его заменил Паша Сухов, — и вправду, они били сильно, не церемонясь. Платов тоже водил и бил по воротам, но успевал вернуться и около своих ворот брал мяч руками. Они забили очередной гол и отошли, а Игорь, начав с центра, тут же обыграл нападающего. У него был такой фокус: приближаясь к противнику, он отпускал мяч, и когда тот, уверенный, что завладеет им, расслаблялся и терял бдительность, Игорь резким рывком доставал мяч, бросал себе на выход и на скорости обходил опешившего противника. И сейчас, догнав отпущенный мяч, он еще чуть изменил направление, заставив нападающего сделать шаг в сторону, и безжалостно оставил его за спиной. У того на лице задержалось выражение снисходительности, будто он нарочно пропустил мальчишку, а может быть, ему показалось, что все произошло случайно. Игорь выскочил на ворота. Платов стоял, чуть пригнувшись, большой, загорелый. Игорь замахнулся изо всех сил, весь нацеленный на левый угол, где вместо штанги лежала чья-то кепка. Он сделал это как только мог правдоподобно, но Платов не двинулся с места. И тогда в отчаянье Игорь решился ударить туда же, в левый угол, рядом с кепочкой, низом, носком правой ноги. И он так и сделал, но в самый последний миг, неожиданно для себя, глядя только влево, ударил по мячу внешней стороной подъема. Мяч пошел точно в правый угол. Хорошо, что правая штанга была настоящая — столб — а то гол можно было и оспорить. Но мяч, слабо чиркнув по столбу, вошел в ворота. Футболисты посмотрели друг на друга, засмеялись и, больше не обращая на пацанов внимания, удалились, но все слышали, как Платов сказал нападающему:

— А шустрый парень...

3

Да, была взрослая команда. Команда завода имени Чапаева. Она и называлась «Чапаевец». В маленьком подмосковном городке ей не с кем было играть. Не было никакого чемпионата, первенства. От случая к случаю наезжали команды из других райцентров и поселков, иногда даже из Москвы. И еще был основной, постоянный соперник из соседнего городка, команда паровозоремонтного завода — ПРЗ, потом она стала называться «Локомотив». Это была сильная, уверенная в себе команда, каждый выигрыш у нее воспринимался особенно радостно, каждое поражение — настолько же горько.

Всякий раз нежданным счастьем было увидеть у ворот стадиона афишу. Футбол! Потом несколько дней мучительного ожидания — вдруг отменят? Но нет, как будто все хорошо, — народ к стадиону валит густо. И еще издали изощренный, футбольный слух ловит непередаваемо прекрасные звуки, заставляющие бледнеть от волнения и прибавлять шагу, — тяжелые, как отдаленный гром, гулкие удары мяча. На ворота уже навешены сетки, и команда только что вышла размяться, и вот уже форварды бьют по воротам, а Платов в удивительных прыжках, горизонтально лежа в воздухе, отбивает или ловит их мячи.

А где же противник? Еще не прибыл, запаздывает, но стадион ждет терпеливо, долго, и вдруг удовлетворенный шум: «Приехали!» — и видишь в сторонке, за трибуной, чужих игроков, прыгающих из кузова грузовика. Но случалось, что соперник так и не появлялся, и публика разочарованно расходилась.

А однажды не пришел судья. Замену ему нашли, конечно, сразу, но теперь не оказалось свистка. Команда уже стояла за воротами, мальчишки, напирая, толпились вокруг, и Паша Сухов, кивая на Игоря, сказал Платову:

— Вот у него есть свисток!

— Где? Давай сюда.

— Дома. Вот он здесь рядом живет.

Новый судья схватил велосипед, Игорь сел на раму, и они помчались. Напугав до смерти мать, он вломился в квартиру, мигом перерыл ящик, где обычно валялся свисток, не нашел, в ужасе перевернул другой ящик, опять открыл первый — свисток лежал на виду.

Они смотрели за игрой, не отрываясь, запоминая все не только памятью, но и ногами, телом. Перед ними был образец, эталон. Они старались снять с него копию, разве только меньшего размера. Они ловили каждый жест, каждое слово, каждое движение. Они всасывали в себя и удар защитника «ножницами», и то, как наглухо берет мячи Платов: «Как в мешок», — сказал Паша, и, уж конечно, как с ходу бьет по воротам Кубасов.

После матча они испытывали острейшее желание сейчас же играть самим, Игоря пронзало все растущее нетерпение, и, ощущая каждой клеточкой легкость и приподнятость, он почти бегом спешил к дому, к мячу.

А Кубасов был его кумир, вызывающий радость, гордость, обожание и уверенное чувство, что это на всю жизнь, какие бы великие игроки потом ни встретились.

Он играл без майки. Едва начинался матч, он стаскивал ее и отдавал Платову, — майка ему мешала, в ней было жарко. Его мускулистый, крытый ровным загаром торс сразу бросался в глаза. Кубасов играл правого инсайда и много забивал, именно так, как не умел этого Игорь. Подхватив мяч в глубине или получив пас на выход, он мощно разгонялся и, не меняя ритма шагов, не семеня, не подлаживаясь, в неуловимый миг наносил чудовищный удар с ходу. Это был сильный, резкий футболист, и, хотя он не был капитаном, с поля часто доносился его властный голос:

— Не спать!

Как-то он опоздал на игру с рядовой приезжей командой, но пришел уже в бутсах и, сев за воротами на траву, стал раздеваться. Игорь стоял вблизи и слышал, как Платов, обернувшись, бросил:

— Вдесятером играем!

Кубасов усмехнулся:

— Что же, вы без меня не можете обыграть этот мусорный ящик? — встал, потопал на месте и вышел в поле.

Еще он потрясающе бил пенальти. Едва назначался одиннадцатиметровый, пацаны с криком «пендаль!» срывались и неслись к воротам, наискосок через поле, срезая угол, шарахаясь от игроков и боясь не поспеть вовремя к месту действия. Игорь до этого никогда не унижался.

Судья, держа мяч под мышкой, демонстративно отмеривал широкие метровые шаги, ставил мяч и отходил в сторону. Кубасов приближался к мячу, брал его руками и снова клал на то же место, затем, повернувшись к вратарю спиной, шел разбегаться. Некоторое время он внимательно смотрел на вратаря, начинал длинный разбег и, не доходя до мяча двух шагов, перед самым ударом, резко протягивал вперед руку и указывал, куда будет бить. Вратарь терялся: верить или нет? А в следующий миг мяч уже бывал в воротах, не обязательно в том углу, куда показывал бьющий.

Кубасов выделялся, запоминался. После каждой игры о нем только и было разговоров. Тоже вечером, после матча, когда они сами наигрались и стало темно, Щучка рассказал, как Кубасов вел одну девушку в дровяной сарай.

— Я бы не узнал, да он фонариком светил, когда замок отпирал. А она вроде в клубе работает кассиршей.

— Да иди ты, — не поверил Игорь, а сам про себя заколебался: а может, и так, и сладко, несбыточно кольнуло — он, Игорь, знаменитый футболист, ведет в темноте девушку и светит фонариком.

— Гад буду, — уверял Щучка.

— Ну и что, дети будут, — сказал, зевнув, Паша.

— Дети? — удивился Щучка. — Почему дети?

— Дети от этого бывают.

— Да брось ты, — Щучка был уверен, что над ним смеются. — От этого бывают дети?

Паша теперь вправду похохатывал:

— А ты и не знал? Спроси у Игоря.

— Правда, Игорь? — спросил Щучка неуверенно.

— А ты что думал?

Все громко смеялись.

— Да бросьте вы, — произнес Щучка с сомнением и обидой в голосе, посидел немного и ушел растерянный, но не убежденный.

4

Кончалось лето. Небо еще сверкало насыщенной голубизной, но березы уже не купались в нем, не блаженствовали, а стояли, безрадостно опустив плети, как ученицы, не выучившие урока, — отбывали повинность. А в листве старой липы, в разных местах, разрозненно вспыхивала желтизна. И в пожухлой траве, в кустах все больше застревало опадающих постепенно листьев. Потом и остальные с шумом обильно повалили вниз, по ним было жалко ступать, перед входом в лес хотелось вытереть ноги.

Зарядили дожди, начиналась иная жизнь, по иным законам. Вот уже поутру щиплет ноздри дымок в школьном коридоре, — после долгого перерыва затопили печи.

Игорь Алтынов, как в холодную речку, отважно бросался в учебу. Сперва вроде лезть страшновато, а попривыкнешь — идет в охотку, с удовольствием, — не докличешься. Его иногда вдруг раздражало, что уроки задают маленькими кусочками, еще в пятом классе он от нетерпения прочитал за несколько дней учебник географии — всю годовую программу, так что учительница потом то и дело ахала: «Откуда ты знаешь?..»

Вот уже морозцем обожгло голую землю, и зима, спохватившись, подбросила снежку — прикрыться. Течет жизнь, размеренная школьными звонками. Светает поздно, первый урок при электричестве, а пришел домой, туда-сюда, и сумерки. Но стоит ли жаловаться, время есть и для лыж, а зима синяя, хрустящая, обдающая снежной пылью, слепит глаза, прихватывает за нос. И бе-

резы, изукрашенные инеем, привычно нереальные в дневной синеве.

На девчонок он пока еще не обращал явного внимания, хотя слышал, как они говорили у него за спиной, не всерьез, конечно, а чтобы слышал:

— А Игорек у нас симпатичный.

Хотя, может, отчасти и всерьез.

Он стал больше интересоваться своим изображением, щурил перед зеркалом зеленоватые глаза, их цветом он втайне гордился, старательно прикрывал светлым чубчиком несколько прыщиков на лбу, о которых мать сказала: «Возрастное!»

Однажды Игорь поздно задержался после уроков, уже стемнело, и, когда он спустился по странно пустой лестнице в раздевалку, там висело всего несколько пальтишек. Перемахнув через барьер, он пошел между вешалками, в проходе на полу валялось чье-то пальто, он перешагнул и только стал снимать свое, как его схватили сзади за плечо.

Это был высокий парень, старше на класс.

— Зачем сбросил? — закричал он. — Лучше подними!

— Оно там и было, — ответил Игорь спокойно.

— Не поднимешь? Ну, погоди, сейчас выйдем! — и он сам поднял пальто.

Мимо них по проходу промчался Толя Коляда, сорвал с крючка длинное черное пальто, набросил, как бурку, на плечи и пронесся обратно. Он хорошо играл в футбол, в защите, и был, пожалуй, самый здоровый парень в школе. У Игоря с ним были дружественные отношения.

Стоило дернуть его за руку или еще окликнуть вдогонку, а потом сказать возмущенно: «Толя, смотри, пристает какой-то...»

Но гордость не позволила, и Коляда умчался.

— Ну, погоди, сейчас выйдем! — прошипел парень.

Когда-то Игорь читал роман из старинной жизни. И там было одно предложение, которое ему очень понравилось, и он его крепко запомнил: «Если видишь, что тебя хотят ударить, бей первым!»

— Вот сейчас выйдем!

Они были вдвоем в раздевалке. Игорь не стал ждать, пока они выйдут, а ударил парня в скулу. Удар получился не очень сильный, парень только мотнул головой и сказал:

— Ну, сейчас выйдем, погоди!

Игорь дал ему еще раз. Так они и шли рядом по проходу, парень грозился, а Алтынов всякий раз отвечал ударом, одновременно ужасаясь тому, что с ним будет на улице. Вместе они вышли на освещенное крыльцо и по разметенной дорожке, плечо к плечу, бодро направились к воротам. Там парень, что-то неразборчиво пробормотав, до смешного слабо толкнул Игоря в грудь, круто повернулся и зашагал в другую сторону. А тот сунул руки в карманы и с облегчением, но еще ожидая подвоха и на всякий случай оглядываясь, пустился к дому.

В горячке его правая рука не сразу обратила внимание на какую-то бумажку в кармане. Что это могло быть? Конфетная обертка или билет с оторванным контролем? Но только утром бумажки в кармане не было.

Он остановился под фонарем и разжал кулак. Это была записка. Сверху было выведено четко: «Игорю Алтынову». Сердце его застучало громко и резко. Он развернул и прочел: «Игорь! Я тебя люблю и уважаю. Валя Круглова».

Сперва он подумал, что его разыграли, но почерк был ее, ровный с наклоном и нажимом, знакомый чуть не с первого класса. Дома он раз десять вынимал и тайно рассматривал записку. Он испытывал гордость, однако же все с большей примесью разочарования. Он снова представлял себе Валю, большую, спокойную, медлительную, смотрящую на него долгим взглядом. Он и потом часто нравился таким вот крупным, вальяжным женщинам. Она была, пожалуй, ничего, может, даже красива, но все-таки при чем здесь он?

Не зная женщин, он больше всего дивился ее отчаянной смелости, риску. Ведь записку могли найти, и даже он сам мог показать ее ребятам. Хотя в нем-то она была уверена.

Ни назавтра, ни потом он ничего ей не сказал, никак не ответил. И никогда не испытывал угрызений совести.

5

В школу пришла новая учительница физкультуры, Вера Николаевна. До нее был пожилой дядя, который все заставлял делать зарядку и устраивал кроссы, где первый же отставал. Здесь без кроссов тоже не обошлось, но многое на ее занятиях было и неожиданно. И вообще было приятно, что она миловидна, молода, почти их возраста, что с ней можно перебросится шуточкой. Когда она, белокурая, в малиновом спортивном костюме, входила в класс, мальчишки преображались, старались выглядеть молодцевато, подтягивались.

— Я ее знаю, она с Кубасовым гуляет, — сообщил во дворе Игорю и Паше Сухову Щучка. Они в ответ не удостоили его внимания.

В физкультурном зале она ввела для ребят прыжки через «козла», но не просто разножкой, а ласточкой и кульбитом. Это было страшновато, но она сама, взяв в помощники Толю Коляду, подстраховывала, стоя у края мата, в этом тоже была прелесть, хотелось отличиться, услышать похвалу.

Но главным новшеством стали эстафеты. Она разбивала их на «первый-второй», потом команды разувались, — возникало ликование, если у кого-нибудь из противников пробивалась сквозь чулок голая пятка. Взяв с них обещание не шуметь, она выводила их в длинный коридор. Они разговаривали шепотом, как заговорщики.

Еще заранее она уславливалась с учителями, что если кто-нибудь будет выходить из класса во время урока, чтобы делал это осторожненько, не помешал им широко открытой дверью.

Школа стояла тихая, но заряженная шумом, готовая к взрыву на перемене. Да и сейчас ощущался еле слышно ее смутный, словно подземный гул.

Каждая команда выстраивалась в затылок по одному, и обе подходили к старту. Нужно было добежать до конца коридора, коснуться подоконника, повернуть назад и, проделав обратный путь, передать эстафету следующему.

Сперва бежали девочки, небыстро, по-девчоночьи разбрасывая в стороны словно связанные в коленях ноги. Потом включались мальчишки, азарт резко возрастал, Вера Николаевна напоминающе прикладывала палец к губам.

Здесь Игорь Алтынов был в своей тарелке, здесь он был фаворит. Именно потому, что дистанция состояла из двух половинок. Ребята, с которыми он играл в футбол, знали, что Алтын б е ж и т лучше всех. Бывший учитель физкультуры считал, что Алтынов бегает очень плохо. На 100 метров он приходил в числе последних, на 60 — примерно в середине. Но если бы проводились забеги на 30 метров, он был бы первым, а на 20 или тем более 10 — и говорить нечего, тут уж ему не было равных.

Даже девчонки под конец заражались азартом — уже как зрители — нетерпеливо прыгали на месте, махали руками:

— Скорей!

Все чувствовали свою причастность, ответственность.

— Т-с-с!

Потом в зале хотелось еще поиграть, повозиться — для разрядки.

— Обождите, — обращаясь к мальчишкам и услаждая Алтынову слух, говорила Вера Николаевна, — скоро в футбол поиграем.

Зимой появилась и еще одна новенькая — в параллельном классе. Игорь шел на перемене по коридору, среди гвалта и суеты, и его словно толкнули: смотри! Коротко стриженная, она стояла у окна и грызла яблоко. Он прошел мимо, не остановился, не стал пялиться.

Только заметил — на ней кожаная курточка и что-то клетчатое, яркое. Так и осталось это ощущение яркости, необычности, а за плечами у нее зимнее пасмурное окно.

Потом услышал: Мещерякова Лариса. Отец — военный, служит где-то далеко, воевал на Хасане и на Халхин-Голе.

Она ни минуты не бывала одна, девчонки будто помешались, стояли и ходили, вцепившись в нее. Игорю показалось, что она этим слегка тяготится. Она не была старше их, она была взрослей.

Его чувство выразилось отчетливо: «Вот бы от кого записку получить!» Но подумал он об этом просто так, без всякой надежды. Он теперь старался при случае пройти мимо нее, но не взглянув в ее сторону, а если замечал, что она в другом конце коридора, шел навстречу.

Когда он видел ее издали, за чьими-то головами, он уже испытывал мгновенный краткий восторг и, если она не попадалась на глаза, ощущал смутное беспокойство.

Однажды он задержался в буфете, звонок давно уже прозвенел, и, взбегая через три ступеньки, он догнал на лестнице ее и почти остановился, глядя на ее ноги, клетчатую юбку, аккуратно остриженную голову. Она словно почувствовала, обернулась и, сторонясь, пропуская его, сказала с улыбкой:

— Опаздываем?

И этот не требующий ответа праздный вопрос наполнил его жгучей радостью, показался ему полным смысла, потому что как бы предполагал их общность, одинаковость их положения.

Он еще помедлил у двери, подождав, пока зайдет в свой класс она, и, сделав глубокий вдох, потянул дверь к себе и извинился за опоздание.

6

Едва подсохла площадка на школьном дворе, Вера Николаевна затеяла футбольные встречи, целый турнир, в каждом из старших классов образовали по команде.

Пока девочки нудно прыгали в длину или неумело и однообразно играли в волейбол, при каждом ударе почти ловя мяч и снова его подбрасывая, ребята ненасытно упивались футболом, и сидящие за партами среди урока жадно улавливали близкие, гулкие удары, у них завистливо сжималось сердце. Вера Николаевна тоже играла с ними. В коротких, чуть ниже колен шароварах, в тупоносых ботинках на крепких голых ногах, она сильно била по мячу, вызывая общее одобрение.

А Игорь, счастливый, перед игрой приноравливался к мячу, бил, подбрасывал, останавливал. Как всегда по весне, немного удивляло, когда мяч не слушался его, но Игорь знал, что нужно только напомнить ему о себе, как старому знакомому, который не сразу узнал вас после разлуки.

В тот день играли между сменами с десятым классом, и Игорь сразу ощутил особую приподнятость, когда игра пошла и у тебя все получается. С самого начала он выдал два таких паса, что ему следовало поклониться в ножки — именно в ножки! — но партнеры не сумели оценить их, а может быть, и сумели, но не подали вида. Тогда он сам двинулся вперед. Против него в защите играл Паша Сухов, и это было приятно — играть против своего, который не сделает тебе ничего плохого. Особенно же Игорь боялся неумеющих или играющих плохо, что для него было одно и то же, бьющих изо всех сил по мячу и попадающих тебе по ноге, когда мяч неожиданно убран.

Правда, Паша знал Алтына насквозь и мог угадать его ход, но и Игорю были известны Пашины слабости. Сухов поступал разумно, как можно теснее приближаясь к Игорю и стараясь отбить мяч, пока он еще к нему не попал. Но тогда он отрывался, и стоило Алтынову бросить мяч себе на выход, как он тут же оставлял Пашу за спиной. Сухов был обречен. Он отошел назад. «Ну, держись, сосед!» — лишь подумал Игорь — он не любил разговаривать на поле. С мячом в ногах, на скорости, внезапно притормаживая и меняя направление, он шел на ворота, словно на лыжах летел с горы. Он проходил защит-

ников так, что со стороны могло показаться, будто они нарочно пропускают его. Одного хава он обошел рывком, а перед Пашей приостановился, рванул было влево, но тут же всем телом показал, что пойдет вправо, Паша выкинул на перехват ногу, на миг потерял равновесие, и Алтын обошел-таки его слева. Вратарь был слабоватый, на ложные замахи реагировал с большим опозданием. Игорь просто вкатил ему мяч в дальний угол.

Вера Николаевна судила, а вокруг площадки стояло довольно много народу, и отучившиеся в первую смену, и пришедшие ко второй. Подойдя к краю, принять мяч из аута, он увидел Ларису и испытал уже привычный краткий восторг, но больше ни разу не взглянул в ее сторону, только где-то в самой глубине радостно помнил, что она здесь. Среди толпы стояли и учителя и еще мелькнул человек, — Игорю показалось, что он встречал его и раньше.

Игорь Алтынов играл. Его никто никогда не учил, он только смотрел, как играют другие. А сейчас он делал что хотел. У него был прием, он повторял его без конца, когда бывал один: за спиной подправлял левой ногой мяч на правую пятку и сразу бросал его через плечо вперед. Получалось не всегда, но когда получалось, это ошеломляло противника и производило впечатление на зрителей. И сейчас он проделал этот трюк, но сам бить не стал, а перед воротами щедро откатил мяч своим под удар. Но попали во вратаря, тот, правда, отпустил мяч, однако успел судорожно вцепиться в него. Игорь медленно пошел от ворот, но когда вратарь подбросил мяч для выбивания, мгновенно повернулся, высоко поднятой ногой перехватил мяч в воздухе и мимо растерявшегося голкипера пустил мяч в ворота.

Свои старались и помогали ему, как могли. Но особенно хорош был Толя Коляда, — Игорь только успевал восхищаться.

Коляда держался всегда несколько обособленно, замкнутый, задумчивый, учился неровно, иногда отвечал неожиданно хорошо. Он играл центрального полузащитника. Высокий, длинноногий, на поле он словно пробудился. На поле это был король. Он прерывал почти все атаки, перехватывал мячи, головой или вытянутыми, как шлагбаум, ногами. И неожиданные пасы его из глубины, и удары издали по воротам — все было превосходно. В конце игры он, пройдя далеко вперед, отдал Игорю, а сам продолжал двигаться, и Игорь дал ему, тут же получив мяч обратно. Паша Сухов угадал, что Игорь не будет бить сам, а снова отдаст Коляде, бросился на перехват, но опоздал самую малость. Теперь они вдвоем очутились перед воротами. Коляда замахнулся своей длинной ногой, но тоже не пробил, а вновь откатил Игорю. Вратарь уже лежал. Алтынов показал, что сильно ударит, но вновь дал мягкий пас Коляде, отвернулся и пошел к центру. Коляда засмеялся и легонько бросил мяч через вратаря.

Вслед за свистком залился звонок — на занятия, толпа смешалась, стала расходиться. Футболисты потянулись умываться: за школой, внизу, был кран для поливки, они подставляли под струю руки, брызгаясь и мешая друг другу.

Игорь выбрался, утираясь сразу ставшим мокрым носовым платком, и услышал рядом ее голос. Тогда, во время игры, он увидел ее и ощутил радость, но ее присутствие не относилось только к нему. А теперь она подошла. Женщины любят героев и поклоняются им!

— Ты хорошо играешь, — сказала она и пожала ему руку, — я в этом разбираюсь, у меня брат играл.

Она остановилась перед ним, почти касаясь его, он никогда не стоял так с девушкой. И лицо ее было так близко, что слегка расплывалось перед глазами, и у него чуть не закружилась голова.

— А кто твой брат? — выговорил он.

— У меня брат летчик.

— А-а! Это хорошо...

— Алтын! Вера Николаевна вызывает! — кричал Коляда.

Вера Николаевна сообщила, что их игру смотрел Кубасов и предлагает троим — Сухову, Коляде и Алтынову — записаться в юношескую команду «Чапаевец».

7

Они пришли с Пашей на маленький заводской стадионч ик. Коляда был уже там, они сели рядом с ним на скамеечку. На едва начавшем зеленеть поле, вытаптывая непрочную еще траву, возились с мячом несколько парней в желтых майках. Особенно бросался в глаза один, широкий в плечах, круглоголовый, он лепил с обеих ног, как машина. Ноги у него были могучие, резко утолщающиеся кверху от колена.

Появился Кубасов, остановился, засунув руки в карманы.

— А, пришли? Хорошо. Ты и ты, — на Пашу и Коляду, — в защиту, а с тобой...

Игорь смотрел на него во все глаза. Кубасов обернулся к полю и крикнул:

— Барабанов!

Широкоплечий подкинул мяч, еще раз, как из пушки, пустил его в ворота и направился к скамейке.

— Барабанов! С тебя причитается, я тебе напарника нашел, вот знакомьтесь.

Они сдержанно пожали друг другу руки.

— Все! Вы тоже раздевайтесь! — и сам потянул через голову рубашку. — Сейчас по воротам постучим, — и окинул встречным взглядом Игоря: — Больно уж ты тощой, парень!..

Начали бить по воротам, в них стал самоуверенный гибкий малый в черном свитере, но чем сильней и точней били, тем большим уважением проникался к нему Игорь: тот был прирожденный вратарь, не хуже самого Платова. Он кидался молниеносно и совершенно бесстрашно, отражая чудовищные удары Кубасова и Барабанова.

— Хорошо, Евтеев, — похвалил его наконец Кубасов. — Растешь!

А Игорь по воротам почти не бил, но очень удобно и естественно бросал под удар другим, — кому под правую, кому под левую, кому на голову. Лишь изредка, неожиданно сам посылал мяч то в верхний, то в нижний угол, заставляя Евтеева пластаться в воздухе и напоминая, что тоже не лыком шит.

— Давай левой тоже работай, — говорил ему Кубасов. — А то одноногим и помрешь. Ах, потяжелей бы еще удар, цены бы не было. Верно ведь, бодливой корове бог рогов не дает. Но ничего, мяса наберешь, были бы кости.

Потом поиграли в двое ворот. И тут они вправду поняли, насколько подходят друг другу. Барабанов был не по годам силен, пробоен, а у Алтынова давно уже обнаружилось редкостное для его возраста умение и желание разыграть мяч, приобщить партнера. Он мог дать хитрейший пас, но Барабанов умел его оценить и использовать. Он схватывал с полувзгляда, и это было замечательно. Они вскоре уже чувствовали себя словно в хорошей дружной компании, но знающими еще что-то такое, чего не знают остальные. Игорь уже отдавал ему пас, глядя в другую сторону, а тот как гвозди вколачивал.

— И ему давай, и ему давай, на ход, на ход! — подсказывал Кубасов.

Новенькими он остался доволен, велел обождать и вскоре вынес из дощатого павильона с надписью «Раздевалка» и раздал им форму — черные трусы и желтые хлопчатобумажные майки-футболки с длинным рукавом, белыми манжетами и воротничками.

Вероятно, при желании это нетрудно было приобрести в магазине, но тут было совсем другое. Получить форму из рук Кубасова — это было событие, которое взволновало их и, как оказалось потом, запомнилось на всю жизнь.

— Бутсы будете получать только на игру!

По дороге со стадиона поговорили. Барабанов учился в техникуме и был на год моложе Игоря. Он носил черный флотский ремень с бляхой.

И команда вскоре заиграла, загремела, обыгрывая всех подряд в округе. Даже Игорь никогда еще не получал от футбола такого удовольствия. Сзади играли свои — Паша и Толя. Их пасы ему из глубины были как по знакомству. А дальше о н уже выбирал, что сделать, как поступить — рвануться ли вперед самому, или бросить в прорыв своего правого крайка, маленького крепенького Полунина, или пробить по диагонали влево, где уже готов выйти на мяч ловкий, мелкокучерявый Витька Хмель, или разыграть одно из мгновенных представлений с участием двух актеров — Алтынова и Барабанова.

Команда пока что обыгрывала всех и многих — крупно, но был главный противник, известный только понаслышке, такой же, как у первой мужской команды: ПРЗ — «Локомотив».

8

Теперь он был знаком с ней, встречаясь, они здоровались, но он чувствовал себя скованно и не знал, о чем говорить. Он заметил, что она приходит в школу к самому началу, и минут за десять до звонка становился в классе у раскрытого окна. Старшие классы помещались на втором этаже, и дорога была хорошо видна. С безразличным видом рассматривал он текущий к школе, все густеющий поток, мельком взглядывал на своих закадычных друзей, на давным-давно знакомых ребят и девчонок. Потом поток начинал редеть, последние спешили поодиночке. Класс наполнялся. Алтынова охватывало нарастающее чувство опустошенности, не только не слабеющее от ежедневного повторения, но с каждым разом делавшееся острее и безвыходнее. И почти тут же он испытывал такое внезапное и глубокое облегчение, что сам поражался: у ворот показывалась она. Очень стройная, чуть покачивая небольшим портфелем, она шла легко и быстро, но не было впечатления, что она спешит. А рядом обычно семенила одна из подруг. Ему требовалось несколько минут, чтобы вполне прийти в себя после пережитого волнения.

Он уже привык как бы удовлетворяться таким положением. Учебный год кончался, а он еще не нашел случая встретиться с ней.

Перед экзаменом по литературе была консультация сразу для обоих параллельных классов. Он сперва не хотел приходить, решив почему-то, что ее не будет, но все же пришел. Сидели тесно. Народу набралось много, ее действительно не было. Вошла преподавательница, Галина Ефимовна, и уже вслед за ней тут же появилась она. Он ничего не слышал, ничего не понял. Он никогда еще не сидел с ней в одной комнате. Она пристроилась впереди — он никогда еще так подолгу не смотрел на нее, на ее коротко стриженную голову, незащищенную шею. Когда консультация кончилась, многие сгрудились у стола, стали спрашивать дополнительно, но она поднялась и вышла, и он сразу вышел вслед за ней. Он догнал ее на лестнице, она кивнула ему, и они пошли рядом по коридору, потом по дорожке к воротам, по улице. Он предполагал, что они перекинутся несколькими словами на крыльце и расстанутся, и еще не мог опомниться от сознания того, что идет рядом с ней, даже не смотрел на нее, только чувствовал изредка мучительно-мимолетное прикосновение ее плеча.

Она повернула к нему голову и негромко спросила:

— Не боишься?

— А чего бояться? — небрежно ответил он.

— Экзаменов, конечно.

Он был несколько разочарован.

— Мать боится, — сказал он доверительно. — Думает, не сдам из-за футбола.

— А за меня мама спокойна. Ну, а папа тем более.

— У меня отец тоже... А твой что, на Хасане был?

— Да, он во многих местах был. Понял?

— Понял. В Испании? А сейчас он где?

— Служит. Там старших классов нет, вот мы и приехали сюда к тете, к маминой сестре.

Разговор получался неожиданно простой и серьезный.

На углу они остановились, и она опять стояла от него неправдоподобно близко. Он видел рядом ее нежно-красный рот, отчетливого завершенного рисунка, и все в ней было как бы очерчено — грудь, ноги, трогательно подстриженная сзади шея.

Она тоже внимательно и быстро посмотрела на него.

— Я тебя как-нибудь в гости позову. Придешь?

— Конечно, приду, — ответил он. — Ты чего смеешься?

— Потом скажу.

День выдался жаркий. Когда Игорь шел к дому, у него под ногой пружинил, вдавливался местный асфальт, на нем оставались медленно затекающие отпечатки.

9

Экзамены он сдал, по «Основам дарвинизма» получил пятерку, а за сочинение четверку, тему взял Чернышевского «Что делать?» и ни одной ошибки не допустил, у него была врожденная грамотность, но написал, что Рахметов мог бы для тренировок воли и тела подобрать упражнения получше, чем спать на гвоздях. Этого ему Галина Ефимовна не простила. Ну, а остальные — птицы-тройки. Теперь они все были свободны — только Паша Сухов еще сдавал — и готовились к игре с «Локомотивом». Игры, собственно, должно было состояться две — на их поле и на своем — через неделю.

Он встретил ее снова, когда шел на тренировку, шагал по щербатому тротуару, а она ехала навстречу на велосипеде по краю мостовой и была отделена чахлой полоской газона, но сразу заметила его и соскочила с машины. Он перешагнул через одну и другую оградки, приблизился, — как ему показалось, хорошо скрывая радость.

Велосипед был дамский, чуть меньше обычного, ярко-красный с деревянными ободами на колесах.

Он удивился:

— Наверно, тяжело?

— Ничего. Зато уж «восьмерки» не будет.

Заднее колесо было защищено красно-синей шелковой сеткой, чтобы не попадало платье. А на руле, около звоночка, лежала ее маленькая, но скорее женская, чем детская рука.

— Откуда такая машина?

— Из Риги. Хочешь попробовать?

Он взялся за седло и руль, но рука коснулась ее руки, и несколько секунд их руки были вместе. Потом он сел, оттолкнулся и поехал. На него оглядывались, и он, сам не понимая, зачем уехал от нее, развернулся и, набрав скорость, резко затормозил.

— Ну, как? — она улыбалась.

— Жалко, рамы нет, — нашелся он наконец, — я бы тебя посадил. — И действительно очень захотел этого: она впереди на раме, сидит, свесив ноги, ее волосы возле его лица. Но своего велосипеда у него, конечно, не было.

Они стояли на краю мостовой, между ними был ее красный велосипед, они оба держались за него, едва ощутимо касаясь друг друга руками. Она говорила, он близко смотрел на ее губы.

— В субботу вечер в школе. Придешь? Я тебя буду ждать.

— Ты знаешь, я не могу. У меня игра на выезде.

— Конечно, я понимаю.

— Ты знаешь, никак невозможно, — повторил он почти с отчаянием.

Ужасно не повезло, что так совпало, но в глубине души он сознавал, что это не было жертвой и что, если бы ему приказали, заставили остаться с ней на вечере, это тоже было бы ужасно.

— С «Локомотивом»?

— Да, а через неделю, в ту субботу, здесь. — И пригласил, так же, как она: — Придешь? Я буду ждать.

— Наверно, приду, — сказала она просто.

На тренировку он опоздал, но Кубасов не сделал ему замечания. Когда играли в двое ворот, кто-то из ребят крикнул:

— Алтын, ты чего сегодня как вареный?

10

Паровозоремонтный завод был предприятием богатым. Команда, как и взрослая, одета в шелковые красные футболки с двумя белыми продольными полосами и в белые, тоже шелковые, с красным лампасом, трусы. Все рослые, здоровые, — чапаевцы рядом с ними выглядели мелковато.

Игра не получилась, она получиться и не могла. На стадионе набралось довольно много народу, и только поэтому решили все же играть. Дело в том, что вдоль поля, от одних ворот к другим, дул очень сильный, ровный и жесткий ветер. Флаги на мачтах были как жестяные.

Первый тайм железнодорожникам выпало играть по ветру. Не сразу смогли начать, — мяч, положенный на центре, не лежал, а катился. Судье пришлось поставить на него ногу и лишь тогда дать свисток. А в воздухе мяч вел себя нелепо и, пущенный к воротам Евтеева, планировал и коварно менял направление, сам делая финты в неуловимых порывах ветра. Выбитый Евтеевым с рук, он поднялся над штрафной, и тут же его стало сносить обратно в ворота. Коляда в прыжке, пятясь, отбил его головой на корнер. Подали далеко за ворота. Чтобы подать во вратарскую площадку, нужно было бить в направлении центрального круга.

Игорь пытался продраться вперед, вывести Барабанова, но и без мяча пройти к воротам противника было трудно, а отдать пас совершенно немыслимо, и он чувствовал, что без паса выглядит слабо. Тараня стену ветра, он вскоре выбился из сил. Однажды ему удалось протащить мяч до штрафной, но тут его встретил их капитан, защитник с черными раскосыми глазами, запе-

пил, сбил с ног. Игорь не сразу смог подняться, так он устал. Судья дал штрафной, но мяч, пушечно посланный Барабановым, едва достиг вратаря.

А те били по воротам без конца. Мяч их тоже не слушался, они не могли его догнать, но каждый удар представлял угрозу для защиты и Евтеева. Чаще других выходил на ворота их левый инсайд с сильным ударом и широкими бедрами, видимо вследствие второй этой особенности носящий прозвище — Баба. Так к нему обращались партнеры. Он забил два мяча из трех.

Со стороны матч выглядел комично. Стадион сперва смеялся, а потом и ему это надоело.

Начни чапаевцы по ветру, может быть, и они могли бы выиграть. Но теперь, ко второму тайму, они были слишком измучены бессмысленной борьбой, и Барабанов сумел только размочить счет.

— Ничего! — сказал Кубасов мрачно. — Игра! Полезно и это попробовать.

— Дома мы их разорвем! — пообещал Барабанов.

На другой день, в безветрие, проиграла «Локомотиву» и первая команда «Чапаевца».

Через неделю предстояли ответные встречи.

11

Во вторник, после тренировки, которая, как обычно, состояла из ударов по воротам и двусторонней игры, Игоря отозвал Коляда и сказал таинственно:

— Алтын, надо отметить.

Тот изумился:

— Что отметить?

— Ну, как? Что учебный год окончили. У Барабанова есть.

— А что у него? — спросил Игорь с испугом.

Вина в их доме не держали. Мать не одобряла даже редких выпивок отца. Она многого в отце не одобряла. Игорь любил и отца, и мать, но их трудно было любить

вместе, настолько разны были их любые суждения и поступки. Все же ближе ему был отец.

— «Спотыкач», — охотно сообщил Коляда.

— Ну, пошли, — согласился Игорь неуверенно.

Они по одному незаметно отстали от остальных — Барабанов, Евтеев и их двое. Лес начинался сразу за заводским стадионом. Нынче Игорь еще ни разу не бывал в лесу и сейчас пожалел об этом, как о невольной утрате. Листва набрала силу, но не успела еще потемнеть, в сочной траве было мало нового лесного мусора. Перед вечером лес весь светился — березы естественным дневным светом, сосны будто лампы, и даже стволы осин излучали зеленоватый свет. Сколько набирал он когда-то грибов в этом лесу, в этом осиннике, среди папоротников, слева от дороги. Однажды, едва вошли сюда и не успели еще разбрестись, он с екнувшим сердцем увидел в зелени большой рыжеголовый подосиновик и, пока другие не заметили, небрежно сказал, направляясь к нему:

— Чур, мой!

— Погоди, погоди, Алтын! — закричал тогда Щучка. — Там змея, гадюка, я видел, под шляпой обвилась.

Все остановились, а Игорь, поколебавшись, поширял палкой вокруг гриба, наклонился и срезал. Никакой змеи, конечно, не оказалось. А подосиновик был хорош, крупный и одновременно чистый, первый, он особенно дорог, потом это ощущение немного — совсем немного! — тускнеет, когда у тебя почти полна полумерная, а то и мерная корзина.

Теперь они прошли по длинной просеке, рассекающей разнообразный смешанный лес, и очутились на поляне. Она была очень ровная, почти круглая, и обставлена прямыми старыми березами и соснами с многослойной внизу, на комлях, могучей корой.

— Зря мяч не взяли, — сказал Евтеев, — могли бы мне здесь постучать.

— Тебе бы все мячик, — осуждающе вздохнул Коляда, садясь возле широкого березового пня.

Закуска была не ахти какая: полбуханки хлеба, сырок

и банка кабачковой икры. Домашняя стопочка, извлеченная из кармана Барабанова, выглядела довольно вместительно, но при исследовании выяснилось, что литое толстое дно занимает в ней ровно половину объема. Пили по очереди, что несколько лишало торжественности, заставляло спешить, потому что стопочка требовалась следующему. Вино было густое и приятно пахло. Первую Игорь выпил даже с удовольствием.

Это был пир избранников.

Выпили за удачное окончание учебного года, без переэкзаменовок на осень — те у себя, эти у себя. Потом за дружбу. Жалко, что нельзя было чокаться.

Евтеев повалился на спину, задирая по очереди правую и левую ноги за голову.

— Да брось ты!

— Вратарь должен быть всегда готов.

— Не вратарь, а пионер.

— Сейчас выходит, например, из кустов Старостин и говорит: «Давай я тебе пробью...»

— Какой Старостин? Их четыре брата.

— Три!

— Да нет, четыре: Николай, Александр, Андрей и Петр. Все из «Спартака».

— У Николая, говорили, на правой ноге череп нарисован и кости, и написано: «смертельно!»

— Это дети говорят.

— Еще у них Леута, Соколов, Глазков, — перечислял Коляда, — Семичасный.

— Семичасный в «Динамо», — поправил Игорь.

— Федотов.

— Федотов в ЦДКА. «Спартак» его для укрепления брал.

— А вратари Жмельков и Акимов, — вздохнул Евтеев. — Как думаете, нас возьмут когда-нибудь в «Спартак»?

— За воротами трусиками махать.

— А почему, могут взять! Толя, да?

— Нужно говорить не «Толя, да?», а «Коля, да?», — сказал Игорь.

— Почему? — ахнул Барабанов.

— Ко-ля-да! Понял? Коляда.

Темнело. Они были веселы, счастливы, мешало только, что в бутылке порядочно оставалось и еще предстояло пить. Теперь «Спотыкач» был очень сладким и вязким.

— А я буду играть, — произнес Барабанов задумчиво. — В «Спартаке» не в «Спартаке», а буду.

— Может, костер разжечь? — спрашивал Евтеев.

— «Мой костер в тумане светит», — тянул в ответ Коляда.

А за стволами, вдалеке и вверху, гасло небо, становилось сыро, холодно. Они встали и, громко разговаривая, пошли по темной просеке.

— Игорь, вот ты объясни. Толя, погоди, Игорь, объясни мне: как ты их обходишь, в чем секрет? — говорил Евтеев, обняв Алтынова за плечо.

— Сейчас объясню. Вот по улице идешь, а навстречу человек...

— Девочка, — вставил Барабанов.

— Не важно, но можно и девочка, и вот ты направо и он туда же, ты хочешь его пропустить, берешь левей, а он опять туда же. И тут он остановится, так запутался, хотя ты и не хотел его запутать. А я, когда с мячом, хочу его запутать, а это еще легче! Понял?

— Понял! Молодец!

— А я не понял, — бубнил Коляда.

В городе пошли чинно и вскоре дружески, растроганно расстались. Игорь двинулся бодрой, пружинящей походкой, думая то о Ларисе, то об игре с «Локомотивом», о той, что была и которая будет. Вблизи дома почувствовал себя нетвердо, сел на скамеечку переждать, но хорошего самочувствия не прибавлялось. Тогда он свернул в переулок, к водоразборной колонке, нажал на рычаг, неудобно согнулся и сунул голову под струю. Потом он долго вытирался, сняв рубашку, и стряхивал воду с брюк. Впрочем, родителей дома не оказалось, он благополучно улегся и, засыпая, удовлетворенно подумал: «А здóрово, что игра не завтра»...

Поле городского стадиона у реки, где он ни разу еще по-настоящему не играл, а лишь прежде пролезал иногда с ребятами постучать, пока не погонят, было ровно-зеленого приятного цвета, только на штрафных трава была заметно повыбита, а у ворот, на которые уже навесили сетки, темнела совсем голая земля. Он оглянулся на пеструю трибуну и, конечно, не увидел Ларису, но остро ощутил, что она здесь и будет смотреть игру. Где-то на трибуне был, наверное, и отец. У самой бровки, как всегда, разобрались: Барабанов первым, за ним Евтеев, потом по росту, но не строго, Коляда, Сухов, сам Игорь шестым или седьмым, следующий Хмель, а последним маленький Полунин. Потрусили поперек поля и у начала свеженаведенного круга пошли по дуге влево. «Локомотив», блистая формой, уже вставал напротив.

Стройно, но не надрываясь, выкрикнули «Физкульт-привет!», Барабанов с их раскосым капитаном подали друг другу руки. Всё! Напряжение, так и звеневшее в нем, разом отпустило.

«Локомотив» наступал правым краем. Оттуда навесили в штрафную, но длинный Коляда головой выбил мяч чуть не к центру. Хмель подобрал его, но тут же потерял снова. И вот уже из вратарской, «ножницами», через себя, отбивает Паша Сухов. Что же, и ветра нет, а опять в одни ворота? Железнодорожники давят, Баба, сам как паровоз, проходит защиту, но чуть отпускает мяч, и Евтеев беззаветно, лицом вперед, кидается ему под ноги. Если уж он взял мяч, значит, взял, не выпустит. А через минуту их правый крайний наносит удар в самый угол. Евтеев, как бы лежа на боку, стелется над землей, прогнув спину, до предела вытянув руки, и достает самыми кончиками пальцев. Мяч от его перчаток попадает в штангу, отскакивает в поле, но Евтеев, опередив всех, упавший, взлетает, как на пружинах, и накрывает его.

А вскоре они прорываются втроем, и Баба с пяти метров бьет в «девятку». Ничего поделать невозможно.

И тут игра неожиданно изменилась. Причину не каждый мог объяснить, они ее и не доискивались, но это сразу почувствовали все — и обе команды, и зрители.

Раз за разом Игорь стал получать мяч. И пошли в ход его опасные пасы. Вот он, обыграв хава, бросил в прорыв Полунина, тот покатился по самой ленточке и хлестко подал на ворота. Витька Хмель завис в высоком прыжке, склонил голову к плечу и, резко мотнув ею, послал мяч в верхний угол, но вратарь угадал и взял его. Теперь Игорь пошел прямо на их капитана и поймал его на финт — выпад вправо, ложный рывок влево и уход опять вправо. Второго защитника, бросившегося наперерез, он пропустил, внезапно притормозив, и с новым ускорением вышел на ворота. Осталось точно пробить, но помешала неприметная неровность поля, способная обмануть хитрее всякого ловкача, — мяч не так отскочил, сорвался с подъема, пошел мимо. Потом Игорь щечкой, через головы защитников, мягко и точно выдал пасватерпас Барабанову, и тот нанес свой излюбленный, прямой, как стрела, удар. Мяч смачно влепился в перекладину. Барабанов обернулся к Алтынову и развел руками, что должно было означать: «извини, сделал, что мог».

Свистка на перерыв Игорь не расслышал, только увидал, что все пошли к раздевалке. Там, стянув с себя майки, сели на скамью и слушали, что говорил Кубасов — Игорь ничего не понимал, кроме отдельных слов: «Правильно!», «Так и надо!», — но сам вид Кубасова его ободрял.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Опять пошли вперед, но случилось то, что уже было в первом тайме — «Локомотив» начал давить, и минуте примерно к десятой — часов на стадионе не было — произошло самое неприятное: чапаевцы пропустили

второй гол. Баба, за которым смотрели теперь в оба, получил слева пас, раскачивая широкие бедра, вошел в штрафную, изготовился бить и, когда его закрыли, отбросил центру, а тот без сопротивления вколотил мяч в ворота.

Воцарилась тишина. Стадион понимал, что либо все уже решено, либо, если это не так, сейчас, на его глазах, должно случиться необыкновенное. Многие обратили внимание на то, что сразу после гола Игорь подбежал к Коляде и что-то сказал ему, Что это могло быть: упрек? утешение? Нет, это были вполне деловые слова: «Толя, ну, ты дашь мне на выход?»

И Толя дал. «Локомотив» продолжал уверенно напирать, желая поскорее дожать противника, лишить его малого шанса, самой слабой надежды. И тут от своей штрафной, вдоль по центру, в открывшийся на мгновение коридор между игроками, словно опомнившись, Коляда выделил ему длинный, как удар бича, снайперский пас. Алтынов рванулся вовремя, ловко пропуская мяч у себя под ногой, подстраиваясь к нему и как бы на несколько секунд составляя с ним нечто единое. Это было сделано так быстро и точно, и он миновал всех с той поразительной легкостью, когда кажется, что это не стоит труда.

Перед ним был только их капитан, рослый защитник с черными раскосыми глазами. Игорь пустился на старую уловку: сделал вид, что слишком отпустил мяч, что теряет над ним контроль, и защитник почти остановился, посчитав его своей верной добычей.

Он просто не сознавал, какая у Алтынова скорость. В тот же миг Игорь молниеносным рывком достал мяч и, бросив его себе вперед, оставил защитника позади, только чиркнуло по подошве, по шипам, — это раскосый бил ему по ногам, но не дотянулся.

Вратарь бросился навстречу, ему тоже показалось, что он успеет к мячу раньше, но тут же запоздало попятился в ворота. И пока он пятился, Игорь низом ударил в угол.

Но «Локомотив» не выказал никакого смущения. Это снова была сильная и уверенная в себе команда, отчего она делалась еще сильнее. Она заработала, как машина, и то, что это случилось после пропущенного гола, говорило о ее здоровье и несокрушимости. И не в «Локомотиве», а в «Чапаевце», который уже было подумал, что игра переломлена, вдруг что-то дрогнуло. Его растерянность была мимолетной, но ее оказалось достаточно. В течение двух минут железнодорожники несколько раз не забивали только чудом. И вот Евтеев непостижимым образом отразил сильнейший мяч, пробитый почти в упор, и не успел вскочить к повторному удару. Мяч пошел под самую планку, и Паша Сухов в прыжке, не доставая головой, на всякий случай поймал его руками.

Огорчение трибун было столь глубоко, что даже пацаны не осмелились понестись к воротам.

Одиннадцатиметровый. Кто же у них бьет? Баба, что ли? Нет, к мячу со своей половины поля бежал капитан. Игорь понял, что он из тех, кому не нужно обманывать вратаря, нужно только попасть в ворота. И правда, в жуткой тишине, которую Игорь не слышал, как, впрочем, и шум, тот разбежался и пустил свое ядро в метре от пригнувшегося Евтеева. Удар был настолько могуч, что Евтеев не успел схватить мяч или даже коснуться его руками. Но, как истинный голкипер, он успел инстинктивно метнуться в ту сторону. Мяч попал ему в плечо, — у многих создалось впечатление, что Евтеев оказался на земле не сам, а сбитый с ног этим ударом. Но мяч отскочил от него за линию ворот. Не в ворота!

И опять произошла перемена. Теперь преобразился «Чапаевец». Это была другая команда. Исчезли беспомощность, скованность, и это ощущение было прекрасно. Теперь отбивался уже «Локомотив». Игорь опять бросил в прорыв Полунина, тот не подал, как делал чаще всего, а, срезав угол, вошел в штрафную, отдал Хмелю, а Витька со своим хавом и краем раскрутил локомотивскую защиту, как на карусели, и кинул мяч под удар Барабанову. Он пробил с левой с поворотом, мяч по пути кого-то еще задел, попал в штангу и от нее в сетку. 2:2!

Теперь они уже знали, что выиграют, хотя сами пропустили вскоре еще один гол. Баба сильно пробил издали, Евтеев бросился, но Коляда, желая перехватить мяч, вытянул длинную ногу и всадил мяч в другой угол. Но и это их не сломило. Атаки их нарастали. Вот Игорь получил мяч из глубины, от Паши Сухова, и сразу, будто кто ему подсказал, увидел бегущего вдали слева Барабанова. Между ними словно прошла искра. Верховая передача Алтынова была как вольтова дуга. А тот с правой, с ходу, влепил в верхний угол. Здорово у него работали обе его колотушки.

Чапаевцы продолжали наступать. Раз за разом, желая искупить вину, неосмотрительно шел вперед Коляда, вызывая, однако, всеобщее одобрение. Вот он послал мяч в штангу, тут же ударил Барабанов, попал в защитника, и мяч отскочил к Игорю. Прямо перед ним были двое, плечо к плечу, можно было их обходить справа или слева, но он с мячом нырнул между ними, произведя корпусом два таких правдоподобных финта, что они потеряли ориентировку и развалились, пропуская его. Вратарь бросился в ноги, под удар, но Алтынов ударил чуть позже, когда тот уже лежал.

4:3! — они впервые вышли вперед. Они очень устали. Им что-то кричали с трибун и с дорожки, но они не понимали, сколько осталось до конца. «Локомотив» еще попытался отыграться, но это уже не было прежним давлением, просто железнодорожники шли на чужую половину и старались ударить. Один из таких высоких навесов выбил из штрафной Коляда. Игорь подхватил мяч и заметил впереди, на обычном его месте, чуть левей, Полунина. Игорь дал ему пас далеко за защитников, на ход. Полунин рванулся, мяч догонял его, показалось, что он попадет ему в спину или в затылок, но нет, мяч, как по заказу, пролетел над плечом и покатился перед ногами. Полунин чисто выходил на ворота. Вратарь обреченно выбежал вперед, все же надеясь испугать, сбить

с толку, но Полунин еще уклонился влево и пустил мяч по земле. И они оба, он и вратарь, остановились и смотрели, как мяч вкатывается в ворота.

Это была победа.

Потом неожиданно многие зрители повалили на поле, — оказалось, что кончилась игра. Кругом были улыбающиеся, радостные лица, но Игорь догадывался, что по-настоящему счастливы они сами будут потом, что сейчас они для этого слишком устали.

— Где же у вас мешок, голы складывать? — кричали мальчишки «Локомотиву».

— Молодцы! — сказал Кубасов в раздевалке. — Нам бы завтра так!

Это была высшая похвала.

13

Они немного остыли, очень медленно оделись.

— Искупаемся? — позвал Барабанов.

Публика уже растеклась, лишь самые отъявленные любители ждали их и пошли к реке вслед за ними. Был уже вечер, но он почти ничем не отличался от дня: солнце стояло еще высоко, было светло и лишь не так жарко. Но река была вечерняя, тусклая, медленная, с красновато-лиловым подсветом.

Толпа смотрела, как они раздеваются — длинный, как верста, Коляда, широкий в кости Барабанов, мальчишески легкий Алтынов. Сами зрители деликатно не купались.

Игорь, вытянув вперед руки, нырнул в прогретую за день воду, с открытыми глазами пошел вниз, видя перед собой увеличенные пальцы рук, а потом гладкие камни на песчаном дне. Тело охватило холодом, но это было только приятно. Он резко оттолкнулся руками от дна, перевернулся и полетел в стремительно светлеющую высоту. Теперь наверху было еще теплей, чем раньше, он, раскинув руки, блаженствуя, немного полежал на воде и саженками быстро вернулся к берегу.

Он опять был свеж, как когда-то после мытья ног под краном, — хоть снова на игру.

Утереться было нечем, переодеться негде, да и не во что. Они сильно отжали трусы прямо на себе, это, правда, сделалось заметно вскоре после того, как они натянули брюки, — особенно сзади, — но самим им не стало холодно.

Толпа почти разошлась, и тут он увидел Ларису, и как бывает во сне или в кино, она была только что в отдалении и вдруг приблизилась, заполнила весь экран, — так радостно он к ней бросился.

— Здравствуй! — он совершенно забыл про нее!

— Это называется: буду ждать? — поинтересовалась она снисходительно.

— Я и жду! В порядок себя немножко привел, — он посмотрел на свои брюки, и она засмеялась.

— Ладно, первый раз прощается... — и взглянула через его плечо.

Он обернулся: в двух шагах стоял Барабанов.

— Познакомьтесь! — предложил Игорь.

Она довольно безразлично подала ему руку, а он разве что рот не раскрыл. Игорь усмехнулся про себя, но все же его запоздало кольнуло: «Зря познакомил!»

— Пошли? — обратилась она к Игорю, но Барабанов сделал вид, что это и его касается, и они вышли со стадиона втроем. На улице она неожиданно взяла их обоих под руки.

Над районным городком все длился, светлел вечер. В городском саду заиграла радиола, там, в аллеях, было, наверно, уже сумеречно, и зажгли фонари. Над рекой пластами висел туман, меж домами лиловел воздух.

Они оба были в белых рубашках, в слегка намокших брюках, которые, впрочем, уже высыхали, она в синем платье шла между ними. Когда Игорь косился вниз, он видел, как она стройно выносит вперед ноги в белых носочках. Он по-прежнему остро чувствовал сквозь

рубашку ее руку, — полному счастью мешало то, что она так же держит Барабанова.

Они степенно, в ногу, двигались по щербатому тротуару. И вдруг она сквозь рукав захватила пальцами его кожу и несильно ущипнула. Его, как током, пронзило нежностью. Она ущипнула снова, больнее, он не подал виду. Она, спокойно разговаривая, очень больно, словно с негодованием, скручивала ему кожу, а он испытывал сладкое удовлетворение, что этого не знает никто, кроме них. Он был уверен, что Барабанова-то уж она не щиплет.

На углу одноэтажной, уже вечерней под старыми липами, улицы Робеспьера она остановилась, отпустила Барабанова и сказала ему вежливо:

— До свидания. А нам сюда...

Он опешил, а они пошли вдвоем под старыми, еще не зацветшими липами, разом оглянулись — его уже не было — она рассмеялась коротким нервным смешком и убрала ладошку с его согнутой в локте руки.

— Это разве твоя улица? — спросил он, чтобы что-то сказать.

— Нет.

Прошли несколько шагов, он сам скованно взял ее под руку, пообещав тихо:

— Я щипаться не буду.

В тени лип было почти темно, они сели на пустую лавочку под чьим-то глухим серым забором. Она, словно всматриваясь, приблизила лицо:

— Помнишь, ты спросил, чего я смеюсь? У тебя глаза такие смешные, я все смотрю: не то серые, не то зеленые...

— А у тебя, — и задохнулся, не смог договорить, коснулся губами ее лица, и она, закрыв глаза, мягко и длительно поцеловала его в губы. У него словно молния ударила перед глазами.

— Ты зачем его с нами повел, — отрываясь, быстро и ласково сказала она, — Игорище поганое?..

Договорились встретиться завтра, когда стемнеет, около городского сада.

14

Утро было ясное, солнечное. Он проснулся с ощущением полного счастья и, лежа, стал вспоминать, перебирать весь вчерашний бесконечный день, все более радуясь и изумляясь. И среди многого, что захлестывало его — и игра, и как они шли втроем по улице, и скамеечка под липами, — волновало больше всего то, что они встретятся сегодня.

Это не было лишь воспоминанием о прошедшем дне. Наоборот, все только начиналось!

Он опустил на пол ноги и начал рассматривать полученные вчера ссадины и царапины, — ему немало досталось. Вывернув наружу правую руку и легко напрягая небольшой, но твердый, как камень, бицепс, потрогал пальцами левой руки еще бледный, желто-зеленый синяк.

После завтрака он спустился во двор. Посреди двора, на солнышке, бросали ножичек пацаны, и Щучка одобрительно крикнул ему издали:

— Здорово вчера сыграл, Алтын! А потом бабу в кусты повел!..

Игоря мгновенно охватило такое бешеное возмущение, такая ненависть, что у него раздулись ноздри. Лет уже, наверно, тринадцать, а всё как дурачок! Но откуда он знает? Особенно задело и покоробило, что он назвал ее бабой.

Едва сдерживаясь, Игорь медленно пошел в сторону мальчишек, Щучка поднялся с колен, готовый к бегству. И тут Игорь рванулся, прыгнул через спинку скамьи, Щучка побежал, но, видя, что это бесполезно, повалился навзничь, поджал ноги:

— Не буду, Алтын, не буду!..

Игорь, бледный, нагнулся над ним и сказал шепотом:

— Если еще раз услышу, удавлю! Понял? — а пока дал ему шалобан.

Потом он, успокоившись, прошелся по переулку. Впереди был длинный летний день, нужно было чем-то заняться. Он вернулся домой, сел на диван, раскрыл книгу Чехова «Рассказы». Он ее читал уже несколько раз, поэтому взял снова. Отец был в смене, мать убиралась на кухне. А по радио повторили несколько раз: «Слушайте выступление главы Советского правительства»... Но пока Молотов не начал говорить, Игорь ничего плохого не подумал.

Вечером, как договорились, он пришел к городскому саду. Весь этот длинный день, с речами и маршами по радио, с решительной хмуростью мужчин и слезами женщин, весь этот день пролетел в незнании, в напряженной надежде, что все повернется как надо. Но по первой сводке Командования не чувствовалось, что уже наступил перелом.

Густел вечер. Он был так необычен, что лишь сейчас по-настоящему, нутром, ощутилась беда, тревога, неизвестность в дальнейшей судьбе. Это был первый вечер войны. Это был первый вечер затемнения. Фонари не горели, окна были жутко черны.

В зыбкой тьме у ворот сада стояла под репродуктором огромная толпа и в полном молчании слушала первые указы и законы войны, имеющие отныне над жизнью этих людей и над жизнью их близких самую безграничную власть. Срочно призывались мужчины рождения с 1905-го по 1918-й включительно. «Первым днем мобилизации считать двадцать третье июня тысяча девятьсот сорок первого года», — гремел грозный голос из темноты. В толпе раздались приглушенные женские рыдания.

Отец пока не подпадал.

Следом читался длинный перечень — по алфавиту — областей и целых союзных республик, которые объявлялись на военном положении. И толпа тоже с жадностью слушала этот список, и каждый представлял себе те

или другие места, — где жила родная душа, где бывал он сам или о которых только слышал.

Игорь стоял, прислонясь к ограде, и ясно, как на раскатанной школьной карте, представлял себе этот вертикальный простор — от Черного моря до Ледовитого океана, всю великую равнину, где, истекая кровью, дерутся наши войска. Он и не предполагал, как скоро подойдет его очередь.

Лариса так внезапно появилась из темноты, что он отшатнулся. Она прижалась головой к его груди и сказала горько:

— Ты давно здесь? Я так боюсь за папу и Сашу!..

15

В августе ребят послали на торфоразработки, на болота-торфяники в двадцати километрах от городка.

А до этого случилось многое, и главное — призвали отца. Он уехал вместе с другими, в зеленом пригородном поезде, в сторону Москвы, долго махал из окошка вагона. Этот уходящий в неизвестность, такой мирный зеленый поезд словно весь оброс неведомыми растениями — горестными, машущими, прощающимися руками.

Игорь стоял рядом с матерью среди толпы на перроне, смотрел вслед уходящему составу, не ведая, что попрощался с отцом навсегда...

А теперь они жили в землянке, среди полупустынных болот, вставали рано, рубили лопатами торфомассу, сушили под солнцем и вместе с постоянно работающими здесь бесшабашными бабами, которых в городке называли «торфушки», грузили на платформы коричневый, пыльно крошащийся торф. Потешный маленький паровозик «кукушка» с несоразмерно большой трубой давал высокий, печальный гудок и тащил платформы к городу. По вечерам они сидели под звездами, возле землянки, отбиваясь от комаров, пели песни, иногда подходили торфушки, подпевали, начинали дурачиться, тормошить кого-нибудь из ребят.

А над землей текло первое, страшное, военное лето. И все они — каждый миг! — не забывали этого.

Их отпустили через три недели. Поздно вечером они ехали по узкоколейке, стоя на крохотной шаткой платформе, среди черных болот, под густозвездным небом.

Потом они шли по темным и пустым улицам, их останавливал патруль, требовал пропуск.

Утром мать сказала:

— Тут приходила девушка, Лариса Мещерякова. Милая, немного ломака. Просила передать тебе привет. Они уехали.

Он не сразу понял:

— Куда?

— Под Казань, по-моему. Она говорила, что напишет. Ты поставил чайник?

Милый мой Игорь!

Я уже на новом месте, на Волге. Как жалко, что не удалось попрощаться. Мы уехали внезапно. Мама не сразу сказала мне, что здесь папа. Он тяжело ранен и лежит в госпитале. Мы останемся здесь. Мама уже работает, и я хочу поступить на работу. Я часто думаю о тебе и о твоих смешных глазах, но переписываться нет сил. Я надеюсь еще обязательно приехать. Крепко тебя целую.

19.IX — 41 г. Лариса.

Внезапная разлука, и ожидание письма, и ее отказ переписываться — все это такой болью отзывалось в нем, что порой он готов был застонать, но, как отец, никогда не показывал вида. Пускай они вдали друг от друга — не они одни! — и не увидятся долго — что они могут совсем не увидеться, он был не в состоянии себе представить — на их долю выпали такие о б щ и е воспоминания, что они не смогут забыть друг о друге. Не футбол, не красный велосипед или лавочка под липами и поцелуй, а потом еще темные дорожки сада, нет, даже это все можно забыть. Нельзя забыть слитное дыхание толпы в темноте, грозный голос из репродуктора, который слушают и они, прижавшись друг к другу. Нельзя забыть ночь, затемненный городок над рекой и пожилого солдата в обмотках, смотрящего за реку, за лес, где расплывчато, слабо, но со всей очевидностью угадывается в небе далекое зарево.

— Это что? — робко спросила Лариса, и солдат ответил с поразившей их простотой и печалью:

— Москва горит. Больше нечему.

Такое не забывается.

16

Сперва их класс — уже вместе с девочками — послали собирать грибы. Жили в пустом пионерском лагере, — многие из них когда-то, детьми, бывали здесь. Рядом же была устроена грибоварка. Разбредались по пестрому влажному лесу, с криками, ауканьем. Нормы не было — кто сколько принесет. Густо шли грузди, рыжики, волнушки, иногда попадался запоздалый красный гриб, даже боровик.

Едва вернувшись, поехали в отдаленную лесную деревушку, в колхоз копать картошку. Здесь уже была норма: две борозды в день, но всегда дружно помогали тем, кто не управлялся, особенно девочкам. Жили по избам, вечерами подолгу гуляли в обнимку по широкой деревенской улице. И там, в лагере, и здесь, ни с того ни с сего, с безжалостной, проникающей насквозь остротой, Игорь вдруг ощущал ее отсутствие. Он явственно представлял себе ее лицо, губы, ее подстриженную сзади шею, и его обжигало мучительное сознание, что ведь она могла быть здесь. Какое бы это было счастье! Но, не подавая вида, он пел песни и, обняв девчонок за плечи, ходил вместе с другими в темноте по деревенской улице.

Потом они вернулись, и он был в комсомольской пожарной дружине, тренировались на случай налета, раскатывали рукавную линию, подавали ствол, ненароком попадая под короткие удары холодной, жесткой струи.

Стояла глубокая, предзимняя осень. Занятия начинались в сумерках — в третью смену. Паша Сухов был уже в армии. Коляда по-прежнему учился вместе с Игорем. Иногда встречались на улице ребята из «Чапаевца» — Барабанов, Полунин, Евтеев. Почти все они уже работали.

Наступила зима, долгая, морозная, но прекрасная первыми — и какими! — победами. Жили впроголодь, дома было холодно — плохо топили, — но они уже втянулись в эту новую, нелегкую жизнь, в самые ее будни, понемногу привыкли к ней. Только слушали с жадным напряжением сводки, словно боясь пропустить хоть одно упоминавшееся в них разбитое, заснеженное селение. Только верили, что бросят к ним в дверь родной треугольничек, а не казенное письмо...

Весной получили участок под огород, он вскопал его, мать продала свое демисезонное пальто, купили мешок мелкой семенной картошки, теперь можно было ждать, что новая осень не будет такой голодной.

Окончание школы было обставлено довольно торжественно — вечер, цветы, бодрые напутствия учителей, даже танцы. Девчонки, с которыми они проучились десять лет, висли, заглядывали в глаза, словно уже прощались. Как все будет дальше?

Девочки обсуждали, куда поступать. Выбор у них был широкий, но предстояло уезжать, отрываться от дома, жить в общежитии, и это было жутковато. Да и среди ребят слышалось: «Ты куда?» — «Еще не решил». — «А ты не знаешь, в авиационном броню дают?..»

А Игорь Алтынов вспомнил вдруг, как когда-то прочитал за три дня учебник географии, и подумал: «Поступлю-ка на географический. А там видно будет...»

— Алтын, а броня там есть?

— Броня крепка, и танки наши быстры, — ответил Игорь.

В конце августа он устроился в старинном студенческом общежитии, в одной из множества комнат, выходивших в длинный коридор. Правда, сейчас не все они были заняты. И в его комнате из четырех коек две пустовали, неприятно зияя голой проволочной сеткой. Его сосед, хромой пятикурсник, регулярно ночевал у какой-то женщины, и Игорь жил, по сути, один. По вечерам он ложился грудью на подоконник большого открытого окна, смотрел в темный слабо шумящий привядшей листвой парк, за которым предполагались крыши, улицы и площади Москвы. Он был привычно голоден и одинок.

Летний удар немцев по Югу замедлялся, крепла надежда на встречный внезапный ввод в дело скрытых резервов, как уже было прошлой зимой.

На курсе были почти всё девушки, ребят совсем мало. Никто еще не успел толком узнать другого, познакомиться ближе, не то что подружиться.

Повестки они получили в октябре.

17

У него оставался один день, и он поехал к матери попрощаться. Мать была на работе, он долго ждал, ей звонили, соседка вызывала из проходной, наконец, она прибежала, когда совсем стемнело.

Он надел что не жалко: телогрейку, старые брюки, мать нашла мешок-сидорок, но положить в него было почти нечего. Пора было торопиться, поезда ходили плохо, а утром ему уже предстояло являться «с вещами».

— Давай здесь попрощаемся, — сказал он, обнимая мать за спину, — я сейчас быстро побегу. Да и назад тебе путь неблизкий...

Она, глядя куда-то сквозь него, согласно закивала, и они расцеловались.

— Возвращайся, пожалуйста, — попросила она и заплакала.

Он не побежал, как говорил, но пошел ходким шагом по затемненному городку, и, хотя он не мог многого рассмотреть, он все помнил и чувствовал. Здесь прошла в с я его жизнь. Вся, вплоть до этого холодного осеннего вечера. А что будет с ним дальше, он не знал и слишком далеко вперед не загадывал.

Было совершенно темно, но за время войны он, как и другие, давно приноровился к этому и в мелькающих навстречу зыбких фигурах время от времени угадывал знакомых или просто часто виденных прежде людей.

На углу около светлой стены магазина стоял Барабанов.

Игорь замедлил шаги.

— Здорово, Алтын, — сказал Барабанов, протягивая руку, и всмотрелся в него: — Забирают?

«А тебя?» — хотел спросить Игорь, но вспомнил, что могучий центрфорвард на год моложе его.

— Хмеля́ тоже берут, Полунина.

— А ты как живешь? Играешь?

— Какая уж тут игра. Команды нет.

— Ну, ладно, — сказал Игорь, — бывай. Ты что, ждешь кого?

Она вышла из темноты, решительно направляясь к Барабанову, и приостановилась, видя, что он не один.

— Игорь?

Чего угодно он мог ожидать, только не этой встречи. Он шагнул к ней в своем ватничке, с мешочком за плечами, радостный, растерянный, уязвленный.

— Ты что, вернулась?

— Да, мы здесь три недели. Я знала, что ты в Москве. Ждала, когда приедешь.

— Я уезжаю.

Она взяла его двумя руками под руку, прижалась щекой к плечу:

— В армию?

— Да, мне пора, — сказал он, только теперь вдруг осознав, что она шла к Барабанову.

— Пойдем, пойдем, — согласилась она, не отпуская

его руки, и, идя рядом, подстраиваясь под его шаг, стала говорить, что хорошо было бы ему уезжать со своими ребятами, а ведь там все новые, чужие. А он мимолетно подумал, что это невозможно на такой войне и что это вообще не главное. Какая, собственно, разница, — ведь начинается совсем другая полоса в его жизни, и все там будет другое, и товарищи тоже. Барабанов молча шел рядом, уверенный, что теперь-то его не отошьют, не погонят.

К поезду поспели вовремя. Билеты на Москву давали только по специальным пропускам, но у Игоря был студенческий билет, да еще и повестка.

На темном перроне Лариса потянулась к нему, обняла и мягко поцеловала в губы. Но он чувствовал, что она делает это только для него.

— Ну, счастливо тебе, — сильно ударил ладонью в его ладонь Барабанов.

— Счастливо оставаться.

Поезд тронулся. Игорь кивнул и, не оглядываясь, поднялся в набитый тамбур. Все же он умел держаться — отцовская закваска.

За окнами мелькала чернота, поезд все набирал скорость.

...Интересно, о чем они говорят, возвращаясь.

18

Он попал в полковую школу, готовящую младших командиров. Ранний, ошеломляюще быстрый подъем, зарядка снаружи, в темноте, длинная винтовка, которую нужно зачем-то носить не на ремне, а прислонив к левому плечу, подставив ладонь под затыльник приклада и размахивая свободной правой — вперед до пряжки, назад до отказа. Все эти построения, объяснения устройства оружия, стрельбы, — все это было как сквозь сон, и однажды он очнулся и увидел себя — худого, обветренного, крепче многих.

Ими пополнили потрепанную в боях дивизию, влили свежую кровь, которая, мешаясь со старой, быстро стала своей в этом организме и в дальнейшем еще не раз постепенно заменялась почти целиком.

Можно было бы многое рассказать о его жизни — впрочем, он еще расскажет о ней — затопленный блиндаж, экзема на ногах и фурункулы на шее, ночевки в снегу, марш под многодневным дождем, тяжесть глины, налипшей на каждом ботинке, и атака на рассвете из узкой глубокой балки, и жестокий удар в плечо, и горячая струйка, бегущая под гимнастеркой, вниз, по ноге, в сапог. И долгое, бесконечное, прерываемое беспамятством, путешествие, и белеющий бинтами и бельем госпиталь, где его обмывают в ванне две нянечки, и лишенная смысла, безнадежная боль, которую не в силах терпеть человек, и вдруг отпускающая тебя, и ужас ожидания новой боли. Можно было бы вспомнить счастливые привалы, молодую хозяйку в пустой холодной избе, и лихих командиров, и дорогих промелькнувших друзей, с ними все делится пополам — место у огня, сухари, патроны и воспоминания.

Обо всем этом можно было бы написать, но это была бы иная, совсем отдельная книга.

После ранения он оказался на другом участке, в другом корпусе, но и здесь он чувствовал себя на месте и вскоре был почти старожил. И хотя он уже немало умел, повидал и испытал на войне, он так и не смог мало-мальски приучить себя к разлукам и потерям. Более всего его поражала быстрота перехода из жизни в смерть. О том, что могут убить его, он в то время не думал.

Сразу после войны, в Венгрии, он поиграл немного за команду полка, а потом и дивизии. Удивительно, как все, хотевшие играть, помнившие об этом, быстро и безошибочно нашли друг друга. Теперь у него прибавилось веса, удар потяжелел, как предсказывал Кубасов. И все его было при нем, только, разумеется, несравнимо выросла выносливость. Они могли играть сколько угодно. Для Игоря, да и для других, наверное, тоже, это было сейчас

не просто игрой. С каждым рывком, ударом, пасом, прикосновением к мячу он окунался в довоенное, далекое, милое. Он играл, словно подтверждая для себя, что все это было и что все это еще будет, есть.

Многие играли неплохо, но он скоро понял, что получает истинное удовольствие только от собственного общения с мячом. Барабановых среди его партнеров не было.

О Ларисе после госпиталя он почти не вспоминал.

Однажды, осенью, когда стояли в Будапеште, на улице Вац, он зашел к радистам и присел у дверей: они невнимательно слушали по трофейному приемничку футбольный репортаж из Москвы. И вдруг Игорь встал и подошел ближе: в прорезаемой помехами отдаленной скороговорке комментатора, среди известных ему прежде и незнакомых имен, он явственно уловил одну фамилию — Барабанов.

Само по себе было странно слышать ее рядом со знаменитостями, а комментатор еще уточнял, одобрял: «молодой Барабанов удачно влился в прославленный коллектив», «последние игры без гола не уходит», «вот и сегодня, в подтверждение нашего о нем мнения, он забил важный, нужный команде гол»...

— Я с ним вместе играл, с Барабановым, — сказал Алтынов, боясь, что ему не поверят, и кивая на приемник. Но радисты не проявили к этому известию ни малейшего интереса.

19

Демобилизовался он в конце следующего лета. Городок совсем не изменился, но изменились — постарели или, напротив, возмужали, выросли — многие, кто встречался ему на пути.

Мать, конечно, тоже сдала, но была еще бодра и полна планов. Приятно было рассматривать нежданно зна-

комые вещи, которые были новыми невероятно давно, когда он был мальчиком. А на стене висел портрет отца, увеличенный с давней, молодых лет, фотокарточки. Как это было прекрасно, когда был отец!

Первое время он ожидал, что встретит Ларису, и каждый день готовился к этому, но вскоре узнал, что ее давно уже не видели в городке, а прежде она гуляла с Барабановым. Зато он встретил как-то Валю Круглову, с которой проучился десять лет и помнил чуть ли не как себя — с самого детства. Она похудела и даже еще немного вытянулась, а за руку держала лет двух мальчика. Они поболтали с минуту, и он вдруг спросил — впервые:

— А помнишь, ты мне записку в карман положила?

Она сделала вид, что не понимает, но тут же вспомнила, улыбнулась:

— А, баловство! — и посмотрела на него внимательным взглядом.

На городском стадионе играли в футбол. Играл левый полузащитник из их команды, Игорь не мог вспомнить, как его зовут. А справа играл Полунин, маленький крепкий краек, которого он любил бросать в прорыв точным пасом. Теперь он был еще плотнее, крепче, но у него по локоть не было левой руки. А в воротах стоял Платов, тот самый кудесник Платов. И когда он двинулся навстречу мячу, у Игоря сжалось сердце — Платов хромал, тяжело припадая на одну ногу.

После игры Игорь подошел к Полунину. Тот обрадовался, спросил возбужденно:

— Будешь с нами играть?

— Мне в Москву надо, учиться.

— Ну, что? Барабанов — ты знаешь, Евтеева в Пруссии убило. Хмель не знаю где. Паша Сухов без вести пропал в самом начале, ты тоже знаешь. Кубасов? Служит, подполковник... Алтын, ну, может, поиграешь у нас немного?

Он отворил дверь с табличкой «Деканат», объяснил сидящему за столом седому человеку:

— Я ушел в армию отсюда в сорок втором.

— Ежели так, милости просим. С какого курса?

Девчата, поступавшие вместе с ним, уже кончали и не помнили его, не успели запомнить. Сейчас на первом курсе были молодые, из десятилетки, а те немногие, что вернулись, тоже запомнили друг друга не все, но встречались тепло, как близкие, пережившие одинаковое, люди.

Он обосновался в том же общежитии, но теперь переполненном, допоздна освещенном, шумном.

20

Во второй день майских праздников Игорь отправился на футбол. На всех станциях этой линии, особенно в центре и на Белорусской, завихрялась, теснилась в узких переходах толпа, на перронах было черно от народу. На «Динамо» эскалаторы работали только вверх. Соскучилась по футболу послевоенная, праздничная Москва, радостно и озорно рвалась на открытие сезона.

Билетов в кассах, разумеется, не было. Игорь без колебаний купил с рук билет на восток — отдал почти всё, сорок рублей — и, забирая вправо, зашагал вдоль металлической ограды.

Место у него было за воротами, масштаб поля скрадывался, западные ворота слишком далеко, но зато ближняя, штрафная площадь хорошо просматривалась.

Он пришел рано и теперь, все более волнуясь, смотрел на нежно-зеленый прямоугольник поля — с его места он выглядел как квадрат, — на заполняемые натекающей толпой трибуны. То и дело он оглядывался на укрепленные позади стадионные часы, сверял их со своими ручными, трофейными. Трибуны были уже плотно полны, это тоже доставляло удовольствие. И вдруг их монотонный гул нарушился, возвысился оживлением, аплодисментами, свистом. Игорь завертел головой, не

понимая, куда нужно смотреть, но тут же догадался, повернулся вправо, вытянул шею. Из туннеля по ступенькам медленно поднимались футболисты.

Они остановились, топая бутсами, подтягивая гетры. На них были длинные, почти до колена трусы, а на майках, на спинах — английское новшество — четко различались номера. Игорь привстал, напряженно вглядываясь, пытаясь угадать, безотчетно страшась: играет ли, здесь ли? — и в тот же миг увидел его. Барабанов, стоя на одном колене, дошнуровывал бутсу. И словно когда-то, когда Алтынов играл сам, напряжение неожиданно отпустило его, он облегченно вздохнул и успокоился.

Все же, пока шел парад открытия, несли красивые яркие флаги на длинных древках и говорили речи, он томился и ерзал на месте от нетерпения.

Хотя на поле находились многие знаменитости — через два десятка лет некоторых из них будут называть: великие — Игорь невольно наблюдал только за Барабановым. Конечно, трудно было выделиться среди этих виртуозов и провидцев, но Барабанов не пропадал, был виден. Опытный глаз отмечал не только его умение пробить, но и понятливость. А это качество высоко ценилось. Игорь смотрел на Барабанова с трибуны, стиснутый с двух сторон соседями, но одновременно он сам словно был Барабановым и видел происходящее на поле так, будто сам сейчас играл. Он тонко схватывал все, на что ему намекали партнеры, и мгновенно догадывался, в чем должен состоять его ответ. Именно это было главной радостью игры. Он запутывал противника, менялся позицией с партнерами, отдавал внезапный пас на свободное место и испытывал острое удовлетворение оттого, что его понимали. И в ответ, как знаки доверия и уважения, он получал такие передачи, которые могут лишь привидеться в счастливом предутреннем сне. И он выпускал свои снаряды по цели, а там уж как хотите: отобьетесь — ваша удача, пропустите — моя. Стадион только ахал.

Барабанов и сегодня не ушел без гола, во втором тайме он разыграл с крайним и инсайдом хитрейшую блицкомбинацию в одно касание и с неуловимо короткого замаха выстрелил в верхний угол. Это был безукоризненный гол.

За пять минут до конца, едва прозвучал гонг, Игорь встал и начал медленно, боком, пробираться вправо, а потом вниз, к началу трибуны. Он успел вовремя. Поднимаясь на цыпочки, заглядывая через головы других, он близко увидел за барьерчиком, охраняемым милиционером, уходящих в раздевалку футболистов. Сойдя с поля на дорожку, они все разом топали бутсами, выбивая налипшую между шипами землю. Лица и волосы их были мокры, майки темны от пота. Они проходили мимо и спускались по ступенькам в туннель, не глядя по сторонам и скорее всего не слыша одобрительных возгласов и едких замечаний толпы. Барабанов прошел совсем рядом. Он тоже смотрел прямо перед собой, у него было усталое, жесткое лицо.

Плотно сжатый со всех сторон, продвигаясь между двумя рядами конной милиции к метро и потом внесенный в набитый вагон, Игорь чувствовал давно уже не испытываемую им телесную усталость.

21

Через неделю Игорь Алтынов сидел у окошка пригородного автобуса, смотрел на светящийся новой листвой лес, на облитые мягкой зеленью поляны. И солнце, процеженное этой ранней листвой, живыми теплыми пятнами дрожащее в кюветах, тоже казалось молодым, несмелым, лишь набирающим силу. Сегодня после двух первых лекций неожиданно отменили занятия, и он решил поехать. В автобусе было мало народу, утренняя волна схлынула, последующая еще не подступила. Этот светящийся лес, нешумная загородная дорога, еще влажная после короткого предрассветного дождя, полупустой автобус, с дребезжащим треснувшим стеклом,

располагали к расслабленности, созерцательности. И было еще немного странно, что вот это он едет так безмятежно, будто не было в его жизни ни зеленого поезда, увозящего отца, ни первой метельной зимы, ни узкой, глубокой балки, откуда он по сигналу безотказно поднялся в атаку. Но все это было!

На конечной остановке он вышел, осмотрелся, сам догадался, куда нужно идти, но спросил на всякий случай у мальчишки, тот подтвердил, и Игорь пошел по асфальтовой дорожке до закрытых ворот, над которыми висел знак, запрещающий въезд. Мальчишка смотрел ему вслед и видел, как он задержался у калитки, объясняя что-то дежурному, и тот его пропустил.

Меж угольно-черными стволами лип, над которыми, осыпанная солнцем, сияла настолько светлая, младенческая листва, что не верилось, будто она связана с ними, по прямой аллее Игорь вышел к дому.

На крыльце, облокотясь на перила, стоял белокурый, с крупными чертами лица человек в синем тренировочном костюме и равнодушно смотрел на Алтынова. У Игоря зашлось от восторга сердце — он узнал его по портретам и остановился, все еще не смея поверить, что это действительно он. Это был классик и гигант футбола, признанный всеми непререкаемо.

— Вы не знаете, Барабанов здесь? — искательно обратился к нему Игорь и начал было объяснять, что, мол, они друзья, вместе росли, но тот, не слушая, повернул голову и только крикнул за плечо, в двери:

— Барабанов далеко там?

И через две минуты в красной майке и синих рейтузах появился Барабанов, глянул вопросительно, но тут же сбежал по ступенькам, сказал обрадованно, тряся руку:

— О! Алтын!

— Не было ни гроша, да вдруг Алтын? — смеясь, сказал Игорь.

— Ну, гроши кой-какие были.

Они сели на скамейку.

— Видел тебя второго.

— Ну, как, ничего?

— Хорошо отыграл.

— Да, а команда какая! — и признался: — Знаешь, долго я тебя вспоминал. Ох, такой, как ты, был мне нужен!

— А сейчас? — спросил Игорь просто так, но с невольной надеждой.

— А сейчас ты видел, люди какие! Хочешь попробоваться?

— Нет! — ответил Игорь твердо. — У меня теперь дорога другая.

— Может, еще когда-нибудь попрошусь к тебе, — задумчиво сказал Барабанов. — Чем черт не шутит.

Мимо них проходили игроки, кто в рейтузах, кто в трусах, Игорь узнавал только некоторых, и у него радостно екало сердце.

— Давненько не виделись, — говорил между тем Барабанов, — отметить бы, конечно, надо. Тут, за воротами, харчевня есть, но я никак не могу. Режимим!

— А как Лариса? — спросил Игорь, и у него стало сухо во рту.

— Лариса? — переспросил Барабанов просто. — Я не знаю, где она. — И добавил, помедлив: — В этом, я думаю, моя ошибка.

Прошел высокий парень, таща в сетке мячи, как арбузы.

Барабанова окликнули.

— Сейчас иду. Это мой друг, играли когда-то. Лучше меня играл! — крикнул он кому-то вслед. — Нет, не хочет!.. — поднялся и протянул руку: — Ну, побежал. Приходи восемнадцатого, с «Динамо» играем...

И Алтынов пошел по аллее, меж черными стволами лип, под беспомощно-светлой листвой, пошагал пружинистой легкой походкой, слыша за спиной такие прекрасные, волнующие его звуки — гулкие удары мяча.

Автобуса на остановке не было. В павильон «Пиво — воды» завезли раков. Он взял двух крупных, клешневатых, и кружку пива.

За дорогой чисто, по-весеннему, светилась листва. Маленький мальчик играл с крупной волосатой собакой неизвестной Игорю породы. Он бросал палку, и пес тотчас находил ее в траве и приносил мальчику. Потом к мальчику подошел другой, тот, что указывал Игорю дорогу, они стали разговаривать, а собака прыгала вокруг, возмущалась, просила снова бросить ей палку.

«У нас режима нет, нам это ни к чему», — думал Игорь беспечно, прихлебывая пиво, ломая оранжевого рака и посмеиваясь. И даже выпил сто граммов теплой водки, хотя водки ему совсем не хотелось.

1970

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Поздним, уже прогретым, московским утром молодой высокий парень в светло-синем спортивном костюме фирмы «Пума» с маленьким силуэтом дикой кошки на груди в два шага поднимается по сбитым ступенькам парикмахерской. Внутри полумрак, прямо против входа пустующий гардероб, налево женский зал, направо мужской. В узком коридорчике ожидают несколько человек. И тут обнаруживается, что парень приезжий. Москвич спросил бы: «Кто последний?» или «Кто крайний?», или вообще ничего бы не сказал, предоставляя это следующему. Парень спрашивает:

— За кем буду?..

Неказистый старичок важно кивает ему. Парень садится. По коридорчику проходят к кассе и обратно клиенты и мастерицы, и он вынужден то и дело подбирать ноги. Обут он в модные кроссовки, на коленях у него спортивная сумка.

— Ваша очередь, — подсказывает он старичку, но тот отвечает с гордостью:

— Жду мастера.

Вы подумайте, у него свой мастер!

Парня тоже подгоняют, и он пропускает кого-то, прежде чем войти в зал.

Зал большой, кресел много, окна открыты, он входит, высокий, очень стройный, и направляется к ней. Когда он садится, то сразу становится такого же роста, как все, — самое длинное в нем — ноги. Пока он идет к ней, она коротко встречается с ним взглядом.

Теперь она моет руки, нагибается и вынимает из тумбочки чистую простыню. Она ничего не произносит,

она говорит пальцами, касаясь его щек, поглаживая его шею, затылок.

Зато ее соседка, работая, рассказывает кому-то бесцеремонно-громко:

— Волос кудрявый, черный, аж синий. Растет — и все. Я брею, а он за бритвой растет...

Профессиональная история.

А у него волосы мягкие, светлые, волнистые. Да и стригся он у нее всего три дня назад. А на торсе — как у мальчика, — ни одного волоска.

Она спрашивает: «Освежить?» — и тут же окатывает его «Шипром». Потом пишет что-то в своей ведомости и вместе с ним направляется к кассе. Она идет впереди него, — у нее типичная, вразвалочку, с ленцой, походка парикмахерши.

Когда они минуют сидячую очередь ожидающих, она поворачивает голову:

— Придешь сегодня?

— А?

Он считает хорошим тоном сделать вид, что сразу не расслышал, что был занят в мыслях чем-то более значительным.

И со второго раза:

— А? — и кивок: — Приду.

Он вынимает мелочь. «Шипр» она в уплату не поставила.

А она возвращается в зал, бросив на ходу: «Пройдите», — и, не глядя на следующего клиента, отряхивает простыню.

На стене, против нее, висит фотография известного эстрадного артиста с высоким коком и низкими висками. Его не все узнают, потому что сейчас ему пятьдесят, а на фотографии — тридцать. Откуда взялся этот снимок, не знает никто, даже Ленечка, самый старый мастер. Когда к нему садится кто-нибудь плешивый, Ленечка всегда спрашивает:

— По чужим подушкам волосы растерял?

Вот так, прямо на «ты». Многим этот вопрос нравится, льстит, а интеллигентные люди смущаются, теряются, не находят, что ответить. Впрочем, каждый уважающий себя человек имеет с в о е г о мастера.

Она машинально стрижет следующего. Подстригает. Ей двадцать четыре года. Когда-то один пожилой мужик, — тогда называли «чувак», — на ее вопрос, что ему в ней нравится, ответил: «Вульгарность»... Она еще не знала точно, что это такое, но чувствовала, что это не вполне так. Однако что-то мешающее ей в ней все-таки было. А вот в сестре это отсутствовало напрочь, и ее муж порой поглядывал на свояченицу с особым, может быть, неосознанным, задумчивым интересом. Потом он умер...

А парень между тем выходит на улицу. Видно, что он не торопится. Более того, он выбивается из ритма спешащего города. Он покупает брикет мороженого, сворачивает на бульвар и садится на пустую скамейку. Потом отгибает фольгу, откусывает и морщится: на губах еще привкус одеколона. Но не выбрасывать же мороженое. Он сидит, откинувшись на спинку скамьи, свободно вытянув свои длинные ноги в кроссовках. Сумка у него на молниях и под цвет костюма, но не фирма. Это слегка огорчает его. Можно было бы, конечно, тоненько нарисовать пуму, но это все-таки уже не то. На правой руке между большим и указательным пальцами виднеется наколотая буква «Д». Она выглядит бледной, словно выцветшей, — тушь была слабая или побоялся лишней боли? Однажды у него спросили на соревнованиях: «Ты что, из «Динамо», что ли?..» Чудаки, просто он Дмитрий, Дима.

День разворачивается жаркий, вполне летний, однако не только в листве, но и в самом воздухе, и даже в движениях людей ощущается неминуемое приближение осени. Это время, когда на улицах Москвы замечается много загорелых женщин.

Дима медленно откусывает твердое мороженое. Зубы не ломит, они у него крепкие. У него все крепкое.

С чего же началось? До тринадцати лет он был ростом как и другие ребята. Встречались и повыше его. А тут вдруг выстрелил круто вверх, за одно лето обошел всех на голову. И дальше, дальше... И главное, не сутулился никогда, — тонкий, прямой, загляденье. Родителям все советуют наперебой: в спорт его, в спорт. И первое, что приходит на ум: баскетбол. Пошел, но городок маленький, какая там команда! Перспективы на нуле. Да и не захватил баскет, цепкости не оказалось в руках, а в характере злости, терял мяч то и дело. И попросту скучно было, неинтересно — пас отдавать, и самому без конца открываться, и под щитами биться, натыкаясь на чужие железные мускулы. Не командный он был человек, — штучный.

И тут углядел его заводской тренер, Альберт Иванович: «Я из тебя классного прыгуна сделаю».

Дима и раньше прыгал за школу, по старинке, перекидным, а тут взялся всерьез, освоили «флоп», и начал он правда все подряд выигрывать. Второй взрослый разряд выполнил и к первому уже подбирался, капельки недоставало.

Окончил Дмитрий десятилетку, и было уже договорено: пойдет в пединститут областной, там его брали с таким результатом, опять же Альберт Иваныч устроил. От дома час езды. Но не повезло, — в институте открылись злоупотребления, что подтвердил громкий газетный фельетон, ректора сняли, кто-то попал даже под суд, страху навели порядочно, — не до Димы. А сам не потянул.

Удар был жестокий, и деваться некуда; путь один — в армию.

И вот здесь все получилось как раз наоборот: Дима неожиданно попал в спортивную команду. Как это произошло, трудно понять, наверное, опять не без добрых людей, потому что таких, как Дима, здесь почти не было. В спальной комнате на прикроватных тумбочках пестрели таблички, где рядом с фамилией выделялись буквы: «МС» или даже «МСМК». Да, здесь

были и мастера спорта международного класса. Ребята готовились к соревнованиям, режим у каждого был свой. Конечно, всякие были люди — и такие, для которых это было просто удобное место, синекура, передышка, и отдающиеся делу целиком, сосредоточенные на этом.

Тренер группы высотников, седоватый, худой и легкий, всегда ходивший в олимпийском тренировочном костюме, бегло посмотрел на Диму и поинтересовался его режимом. Дима не пил, не имел к этому привычки и интереса. И не курил тоже, — знал, что это вредно. Однако тренер сразу обнаружил и его слабости: «Не дорабатываешь!»

Это было сказано почти брезгливо. Действительно, Дима терпеть не мог штанги.

Называли тренера по-разному: кто «товарищ майор», кто «Палыч». Кто как заслуживал. За глаза чаще всего — «Дед».

Первый разряд они сделали очень быстро. Тренер поправил разбег, и дело пошло. Потом, правда, опять застопорило. Но и первый разряд под ногами не валяется. Хотя и не ахти что, по нынешним-то временам.

Был еще один человек, с которым Дима постоянно общался. Командир комендантского взвода прапорщик Долотов. Его все звали — Прапор. Он еще захватил немножко войну, был сыном полка, потом надолго прилепился к армии, дослужился до старшины, остался на сверхсрочную. Он был спокойный, серьезный, очень доброжелательный. К нему шли по любому поводу: трусы, шиповки, увольнительная... Дима открывал к нему дверь и выкрикивал: «Товарищ гвардии прапорщик! Разрешите обратиться!..»

Тот, выслушав нужду, отвечал рассудительно: «Димитрий, я тебе помогу. — И часто предлагал сверх этого: — Хочешь чайку?»

Дима, если бывала возможность, оставался, и Прапор, прихлебывая из большой фаянсовой чашки, рассказы-

вал о жене и сыне, живущих в Москве, о сложностях своей семейной жизни.

Он уважал Диму. За что? Дима давно заметил, что нравится почти всем, с кем встречался в жизни, и мужчинам тоже.

Правда, иным он был ясен: «Не дорабатываешь!»

Однажды бежали кросс по пересеченной местности, по лесным тропинкам, выскочили на дорогу в своих тонких тренировочных костюмах и увидели идущих с занятий потных, усталых солдат в полной боевой выкладке.

Палыч посмотрел им вслед и сказал веско: «Вот где работа!..»

«Работа, работа, хорошо работает, не дорабатываешь», — как же все это надоело Диме!

И все-таки они проделали за зиму и весну немалый объем и к началу лета были готовы.

Предстояли большие армейские соревнования. Неожиданно для себя Дима оказался включенным в команду.

Столовая помещалась в колоссальном зале и работала беспрерывно с подъема до позднего вечера, потому что весь день шли соревнования, атлетов нужно было кормить и до них, и после.

Дима поставил на поднос тарелку овсянки, два творога с медом, чтобы мед съесть, а творог оставить, в день выступлений это было тяжеловато для него, и стакан чая. Народу было полно. Несколько секунд назад он присмотрел себе место, но сейчас, повернувшись, увидел, что оно уже занято. Он пошел по залу, держа перед собой поднос и выискивая знакомые лица. У стены в углу стоял маленький подсобный столик, за ним сидела крепкая девушка, второй стул был свободен. Дима уже проходил мимо, когда она сделала приглашающее движение — одними глазами.

— Уф! — сказал он вместо благодарности, освобождая поднос.

— Баск? — спросила она.

Он с облегченьем рассмеялся. Ему хотелось расслабиться, снять напряжение, — день предстоял тяжелый.

— Нет, просто испанец.

Теперь засмеялась она:

— Вижу, что ошиблась, баски толпой ходят. Высота?

Он кивнул.

— А ты? Ядро?

— Почти угадал. Дискоболка.

— Дискобулка?

Она прыснула:

— Ни от кого еще не слыхала.

У нее были крепкие плечи, высокая грудь, но в лице что-то наивное, детское: вздернутый носик, распахнутые серые глаза.

И она действительно была похожа на хорошо пропеченную, поджаристую пшеничную булочку.

Он отставил тарелку, взялся за остывающий чай. Вокруг сдержанно шумело могучее спортивное море. Ровный гул внезапно взрывался дружным хохотом. Это веселились чему-то своему волейболисты. Проходили сдержанные штангисты, мелькали страдальческие лица юных гимнасток.

А он уже отключался, уходил в себя. Великое качество для спортсмена и поэта.

Вдруг он заметил, что и она тоже смотрит вглубь себя задумчивым взглядом. Он тихо поднялся.

— Сегодня? — спросила она неожиданно. И, когда он кивнул, слабо улыбнулась. — Я тоже. — И добавила: — Ни пуха...

— К черту. И тебе...

Она тоже встала. Она была немаленькая ростом, хорошо сложена, но нечто детское в лице словно делало ее меньше. Она повернулась и пошла в другую от него сторону.

— Послушай, — окликнул он ее. — Я загадал. Давай сегодня вечером встретимся у эстрады.

— Во сколько?

— Ну, в восемь. У эстрады, слева. В любом случае.

Начали с метра девяносто пяти. Дима заранее условился с Дедом, что вступит со следующей высоты, — для самоутверждения. Он хорошо настроился, но участников оказалось слишком много, почти все использовали по три попытки, время шло и шло. Когда наконец планку подняли еще на три сантиметра, Димой овладела апатия. Он смотрел на вереницу прыгунов, поочередно разбегающихся, взлетающих в воздух, сбивающих планку, смотрел с удивительным, почти безразличным любопытством. Так и он сейчас взлетит, так и он собьет.

Тут его тронули за плечо. Он с удивлением оглянулся. Рядом стоял Сверчков, их ас, знаменитость. Он, видно, только подошел и начинал разминку.

— Чего уставился? — крикнул он шепотом в Димино ухо. — Чего ты пялишься на них? Забудь их всех к лешему. Ты и планка — больше здесь нет никого!..

И стукнул Диму между лопатками. И Дима очнулся, отвернулся от соперников едва ли не с отвращением: а эти еще откуда? Когда его вызвали, он встал, поднял руку, постоял, четко представляя себе все, что сейчас будет, все, что должно быть, и пошел по дуге цепкими, мягкими, мощными шагами. Он хорошо толкнулся, идеально развернулся по отношению к планке, но, почти уже перейдя, еле-еле задел ее поясницей. Она завибрировала уже над ним, лежащим навзничь, и он молил ее, чтобы она удержалась, но она упала. Это было самое обидное и разочаровывало, потому что воспринималось как невезение.

Он вернулся на скамейку и натянул костюм, чтобы не растерять накопленное тепло и с ним эластичность мышц.

Опять медленно потянулось время, но он был уже другой, нацеленный на свой прыжок, злой на планку. «Подумаешь, делов-то», — успокаивал он себя словами Сверчкова.

Трибуны были заполнены солдатами местного гарнизона и гражданскими тоже, откликались живо, подбадривали, — он ничего этого уже не видел и не слышал. И другие, понятно, шли соревнования: забеги на короткие дистанции, ядро у мужчин, диск у женщин...

Когда его вызвали на вторую попытку и он уже стоял на своей точке, раскачиваясь вперед-назад перед разбегом, судья поднял красный флажок, и Диму остановили. На стадион вошли ходоки на двадцать километров, сперва только двое, победители, и своим дурацким, раздражающим Диму шагом, бурно работая локтями, замельтешили по дорожке. Трибуны оживились, зашумели, — этот вид воспринимался как некий забавный номер.

Дима все стоял на своем месте. Он чувствовал, как мелко, почти неуловимо задрожали его колени.

Судья поднял разрешающий белый флажок, но Дима видел краем глаза, что в ворота стадиона входят группой еще несколько ходоков. Они были еще далеко, но уже мешали Диме.

Но делать было нечего. Он опять мощно прошел по дуге, резко толкнулся и чисто миновал планку.

Следующая высота — с первой попытки.

Два ноль пять тоже: раз — и там.

Если бы были правильные, да не слишком большие интервалы, он так бы и щелкал одну за другой. Такое появилось ощущение.

Но тут вошли в игру асы, ритм опять нарушился.

Теперь уже рядом с ним прыгали Сверчков и еще двое своих. Они переходили через планку с огромным запасом. Но и он прыгал тут же как равный. Держался, не сходил.

Два ноль восемь с первой попытки перешел и, уже летя вниз, на поролон, непонятно как задел планку пяткой. И услышал, будто заглушки вынули из ушей, — как весь стадион ахнул огорченно. Дима даже не понял сначала, что это связано с ним.

Со второй попытки он взял высоту чисто. Буднично даже как-то взял. Он лежал на спине, над ним было ярко-голубое, с одним белым облачком небо, резко пересе-

ченное неподвижной, будто врезанной в голубизну, планкой. Он тут же, конечно, вскочил, но картина эта осталась.

Два одиннадцать он почти взял с третьей попытки, — планка опять подрожала на упорах и упала. Зрители, однако, хлопали ему. Он поднялся и помахал трибунам обеими руками.

Кто-то из ребят взъерошил ему мокрые волосы. Даже Сверчков шлепнул сзади по трусам.

— Поздравляю.

— С чем?

— С чем! С кандидатом.

Тут до него дошло: он выполнил норму кандидата в мастера. Сделал чисто, не придерешься.

Солнце заваливалось за срез трибуны. Стало прохладней.

Он очень устал. Хотелось под душ. Но он натянул костюм и остался смотреть, как прыгают ребята.

С результатом два двадцать шесть первое место занял Сверчков.

Войдя в столовую, он вспомнил про дискоболку-дискобулку. Казалось, что он разговаривал с ней месяц или два назад. Быстро глянул на часы — было только полвосьмого. Когда он подошел — минута в минуту — она уже смотрела, как пляшет армейская самодеятельность. Он остановился рядом с ней, тоже глядя на эстраду, — она его не замечала, — он притиснулся ближе, вплотную, она машинально отодвинулась и недовольно взглянула в его сторону.

— Ой, — сказала она. — Увлеклась. Как дела?

— Да ничего, — ответил он безразличным тоном. — Пошли к площадке? Там танцуют...

Они выбрались из толпы зрителей.

— А я смотрела тебя, все глаза высмотрела, — призналась она.

— На пьедестале, что ли?

— А где же еще! Слышу, Сверчков выиграл.

— Это наш. А у меня свой рекорд, скромный, конечно. Кандидатскую норму выполнил, — объявил он небрежно, ликуя внутри.

— Ой, это ты? Я слышала, объявляли. Дмитрий?

— Да. Кто объявлял?

— Диктор объявлял по стадиону, поздравлял. Жаль, я тогда не знала.

— А я ничего не слышал.

— Ну, как же! И я поздравляю. Дмитрий. Митя, значит?

— Димой кличут.

— Да, Дима лучше. А я — Ира.

— Ну, а ты как? — спросил он, уже чуть снисходительно.

— У меня третье место.

— Ну, ты молоток!

Над бетонной, с выбоинами, танцплощадкой звучала радиола. Дима подал Ире руку, обнял за плечо, ощущая ее литую, сдержанную силу. Она споткнулась и засмеялась:

— Танцы устроили, чтобы напряжение снять, а колдобины такие — травму получишь!

Он отпустил ее, и они раскованно пританцовывали, друг к другу лицом, словно делали легкую разминку.

Она внимательно посмотрела на него и сказала сочувственно, как женщина, а не как спортсменка:

— Ты так осунулся за этот день, Дима...

— Осунешься.

Потом они еще долго бродили от танцплощадки к эстраде и обратно. В окнах корпуса, где они жили, горел яркий свет, или же темные стекла отсвечивали только наружным огнем. В первых двигались люди, сделавшие сегодня все, что было в их силах, за вторыми — спали или пытались заснуть те, кому это еще предстояло.

— Послушай, Ирина, — спрашивал Дима, — а кто ты такая, собственно, есть? Военнослужащая или медичка? Или офицерская жена?..

— Нет, я вольнонаемная. Физрук. С ребятишками занимаюсь. А заочно в Инфизкульте учусь на втором курсе.

— С этим все ясно. А я рядовой...

— Дима, а знаешь, мне кажется, мы сегодня правда удачу друг другу принесли.

— Возможно.

Не доходя до корпуса, он остановился с ней под тремя крупными липами, остатком старинной аллеи, сказал:

— Ну, ладно, давай прощаться. Поцелуемся? — и нагнулся к ее лицу.

«Сейчас как даст по уху — улетишь», — успел с улыбкой подумать он, но она, не жеманясь, подставила неожиданно мягкие губы и сама встречно поцеловала его.

— Ходили, ходили, не целовались, — сказал он, отпуская ее, — а поцеловались один раз — и тут же до свидания. Нелогично. Давай еще погуляем...

— Вам, мужчинам, только бы целоваться, — согласно отвечала она, переводя дыхание.

— Почему только? Не только! — говорил он обиженно. — А перед сном еще в столовую зайдем, кефир пить...

Дед похвалил назавтра:

— Молодец. — И добавил задумчиво: — С таким точно результатом Кашкаров на Олимпиаде бронзу взял. Вот как жизнь меняется...

— Каспаров? — переспросил знакомый гиревик, проходящий мимо.

Прыгуны посмотрели на него презрительно:

— Ка-шка-ров. Игорь. В пятьдесят шестом, в Мельбурне.

В части, когда вернулись, тоже были ими довольны: место заняли высокое. Выдали в поощрение за небольшую совсем цену импортные тренировочные костюмы. «Адидас» ему, конечно, не достался, но и «Пума» неплохо.

Прапор зауважал его еще больше, — кандидат!

— Такой молодой, а уже кандидат! — валял дурака Дима. — Как Палыч... — Дед был кандидатом педагогических наук.

— Молодой, да ранний, Димитрий, — серьезно вторил Прапор.

— Эх, знаешь, — размечтался Дима, — к этому бы результату сантиметриков тридцать, и вон ты где — мировая элита. А всего-то тридцать, пустяки!..

— Погоди, Димитрий, — наставлял его Прапор. — Ты слушай меня, у меня большой опыт. На кандидате останавливались многие. Это как подполковник. До него офицер плавно идет. А вот полковника получить куда труднее. Ну, а уж генерала! Ты это учитывай, Димитрий...

Но Дима знал про себя, что вряд ли получится пойти дальше. Амбиции не хватало, упорства, злости. Отсюда и — «не дорабатываешь!..» Он внутренне словно уже удовлетворился.

— Скоро демобилизуюсь, Димитрий, — говорил между тем Прапор. — Приказа жду. Потрубил, хватит. Да и врачи ишемышечную болезнь находят. Хотя жалко, конечно. У тебя телефон мой есть? Запиши новый. А? С женой развелись, разменялись. Теперь у меня комната. Записал? Будешь в Москве, звони, Димитрий...

Дима при случае охотно записывал адреса и телефоны всех, кто предлагал ему это сделать, а иногда и сам проявлял инициативу: «Давайте, я ваш телефончик запишу...» На всякий случай, авось пригодится.

— Да ведь и мне уже скоро, — отвечал он Прапору.

Дома его встретили как героя — кандидат в мастера, один на целый город. От него ожидали последующих подвигов. Но он безошибочно осознавал, что выше той отметки ему уже не взлететь. Не увидеть, падая на спину, высоко над собой в голубом небе неподвижную планку. В армии какие были условия, и то не получилось!

Конечно, если было бы в придачу физкультурное образование, да еще высшее, он бы получил отличное место: старшим тренером бы взяли или председателем спортобщества. И все опять загалдели — и родители, и Альберт Иваныч: в институт, в институт. Не в областной уже, а в Москву. И Дима согласился.

Может быть, это было ошибочное решение, а может, и нет, кто мог это знать заранее!

Время для подготовки оставалось, он занимался, разбирался, но не очень запоминал, усваивал. В его ушах все еще стояли голоса Палыча, Сверчкова, Прапора, он близко видел детски-распахнутые глаза Иры и ощущал под ладонями ее крепкие плечи. Он слышал далекий звук армейской трубы и теперешний птичий гвалт за окном, — и это его занимало тоже. Не только отвлекало, но и заинтересовывало.

Он уходил с книгой на речку, читал, лежа под кустом, засыпал над ярко освещенной страницей, пробуждался, входил в нагретую воду, — ему было здесь мелко, — плавал кролем, выбирался, обсыхал на солнышке, опять читал.

Вода рябила в глазах, от нее шли радужные слепящие пятна, буквы на странице расплывались, порой в стороне появлялась лодка, он с трудом различал ее сквозь дрожащий летний зной. Где-то поблизости, в кустах, лениво переговаривались загорающие женщины. И это, все вместе, не тревожило его, а доставляло смутное удовлетворение.

А потом было купе скорого поезда, нижняя полка, невозможность распрямиться, вытянуть согнутые в коленях, немеющие ноги. Потом заполненная народом, как в праздники, привокзальная площадь, короткая обалделая растерянность в метро, автобус. На Диме был фирменный тренировочный костюм, кроссовки, на плече сумка. В ней — тонкий плащ, водолазка, трусы, майка, носки. И все. Ну, там, мыло, зубная щетка. И два учебника.

Потом он, держа в ладони талончик с номером комнаты и заглядывая в него, поднимался по лестнице общежития, стучал в дверь.

На застеленной кровати лежал на животе и читал учебник черноволосый парень. Увидев вошедшего Диму, он принял сидячее положение, протянул руку и представился: «Тенгиз». Это сработало в нем нечто сугубо южное, потому что через секунду он уже опять лежал в прежней позе, уперев локти в матрац и поставив на кулаки голову.

Дима сел на стул возле своей койки, тоже достал учебник по литературе и начал листать его. Но все его отвлекало — шум автобуса за открытым окном, слабый шелест листвы возле дома. Его отвлекала и уверенная, упорная фигура Тенгиза. Тот читал учебник, не отрываясь, — как детектив.

Дима тоже смотрел в свой учебник, но взглядывал и на Тенгиза и ничего не понимал, как тогда, перед прыжком. Лишь почувствовал, как опять мелко задрожали колени. Но не было Сверчкова, чтобы одернуть его. Хотя здесь, наверное, и он бы не помог.

Неожиданно Тенгиз, не выпуская из рук книжки, перевернулся на спину, положил ноги на спинку кровати и продолжал читать.

Это совсем доконало Диму, и он тоже прилег. Глаза его слипались, он задремывал. Раздался скрип кровати, и он раскрыл глаза. Тенгиз поднялся, сделал несколько круговых движений корпусом и наклонов и начал отжиматься от пола. Он отжимался так неутомимо и долго, что Дима опять задремал.

Вечером Тенгиз спросил:

— Дима? Ты откуда? А я из Батуми. — И продолжал чтение.

А потом? А потом Дима как во сне стоял возле «Доски объявлений». И другие стояли, вглядываясь. А над ними висела тишина.

Наконец Дима нашел себя в списке. Не поверил — но инициалы сходились. Он не отошел сразу, как другие. Он продолжал стоять, ни о чем не думая. Это был список получивших неудовлетворительные оценки по письменной работе.

И закрутились, затолпились в голове шарики, как в барабане «Спортлото». Домой? Нет, только не это.

В коридоре попался ничего не знавший Тенгиз, улыбнулся, кивнул, но отрешенно, погруженный только в себя, сильный, решительный.

Дима вспомнил выражение Палыча: «Собран на выигрыш». Старые игроцкие эти слова подходили сейчас Тенгизу.

Дима быстро собрался и вышел почти с облегчением.

В автобусе он обратил внимание на объявление о наборе на курсы водителей. «Иногородним предоставляется общежитие». Значит, его внимание заработало выборочно. Он вылез около парка, нашел телефонную будку и сел возле нее на скамью. Здесь было пустынно, — вдали вокруг большой клумбы катались ребятишки на велосипедах, сгрудившись возле одной из скамей, старики-пенсионеры наблюдали за игрой то ли в шахматы, то ли в домино, — Диме за их спинами не было видно.

Он вынул и начал листать свою алфавитную книжечку. Московские телефоны помещались у него отдельно. Были дядя с тетей, — им он звонить не собирался.

Он вошел в будку, набрал номер и долго держал трубку около уха. Но там не отвечали. Он набрал другой номер.

— Да, — сказали ему скучным голосом.

— Здравия желаю, товарищ гвардии прапорщик запаса! — крикнул Дима.

— А, Димитрий. В Москву приехал?

Дима прямо сказал, что не поступил, но так, что жалко было не его, а институт. У него это само собой получалось.

Через минуту он уже шагал к остановке.

— Как здоровье, Димитрий?

— Ничего, не жалуюсь. Как ты?

— Тоже ничего. Диагноз тот сняли.

— Ишемическую?

— Да.

Казалось, они расстались лишь вчера.

Комната у Прапора была довольно просторная. Кровать с ковром над ней, еще диванчик, стол, конечно, стулья, одно кресло. На книжной полке стояли собрания

сочинений Закруткина и Теккерея. Небольшой черно-белый телевизор «Рассвет» был включен чуть ли не на полную катушку. Передавали о какой-то отстающей бригаде. И о передовой тоже.

— Смотришь?

— Да так, по привычке, — хозяин выключил телевизор. — Недавно Леонида я встретил. Помнишь? Ну, значит, он до тебя еще служил. Мастер спорта. Только что защитился. Тоже хороший парень. В отряд космонавтов его берут. Там такие позарез.

На тумбочке рядом с телевизором, на спинке кресла, на кровати, выбиваясь из остальной обстановки, лежали довольно изящные, вязанные из разноцветной шерсти салфеточки или коврики с затейливым узором.

— Ты что, женился, что ли?

— Нет, я же в разводе, Димитрий. Жена живет отдельно, то есть бывшая, конечно. Сын с ней. Она на него, считаю, плохо влияет. Но я не только материально помогаю, а встречаюсь с ним, участвую в воспитании. А? В восьмом классе. А платочки эти другая женщина подарила. Приходящая няня.

— Няня?

— Ну, я так называю. Приходящая. Хорошая женщина, но пожениться нам сложно. — И перевел на другое: — Ночевать останешься? Оставайся. Вот у меня кушетка. Выпить, правда, ничего нет.

— Я же не пью.

— Ну, я не знаю. Может, ты начал. Попьем чайку, как бывало. Сам я работаю в ВОХРе. А? Вооруженная охрана. Работа хорошая, сутки отдежурил, двое свободный. Хочешь, могу тебя рекомендовать. Вот завтра с утра заступаю. И знаешь еще что, ты извини, Димитрий, но без меня здесь оставаться нельзя. Из-за соседей. Я пустил нашего, нет, ты его не знаешь, Ковалева, ушел на дежурство, он женщину привел, еще кого-то, напились, скандал устроили. Соседи милицию вызывали. Я обещал: без меня никого. А при мне, пожалуйста, ночуй.

— А как же няня?

— Я же сказал — приходящая. Она только днем. Мальчик у нее. А вообще замечательная, актуальная женщина.

— Больно уж ты добрый, Прапор.

— Я своим всегда помогаю, Димитрий. Это у меня правило.

— Чем же ты помогаешь?

Прапор, казалось, несколько смутился:

— Ну, например, билеты. В нашей фирме билеты и на поезд, и на самолет, и в театр всегда достать можно. Ну, ладно, чайник вон уже свистит на кухне как шпана.

Он включил телевизор. На экране был огромный, с ветвистыми рогами лось, а дикторский голос говорил про «братьев наших меньших»...

«Ничего себе меньших! — подумал Дима. — Вот где сила привычки».

Наутро они вместе вышли из дому. Прапор на службу, а Дима — куда?

— До завтра, — они расцепили руки, и Дима пошагал, высокий, прямой, с сумкой на плече.

Хорошо пройтись вот так, налегке, по солнечной стороне улицы, по утренней ранней Москве. Все спешат, бегут, торопятся, не смотрят друг на друга, задерживаются на миг у газетного киоска, пихают в портфель «Московскую правду» или «Труд», и дальше, дальше, — к трамваю, к троллейбусу, к метро. И все гуще, слитнее этот поток. Бегут хмурые, серьезные мужчины, но особенно странно видеть хорошенькие лица молодых женщин, напряженные, озабоченные. Эти люди ничего не видят вокруг и перед собой, — только свою цель, свою дорогу. Но ведь и это немало. Они не хотят опоздать.

А ты никуда не торопишься, ты стараешься рассматривать прохожих, но их невозможно рассмотреть, они промелькивают, как в старом кино. Если бы так спешил один человек, — это было бы странно, тревожно, может быть, забавно, но когда торопятся тысячи, это становится нормой.

Странно выглядит тот один, движущийся совсем в ином ритме, но они не замечают его.

Тихо, безветрие, листва берез и лип неподвижна. Сзади, по тротуару, швыряя струю до самых стен, едут машины-поливалки. Люди шарахаются, перебегают на газон, скрываются в магазинах. Дима забирается в телефонную будку, плотно захлопывает дверь, набирает номер, ждет. Он и вчера набирал несколько раз — никого.

Поливалки уже прошли. Он ступает на мокрый тротуар.

Хорошо прогуляться по утренней Москве, но что, если гулять нужно весь день! А впереди еще и вечер. А потом ночь.

«Иногородним предоставляется общежитие». Почему эти нелепые слова лезут в голову?

Болтаясь по городу, он остановился около огромной гостиницы, построенной к Олимпиаде. Этот прекрасный отель, как современный волшебный замок, гордо возносился в высоту. У его подъезда не наблюдалось особого оживления. И Дима четко представил себе, как он входит в вестибюль, а сперва швейцар открывает перед ним тяжелые двери и выхватывает багаж, а портье спрашивает: «Какой бы вы хотели номер? Для вас забронировали люкс и первый класс. Вы один?» — «Да, я один, — отвечает знаменитый Дима. — Я предпочитаю первый класс. Не терплю излишества в апартаментах». — «Будьте любезны, вот ваш ключ», — и лифт плавно несет его в высоту.

Дима, грешным делом, любил пофантазировать. Он вкусно и недорого пообедал в диетической столовой. Правда, в очереди пришлось постоять, — но ведь время было.

Потом он опять сидел на бульваре.

Иногда ему казалось, что он вернулся с войны. Родные его погибли при бомбежке. Их было жалко. И себя тоже. Он был никому не нужен. Но почему же никому? Он встретил симпатичную девушку. Но он без ноги. Впрочем, это уж слишком. А спорт?..

Он встряхнулся и встал.

Потом он смотрел какую-то заграничную кинокомедию. Но какую и о чем — совершенно не запомнил. Он только боялся, чтобы не украли сумку, намотал ремень на руку и зажал ее между коленями.

В течение своей жизни он не привык заботиться о еде и ночлеге.

Однако теперь он уже перешел черту уязвимости.

Денег оставалось маловато. Но до дома-то, он был уверен, доберется, — девочки-проводницы довезут, не дадут пропасть.

«Иногородним предоставляется общежитие».

«Одиноким предоставляется общежитие»...

Время от времени он входил в телефонные будки и набирал номер. Будки были разные — номер один.

Он решил поездить на метро. До часу. По кольцевой и по другим линиям тоже. А переночевать на каком-нибудь вокзале, — выбрать по дороге.

Гораздо медленнее, спокойнее, разреженнее, чем утром, прошла обратная людская волна — с работы. В ней было нечто умиротворенное.

Зажглись фонари. Над одним проспектом — голубоватые, над другим — оранжевые. Эти, вторые, бросали на мостовую и под стволы лип ровный тревожный свет.

Как дневные цветы, закрывались магазины.

Дима шел к метро. На глаза попалась светящаяся зеленая вывеска — «Парикмахерская». А ведь он давно собирался постричься. Часы работы... до 23. Он глянул на циферблат — без четверти одиннадцать, и впервые поднялся по этим сбитым ступенькам.

В мужском зале посетителей уже не было. Худенькая старушка подметала пол, толкая шваброй целый ком разномастных волос. Седой румяный мастер посмотрел на Диму, на часы и сказал пожилой толстухе:

— Рая, обслужи!..

— Да я уже все собрала, Ленечка! — взмолилась она.

— Тогда ты, Алевтина.

Светловолосая девушка в отглаженном халате ответила, глядя на себя в зеркало:

— Больно мне нужно...

Потом повернула голову, посмотрела на него и кивнула на кресло:

— Пройдите...

Ночевал он уже у нее.

Просыпаясь, она всякий раз не верила своим глазам, видя его рядом. Она таких еще не встречала, трудно даже объяснить — каких.

Она всегда, — да что всегда, это было всего три раза, а казалось, что всегда, — просыпалась раньше, чем он. И сейчас она тихо встала с тахты, поискала глазами халатик на спинке стула, обнаружила его на полу и, повесив на стул, вышла в ванную. Потом вернулась и легла рядом.

Он спал на спине. Простыня сбилась, открыв его чистую грудь, плечи, тонкие руки. Ему что-то снилось. Вдруг лицо его сделалось отрешенным, ноздри затрепетали, он откинул назад голову, вдавливая ее в подушку, и прогнул спину. Она испугалась и хотела разбудить его, но он толкнулся торчащей из-под простыни левой ногой и еще выше задрал подбородок. Это длилось несколько секунд, потом он счастливо улыбнулся и перекатился на бок.

Она, подождав, тихонько поцеловала его в шею, потом в уголок рта. Он посмотрел на нее, голую, еще не проснувшимися глазами.

Да нет, никаким он не был бабником.

Она рассказывала ему свою жизнь. Есть женщины, и их немало, которые считают нужным рассказывать кратким избранникам о своих первых возлюбленных. Почему-то они думают, что именно это им интересно. Однако Аля рассказывала про свою жизнь, деревню, сестру. Он молча слушал ее.

Но если что-нибудь отвлекало, прерывало ее, пусть на самом интересном месте, он никогда не предлагал продолжить, не спрашивал: «Ну, и что же?..»

Она, подождав, сама говорила: «Так вот...»

А сейчас он сказал:

— С сестрой все ясно. Мы же ее увидим сегодня?

— Да, пойдем к ней, в этом же доме. Она прекрасная хозяйка.

— Сестра-хозяйка?

— Перестань, она медицинская сестра. Операционная. Причем старшая.

— Все ясно. Больно уж ты любишь просыпаться рано.

— Любишь! Мне же на работу, — удивилась она. — А так мне это не в кайф.

Сегодня было три операции. Одна особенно тяжелая, длительная, осложненная болезнью сердца и диабетом. Даша вымоталась (на работе не только девочки, но и многие врачи звали ее Дарья Степановна, но самой ей до сих пор нравилось — Даша). И еще не очень она привыкла к новому молодому шефу, к его шуточкам. «Дайте в руки мне гармонь», — говорил он о скальпеле. Не в разгар операции, не вслух, конечно, но она уже знала, что он именно это имеет в виду. Понятно, с Петром Васильичем не сравнить, да и вообще — какие могут быть сравнения.

Витька ушел играть в футбол, а она запекла в духовке брус говядины, разделала селедочку, украсила кинзой паштет. Аля больно уж просила, а к сестре у Даши было стойкое родственное чувство.

Имелась также бутылочка, но Алевтина предупредила, что он не пьет. Даша поставила все же на стол три рюмки.

Очень хотелось, чтобы устроила наконец Алька свою судьбу. Ведь все у нее есть для этого. Вышла бы замуж, родила, пока не поздно.

Когда-то они жили в деревне, трудно жили, даже скудно. Но воспоминания у Даши остались удивительно чистые, добрые. Мужиков совсем нет, только такие, как отец, хромающий после ранения, и парней почти не

видать. Но как вечер, гармошка за окном, девичьи частушки. Она еще мала для гулянок, а все равно замирает сердце. И еще запах земли, — весной особенно. Был в соседнем селе совхоз, и там хорошие лошади. Иногда им разрешали покататься. Как она — лет десяти была! — неслась на серой резвой кобыле, — без седла, галопом. Говорили, со стороны смотреть было страшно. Эта скачка до сих пор в ней. Тогда в деревне стояли солдаты, и вот командир толковал отцу, что, мол, жила бы она в городе, занималась бы в конно-спортивной секции, чемпионкой бы стала.

В город она по другой причине попала, — отпустили из жалости, только школу окончила. Выучилась на медсестру, стала работать в клинике, жить в общежитии. Медицинские сестры, а прежде, говорят, называли: сестры милосердия, всегда нужны. А она спокойная, миловидная, доброжелательная.

В той клинике и свела судьба с Петром Васильевичем. Мало того, что он был старше ее, — в полевом госпитале еще работал в войну, — он был знаменитый хирург, золотые руки, все, кому выпадала нужда, мечтали оперироваться только у него. И к тому же он был профессор, студенты за ним табуном ходили.

Два года проработала там Даша, и тут проводили на пенсию старшую хирургическую сестру по прозвищу «Королева», — он без нее просто обходиться не мог. Но ведь незаменимых, как известно, не бывает. И вдруг он предложил ее — Дашу. Она испугалась, но он поговорил с ней обстоятельно, убедил, что все она знает и умеет, и она согласилась.

Хорошо было работать с ним!

А потом стали замечать, что он оказывает ей знаки внимания. Приглашает, например, в свой кабинет выпить с ним после трудной операции.

Вокруг зашушукались. Одна говорит: «Даш, смотри, ведь жена у него». А другая подружка: «Жена не стена, можно и подвинуть».

Это Даша запомнила.

Нет, она ничего не сделала, чтобы о т б и т ь. Он сам ушел от семьи, оставил жене и двум уже взрослым детям профессорскую квартиру, дачу, машину, почти все, что было у него.

Сняли двухкомнатную квартирку у каких-то людей, уехавших в длительную заграничную командировку, стали подыскивать готовый уже кооператив. Но тут возникла другая сложность. Аля уже год как тоже приехала в Москву, окончила курсы парикмахеров, начала работать, а жила на птичьих правах у сестры в общежитии. Теперь ее, разумеется, выселяли. Пришлось взять ее к себе, во вторую комнату. Но что это за любовь — на глазах у семнадцатилетней девушки! И когда нашелся подходящий кооператив, профессор и Але приобрел отдельную квартиру, — однокомнатную.

Даша хорошо с ним жила. Можно сказать, счастливо. Родила сына Витьку, а когда он немного подрос, опять стала работать.

Отдыхали они втроем, ездили на новой машине в Крым, а больше в Прибалтику. Но не в респектабельных санаториях жили, как того хотелось Даше, а на турбазах Дома ученых, где-нибудь в лесу. Сдирая с лица паутину, нужно было чуть не на карачках лезть в палатку, страдать от комаров и сырости. Но почему-то так любили отдыхать даже некоторые академики. А однажды их соседом был известный гитарный поэт, тоже с новой семьей.

Умер Петр Васильевич три года назад, скоропостижно, едва выйдя из клиники. Подхватили, бегом понесли в реанимацию, но бесполезно, — от сердца, по сути, ничего не осталось... А Витьке уже двенадцать...

Дашей в течение многих лет постоянно владела смутная врожденная тяга к земле, страсть к саду, цветнику, огороду, но проявить, удовлетворить ее не удавалось — как раз из-за того, как они отдыхали, от отсутствия своего, пускай крохотного клочка земли.

Реализовала она это после смерти мужа — на его могиле.

Каждую субботу или воскресенье ездила она туда, за рулем «Лады», с лопатой, тяпкой, граблями, лейкой, с дополнительной рассадой. С хирургическими перчатками в сумке.

В дверь позвонили. Даша обтерла руки промереженным кухонным полотенцем и пошла открывать.

Мальчик был симпатичный. В синем тренировочном костюме, высокий, хорошо подстриженный. Но мальчик! Зато Алевтина расфуфырилась, вся светилась. Даша мельком с умилением посмотрела на нее.

Сели. Даша принесла из холодильника заиндевевшую бутылку «Пшеничной», протянула ему:

— Дима, откройте.

— Он не пьет, — тут же сказала Аля.

— Похвально. Я попросила только открыть.

— А может, он не умеет...

Дима открутил винтовую пробку, поставил бутылку.

— Значит, никак? — попросила подтверждения хозяйка. — Нет так нет.

— Я тоже, пожалуй, не буду, — скромно сказала Алевтина.

— Вот что значит благотворное влияние, — улыбнулась Даша. — Тогда я себе налью капельку. В знак знакомства. Гулять так гулять.

— Под такую-то закуску! — застонала Алька. — Ты попробуй, какие пирожки.

Дима ел, хвалил еду, улыбался и смотрел на хозяйку покровительственно-наивным взглядом. Он был подсознательно уверен, что нравится ей. Не как мужчина, — она-то уж совсем была стара для него, — а просто как пришедший в ее дом человек.

А она поглядывала на него с симпатией и спокойным любопытством. Она навидалась таких мальчиков, и женщин, и мужчин, она навидалась их в н у т р е н н е й с у т и. И в буквальном смысле тоже.

— Дима, — мягко сказала она. — Аля просила меня

порасспрашивать о каком-либо хорошем месте для вас. И вот знаете, что я подумала? Сейчас идет набор на курсы спортивных массажистов. Туда, правда, приглашают людей с медицинской подготовкой, но у вас, я думаю, свои преимущества. Вы спортсмен, мастер спорта...

— Кандидат.

— Неважно. У вас есть немалый опыт, вам делали массаж перед выступлением, во время соревнования и так далее. По-моему, стоящее дело.

— Соглашайся, Дима, — подхватила Аля. — Знаешь каких спортсменок будешь массировать!..

— Ну и реклама у тебя поставлена, сестрица, — не в силах сдержать смех, отвечала Даша. — Оригинальная.

— А что? Язык мой — враг мой?

— Спасибо, — сдержанно поблагодарил Дима. — Надо подумать...

Он давно рассматривал комнату. Настоящий интеллигентный кабинет. Масса книг. Фотография профессора на стене. Но, наверное, зря он в хирургическом одеянии, в халате и в шапочке, видно, перед операцией. Был бы просто так — в гражданском. Хотя такой, может быть, ей ближе. И хрусталя многовато...

— Вы думаете, почему так много хрусталя? — словно читая его мысли, внезапно спросила Даша. — Так вот, это лишь малая толика. Петр Васильевич все раздаривал. Исцеленные пациенты тащили потоком, невозможно было от них отделаться...

Но его занимал уже не хрусталь. На большом спящем телевизоре и на спинке дивана висели связанные из разноцветной шерсти коврики-салфеточки с затейливым изящным узором.

Сомнений не было. Точно такие же он видел у Прапора!

(«Приходящая няня»... «Замечательная, актуальная женщина»...)

Это же оперетта, водевиль: две пары, — старшая и младшая... — и по идее в конце обе счастливы. Но только по идее.

А Даша, не подозревая о его открытии, смотрела, как Алька припадает к Диминому плечу, и думала: «Когда они расстанутся, сестренка скажет презрительно: «Подумаешь, пришел в одних кроссовках!..»

Она любила Альку.

Холодно, льет дождь, кончается лето. В листве берез и лип резкие желтые пряди. По тротуару идет высокий парень в тонком плаще поверх спортивного костюма. На плече сумка, голова не покрыта. Парень слегка сутулится или, может быть, просто ежится от дождя. Он перешагивает и перепрыгивает через лужи, он никогда раньше не предполагал, что на московских тротуарах так много выбоин.

Скорее уже по привычке он, пригнув голову, входит в телефонную будку и набирает номер. По лицу его продолжают стекать капли дождя. На другом конце снимают трубку.

— Можно попросить Иру?

— Дима?

— Да, это я.

— На соревнования?

— Уже проиграл.

— Не поступил? — и после паузы: — Что думаешь делать?..

— Не знаю еще. Жениться, может быть...

Она смеется. Он ждет, что она спросит: «На мне?..»

Но она не спрашивает. Она говорит:

— А сейчас что делаешь? — и добавляет: — Мы с Колей вчера вернулись из отпуска. Может, придешь к нам обедать?..

За окном дождь. Аля, сбросив туфли, сидит с ногами на диване и слушает сестру. Говорят негромко — за стеной Витька.

На столе — заварочный чайник, сдвинутые чашки.

— Я же ничего против не имею. Но подумай. Тебе сколько сейчас? Считай, двадцать пять. А ему двадцать...

— Понимаю, что мальчик. Но нравится ужасно. Да я за него знаешь... И потом, больше бывает разница. Не устроен пока? Кормить его буду. А что? Не хватит, что ли?..

— Но где он, где? Мы вон уже почаёпили! (Петр Васильевич обожал это ее слово.)

— Придет, куда он денется!

— Не скажи, еще где-нибудь пристроится. Такие не пропадают...

...За окном кончается лето, идет дождь.

1986

ЛЕША

Кто хоть когда-нибудь был маленьким, помнит, как это прекрасно, когда рядом есть не только сверстники, но и старший, тем не менее по-человечески относящийся к тебе сосед. Не какой-нибудь маменькин сынок, что совершенно обесценивало бы его примерные качества, — напротив, человек известный и могущественный.

Леша был старше меня на шесть лет. Честно говоря, кому не случалось в жизни, даже не желая того, мимоходом, обидеть, унизить младшего и слабейшего! Леша принадлежал к числу редких натур, обладающих врожденным чувством справедливости. Он ни разу не щелкнул никого из нас, мелюзги, по затылку, не отогнал, не обозвал.

А между тем слава его была велика.

Он был вратарем заводской детской команды. Вижу его, высокого, гибкого, в желтом свитере и черных перчатках. Почему-то особенно ярко запомнилось, как он ставил мяч на угол вратарской и, повернувшись разбегаться, поднимал руку, — мне был тогда непонятен смысл этого жеста. Но именно с него я невольно стал замечать, кто как выбивает: один, согнувшись, прямо из-под ладони пасует защитнику, другой отходит в сторону, сразу давая выбивать беку, третий пятится в ворота, а потом сам резко бьет в поле. А самый знаменитый в моем детстве вратарь, поставив мяч, шел к штанге, обязательно поплевывая для чего-то в перчатки, затем поворачивался лицом к полю, ударял носком правой бутсы в землю и лишь тогда выбивал.

Это — с земли, но и с рук выбивали по-разному, однако не так далеко, как теперь, отчасти, вероятно, потому,

что не выходили к линии штрафной площади, а били с вратарской.

Благодаря Леше я и пристрастился к футболу, подражая ему, мечтал сделаться настоящим вратарем, но однажды утром забрел с ребятами на городской стадион, приблизился к воротам и ужаснулся их ширине, — можно было играть вдоль ворот, от штанги к штанге.

Когда я пошел в школу, Леша уже учился в седьмом. Разумеется, и здесь он был знаменитостью.

Я был достаточно самостоятелен, во дворе и на улице чувствовал себя вполне свободно, но школа меня ошеломила, это был совсем другой мир, я растерялся, потонул в нем, пока не опомнился, не пришел в себя, не выплыл. Подобное ощущение я испытал через много лет — в армии.

Иногда я подгадывал, чтобы выйти из дому вместе с Лешей, но он сразу уходил вперед, — для закалки бежал к школе бегом по нашим тихим переулочкам, вдоль дощатых замшелых заборов, а я, далеко отстав, плелся со своим портфелишком.

Как-то раз, пасмурным утром, еще не совсем проснувшись, я тащился по безлюдному узкому переулку с глухими заборами и заметил происходящее, лишь когда меня толкнули и сказали:

— Обожди!

На дороге стоял Рыжий с двумя приближенными. Это был действительно рыжий, густо заляпанный веснушками, довольно хилого вида малый из третьего класса. Я уже знал, что он всесилен и связываться с ним не стоит.

Неизвестный мне кудрявый мальчик, уже пропущенный через эту заставу, с полными слез глазами подбирал с грязной земли тетради. На очереди был мой одноклассник Славик, беленький, аккуратный. Я сделал попытку пройти, но один из свиты оттолкнул меня к забору.

Славик с живейшей готовностью, глядя на Рыжего преданно, почти радостно, сам скинул с плеч и раскрыл ранец. Рыжий задумчиво повертел на пальце целлулоидовый угольник и, видимо, решив, что пропажа такой ценной вещи может встревожить родителей Славика и побудить их к активному расследованию, сунул его обратно. Зато он ловко распаковал завернутые в вощеную бумагу два пышные ломтя булки с яблочным повидлом между ними, разъединил их, один зажал в зубах, пачкая щеки, а другой, кое-как замотав, бросил обратно в ранец. Он отпустил гордо сияющего Славика, обложив его постоянною данью: повелев половину домашних гостинцев ежедневно передавать ему, Рыжему.

Дело в том, что время тогда было голодное: карточки, — не военные, конечно, а те, что были раньше, — отменили их еще через год.

Теперь они взялись за меня. Рыжий уверенно, как к своему, потянулся к моему портфелю, но я, прижавшись спиной к забору, крепко держал за дужку, не отдавал. Он, несколько как бы удивившись, замахнулся на меня и, когда я отстранил голову, неожиданно ударил меня ногой и попал в колено.

И возмущенный его подлостью, ничуть не думая о последствиях, я резко выбросил вперед левую руку и прямым ударом, острыми костяшками, сам дивясь, как это ловко у меня получилось, дал ему по носу. Я даже испугался, но еще сильнее было пронзительно-радостное чувство: постоял за себя.

Рыжий зажал лицо ладонями, отвернулся, подождал несколько секунд и, нагнувшись, высморкался.

Потом они втроем бросились на меня.

Я стоял спиной к забору, это мне помогало, иначе они сразу сбили бы меня с ног. Но и так я не продержался бы больше минуты.

Меня спас сильный и властный окрик: «Ну, вы, сладили? Отставить!»

По проулку шагал рослый красноармеец в фуражке с малиновым кантом и даже с винтовкой на ремне, — над ней, тревожа синеватым отливом, торчал тонкий изящный штык.

Они отступились и быстро пошли к школе, я беспрепятственно — за ними.

На первом уроке меня колотило возбуждение, я ничего не понимал и не слышал и даже получил «неуд», впрочем тоже почти не заметив этого. При звонках на перемену я уже не первым выбегал в коридор, внимательно осматривался, ожидая нападения, но меня никто не трогал, и я постепенно успокоился.

В большую перемену был обед: учительница раздавала ломтики черного хлеба, из принесенного в класс бачка разливала по алюминиевым мискам вкусный гороховый суп. За наклонными партами есть было неудобно, но мы не жаловались. Я уже доедал, придерживая легкую миску, когда в класс прошмыгнул один мой знакомец, исключительно ценный человек: он всегда все знал, — кроме разве заданного урока.

— Тебя ждать сегодня будут, — прошелестел он мне в ухо и тут же исчез. И радость моя померкла.

Теперь я сидел, погруженный в уныние, с тоской размышляя о том, что меня ожидает, почти уже безразличный к собственной судьбе. И вдруг меня осенило, я едва не вскочил, хлопнув крышкой, и еле-еле дождался звонка. Не понимаю, как я сразу не догадался!

Сквозь привычное бурление и гвалт коридора я добрался до лестницы и не без робости поднялся на второй этаж. Нельзя сказать, чтобы здесь было тихо, но сразу чувствовалось, что это мир аристократов. Здесь учились старшие — пятые, шестые и даже — с е д ь м ы е! На лицах этой касты лежала высокая печать значительности и достоинства.

Я бочком двигался вдоль стенки, понимая всю незаконность своего здесь появления. Леша стоял у окна и разговаривал с девчонкой.

Конечно, я так подумал о ней только сгоряча, сначала, и то лишь для придания себе уверенности. Это была не девчонка, а Девушка. И сейчас я помню ее стройные матовые ноги, ее обтянутую белой кофточкой круглую

грудь. Она была хороша, да и не мог же он так стоять с кем попало.

Он разговаривал с ней очень внимательно, спокойно и просто, — как обычно с нами, — и смотрел на ее лицо. Я несколько раз прошел мимо них, а потом остановился рядом, — он все еще не замечал меня.

Протрещал звонок, и они, продолжая разговаривать, медленно пошли по коридору. Тогда я окликнул его:

— Леша!

Он с удивлением посмотрел на меня:

— Ты чего?

Я начал торопливо объяснять, но то ли я говорил бестолково, то ли он думал о другом, Леша ничего не понимал, и я уже отчаялся, когда он тряхнул волосами и сказал ей:

— Извини, тут важное дело. Я к тебе подойду.

Она улыбнулась нам и пошла, и он сразу меня понял.

— Я ему скажу. Хотя лучше выйдем вместе. У тебя всего четыре урока?

После занятий я нарочно вышел из класса в числе последних. Леша стоял на ступеньках.

— Ну, ты чего? — сказал он нетерпеливо. — Мне же еще возвращаться надо!

Мы зашагали. Сердце мое громко стучало. Больше всего я боялся, что их не окажется на месте и Леша усомнится в обоснованности моих волнений. Но они ждали. Я с удовлетворением отметил, что их не трое, как утром, а пятеро. Они выбрали место возле большой лужи, — мне, строптивому, готовилась жестокая расправа.

Мы приближались. Было видно, что они растерялись, не уверенные, вместе мы или нет.

— Вы чего тут, ребята? — спросил Леша, приостанавливаясь.

— Да так...

— Ждете, что ли, кого?

— Да нет, Леша...

— Ну, пошли, — кивнул он мне и положил на мое плечо свою длинную вратарскую руку.

На этом все и окончилось. Никогда потом у меня не было таких могущественных покровителей.

А наш беленький Славик на каждой большой перемене приносил Рыжему ломтик булки с повидлом. Однажды, когда того не было в школе, Славик растерянно бегал с этим бутербродом, заглядывал в разные двери, расспрашивал всех, где Рыжий, не встречался ли. Им двигал даже не страх, а радостная добросовестность, уважение к своим обязанностям, любовь к порядку.

1970

ВОСПОМИНАНИЕ О СПОРТЕ

Давно уже, лет шестнадцать назад, ехал ясным осенним вечером на футбол, вышел на голубой, перекинутой с берега на берег станции метро и еще раз с удовольствием увидал сквозь стеклянную стену ровную выцветшую чистоту неба. Я спустился вниз и сразу попал на территорию стадиона. Времени до начала было достаточно, но народу заметно прибывало, — тогда еще ходили на футбол всерьез, по-настоящему. Я неторопливо двигался по аллейке к своей Западной трибуне, оставив справа бассейн, а затем — огибая современный колизей Большой спортивной арены. На той стороне уже пестрели желтизной Ленинские горы, четко вырезанный на светлом небе, вздымался университет, ярко белела церквушка над обрывом. Стояли ранние, слабые сумерки — пора, когда над полем, где темнее от трибун, можно вскоре включать прожектора освещения. Публика шла уже совсем густо.

И тут, в начальных сумерках, нереально появилась навстречу движению толпы группа таинственных существ, резко возвышающихся над остальными. Толпа была им по грудь. Если бы шел один такой человек, это было бы естественно, объяснимо — ну, великан! — но их было десять или пятнадцать. Нужно сказать, что тогда не произошла еще последующая акселеративная вспышка, нет, средний рост мужчины-москвича, я хорошо помнил, составлял сто шестьдесят восемь сантиметров, и вдруг эти — за два метра — инопланетяне, избранники.

Конечно, я, и не один я, через мгновение уже догадался, что это сборная баскетбольная команда страны, возвращающаяся в гостиницу с тренировки на Малой

спортивной арене. Но все равно впечатление от той встречи в сумерках было ошеломительное.

Не так ли вообще возвышаются над толпой ее спортивные кумиры?

Но почему — воспоминание о спорте? Кто я такой? Что я могу вспомнить? Детство. Турничок во дворе, до которого еще трудно дотянуться, но подтянуться уже можно, и не раз. Школьный гимнастический «козел» с деревянным трамплином и матом-тюфячком. И — снег, трава, солнце. Скрип лыжонок, волшебный стук мяча. Ну, играл. Но что это был за уровень! Правда, бегал на 25 километров с полной выкладкой. Прыгал с парашютом. Но время было такое — война, армия.

И все-таки я участник. Ибо спорт, как всякое зрелище, немыслим без публики. Это — явление публичное. Да я последние деньги отдавал за билет, чтобы присутствовать при таинствах спорта. Можно на тренировках, прикидках превысить рекорд, но его не только не утвердят, но даже не примут к рассмотрению. Настоящий рекорд — только на соревнованиях, при зрителях, в борьбе.

Спорт, как и театр, при пустых трибунах и залах — нелеп и ужасен. Это его смерть. Нельзя с истинным вдохновением выступать на стадионе и в театре без зрителей, как бы ни был хорош и умел исполнитель. Писатель пишет, мучаясь и решая что-то для себя, наедине с самим собою. Но ему больно, если его книга не расходится. Это те же пустые трибуны. На литературном вечере, который просто плохо организован, тоже выступать обидно. Не пришли, потому что не знали? А если не захотели?

И только игра в ее высшем проявлении не требует чужого глаза: мальчишки, часами гоняющие мяч по лесной поляне...

Прежде на спортивных состязаниях, скажем, по хоккею или баскетболу, счетчики чистого времени показывали, сколько прошло минут и секунд от начала игры, то

есть, собственно, так, как нормально идет время. Теперь — большей частью — они сообщают не о том, сколько прошло, а о том, сколько осталось до конца. Удобнее: глянул — и все ясно. А если бы так в жизни?

Иной раз увлекся, не успел посмотреть, не заметил — и тут сирена. Конец.

1

В мае 1955 года в Центральном доме Советской Армии проходило людное совещание, посвященное военной теме в литературе. Потом смотрели специальный фильм, потом обедали в тамошнем офицерском ресторане и вышли наконец на площадь Коммуны — Твардовский, Луконин, Межиров и я, — еще не зная, что предпринять далее. И тут мы с Лукониным разом вспомнили, что сегодня на «Динамо» футбол — играет европейский, кажется венгерский, клуб с «Торпедо», — и предложили поехать. Что тут стало с Твардовским! — так и вижу его, высокого, чуть грузноватого, в сером габардиновом плаще. Он, язвительно усмехаясь, дал нам почувствовать, что попросту не понимает нас, что глубоко шокирован, что ему за нас стыдно. Мы, разумеется, не поехали — не хотели с ним расставаться. Он же продолжал нас презирать.

А, собственно, почему? Он уважал не только физическую работу, но и физические развлечения. Он недурно плавал, при каждом удобном случае старался искупаться, а однажды, о чем мне рассказывал Исаковский, умудрился сделать это на официальном загородном приеме. В войну, работая в редакции фронтовой газеты, он, по свидетельству очевидцев, с удовольствием боролся с желающими; а кроме того, знал толк в таких удалых играх, как бабки, городки. Футбол просто миновал его, он не понимал этой игры, не чувствовал и относился к ней, как к опасности, к подмене ею чего-то важного. Заблуждение многих.

А футбол на это не претендует, ему это не нужно. Он сам по себе.

Сидели когда-то с Ю. Трифоновым в кафе Дома литераторов и говорили, между прочим, и о футболе. Кто-то сказал: «О чем вы! Как вы можете?..»

Мы вежливо объяснили: «Это гораздо интереснее, чем говорить о ваших повестях и пьесах. Вот так...»

Я даже написал примерно в то время:

Вы нас пристрастьем этим не корите,
Оно вам чуждо — только и всего.
Хемингуэй привержен был корриде,
А вы же почитаете его.

Однажды — тоже очень давно — я случайно слышал рассказ писателя и журналиста С. о том, как он присутствовал на футбольном матче сборных СССР — ФРГ (август 1955 г.). С. — человек рафинированный, книжный, к футболу никакого отношения не имел и интереса не питал, но работал он тогда в «Литературной газете», а там еще сохранялся симоновский стиль — лучших сотрудников поощряли, в данный момент — билетами на футбол. С. был в числе лучших, а ажиотаж вокруг билетов столь чудовищен, что С. решил пойти. Он сел на трибуне среди незнакомых, вполне интеллигентного вида людей, игра началась, он попытался что-то понять и хотя бы следить за событиями, но скоро ему стало скучно, и он, по его выражению, отключился. Вдруг все, кроме него, разом вскочили с мест, и страшный ликующий рев потряс стадион и окрестности.

— Послушайте, — затеребил С. за рукав своего соседа. — Что случилось?

— Что случилось? — переспросил тот, переводя на него невидящий, горящий взгляд. — Что случилось?! Ах ты гад! — И продолжал, с душой, уже ни к кому не обращаясь: — А какие люди не попали!..

С. рассказывал об этом, пожимая плечами, как о забавном случае своей жизни, и слушали его с сочувствием. Я же не выдержал и сказал: «Вы знаете, ваш сосед совершенно прав. Только он был слишком мягок...»

А игру эту я помню, будто вчера была.

Западные немцы стали перед тем, впервые, чемпионами мира, а наши тоже чувствовали свою силу и хотели показать себя после неудачи на Олимпиаде пятьдесят второго года, о чем еще помнилось явственно и больно. Правда, команда была теперь совсем другая, от той, горемычной, после проигрыша остались только Башашкин, Нетто и Ильин. О немцах писали, подробно о каждом, выделяя их необыкновенные качества — запомнился обводящий стенку штрафной удар Фрица Вальтера. Стадион ломился от народа. Невозможно было дождаться начала. Но вот немцы пошли вперед, и впервые на наших трибунах залилась, поддерживая их, самоуверенная труба из машущей флагами интуристской пестрой гущи. Все внутренне так и ахнули. Она потом неустанно звучала всякий раз, как мяч попадал к немцам. Но вскоре ей пришлось замолчать. Паршин забил первый гол после передачи справа. Пожалуй, он единственный не был у нас футболистом-«звездой». Но он тогда з а б и в а л. И тут только все началось. Наши имели преимущество, наступали, но в безобидной ситуации пропустили. Кто-то пробил с угла штрафной. Яшин этот мяч спокойно брал, но Башашкин подставил ногу, и мяч рикошетом опустился в ворота за спиной вратаря. Бедолага Башашкин, один из лучших центральных защитников в нашем футболе, с ним несколько раз случалось в жизни подобное.

Мы все проходим через испытанья,
Как бы нарочно скрытые в судьбе.
Не только сквозь невзгоды и скитанья —
Сквозь разочарования в себе.

Почувствуй неудачу каждой порой.
И встань! Ведь ты сражен не наповал.
На свете нет защитника, который
В свои ворота гол не забивал.

Во втором тайме команда ФРГ провела второй гол. И произошло то, из-за чего этот матч до сих пор четко стоит в памяти всех, кто его видел. Начался штурм такого накала и страсти, что зрители словно тоже стали его участниками. Германская труба молчала. Немцы отбивались хладнокровно и организованно. Но крепкие нервы были тогда у наших ребятишек. Они атаковали не только яростно, но и разнообразно, и «железные» немцы почти неуловимо начали ошибаться. Эта захватывающая, не отпускающая ни на миг картина длилась минут пятнадцать или больше, пока дальний удар Масленкина, из категории тех, что принято называть пушечными, не достиг цели. Прекрасный был полузащитник Анатолий Масленкин. Жаль, что «Спартак», не имевший, еще с ухода Василия Соколова, полноценного центра защиты, переквалифицировал его в стопперы. Он и здесь играл хорошо, но он все-таки был прирожденным блестящим хавбеком. Пример зависимости судьбы игрока от интересов команды.

Счет стал 2:2, но всем было ясно, что он еще изменится.

Нужно сказать, что к тому времени уже гремел и потрясал воображение наш хоккей. Но общеизвестный ныне его клич-призыв «Шайбу!» еще не успел проникнуть в футбольный обиход. И вот здесь, чувствуя необходимость и потребность внести свою долю участия в победу, трибуны в едином порыве начали скандировать, стройно, словно это было отрепетировано: «Е-ще гол! Е-ще гол!..» Ни до этого, ни потом я никогда такого не слышал.

И команда в красных майках и белых трусах — именно команда — откликнулась, не могла не отозваться на эту просьбу, на этот зов. Последовала очередная верховая передача. Сальников пробил головой — редко кто у

нас играл головой, как он. Вратарь в другом углу. Гол? Нет, защитник, пластаясь в горизонтальном прыжке, тоже головой отбивает мяч с линии ворот. Вот это да! И тут же Ильин коротко бьет слева. Вратарь на земле, защитники лежат, а мяч в сетке. Талант Ильина — забивать именно такие, решающие, «золотые» голы. До него этим отличался Бобров, позже — Понедельник.

С этого матча люди расходились взволнованные, потрясенные, понимая, что присутствовали при проявлении высшего спортивного духа.

Был на той игре и Миша Луконин. При выходе, разделенные толпой, мы увидели друг друга и только сделали глазами нечто, означавшее: «Да-а, брат!..» Он знал и понимал футбол изнутри. До войны начинал играть за шумевший тогда сталинградский «Трактор», вместе с самим Александром Пономаревым. Подавал надежды, но стихи пересилили, взяли верх. Однако друзьями они остались на всю жизнь. Он вообще дружил с людьми спорта. Они чувствовали в нем своего. Он был близок и с другим великим спортсменом, боксером Николаем Королевым. Сейчас всех троих уже нет.

На даче у Луконина была оборудована спортивная площадка, было несколько хороших мячей. Мы с Винокуровым, давно когда-то, более двадцати лет назад, ездили к нему поиграть в футбол. Помню пустынную платформу Мичуринец, первую светлую зелень, тропинку через поле. Потом я стоял в воротах, а хозяин бил. Впрочем, бил и Винокуров и собравшиеся на звук мяча писательские дети, но всерьез бил только он. У него был тяжелый удар настоящего форварда. Обжигало ладони, больно было ногам, отбивавшим мяч, но я старался не показывать вида. Потом мы все шли к станции, с нами был еще его сын Сережа — как это все далеко!

В нем немало было от спортсмена — не только сила, не только эта площадка или две пары боксерских пер-

чаток, висевших на виду в его городской квартире, — от спортсмена в высоком смысле и понимании.

В 1939 году он записался добровольцем в студенческий лыжный батальон — на финскую. И Отечественную прошел от начала до конца, вырывался из окружения, был ранен и вернулся с довольно скромными наградами. Почему? Причин никаких, просто так получилось. Но он умел, как говорят боксеры, «держать удар». Потом у него была счастливая литературная судьба, но это качество характера пригождалось ему в периоды творческих кризисов и спадов.

И еще такая история. В начале 1971 года врачи обнаружили у него в легком неприятное затемнение, опухоль. Нужно было срочно ложиться на операцию. Он попросил день отсрочки, приехал в Переделкино прощаться. Был у Смелякова, зашел в Дом творчества. Держался он спокойно и естественно. «Ну что же, — говорил он, — грех жаловаться. Жизнь сложилась, судьба была...»

В последний момент перед операцией выяснилось, что диагноз оказался неверным, — это был след только что перенесенной на ногах пневмонии. И отмену приговора он тоже встретил спокойно, по-мужски, с достоинством. Умер он через пять лет, неожиданно для всех, от болезни сердца.

2

Почему людям искусства так близок спорт? Потому что спорт близок самому искусству. Он тоже зрелище, он тоже потрясает, он тоже не терпит неполной отдачи — только всего себя, до конца. Футбольная «выездная модель», заранее планирующая ничью на чужом поле, в дальнем результате к добру не приводит, развращает, разъедает команду. Известный спринтер, заканчивающий предварительные забеги с оглядкой, психологически не готов к борьбе в финале, где нельзя жалеть себя. А комментатор ликовал: «Он затрачивает ровно столько усилий, сколько нужно для выхода в следующий

круг, ни капли больше!» Может быть, стоило затратить и побольше. Мне по нраву титаны, борющиеся не только с соперником, но с обстоятельствами, случайностями, самими собой. То же в искусстве. Спорт в некотором роде пример, идеал, к сожалению, недостижимый — в смысле объективности оценки и результата. К нему тянешься. Татьяна Казанкина выиграла в Монреале две золотые олимпийские медали. Можно ли сказать, что не она лучшая на своих дистанциях? А в литературе — можно. История литературы полна подобными примерами.

Притягательная сила спорта — и в неизвестности конечного результата, в его неожиданности.

Лишь в видах, близких к искусству (фигурное катание, художественная гимнастика), могут доставлять удовольствие и показательные выступления — без нервов, без борьбы. Но все же это не то. Спорт требует, подразумевает столкновение характеров, честолюбия, упорство, стремление победить.

Когда зритель присутствует на спектакле по хорошо известной ему пьесе, он получает наслаждение благодаря постановке, режиссерскому решению и игре такой глубины и силы, которые заставляют воспринимать увиденное как бы первый раз. Похожее — при перечитывании любимых книг: внезапные открытия там, где ты, казалось, знаешь все насквозь.

Настоящий спорт — это всегда встреча с чем-то новым.

Казалось бы, типично городское, несерьезное развлечение. Но приезжаю в Дубулты, в писательский Дом творчества — сидят у телевизора Ф. Абрамов и С. Викулов, смотрят футбол, не оттянешь. В Переделкине зимой кто не пропускает ни одной хоккейной передачи? В. Астафьев, С. Крутилин. В чем дело? В истинности спортивных страстей.

А что делается с венгерскими писателями, когда они начинают вспоминать свою команду! А поляки... А болгары... Да что говорить!

Великие спортсмены! Во времена моей молодости такого определения не существовало, оно бы коробило, выглядело бы слишком сильным. Но ведь и здравствующих художников никто так не называл — великий.

Большие спортсмены. Пусть так. Но они были кумирами. Мы сами в глубине души безосновательно мечтали стать такими. И еще резала по сердцу заведомая, заданная кратковременность их полета.

Легко сказать: «Какие люди были! Глыбы! Как играли!..» Вам возразят: «Да сейчас играют лучше» — и, возможно, будут правы: как докажешь? Но ведь так же можно утверждать: и писатели сейчас лучше, и артисты... Это уже несколько смущает. Во всяком случае, каждый тогдашний игрок воспринимался как личность. Теперь «звезд» в игровых видах стало появляться меньше, и светить они стали короче. Если говорить, к примеру, о хоккее, то ясно, что после поколения Харламова, Третьяка, Петрова, Якушева, Мальцева уже несколько лет не появлялось мастеров столь выдающегося уровня и класса. Разве что Балдерис. Но ведь похожее и в поэзии, и в театре... И здесь существует своя закономерность, цикличность.

О былых игроках легенды ходили.

С левой он мячом ломает штанги,
С правой бить ему запрещено.

Это о Михаиле Бутусове. Но вот не легенда. Андрей Петрович Старостин — не кто-нибудь — говорил мне о Федотове: «Гришка-то? У него лапа вот такая была, на подъем весь мяч ложился...»

Восхищение одного большого спортсмена другим, младшим.

Пристрастие к той или иной команде. Жгучая, глубокая привязанность — до потрясения, до слез. Тайна этого.

Не люблю термин «болельщик». Какое-то ненастоящее словечко. Иное дело — болезнь. Высокая болезнь!

Итак, кто за кого? И по какой причине? Понятно, что киевляне, тбилисцы или ленинградцы — поклонники своих команд. Железнодорожники сочувствуют «Локомотиву», а, скажем, рабочие автозавода имени Лихачева, да и других автозаводов, предпочитают «Торпедо». Это ясно. По ведь в большинстве случаев спортивные симпатии трудно объяснимы, условны, и в то же время всесильность их поразительна. Артист-вахтанговец — приверженец «Спартака». Но почему именно «Спартака», какое он имеет к нему отношение? Однако принадлежать к какому-либо клану — обязательно. Давно известно, что, если вам говорят: «я болею за тех, кто проигрывает», или «за тех, кто выигрывает», или еще что-нибудь в таком же роде — перед вами дилетант.

Каждый знаток — сторонник определенной команды. Хотя, к примеру, в спортивной журналистике признаться в этом — значит проявить неэтичность, дурной тон. Другое дело, что одни более, а другие менее объективны.

Скажу о себе. Я давний поклонник армейской команды. Знавал вместе с нею и радостные годы, и обиды, и разочарования. И состав сменялся множество раз, и команда, по сути, другая, и что она мне, а вот не отпускает что-то, задевает, хоть и не так остро, как когда-то. Большинство почитателей этого клуба — люди военные или бывшие военные. Я отдал ей предпочтение еще до войны, когда туда перешел из «Металлурга» потрясший мое воображение Григорий Федотов. Любопытно, что я знаком с некоторыми футболистами и тренерами, но они, как правило, из других команд. У меня никогда не возникало потребности поехать в ту, «свою» команду. Из нее я знал лично, пожалуй, лишь покойного ныне превосходного полузащитника Александра Петрова, да и то знакомство с ним произошло случайно и естественно.

(Мне рассказывали, что когда за один из итальянских клубов выступал знаменитый аргентинец Сивори, то в

Италии образовалось общество или кружок его почитателей. Они собирались специально для того, чтобы поговорить о нем и его игре, посмаковать наиболее впечатляющие ситуации. Так вот, первым пунктом устава этого кружка значилось — никогда не приглашать на заседания самого Сивори и не встречаться с ним. Они боялись разочароваться в своем кумире.)

За ЦСКА (в прошлом ЦДКА) болеют многие мои друзья и знакомые. Ян Френкель почувствовал тягу и симпатию к команде в конце войны, но не только потому, что был солдатом, а благодаря поразительной игре молодого Боброва.

Критик Ал. Михайлов, вернувшись с войны домой, в Нарьян-Мар, был околдован игрой невиданного армейского клуба в художественном пересказе Вадима Синявского. Переехав в Москву, он стал и остался одним из ярых приверженцев команды, не пропуская почти ни одной ее игры и до сих пор доверчиво ожидая от нее былых радостей. В дни футбольного чемпионата мира 1966 года телевизионная трансляция матчей из Англии часто совпадала по времени с играми нашего внутреннего первенства. Разумеется, посещаемость стадионов резко упала: все сидели по домам и смотрели команды Англии, Бразилии, Португалии, ФРГ. Да и наша сборная выступала довольно успешно... Матч ЦСКА — «Торпедо» (Кутаиси) собрал 500 зрителей. 498 из них были уроженцы солнечной Грузии. Двое — Ал. Михайлов с сыном.

Критик Евгений Сидоров получил кровную привязанность к ЦДКА в наследство от отца, возившего мальчика в переполненном трамвае на «Динамо».

Роберт Рождественский — тоже, у того отец был военный.

А вот Евгений Евтушенко — давний сторонник московского «Динамо». Почему — не знаю. Ведь он сам гонял когда-то мяч на 4-й Мещанской вместе с будущим спартаковским капитаном Игорем Нетто.

Андрей Вознесенский интересуется главным образом международными встречами.

Булат Окуджава — за тбилисцев (как грузин), за московский «Спартак» (как довоенный арбатский мальчишка). Есть у него и другие симпатии.

Евгений Винокуров тоже вырос возле Арбата и тоже болел за «Спартак» («за тот «Спартак»). Теперь к футболу равнодушен.

Юрий Трифонов жил в середине пятидесятых на Верхней Масловке, возле стадиона «Динамо». Начал ходить туда. Прибаливал (футбольный жаргон) за ЦДКА по личным мотивам, тоже из-за Боброва. На трибуне познакомился с закоренелыми «спартаковцами»: А. Арбузовым, И. Штоком, начинающим тогда статистиком футбола К. Есениным. Они убедили его в том, что «Спартак» лучше. Редкий случай, Михаил Луконин до войны сам выступал за сталинградский «Трактор». В дальнейшем не отдал сердце ни одной из команд. Лишь выделял московское «Торпедо», пока там играл Александр Пономарев.

Да, писатели и артисты в большинстве своем ярые приверженцы спорта, и не только у нас в стране. У артистов это более заметно, ибо театр — коллектив и, как правило, сторонник одной команды. Быть не со всеми не рекомендуется. Публика, сидящая в зале, не подозревает, что за кулисами зачастую включен телевизор (тс-с-с!) и артисты не только в антракте, но и, освободившись по ходу действия на несколько минут, в костюмах, в гриме, смотрят, переживают, но о роли не забывают, характер «держат» — сигнал помрежа, и они вновь на сцене. Это в театре, или, как они сами говорят, н а т е а т р е, — чисто специальное, профессиональное выражение, вроде н а ф л о т е — не стоит пытаться применять его широко. Твардовский всегда говорил и писал только «во флоте». Но это к слову.

Спортсмены схожи с артистами прежде всего тем, что и здесь самое важное, каковы они в деле. На вечере в Доме кино, посвященном присвоению почетных званий группе артистов, среди прочих выступал с поздравлени-

ями большой актер и разочаровал присутствующих претенциозной поверхностной речью. Видя мое недоумение, Марк Бернес тогда сказал: «Ничего. Умного он, если нужно, сыграет...»

Конечно, очевидна близость спорта к видам искусства, требующим высокого физического напряжения, — балету или другой исполнительской деятельности с таким же безжалостным тренингом. А театральные репетиции, помимо спектаклей! А проза!.. Выносливость, сохранение дыхания на длинной дистанции. Вспомните, по скольку часов в сутки работали классики.

3

Но откуда все-таки эта тяга, скажем, артистов к известным спортсменам? Ведь они сами знаменитости, и, таким образом, отпадает распространенное стремление к общению со «звездой». Это нежность к неконкурирующим собратьям и смутное сожаление — и к себе тоже, — что грозное время скоро заменит их другими. Превратности судьбы. Игрок, которого «не ставят». Недели на скамье запасных. Да что недели — сезон, два! Актер, играющий «кушать подано», но знающий назубок все роли и дождавшийся своего часа. И в спорте — основной заболел, травмирован, еще один, полуосновной, тоже не может, сник, скис, в семье беда, жена уходит. У тренера выбора нет — ставит запасного. Тот забивает, решает исход встречи, закрепляется в составе, приглашен в сборную. И в театре — триумф, овации, цветы, рецензии. А если не будет такого счастливого, рождественского стечения обстоятельств? Актер с годами еще сыграет хотя бы роль отца и деда. А футболист? К тому же в театре не одна игра в неделю — много спектаклей.

Но есть и другие причины такой взаимной тяги — причины более высокого порядка. Юрий Карлович Олеша и Михаил Михайлович Яншин близко дружили с Андреем Петровичем Старостиным. Но это не была дружба выдающихся писателя и артиста с выдающимся

спортсменом, это была дружба выдающихся людей. Андрей Старостин, один из славной фамильной когорты, довоенный капитан «Спартака» и сборной страны, — блестящая личность. Он образован, знает литературу, языки, прекрасно пишет. Он естествен, изящен, красив. До войны у него было прозвище: «Лорд». Как-то он сказал мне о своих повседневных делах: «Все погибло, Константин Яковлевич!» «То есть как?» — не поверил я. Он с видимым удовольствием пояснил: «Кроме чести».

Это его присказка. Потом я не раз слышал ее от него. Он действительно человек чести.

Что футбол! Золотая крупица
Той действительно общей игры,
Что в мирах, завихряясь, клубится,
Что вбирает и нас до поры.

Да, мне нравится, как Вы живете,
Широко — как цыган, как игрок.
Как в поэме на самом разлете,
Где немало еще между строк.

Выделяясь из лучшего ряда,
Доверяясь не всяким словам.
И поэтому искренне радо
Сердце, если случается Вам
Прирожденной походкой ковбоя
В старый клуб ненароком войти,
Обжигая собою, судьбою
Не нарочно, а лишь по пути.

С дорогим сотоварищем вместе
В уголочке устроиться здесь,
«Все погибло, — сказать, — кроме чести».
Кроме чести! — и в этом Вы весь.

Есть известный фильм «Подкидыш», где по ходу действия несколько раз теряется маленькая девочка. И там есть сцена встречи футболистов на вокзале. Так вот, раньше на подножке подходящего к перрону поезда стояли Андрей Старостин и его одноклубник Станислав Леута — не актеры, а самые настоящие, для достоверно-

сти, на волне своей славы. Потом эти кадры выпали и затерялись. А тогда я, мальчишкой, несколько раз ходил на эту картину, чтобы только увидеть их. И до сих пор, когда она иногда демонстрируется по телевидению, я смотрю во все глаза, боясь пропустить — вдруг они появятся! А тот поезд все подходит и подходит к перрону.

Как и в искусстве, в спорте огромна и всепобеждающа роль влияния старшего, мастера, кумира, метра — влияния на собственную манеру новичка, но самое важное — на его мировоззрение, характер, личность. Разумеется, главное — не потеряться в подражателях, таких большинство, а найти себя. Играя рядом с большими талантами — и на сцене и на поле, — расцвели и обрели себя многие. Это необходимо всем. Даже Пушкину. «Старик Державин нас заметил...» Но истинные гении уже в ранней молодости сами поражают стариков.

Любопытно традиционное наличие в большом спорте «семейственности», династичности. Братья Старостины, Знаменские, Пайчадзе, Дементьевы, Джеджелава, Пономаревы, Майоровы, Рагулины. Братья Жарковы, Сырцовы, Голиковы, Муратовы, Братья Чарльтоны, Вальтеры, Маховличи, Эспозито. Сестры Пресс.

Что-то есть в этом домашнее, трогательное. Правда, всегда один из родственников сильнее — не обязательно старший, — затмевает другого, но ничего, обид не бывает, дело семейное.

Многочисленны примеры вновь создаваемых спортивных семей, когда муж и жена — выдающиеся спортсмены. Бывает, что они даже вместе выступают — фигурное катание.

И еще, разумеется, отцы и дети. Сбывшаяся мечта, поддержание фамильной марки, фирмы. Чаще всего это боковые ветви, в другие виды. Но есть и прямое наследование: в футболе — Федотовы, Маццола, Артемьевы.

Всегда сильна эта преемственность была в театре, в цирке. Иной театральный род длится чуть ли не веками.

А в литературе? Нет, здесь дело более индивидуальное, штучное. Братья Гонкуры? Дюма — отец и сын? Сейчас в Литературном институте учится немало писательских детей. В наше время такого не было. «Как не было? — напомнили мне тут же. — А Расул?..» Точно, Расул Гамзатов — сын Гамзата Цадаса. Это все знают, но не всякий раз вспоминают, когда речь идет о Расуле. Или есть отличный журналист Тимур Гайдар, военный моряк и международник. Я тоже близко с ним знаком. Он не только сын Аркадия Гайдара, но и, если угодно, литературный персонаж, главный герой повести «Тимур и его команда». Так вот, общаясь с ним, я никогда не думаю об этом, он для меня Тимур Гайдар — сам по себе, и только. Вероятно, для того чтобы тебя воспринимали подобным образом, нужно быть незаурядной человеческой личностью.

Мне странно видеть людей моего возраста, совершенно не умеющих обращаться с мячом, шарахающихся от него или комично пытающихся ударить рукой или ногой и, конечно, промахивающихся. Откуда они? Где они были в детстве? У меня к ним чувство, смутно, отдаленно похожее на отношение к сверстникам, не бывшим в армии. Тоже дико.

Такова сила спорта...

4

После войны стадион «Динамо» был тем объединяющим местом Москвы, куда бросились жадно, изголодавшись, соскучившись. На футбол ходила «вся Москва». Это было принято, хороший тон, но это прежде всего было увлекательно. Это играло немалую роль в жизни. Рядовые матчи делали полные сборы. Ходили, как в театр, нарядные, с женщинами. И до сих пор осталось — к со-

жалению, только в памяти — радостное ощущение волнения, приподнятости не только от самой игры, но и от всего, что ее сопровождает. Объявления, как на вокзале, и по делу (составы команд) и вполне житейские, вызывающие всеобщее добродушное сочувствие («Витя Иванов, четырех лет, ждет своих родителей в комендатуре стадиона»). Синхронное возбуждение трибун, неожиданные клубы табачного дыма, наплывающие из полутьмы, как туман, — все взволнованы. Погромыхивание вдали, первые капли дождя, холод, непогода — ничто не могло помешать, распугать.

Ходили и на бокс. Чемпионаты страны устраивались чаще всего в цирке на Цветном бульваре. Вижу внизу, на арене, ярко освещенный ринг: в его канатах плотный бритоголовый Королев — после медведевского партизанского отряда, ранения — и танцующий вокруг него стройный, юный Шоцикас. Личности!

Я знаю двух поэтов, утверждавших в те годы, что они были — еще раньше — сильными боксерами. Но достаточно взглянуть на их переносья, и вам тут же станет ясно, что их никогда не касалась рука человека. Или они гении бокса или, мягко говоря, фантазеры. Но ведь зачем-то им это нужно! Возвышает в собственных глазах, льстит самолюбию больше, чем эпитеты и рифмы.

Честно говоря, с годами я остыл к боксу (теперешние комментаторы сказали бы «подостыл»). Глубокий нокаут действует неприятно — не только на пострадавшего, но и на меня теперешнего. А когда-то это только восхищало.

Но и на стадионе бывали другие летние соревнования. Я не говорю сейчас о волейболе или баскетболе, речь идет о видах, живущих на большой арене, рядом с футболом. Они придавали посещению стадиона особую, дополнительную прелесть.

В нашей стране нет специально футбольных стадионов. Но беговая дорожка используется сейчас слишком редко и изолированно. А ведь это прекрасно — красная дорожка вокруг зеленого поля! Это символ нашего стадиона.

Когда-то в дни больших матчей дорожка не пустовала — и после игры и даже в коротком перерыве между таймами. Помню, именно в перерыве встречи «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Ленинград) Николай Каракулов установил новый всесоюзный рекорд в беге на 100 метров — 10,4 секунды. Прежний принадлежал Головкину — 10,6. Головкин участвовал и в этом забеге и показал 10,5. Несколько десятков тысяч человек присутствовало при сем. Состязания по легкой атлетике такое количество народа собрать тогда не могли. Впрочем, футбольные знатоки и ценители, как правило, знатоки и всего спорта.

Всегда сопровождали футбол и велогонки с выбыванием — короткие, увлекательные, напряженные заезды. Условие: после каждого круга выбывает последний из гонщиков. Учитывая одинаково высокий класс участников, кучность результатов, трудно было догадаться, кто же станет победителем. А участвовали, не чинясь, действительно лучшие. Тогда сильнейшие велогонщики неожиданно оказались в составе спортивного клуба ВВС и неизменно выигрывали все призы и состязания. Популярной была ежегодная гонка по Садовому кольцу. Она проходила утром, а потом, опять же в перерыве между таймами, на стадионе чествовали победителей. Участвовали в этом соревновании и велогонщики из других городов. И вот, как гром среди ясного неба, объективно бесстрастное объявление по переполненному стадиону о том, что гонку выиграл ленинградец Родислав Чижиков. Появляются, придерживая могучими руками свои легкие машины, победители в командном зачете — гонщики ВВС в желто-голубых полосатых майках, облитые шоколадным загаром ранних южных сборов, а впереди худенький белотелый победитель, катящий велосипед и — с трудом — свой первый приз — мощный гоночный мотоцикл. «Хоть бы помогли!» — сказал кто-то на трибуне. Через короткое время Чижиков тоже стал

членом этого спортивного общества. В дальнейшем он долго еще был гонщиком экстра-класса.

Возникли и футбольная и хоккейная команды ВВС. Они неожиданно как бы выделились из могучей сферы ЦДКА и вобрали в себя несколько ярчайших «звезд» армейцев. Конечно, среди них не было Федотова. Но среди них был Бобров. Сам Всеволод Бобров, сам «Бобер» возглавил команду «летчиков»! Я присутствовал при первой встрече ЦДКА — ВВС. Тогда еще практиковалось иногда запускать по два матча в вечер: первый не очень значительный, а второй гвоздевой, вот этот. Большинство твердо предрекало победу армейцам. Но были и уверенные в ином исходе и даже предсказывавшие счет. Меня всегда поражало не только самое наличие, но и количество пророков, оракулов в футболе, диагностов, делавших смелейшие, казалось бы, нелепые, но часто оправдывающиеся прогнозы. Конечно, новоявленная, искусственно собранная команда особенно не блистала, но выигрывала немало и крупно. В том числе и в первом престижном матче. 3:0 выиграли ВВС. Это было нелепо, неправдоподобно, нереально, но это было. Они отдали все. Помню, как недавний «цэдэковец» полузащитник, «пятерка», Виноградов бросился под сильнейший удар и не дал забить. Продолжать встречу он не смог; его унесли с поля. Это был уже типично хоккейный прием. Виноградов стал одним из первых и лучших защитников нашего хоккея. Он играл вместе с Бобровым, Шуваловым, Бабичем.

Перед этим погибла в авиакатастрофе под Свердловском хоккейная команда ВВС. Ходили слухи, что «Бобер» по случайности опоздал к самолету. Среди погибших были замечательные спортсмены. Как все-таки часто вынуждены перемещаться в воздушном пространстве команды игровых видов спорта, и прежде всего футболисты и хоккеисты! Календарь плотен, на поезде не успеешь. И случаются трагические неудачи. Разбился итальянский «Торино» и в его составе Маццола-старший, Валентино; упал самолет с «Манчестер Юнайтед» — среди нескольких уцелевших был молодой Бобби Чарльтон. Но — удивительно и прекрасно — наперекор смерти и как бы в память о погибших эти команды возрождались и становились сильнее прежних. Возникла и новая команда Военно-Воздушных Сил. Она просуществовала недолго и вновь влилась в свою alma mater, в родной ЦДКА, но она осталась в истории нашего хоккея прежде всего благодаря Боброву и его товарищам.

5

Наполняются трибуны, набирается толпа, объединенная общим чувством предвкушения прекрасного зрелища, готовая к потрясению спортом. Ищут свои места, рассаживаются. Заливает крутые скаты трибун яркими красками летом и одной — черно-серой — поздней осенью. Протискиваются, путаясь и ошибаясь, опоздавшие. Впрочем, почему опоздавшие? До начала еще пятнадцать минут.

Всеобщий вздох: выходят команды. Краткий испуг: вдруг нет кого-то, без кого нельзя, немыслимо. Нет, все в наличии. Идут неторопливо, буднично, катя перед собой мячи. Прежде не было номеров на майках, но узнавали и знали всех — они так непохожи! Артистам же не нужно на спину номеров!

Как можно спутать Гринина, Николаева, Федотова, Боброва, Демина, Кочеткова, Гомеса, Соколова, Бескова, Карцева, Трофимова, Соловьевых, Пономарева, Нетто, Симоняна, Сальникова, Дементьевых! Тогда и ходить сюда не стоит.

Они начинают перекидываться мячами, бьют по воротам. Кое-кто называет это тренировкой — ну что вы, это разминка, они разогреваются, разминаются. Мы смотрим, пытаясь охватить всех.

Гудит гонг — теперь его давно уже нет в футболе. Они покидают поле, но не уходят совсем — вон они там, вдали, у туннеля, за бровкой, обе команды вместе. Появляются судьи. Сколько зависит от них, и прежде всего в

боксе, гимнастике, фигурном катании! Но и в футболе тоже. Однако почему на них трусы, гетры, бутсы? Разве они собираются играть? Нет, конечно, но это подчеркивает их близость к игре, они тоже в ней участвуют. Впрочем, случалось видеть судей и в шароварах и в тапочках.

Выходят главный арбитр и два его ассистента, помощника, в недавнем просторечии «махалы», с флагами.

Высшим авторитетом в нашем послевоенном судействе был Николай Латышев. Ошибался ли он? Вероятно. Даже можно вспомнить официально удовлетворенные протесты команд, переигровки. Но это был арбитр исключительного понимания игры, объективности, благородства. Какая-либо предвзятость казалась попросту невозможной. Он, как и другие, судил москвичей с иногородними — это никого не смущало. Теперь судейская бригада должна быть обязательно нейтральной по месту жительства.

Футбольному рефери нелегко: он должен поспевать за игрой, а ритм футбола все учащается. Но обратите внимание — если судит настоящий арбитр, вы его не замечаете, и вдруг остановка, нарушение, а он каким-то непостижимым образом именно там, рядом с происшествием. И так всякий раз. Очень важны его решительность, реакция. На чемпионате мира 1966 года в финальном матче на Уэмбли наш боковой судья Тофик Бахрамов зафиксировал взятие англичанами немецких ворот. А случай был ответственнейший, требующий предельной внимательности: мяч ударился в землю уже в воротах, но едва за линией и выскочил обратно в поле. Многие усомнились. Видеозаписи, телеповтора тогда не существовало. Правильность решения Бахрамова документально подтвердилась лишь вечером, после проявления кинопленки.

Строгость футбольных наказаний с каждым годом усиливается. Желтая карточка предупреждения взлетает в руке судьи, казалось бы, за пустячные прегрешения: затяжку с вбрасыванием из аута, умышленную игру рукой, слишком близкую защитную «стенку». При повторении — красная карточка — удаление. Сколько страдали наши команды от чужих судей только потому, что привыкли к попустительству своих!

Строгое, но справедливое судейство публика уважает. Она не терпит растерянности судьи, его неспособности управлять игрой, следующие отсюда новые ошибки. Тогда и звучит — звучал! — тот условный, но такой уничижительный возглас: «Судью на мыло!» — стадионный фольклор, пришедший с улицы, с толкучки конца 20-х — начала 30-х годов. В Италии презрение к слабому, по мнению трибун, судье выражается интеллигентней, ироничней: «Судью к телефону!..» Но суть одна и та же.

Однако собственная власть судей не всегда достаточна, чтобы пресечь злоупотребления. Требуются более решительные меры и в первую очередь изменения в правилах.

За последние годы мы стали свидетелями весьма смелых нововведений — в волейболе, баскетболе, хоккее. Так, в хоккее оштрафованная на две минуты команда не имела права производить проброс шайбы к противоположному лицевому борту, в подобных случаях шайба, как обычно, возвращалась для вбрасывания в зону защищающихся. Истинное искусство заключалось в том, чтобы суметь выбросить шайбу, но не до линии ворот противника. И еще — оштрафованный не выходил после реализации численного большинства, время наказания продолжалось — как сейчас при пятиминутном штрафе.

Менее всего коснулись изменения футбола.

Увеличение ширины и высоты ворот на величину диаметра футбольного мяча, отнесение отметки пенальти еще на один метр — эти предложения трудно даже назвать проектами и вряд ли можно представить их принятыми, хотя исходят они от весьма авторитетных лиц. Впрочем, кто знает!

По-настоящему — при нас — укоренилось лишь одно новшество: наказание за задержку игры вратарем. Сей-

час даже странно вспомнить, как совсем еще недавно тянули время голкиперы выигрывающей команды. Вратарь, не выпуская мяча, долго не вставал с земли. Затем наконец поднимался и начинал кружить по штрафной, ударяя мяч о землю или подбрасывая его в воздух и вновь ловя. Здесь тоже были свои мастера и умельцы. Наконец это было пресечено правилами: вратарь может не расставаться с мячом не более четырех секунд, может сделать с ним, даже ударяя его о землю, не более четырех шагов. Это навело страх, возымело действие. Стадион хором считал шаги: «Раз, два, три, четыре!..» Судьи были безжалостны: лишний шаг — свисток, свободный удар в сторону ворот, с нескольких метров. Теперь, когда вратари не затягивают время, острота расплаты сгладилась, судьи не так строги и смотрят сквозь пальцы на лишний шаг — результат достигнут.

Зато в другом случае судьи стали проявлять явную терпимость. В середине пятидесятых в матче «Спартак» — «Динамо» Хлопотин назначил пенальти в ворота Яшина. Остальные игроки покинули штрафную, Сальников установил мяч, затем подошел к судье, о чем-то коротко поговорил с ним, вернулся к одиннадцатиметровой отметке, пробил и попал в штангу. Защитники подоспели первыми и выбили мяч за границы поля. Динамовские сторонники ликовали, спартаковские печалились. Однако Хлопотин четко указал: перебить. Что тут началось! Игроки окружили судью, размахивали руками. Один Сальников спокойно стоял в штрафной. Страсти улеглись, он опять установил мяч и на этот раз забил гол. Публика недоумевала: почему били дважды, в чем было нарушение? Разъяснилось это позже: Яшин сходил с места, бросался до удара, что запрещается правилами. Заметив за ним этот пробел, Сальников заранее обратил внимание Хлопотина на возможность такой ошибки.

И пошло! Судьи назначали перебивку, когда вратари чисто брали или блестяще парировали труднейшие одиннадцатиметровые. Постепенно и эта полоса миновала, и судьи стали совершенно равнодушны к смещениям вратарей до удара. Просто диву даешься. Особенно заметны эти вратарские вольности при замедленном повторе: иной до удара не только сходит с места, но весь отрывается от земли. Я, грешным делом, даже думал, не отменена ли эта строгость, не сделано ли хоть небольшое послабление. Ведь тяжело, ох как тяжело вратарю, которому бьют пенальти! Может быть, это — подсознательное стремление судей к справедливости?

6

Судья, стоя в центре, берет свисток-сирену в рот и протяжно свистит — вызывает команды. И они выходят вновь — преображенные, подтянутые, готовые ко всему. Впереди капитан с повязкой выше локтя, за ним вратарь, а дальше в особом своем порядке, по росту или чаще всего в том счастливом для команды варианте, который, как было замечено, приносил удачу. Пожимание рук, разыгрывание ворот: монета вверх — орел или решка. А тем временем выбегают поклонники с цветами. Раньше — на «Динамо» — их пропускали беспрепятственно, теперь выйти постороннему на поле почти невозможно. Вручают цветы выборочно, своим любимцам, и рвут через поле обратно на трибуну — это был обязательный ритуал, так же как и голуби, бросаемые в небо после каждого, особенно первого, гола своей команды. Ворота разыграны, цветы отдают вратарю, он кладет этот общий букет около штанги. И новый свисток — начали.

Я вот сейчас вспоминаю этих людей — не только самых знаменитых — и думаю об образе каждого из них. Было ощущение их прочности, основательности, незыблемости. Казалось, они будут играть вечно. Разумеется, это сопровождает только лучших, избранных. Действительно, почему Пеле, Беккенбауэр, Круифф, Чарльтон годами играли на своем уровне, а иные наши «звезды» на следующий год после взлета и признания уже неузнаваемы, не те? Главная сила профессионалов в спорте

заключается в том, что они подходят к делу именно профессионально — в смысле класса и ответственности, не позволяя себе послаблений. Они профессионалы независимо от статута. Яркий пример — хоккеисты Канады. Не обязательно «профи» из НХЛ и ВХА, но и любители и юниоры борются в любых условиях и ситуациях до конца и порою забивают решающую шайбу за секунду до сирены. Эти качества очень были присущи и нашим!

Следом за командами или одновременно выходят тренеры, невидимые постороннему глазу. Садятся на своих скамейках, рядом с помощниками, запасными, врачом. Пытаются скрыть волнение, курят. Когда-то они приходили на игру, как на тренировку, в спортивном костюме. Теперь стиль изменился: белая сорочка, модный галстук. Телекамера время от времени «берет» их — поочередно, той и другой команды. Многих мы знаем давно, видели на поле. И хотя признано, что выдающийся игрок не обязательно тренер, мы не можем не вспомнить: Бесков, Николаев, Бобров, Симонян, Иванов...

Судьба тренера. Я не говорю здесь о разнообразных аспектах их жизни — об отношениях с руководством обществ, о непрочности положения, о непрерывно давящем прессе требований высокого места, о тяготах, мелочах подготовки, отсутствии баз и полей. Наконец, о сложности и напряжении самого тренировочного процесса, об умении быть понятым командой. Один драматург недавно сказал мне о режиссере, ставящем его пьесу: «Думающий режиссер!..» Власть штампа. Еще не хватало, чтобы режиссер был недумающий. То же и здесь — говорят: вдумчивый тренер!

Я опускаю это и многое другое и оставляю только одно — игру. Вы видели на телевизионном экране бледного Валентина Иванова, жадно и беспрерывно затягивающегося сигаретой? Передавали матч киевлян на европейский кубок, и операторы показали — за миг перед

тем, как Колотов бьет одиннадцатиметровый, — Лобановского, прикрывшего ладонью глаза.

Или передача второго, дополнительного матча из Ташкента в 1970 году. ЦСКА — московское «Динамо». Накануне — 0:0. Дударенко открывает счет, но затем динамовцы проводят три мяча подряд. До конца игры девятнадцать минут. Бесков и Яшин в твидовых пальто, первый сдержанно-благодушно курит, второй в радостном нетерпении потирает руки: все! И вдруг Володя Федотов забивает гол. 3:2! И тут же, через несколько минут, его сносят в штрафной площади. Пенальти. Резко вскакивает со скамьи тренер армейцев — Николаев. Кто будет бить? Как всегда, Поликарпов. Но забьет ли? Страшный для обеих сторон момент. Поликарпов забивает. А за пять минут до конца мяч — после удара Федотова — непостижимым образом, от случайной неровности поля, перепрыгивает через упавшего Пильгуя. Вот вам двадцать минут в жизни тренера. И не одного — обоих. Думаю, что оба они потратили здесь куда больше нервной энергии, чем в не менее трагическом матче 1948 года, где оба они участвовали, как игроки, в матче с автоголом Кочеткова и решающим мячом Боброва перед самым концом. Шрам от той игры тоже остался в их памяти и душе навсегда, но от этой — глубже, острее. Да и старше стали на двадцать два года — это тоже надо учитывать.

Помнятся игры, помнится главное в них — голы. Но вот мне не раз приходилось встречаться с интереснейшим явлением: многие футболисты с годами забывают, кому и когда они забили тот или иной гол, зато как и при каких обстоятельствах — помнят твердо. Зритель зачастую знает формальную сторону дела лучше их самих. Однако я тоже не могу восстановить сейчас по памяти, в чьи ворота забил в конце сороковых свой знаменитый, классический, хрестоматийный гол Валентин Николаев, хотя при этом присутствовал. Гол головой, в смелом

низовом прыжке «рыбкой». Да и какое, в сущности, это имеет значение. Гораздо важнее, что его запомнили, а в последние годы этот прием все чаще стали исполнять те, кого тогда еще не было на свете, — Блохин, Буряк, Колотов.

Многие голы остались все-таки в памяти навсегда, в подробностях. Мяч, забитый в падении, через себя, Пономаревым Хомичу. Непонятно было, как такой грузный, тяжелый центр-таран сумел так быстро и ловко развернуться во вратарской площади.

Или тоже «Торпедо» — «Динамо» (Москва), но гораздо позднее. Стрельцов подхватил мяч в середине поля и рванулся вперед. Он шел очень мощно и в то же время как бы зигзагами, перекладывая мяч то вправо, то влево. Крижевский бежал параллельно, чуть впереди и почти боком, не решаясь выбрать момент для атаки. Наконец он отважился и бросился в ноги Стрельцову, пытаясь поймать мяч руками (у него была хорошая прыгучесть, и в те времена, когда замена выбывшего вратаря в официальных международных матчах запрещалась, он на всякий случай готовился и на эту роль). Но Стрельцов мгновенно ушел в сторону. Выбежавший из ворот Яшин попытался отбить мяч ногой, Стрельцов обвел и его и спокойно вкатил мяч в сетку.

Гол Понедельника шведам в 1963 году, в официальной игре на первенство Европы. Шведы тогда были сильны, за них выступал один из лучших футболистов континента — К. Хамрин. В Стокгольме ничья — 1:1. Ответный матч в Лужниках. К этому моменту наши вели — 2:1, счет достаточно «скользкий». Понедельник пробил издали, с места левого инсайда. Получилось так, что я сидел точно в фарватере этого удара и сразу понял, что будет гол. Было видно, что мяч идет в ворота левей голкипера и, пробитый с подрезкой, все более отклоняется влево и вверх, в самый угол. Туда он и вонзился.

Чего только не бывает! Игра с венграми, опять же на первенство Европы. В Будапеште наши проигрывают 0:2, в Москве — никто не верил! — побеждают 3:0... Нарушение. Наши бьют слева, вблизи угла штрафной площади. Воронин ставит мяч, но потом оставляет, бежит вперед. Перед воротами чуть не полностью обе команды. Бьет Хурцилава. Он несильно навешивает мяч на ворота. Все стерегут друг друга, а мяч планирует в сетку. Вратарь в последний момент бросается, но уже поздно. Конечно, этот казус следует объяснить растерянностью венгров, не ожидавших от наших такой мощной игры в Москве.

А неоднократно повторенный по всем телеканалам мира показательный гол Блохина в ворота мюнхенской «Баварии», гол, поставивший точку в споре, кто же лучший футболист Европы-75. Блохин, пройдя по левому краю, несколькими движениями раскидал всю знаменитую защиту немцев и пробил в угол, мимо вратаря Майера.

Это всего лишь несколько из запомнившихся, украшающих футбол мячей. Каждый зритель со стажем хранит в памяти свою коллекцию лучших забитых голов. Разумеется, экспонаты этих собраний часто совпадают и повторяются.

На трибунах во время матча идет особая напряженная жизнь. Одни реагируют эмоционально, шумно выражая и проявляя свою причастность к той или иной стороне. Другие предпочитают отмалчиваться. Конечно, поведение их во многом зависит от хода игры, от счета. Случаются перепалки между приверженцами разных команд, порой не слишком уважительные, но часто с весьма остроумными репликами и применением специфически стадионного жаргона. Вообще-то настоящие зрители ощущают не только игру, но и друг друга.

Спорт рождает удивительное по своей естественности чувство людского единения, близости. Совершенно незнакомые люди, возбужденно обсуждающие перипетии матча, понимающие друг друга вполне. В театре это невозможно. Единство зрительного зала распадается с последней репликой, с опущенным занавесом. А на ста-

дионе людям жаль расставаться. Не говорю уже о комментариях по ходу действия. Когда-то сидящая впереди меня дама — иначе не назовешь — почему-то повернула ко мне голову и сказала: «А Парамонов сегодня не в дугу!..»

Бедный Парамонов!

Однако поведение спортсменов на поле и публики на трибунах было в наши годы сдержаннее, не напоказ, как и вообще, в быту, на улице, что не исключало истинной внутренней страсти.

И футболист, забивший гол,
В ту пору не имел понятия
О поздравленьях и объятиях,
А хладнокровно к центру шел.

Тогда было достаточно, если капитан пожмет руку отличившегося. Теперь после гола — высокие прыжки, с ударом кулаком в воздух, бег по дуге, команда, гоняющаяся за виновником восторга, догоняющая его, подминающая под себя. Почти то же самое при забитом одиннадцатиметровом.

Тогда больше ценились невозмутимость, достоинство.

Близость зрителей друг другу невольно порождает близость к игрокам. Одностороннюю? Скорее всего. Хотя ведь и спортсмен не может не испытывать родственных, пускай и более обобщенных, чувств к зрителю. У зрителя они резко выражены, конкретны. Вася Карцев. Саня Рагулин... Чувство причастности. Наивное амикошонство болельщика. Право на фамильярность. Он его заслужил. Он в любую погоду, под дождем и снегом, сидел, подняв воротник, надвинув кепочку на глаза, прикрыв спину газетой. Он бывал горько огорчен, разочарован, раздавлен. Он бывал счастлив, он вскакивал, размахивал руками, радостно выкрикивая футбольное прозвище своего любимца.

Да, существует в спорте и это, в особенности прежде существовало. Некоторые прозвища укоренялись на годы, будто из метрик взяты. Одни были элементарно просты, вытекали из фамилии: Пономарь, Бобер, Сало, Стрелец, Число. Другие происходили из особенностей манеры, силуэта, какого-либо неизвестного широкой публике качества: Слон, Гусь, Глухой. Этимологическая основа третьих за давностью лет затушевывалась: Чепец. Нечего говорить о том, что эти клички были общеизвестны.

Дважды я присутствовал при попытке навязывания прозвища новому футболисту. Совсем юного, только что появившегося в «Торпедо» Стрельцова один из посетителей многократно и громогласно называл — Ломовой. Не подхватили. Не было в нем этого, несмотря на тогдашнюю мощь и молодую пробойность.

И еще раз, при явлении на футбольный небосклон ростовского СКА, а в нем — блистающего Виктора Понедельника.

— Давай, Вторник! — сияя, вопил в течение всего матча здоровенный малый. Вероятно, это казалось ему очень остроумным.

— Ты бы еще сказал «Пятница», — заметил наконец кто-то, и читавшие «Робинзона» усмехнулись.

Ошибочное чувство личной близости к известному человеку свойственно многим. Лет двадцать назад или более зашли мы с Бернесом в ресторан поужинать. Хотя мы были голодны, Бернес, я заметил, шел без особой охоты. Очень скоро я понял причину этого. В ресторане гремел оркестр, танцевали. Танцующие пары, очень быстро заметив его, маневрировали таким образом, чтобы подольше находиться рядом с нашим столиком и без помех, в упор, рассматривать знаменитость. Они не собирались упускать свою удачу. Может быть, кто-нибудь и упивался бы этим. Бернес страдал. Наконец музыка за-

молчала, но подошел некто, нависший над нами, собрался с силами и произнес: «Товарищ Бёрнс, спойте нам. Народ просит...»

Это издержки славы. Киноартисту, лицо которого знают все, деваться некуда.

Спортсмену проще. Футболист далеко — в лицо не всякого узнаешь. Телевидение той поры предпочитало общие планы.

Весной 1962 года тогдашний начальник сборной страны Андрей Старостин пригласил нас с Юрием Трифоновым в Серебряный бор, где находилась команда. Мы не сразу смогли найти их базу, но Трифонов, живший летом, в детстве, в Серебряном бору, быстро догадался, где это. Мы подошли к дому, виднеющемуся меж стволов, в глубине участка. На крыльце стоял и, видно, ждал кого-то смазливый чернявый парень в тренировочном костюме.

— Андрей Петрович здесь? — спросили мы, чуть не хором.

— Нет, он еще не приехал.

— Как, откуда? — не поверили мы.

— Из города.

Мы, огорченные, не зная, что делать, медленно пошли к калитке.

— Кто это? — поинтересовался я, имея в виду нашего собеседника.

— По-моему, Воронин, — отвечал Трифонов не очень уверенно.

Навстречу нам от калитки уже спешил Старостин, крича издали:

— Валерий, что же ты гостей не принимаешь!

Вот так. Самого Воронина едва узнали. Не то что на поле.

Мы провели там несколько часов. Гуляли по поселку, обедали вместе с футболистами, сидели вечером в общей гостиной, слушая их разговоры. К Нетто приезжала жена — артистка, потом он, проводив ее, вернулся и сел играть в шахматы с Хусаиновым. Яшин и Иванов обсуж-

дали, стоит ли брать у фирмы «Adidas» бутсы для команды. Фирма предлагала их бесплатно, но с условием, чтобы наши сыграли в них хотя бы один матч финала. Понедельника позвали делать массаж. Масленкин смотрел телевизор.

А сквозь весенний вечер маячила впереди узкая полоска далекой, спокойной еще страны, смутно доносился мощный накат Тихого океана.

Это было время перед чемпионатом мира в Чили. Это была команда «звезд» и в то же время команда-«звезда». В 1960 году она выиграла Кубок Европы. И сейчас она была г о т о в а.

Одна из главных сложностей большого спорта — необходимость совпадения пика подготовки спортсмена или команды с основными мировыми событиями — чемпионатами и Олимпиадами. Нужно быть готовым не вообще, а в нужный момент. Это тоже признак уровня и класса. Здесь нашему футболу не слишком везло.

Из всей Олимпиады 1952 года у нас наиболее болезненно восприняли проигрыш именно футболистов, как будто это был чемпионат мира по футболу. Была даже расформирована команда ЦДКА, под флагом которой велась подготовка. В дальнейшем это дорого обошлось нашему футболу.

Причина той неудачи состояла в том, что многие тогдашние асы уже сходили, молодежь еще не имела опыта, команда оказалась недостаточно сыгранной. И хотя отдали все, что могли, не сумели одолеть тех, кто был подготовлен идеально. У меня нет сомнений, что, выйди мы на предыдущую Олимпиаду — в 1948 году, нам не было бы равных. Мы имели тогда два полноценных блестящих состава, что называется, на ходу — ЦДКА и «Динамо», да еще Пономарева, Л. Иванова, тбилисцев.

Наша новая сборная выросла уже к 1955 (победа над ФРГ) — 1956 годам (Олимпиада в Мельбурне). В 1958 году — снова спад, сходящие «звезды», промахи комплектования — и неудача на шведском чемпионате мира, а к 1960-му опять, во второй раз, совпадение «пика» ко-

манды с новыми важными соревнованиями — Кубком Европы. По сути, эта же команда готовилась в 1962 году. Любопытно, что все это бурное десятилетие в ее составе неизменно оставался и удерживался только один человек — Игорь Нетто.

Мне кажется, в 1962 году нашу отличную по составу команду подвела тактическая неразворотливость, вялость. Четырех лет не хватило для уяснения бразильской системы. Играть в шестидесятые годы с тремя защитниками было по меньшей мере легкомысленно.

7

Трагедии в спорте. Нет, не гибель — другое. Гибель надежд. Проколы однотрубок у велогонщиков. Поломка лыжных креплений — как случилось у Беляева на Олимпиаде-76 под Инсбруком, и он чуть не половину дистанции стойко шел вприпрыжку, на одной лыже, пока не получил другую. А его все обгоняли и обгоняли. И ведь никто с этим не считался. Следующая Олимпиада через четыре года. Мгновенная невосполнимая нерешительность. Трековику Эдуарду Раппу показалось — может быть, правильно, — что был фальстарт и судьи вернут гонщиков. Но не вернули. Он один остановился. А следующая Олимпиада через четыре года.

Необъяснимые роковые промахи крупных спортсменов. Канадский вратарь Мартин, стоявший против наших совершенно непробиваемо и вдруг пропустивший от Фирсова шайбу, которую тот бросил верхом, не глядя, просто в сторону ворот, чтобы произвести смену. Шоцикас, получивший нокаутирующий удар на второй секунде боя. Это сродни грубым просчетам, вкусовым провалам и срывам у литераторов высокого уровня.

А не забитые или, наоборот, обидно пропущенные пенальти! «Ломающиеся» из-за этого вратари. В том ташкентском матче 1970 года между «Динамо» и ЦСКА, о котором я уже говорил, в решающий момент был назначен одиннадцатиметровый за снос Федотова. Бить приготовился штатный армейский «пенальтист» Поликарпов. Трудно даже представить себе тяжесть психологического груза, висевшего в этот момент на его плечах и ногах. Вот вам мера ответственности. И тут новый динамовский защитник Антонович, не выдержав напряжения, подбежал к вратарю Пильгую и напомнил ему, в какой угол Поликарпов обычно бьет. Дело в том, что лишь недавно перешедший в «Динамо» Антонович несколько лет был в составе ЦСКА и наблюдал постоянное разучивание одиннадцатиметровых Поликарповым. Он это знал досконально. Но он не знал, что лишь в текущем сезоне Поликарпов по совету тренеров тщательно отработал удар в противоположный угол. Так и вышло — Пильгуй начал движение в одну сторону, мяч пошел в другую. Есть от чего прийти в отчаяние и вратарю и советчику.

А автогол Леонида Шмуца! Он, взяв мяч на свою широкую ладонь, чтобы выбросить в поле рукой, размахнулся и уронил его за спину, забросил в собственные ворота. После этого случая он так и не смог оправиться.

Наиболее яркие воспоминания об игре вратарей. Пожалуй, два. Первое очень давнее. ЦДКА — «Зенит». Никто из видевших ту игру не скажет: «Это было в сорок девятом или пятидесятом...» Говорят только: «Это когда Леонид Иванов...»

«Зенит» приехал в Москву на очередные календарные матчи и провел их очень удачно, выиграв подряд две игры, и последнюю — у «Динамо» — 4:3. Это особенно всех раззадорило: следующая встреча была с ЦДКА, и Москва в ожидании сенсации валом повалила. Увы, сенсации не произошло. Более того, игра шла почти в одни ворота — в ленинградские. Этим и запомнилась. Во всяком случае, весь второй тайм проходил так: Иванов брал мяч и выбивал его в аут. Москвичи вбрасывали, вели к воротам и били. Он снова брал и снова отправлял за боковую линию, чтобы хоть немножко потянуть время, потому что защита и вся команда ничего не могла поделать с теми, послевоенными армейцами. Они били ему с

двадцати метров, с пятнадцати, с десяти, с пяти, с двух. Все безрезультатно. Они пытались обыграть его во вратарской, обвести — он перехватывал все их передачи. Тем и кончилось. Леонид Иванов победил пятерку знаменитых цэдэковских форвардов вкупе с их отличной полузащитой. Прозвучал финальный свисток, заставший его в броске. Он поднялся, весь в пыли, команда благоговейно расступилась, и он пошел впереди, один, пошатываясь от усталости. И зрители, не расходясь, почтительно взирали на него.

И второе — телевизионное. 1963 год. В Лондоне торжества в честь юбилея английского футбола. Матч сборная Англии — сборная мира. Вратарем приглашен Лев Яшин, он же избран на месте капитаном. Конечно, это отчасти показательный матч, игра-представление, особенно со стороны сборной ФИФА, сборной мира. У нее практически два состава, ей нужно продемонстрировать всех специально прибывших «суперзвезд». Яшин стоял тоже только один тайм, во втором его сменил югослав Шошкич. Английская же национальная сборная полна серьезной решимости доказать свою силу — она уже начала подготовку к победному 1966 году.

А между тем ситуация сложилась следующая. За неделю до этого наша сборная проводила официальную отборочную встречу на первенство Европы с итальянцами — в Москве. Мне кажется, старший тренер Бесков колебался, можно ли ставить Яшина, не преодолевшего кризис после неудачного прошлогоднего чемпионата мира и выступавшего нервно, неровно. Многие считали, что Яшин уже исчерпал себя, пора сходить. И тут перст судьбы: Яшина приглашают в Лондон. Бесков ставит молодого могучего Урушадзе из кутаисского «Торпедо», и тот оправдывает надежды. Правда, нагрузка у него была небольшая, но и это опасно: можно излишне расслабиться. Запомнился перехват им каверзной низовой передачи — прострела вдоль ворот. Наши выиграли 2:0.

Через неделю мир прильнул к телевизорам. Да, да, ту игру смотрел весь мир. «Звезды» ФИФА выглядели изящно, технично, они показывали себя и свой класс. Сборная Англии жаждала победы. Игра пошла в одни ворота, и тут «старик» Яшин показал, на что он способен. Все только ахали. Били беспрерывно. Помню, Гриве поднял руки после удара, думая, что мяч уже в воротах, но Яшин в последний миг достал его. Англичане, явившиеся на стадион за победой своей команды, рукоплескали. Так он и ушел «сухим», и лишь во втором тайме британцы добились своего, дважды взяв ворота Шошкича и выиграв 2:1.

Это был поразительный пример возрождения большого спортсмена. За тот год Льву Яшину был присужден «Золотой мяч» журнала «Франс-Футбол» как лучшему игроку Европы. Лишь через двенадцать лет его успех повторил другой советский футболист — Олег Блохин.

Опять через неделю предстоял ответный матч с итальянцами, в Риме. Теперь Яшина нельзя было не ставить, это не было бы понято, особенно при неблагоприятном для нас исходе. И Бесков поставил. Но риск был — а вдруг яшинского запала хватило только на игру в сборной мира и он опять сникнет? Нет, Яшин уже снова поднялся во весь рост и предстал перед футбольным миром в полном блеске. Мало того, его лондонскую игру видели все, и он заранее подавил ею итальянских нападающих. Сандро Маццола не сумел забить ему пенальти.

Но скольких это стоит нервов и сил: суметь переломить, преодолеть себя после горьких неудач — как будто ничего не случилось!

8

Конечно, спорт, так же как и искусство, — это еще и способ выдвинуться, используя свой дар или страсть к игре, к борьбе, к ее ходу. И все-таки желание быть первым, превзойти всех и самого себя — мотив только спорта, в искусстве такое выглядит суетой. В искусстве

тоже немалую роль играет честолюбие, и все же первым часто становится тот, кто к этому вроде не стремился. Это происходит как результат, итог, как бы само собой.

А вот разочарования, которые дает спорт и спортсмену и зрителю, порой близки подобным же явлениям в сфере искусства.

Тяготы спорта. Травмы. И тяжелые, долговременные, труднопреодолимые или вовсе опускающие шлагбаум перед атлетом. И рядовые, повседневные, когда ты можешь встать и вновь войти в игру после обезболивающего укола. Иной упал, катается по траве, а публика смотрит: всерьез или штрафной вымаливает? Но вот он встал, похромал немножко и бежит — ничего. «Симулянт!» А с вами разве не случалось: вы ударились, зашлись от боли, но вскоре прошло, хотя и ноет? Ну, назавтра синяк. А у него эти синяки один на другом, на них и внимания не обращают.

Тяготы спорта. Сборы. Разъезды. Отторжения от семьи, детей. Лишение радостей жизни. Режим, режим. А мучительная сгонка веса, столь обычная для штангистов, боксеров, борцов! Внутри спорта бытует теория: если, скажем, футболист женился, в его игре наступает годовой спад. Нужно себя целиком отдавать спорту. Если, конечно, ты желаешь добиться вершин.

Не отсюда ли нарушения режима — разной степени тяжести? Яшин, например, открыто, при тренерах, курил.

Как-то осенью 1967 года я был в командировке в ГДР и, возвращаясь домой, встретил на берлинском аэродроме московских торпедовцев, выигравших накануне официальную игру на Кубок кубков и летящих в Москву одним самолетом со мной. Я поздравил Иванова и сел возле иллюминатора почитать. Иванов, совсем молодой тренер, стоял в проходе, а его помощники, все еще возбужденные вчерашним, то и дело обращались к нему: «Кузьмич!» (Хотя он Валентин Козьмич.)

Команда, как обычно, кучно обосновалась в хвосте. Там были все, кроме Стрельцова и Кавазашвили, вылетевших по другому маршруту, чтобы присоединиться к сборной. Воронин за какую-то провинность был оставлен в клубе.

Самолет набрал высоту, стюардессы понесли завтрак. Кроме команды, в салоне было еще несколько посторонних пассажиров. Одна бортпроводница принесла еду, другая держала в руках поднос, уставленный фужерами с белым сухим вином — рислингом или цинандали. Она уже начала расставлять их на укрепленные столики.

— Девушка! — вдруг загремел, перекрывая шум двигателей, голос второго тренера «Торпедо». — Я же предупреждал: вина никому!

— Ой, я машинально!..

Я дождался, пока она отобрала уже розданные бокалы и скрылась за занавеской, и сказал мягко, журящим тоном:

— Послушайте, молодой человек, что же вы так себя ведете. Здесь не только футболисты.

Он смутился, побежал за ней.

Вот что значат режим, принцип и фужер холодного сухого вина на другой день после победы. Насколько это верно, не мне судить.

Значительно раньше, зимой 1954/55 года, в ресторане Дома литераторов постоянно питался «Спартак». Нового большого здания еще не было, был только старый олсуфьевский особняк, выходящий на улицу Воровского (бывшую Поварскую). В ресторан вела из гардероба крутая винтовая лестница с железными ступенями, по ней и поднимались Симонян, Сальников, Нетто... У них имелись специальные талончики на обед, команда была прикреплена к нашему ресторану. Оказывается, мы были соседями: на этой же улице, совсем неподалеку, красовалась вывеска, гласящая, что здесь размещается зал добровольного спортивного о-ва «Спартак». Это «о-ва «Спартак» кто-то расшифровал, как «острова «Спартак», спартаковские острова. На этих островах они немало потренировались в свое время.

Теперь у них целый материк — крытый манеж в Сокольниках.

Недавно, в крещенский мороз, мы с Андреем Петровичем Старостиным вышли из такси около этого дворца. Внизу у гардероба нам встретился давний и отличный спартаковский вратарь, теперешний спортивный журналист Алексей Леонтьев, и я вспомнил рассказ того же Старостина о приезде юного Леонтьева из провинции в Москву, чтобы играть за «Спартак», и как на «островах» на Поварской, в узком зале, знаменитые спартаковские форварды в несколько мячей били ему по воротам, а он, оглушенный всем этим, выстоял под их ударами. Сейчас он торопился в редакцию.

Нынешний «Спартак» сидел в методическом кабинете и просматривал видеозапись вчерашнего матча с «Торпедо» на турнире по мини-футболу. Новый старший тренер Константин Бесков (мог ли быть прежде у «Спартака» столь динамовский наставник! Времена меняются) комментировал, разъяснял, убеждал, что игрокам по силам решать и более сложные задачи. Тренер Ю. Морозов изложил программу предстоящей тренировки. Команда весело заторопилась: перед тем как одеваться, каждому предстояло еще взвеситься, чтобы, зная, сколько потеряно за тренировку, врачи могли определять и варьировать дальнейшую интенсивность нагрузок.

Мы спустились в зал. Открылась дверь, и я увидел зеленое поле обычного размера, с воротами и сетками на них, с четкой разметкой. Конечно, покрытие было не травяное, но радовал ровностью и эластичностью плотно натянутый синтетический ковер.

Папаев, Прохоров, Булгаков, Андреев, Букиевские, Павленко, Худиев, Ушаков и другие известные и молодые футболисты играли в гандбол, участвовали в эстафетах с ведением мяча, били головой, разыгрывали заранее подготовленные комбинации и упражнения. А я смотрел и думал о том, что будущее нашего футбола во многом зависит от таких вот зимних, зеленых, ярко освещенных полей.

У меня долго сохранялся напечатанный типографским способом пригласительный билет на встречу писателей с футболистами «Спартака» и «Динамо» у нас в ЦДЛ. На обороте, как на стадионной программке, — схема поля и расстановка состава игроков, а внизу список болельщиков, и я в их числе. Это было после сезона 1953 года. Выступали и писатели, главным образом юмористы, и игроки, и тренеры. Симонян рассказывал о недальней зарубежной поездке «Спартака», что было еще в новинку, о странной, непривычной тишине на стадионе после забитых нашими голов. Сначала даже думали: может быть, что-нибудь не так, гол не засчитан, потом привыкли. «А вообще-то, — сказал Симонян, — они тоже могут, как мы говорим, по ногам отоварить...» Опять же словечко от недавних суровых лет войны, карточек.

Во всем этом — столований их у нас, встречах — было что-то домашнее, даже патриархальное.

Я вышел в коридор покурить и увидел там среди прочих Башашкина. Он провел тот сезон в «Спартаке», армейской команды не было.

— Говорят, ЦДКА восстанавливают, — сказал я. — Вернетесь или в «Спартаке» останетесь?..

Он ничего не ответил, только улыбнулся.

Нелегкое это дело — спорт. Годы поисков, подготовки, тренировок, надежд, уверенности — и все может быть перечеркнуто одним-единственным стартом. Где еще так?

И все-таки что-то противится в памяти и душе, когда говорят о спортивном подвиге. Слишком многое связано с этим понятием и словом — подвиг, — и потери в том числе.

Сколько их прошло перед нами — кумиров, любимцев, «звезд»! Но остаются в нашей памяти, в нашей жизни единицы. Остальные тускнеют, сливаются, растворяются во времени. Даже олимпийские чемпионы. А в

искусстве остаются иногда те, о которых нельзя было этого предположить. И наоборот, ушел писатель, и как будто его не было. Жестокая это штука — испытание временем, и поделать ничего невозможно.

9

Футболист или хоккеист, отчисленный из команды за ненадобностью, находит себе место в другой, послабей, и, встречаясь, особенно впервые, с бывшей своей командой, выступает как никогда ярко и сильно, забивает голы или самоотверженно мешает сделать это противнику. Он жаждет доказать всем: и прежним тренерам, и теперешним, и публике, что рано его списывать, что недальновидно ставить на нем крест. Со временем это чувство несколько меркнет. Иногда такого игрока возвращают назад, как бы признавая первоначальную ошибку, но такое случается редко.

И другой случай — игрок, ушедший от своих в высшую, лучшую команду с согласия руководства, по совести, поначалу играет против них несколько скованно, неуверенно, ему словно бы неудобно. Потом он забывает об этом и крушит бывших одноклубников. Иногда он возвращается — не пришелся ко двору, постарел, сдал, — его немножко жалко.

Каждый приходящий в команду в конечном итоге приходит в м е с т о кого-то, что не может не причинять боли. В индивидуальных видах все откровеннее, проще. Победил — ты первый. А здесь еще нужно найти себе место, притереться, ужиться... вытеснить кого-то.

Великое понятие — команда. Высшей похвалой звучат слова: командный боец, работяга.

Была футбольная команда «Крылья Советов» из Куйбышева. То есть она и сейчас есть, и совсем неплохая. Но тогда она выделялась своей неуемностью, бесстрашно сражалась с великими и побеждала не раз. Так в литературе наличие великих — а они были еще при нас — не только не мешает, а способствует росту талантов, их от-

ваге. Из куйбышевских «Крыльев» осело в московских клубах немало отличных мастеров — Крижевский, Гулевский, Ворошилов, Хусаинов, Казаков, а волжане все не унимались. А ведь интересно, какой бы оказалась судьба команды, останься они все дома.

Или еще — моя слабость — удивительный, неунывающий, возрождающийся «Химик». Воскресенский «Химик» — уникальное явление, по сути дела, районная команда. Она с самого начала привыкла рассчитывать только на себя. У меня к ней особое чувство: я наблюдал ее первые шаги.

Уже вполне укоренилась эта несколько странная зимняя игра, где поле продолжается и за воротами. Уже наша сборная успела сделаться чемпионом мира, а затем уступить это звание. Еще не было закрытого льда, нам еще только предстояло встретиться с хоккеем под крышей, как в театре. Но на Московском чемпионате мира 1957 года, когда уже открылся Дворец спорта в Лужниках, главные матчи все равно проводились на морозе с ветерком под хмурым вечерним небом: дворец не вмещал желающих. Во дворце игрались третьестепенные тихие матчи — Австрия — Япония, например, где один из японских хоккеистов выступал в очках.

Не было, разумеется, закрытого льда и в Воскресенске — лишь бессчетно хоккейные дощатые коробки по дворам. Но постройка дворца уже замышлялась, и он появился, на удивление многим, как поощрение «Химику», как вера в него. Воскресенский искусственный лед был одним из первых в стране — сюда даже ездили на лето, чтобы вволю потренироваться, знаменитые фигуристы.

Но тогда всего этого еще не было.

Афиша гласила: «На Кубок СССР по хоккею. «Химик» (Воскресенск) — «Крылья Советов» (Москва)». Это была зима 1956 года. В составе «Крыльев» — наши первые олимпийские чемпионы: Олимпиада в Итальянских Альпах только что закончилась — Гурышев, Пантюхов, Хлы-

стов, Кучевский. О подмосковном «Химике» мало кто слыхал.

Я оделся потеплей, обул валенки, опустил наушники у шапки. Мороз был градусов двадцать. Пошел хорошим ходом, поспешил по морозцу, будто в тепло. Заваленный снегом стадион не подавал признаков жизни. Здесь кончался город, до самого леса и к реке тянулись поля. Я уже решил, что матч отменен, когда заметил впереди несколько темных фигур, скользящих по узкой тропинке. Я направился следом и различил в вышине слабое сияние. Хоккейная площадка находилась в дальнем углу стадиона. Я купил билет и с трудом протиснулся на трибуну — публика пришла давно. Над исчерканным коньками льдом висели яркие лампы, слышались удары шайбы в борт (команды разминались) и слитное морозное потрескивание дощатых трибун, на которых притоптывали и переминались зрители.

А внизу бурлил красочный, особый мир хоккея. Вратари стояли тогда без масок, их бесстрашие смогло быть оценено лишь потом, некоторые игроки носили танкистские шлемы. Защитная амуниция, помимо прочего, еще и грела. Звенела стужа, скрипели промерзшие доски трибун, морозные клубы дыхания висели над толпой, визжали коньки, трещали клюшки.

Безвестный «Химик» оказал стойкое сопротивление, и хотя проиграл, но минимально, с достоинством.

Теперь эта команда хорошо известна не только в нашем, но и в мировом хоккее. В фойе Воскресенского Дворца спорта выставлены под стеклом многочисленные призы, завоеванные ею в турнирах самого высокого ранга. У «Химика» прочная репутация.

Но вот судьба. Так же как когда-то куйбышевцы, «Химик» регулярно расстается со своими лучшими игроками. Этот конвейер отлажен идеально. Из хоккеистов, которых он поставляет другим, можно было бы сформировать несколько классных команд. Вспомню только «звезд» первой сборной — А. Рагулина, Ю. Ляпкина (сейчас он возвратился), А. Голикова. И, несмотря ни на что, команда из маленького районного городка никогда не покидала высшую лигу.

И надо было случиться, чтобы через двадцать лет, в 1976-м, я присутствовал в Воскресенске на матче тех же самых команд. «Химик» — «Крылья Советов». Я сидел во Дворце, на удобном месте, читал программку, где говорилось и о том, давнем, матче.

Это было открытие сезона. Трогательный город. Диктор по радио с гордостью перечислял всех воскресенских знаменитостей, хотя они покинули свое родимое гнездо. Потом, когда уже вышли команды, выкатились на лед тоже весьма известные здесь личности, победители всесоюзного турнира «Золотая шайба» — хоккеисты воскресенской «Снежинки», и их капитан бодро сказал в микрофон: «Дорогие рыцари хоккея! Сражайтесь, отстаивайте честь нашего спорта, а мы подрастем и вас заменим...»

Игра закончилась вничью — 1:1. Бодунов забил, Веригин сравнял, и потом воскресенцы имели преимущество, но шайба не шла, да к тому же хорошо стоял Сидельников. Добродушная публика в Воскресенске. Надо мной кто-то, явно приезжий, — приезжают на матчи и из Москвы — орет, не умолкая: «Давай, «Крылышки»!» В другом городе его с лестницы бы спустили, да и не рискнул бы он, а здесь терпят весьма снисходительно.

Вообще наши трибуны могут освистать свою команду, не поддерживают ее любой ценой. Бывало, перед важными играми в Лужниках даже специально призывали зрителей оказать своей команде активную поддержку. И что вы думаете — помогало!

Там, в Воскресенске, рядом со мною сидели совсем маленькие ребятишки, человек пятнадцать. Они смотрели игру совершенно спокойно, и я мельком удивленно подумал, что им неинтересно. Вдруг один из них спросил меня: «Дядя, у них шайба за 17 копеек или за 33?..»

Я, разумеется, не сумел ответить.

10

Бывал в Воскресенске и ЦСКА или ЦСК МО, как называлась одно время эта команда. Не хоккеисты, разумеется: те регулярно проводят здесь матчи чемпионата, случается, и проигрывают. Нет, приезжала футбольная команда на товарищескую игру. В ней были и только что сошедшие корифеи — Николаев, Никаноров — и тогдашняя молодежь — Ванзел. А воскресенцы собирались тогда выступать по классу «Б», но что-то не получилось, не разрешили, и, может быть, к лучшему: все силы были сосредоточены на хоккее. Тот матч армейцы выиграли 2:0, но попотеть пришлось. Я, стоя за их воротами, слышал, как Никаноров несколько раз кричал защитникам: «Играйте! Не в деревню приехали!..»

Я глубоко убежден, что такие вот наезды, пусть даже слегка гастрольные, пусть даже только бывших «звезд», приносят несомненную пользу, если они серьезны и уважительны.

Летом 1952 года я был по делам во Владимире и обедал как-то с друзьями в ресторане «Клязьма». И вдруг за соседними сдвинутыми столами появились подтянутые, уверенные в себе люди, смутно напоминавшие кого-то. Я не сразу догадался, что это московские динамовцы. Дело в том, что во Владимире вступал в строй новый большой стадион «Торпедо» — в честь этого события и прибыли на товарищескую встречу именитые гости. Это было перед началом Олимпийских игр в Финляндии. Внутренний чемпионат был прерван, Бесков и Трофимов — в сборной, а стареющие динамовские мастера — Леонид и Сергей Соловьевы, Блинков, Савдунин — оказались свободными. Вместе с ними приехали и игроки помоложе — Саная — и совсем молодые — Рыжкин. До начала игры оставалось еще часа четыре, футболисты неторопливо обедали — некоторые, как мне показалось, с пивом.

Мы поехали на матч.

Было торжественное открытие, физкультурный парад, массовые гимнастические упражнения на поле, после которых участники, приседая на корточки, выдергивали из грунта невидимые публике колышки разметки. Наконец началась игра. Местные торпедовцы — команда неплохая — слишком робели. Москвичи играли с ощущением заранее данного им преимущества. Они победили 6:2. Лучшим на поле был Блинков. Отлично стоял в воротах Саная. А вот Савдунин, не успевая за напористым владимирским инсайдом, временами толкал его руками, хватал за майку. Местный судья, подавленный авторитетом гостей, старался не замечать этого. Уже тогда начала входить в моду смена мест нападающими по ходу игры. Сейчас это происходит непринужденно и естественно: только что Блохин был у левого углового флага, и тут же вы его замечаете на месте оттянутого правого полузащитника. А в ту пору это проводилось гораздо бесхитростней. С. Соловьев играл левого крайнего, Рыжкин — правого. Соловьев махал ему рукой, звал — мол, иди сюда, и сам бежал ему навстречу. Таким образом они пересекали поле поперек и менялись местами. Как правило, за каждым следовал прикрепленный к нему защитник. Персональная опека, «персоналка» — это было в ходу.

И все-таки такой приезд бывал полезен для местной публики и футбола и, видите, оставлял след в памяти.

И потом это было прощание со многими, как принято говорить сейчас, ветеранами, блиставшими и гремевшими на футбольных полях.

С годами, с возрастом начинаешь особенно ценить «старичков» в спорте и сожалеть о тех, кто сошел слишком рано. Как могло получиться, что в двадцать семь лет покинул хоккей такой выдающийся спортсмен, как Альметов? Ведь канадцы играют до сорока и более. Уже за одно это нужно быть благодарными их опыту: Михайлов и Викулов перешагнули роковую черту тридцатилетия, а никто и не думает их отчислять. Они ведь играют лучше, чем прежде. Есть писатели, которые, старея, начинают повторяться, тускнеть — исписываются. Особен-

но поэты. Но ведь имеются и обратные примеры, когда поэт, увенчанный сединами, не утрачивает прекрасного накала молодости и одновременно приобретает опыт, мудрость, зрелость. Здесь не может быть единого закона, свода правил. Важен результат. Мы восхищаемся многократными чемпионами Санеевым, Лагутиным, Голубничим, их умением отдать всего себя до конца в самый необходимый миг.

И в искусстве то же. Не экономить себя, свои силы и впечатления — выложить все, что имеешь, даже больше того, ибо в таких случаях открывается и новое. И лишь потом, если удастся, «восстановиться» — есть такое спортивное выражение.

Еще более восхищают меня спортсменки-женщины, после громких побед сошедшие с высокого небосклона, незаметно исчезнувшие, забытые и вдруг появляющиеся вновь под двойной или совсем другой фамилией — матерью ребенка, а то и двоих, и даже троих! — и вновь достигающие самых больших вершин. Сколько в этом женственности, жизненной естественности, истинного спортивного упорства, трогательной помощи семьи!

Особая прелесть районного, заводского футбола. Его наивность, неиспорченность. Мы открываем его для себя, для души. В довоенные и первые послевоенные годы эта его привлекательность заключалась и в том, что турниры, чемпионаты на таком уровне зачастую не устраивались, — просто по организационным причинам. Никто не гнался за очками, местом в таблице. Это был спорт или физкультурное движение в чистом виде. Но дух соревнования присутствовал, да еще какой! Чаще всего велось постоянное соперничество с достойными по силам командами соседних предприятий или районов. И оттого, что противник порой бывал один и тот

же, острота не пропадала, наоборот, усиливалась: прежние встречи помнились во всех подробностях.

Летом 1949 года я гостил в зеленом городке Прилуки, на Черниговщине, у своего однокашника и друга Ивана Завалия. Теперь Ивана давно уже нет. А в то волшебное лето мы много ездили по району, по колхозам, бродили, разговаривали. Посещали мы и местный стадион. Приятель Завалия, центр защиты прилукской городской команды, все допытывался у меня, в чем сила игры Ивана Кочеткова. Он его никогда не видел.

Я сказал: «В выборе позиции...»

А играл парень хорошо, грамотно, сильно.

Встречались они главным образом с одной из местных команд. И вот тут я без преувеличения был поражен. Там играл врач, лет тридцати пяти. Он ничего не понимал в футболе: ни с того ни с сего пускал «свечи» в высоту; когда нужно было отдать пас, бил вперед, где никого из своих не было. Он ничего не хотел и не умел, кроме одного — бить по воротам. Но зато в этом ему не было равных. При каждом удобном и неудобном случае — с ходу, с разворота, с лета, с полулета — он лепил с обеих ног, да главное — точнейшим образом, все по углам. Я не верил своим глазам. Это был, конечно, не гений, не гигант футбола, но это был редчайший талант — забойщик, забивала. Попади он в свое время к настоящему тренеру, его натаскали бы в коллективной игре — он бы блистал. А может быть, он и не захотел бы. Сейчас он играл только для себя, в свое удовольствие. И тут можно признаться, что мы — а ведь мы считаем себя знатоками — ценим не только уровень. Увлеченность, самозабвение, бескорыстие — вот что прекрасно. Мы можем остановиться и, не отрываясь, смотреть, как играют мальчишки на пустыре, — и тоже восторгаться.

А летом 1951 года мы ездили с Евгением Винокуровым на строительство Каховской ГЭС по командировке одного из солидных наших журналов. Забегая вперед, скажу, что ни он, ни я не написали тогда стихов об этой грандиозной стройке. Почему? Трудно объяснить. Не

написалось. Но свою роль эта поездка сыграла в нашей дальнейшей работе, дала определенный толчок, помогла разглядеть что-то новое и в нас самих.

Стройка эта была столь популярна, что кассирша на вокзале без тени сомнения выдала нам билеты до Каховки. В дальнейшем оказалось, что железной дороги там нет. Мы сошли в Днепропетровске, выяснили, что зря, поехали в Запорожье, там ночью добрались пешком через весь город до пристани. Парохода нужно было ждать сутки, мы легли на скамью над самой водой и немного поспали.

Через четырнадцать лет я написал об этом стихи. Привожу их не полностью:

Скопилась дневная жара
В нагретом вокзале,
И люди теперь до утра
На пристани спали.

Лежал от дверей в двух шагах,
Как возле духовки,
Солдат. На его сапогах
Светились подковки.

Лелея усталость свою,
Порою ночною
Мы тоже легли на скамью
Друг к другу спиною.

Плыла и качалась скамья,
Как лодочка в море.
Ты спал безмятежно. А я
Курил уже вскоре.

Средь грузных корзин и узлов
Мне чудился шорох
И шелест волнующих слов,
Опасных, как порох.

Над лицами спящих детей
И спящих их кукол
Стоял в неоглядности всей
Сияющий купол.

Светился спасательный круг
Над лепкой вокзала.
И смутною радостью вдруг
Меня пронизало.

Сквозь звездный пылающий дым,
Сквозь эту безбрежность
К тебе и ко всем остальным
Я чувствовал нежность.

...Так явственно вижу я ту
Ночь, звездные блестки,
Что вновь ощущаю во рту
Вкус той папироски.

И, радость скрывая свою,
Средь ночи июля,
Над спящими тихо стою,
Их сон карауля...

Наутро мы отправились маленьким автобусом в аэропорт и после долгого ожидания вылетели наконец на двухместном открытом ПО-2 в Каховку. Парило, над яркими квадратами полей стояла серебряная дымка, довольно сильно болтало, что мешало Винокурову, для которого такой полет был в новинку. Приземлились на травяном, вполне полевом аэродромчике.

Через несколько дней в грохоте и пылище стройки нам встретились наш литинститутовец Юзеф Островский и студент Института кинематографии, ныне автор многих сценариев Игорь Болгарин. Они пригласили нас посетить пристань Большая Лепетиха, где постоянно проживали родители Игоря. В результате мы оказались там и обосновались в доме приезжих, в комнате на восемь коек. Действительно, большое село над рекой утопало в садах. Мы переплывали на лодке через широченный в этом месте Днепр на ту сторону, купались, валялись на мелкомолотом горячем песке.

И, разумеется, — к тому веду — в Большой Лепетихе оказалась футбольная команда, не помню уже, кого она представляла, но настоящая футбольная команда, в фор-

ме, в бутсах, в майках с номерами на спинах. Она томилась — ей не с кем было играть. И мы дважды встречались с нею. Мы — это мы с Винокуровым, Островский и Болгарин. Доукомплектована наша сторона была местными мальчишками. Вскоре после начала матча выяснилось, что вся игра у противника ведется через их капитана — «семерку». Мне поручили выключить его из игры, и, как ни странно, мне это удалось. Я старался атаковать его, когда он лишь готовился принять мяч. Но я совершенно не мог за ним угнаться: он неутомимо носился по всему полю, а я ждал его у своей штрафной. Когда же я шел вперед (мне тоже хотелось забивать), сзади оставался Винокуров. Играли, правда, на условиях, позволявших некоторые упрощения правил. Когда нам били пенальти, я заменил нашего малолетнего голкипера и стал в ворота — только на этот случай.

Если вы смотрели футбол по телевизору, или бывали на стадионе, или даже стояли за воротами, вы не представляете, насколько ворота велики при одиннадцатиметровом. Для того чтобы понять это, надо находиться в них. С этим может не согласиться лишь один человек — бьющий.

— Он за московское «Торпедо» стоял, — сказал Болгарин обо мне небрежно. Но, устыдясь, добавил: — За дубль.

«Семерка» устрашающе длинно разбежался и пустил мяч прямо в меня.

Мы играли с ними дважды, с интервалом в один день. Первый раз выиграли 7:4, второй — точно с таким же счетом проиграли.

Больше всего гордились и радовались местные мальчишки. Но и нам это дало нелишнюю встряску.

И еще через двадцать лет. Рассматриваю фотографии: Вычегда, Сольвычегодск, Благовещенский собор XVI века. А рядом открытый стадионч ик, и мы сидим, смотрим футбол — мой фронтовой друг котлошанин Борислав Бурков, критик Ал. Михайлов, архангельский журналист Евгений Салтыков. Играют команды сплавных контор. Другой снимок: я стою за воротами, сразу за сеткой. Салтыков написал на обороте: «В сетях провинциального футбола».

11

Когда мы вспоминаем радио- и телевизионных комментаторов спорта, первый, кого хочется назвать, — Вадим Синявский.

Глубокой осенью сорок пятого года московское «Динамо», усиленное несколькими игроками из других команд, посетило Англию и породило сенсацию победами над британскими профессионалами. Через атмосферные разряды Европы летел в Россию рассказывающий об этом взволнованный, ликующий голос Синявского. Он прошел и над Венгрией, где я тогда еще служил.

Может быть, я слыхал его прежде,
Но забыл, и в другой уже срок,
В сорок пятом году в Будапеште
Я расслышал его говорок.
Еще небо дышало багрово,
И недавний посверкивал свет.
З о л о т ы м и н о г а м и Б о б р о в а
Восхищался он, словно поэт.

Спустя три года в Литературном институте наш замечательный профессор, языковед Александр Александрович Реформатский приводил эти выделенные слова как пример очень удачного и естественного развития идиомы — з о л о т ы е р у к и.

Голос Синявского звучал в наших домах и общежитиях, сопровождал нас в дороге. От него мы узнавали и о хоккейной победе на чемпионате мира в Стокгольме — в первый раз — и о футбольной победе на Олимпиаде в Мельбурне — тоже впервые. Причем эти репортажи помнятся почти так же, как виденное собственными глазами.

Комментаторы! Давно, когда у меня появился классный радиоприемник, жена, занимаясь какими-то домашними делами, включила его и случайно наткнулась на непонятную передачу на иностранном языке: один человек с необыкновенной быстротой, страстью и экспрессией, не смолкая ни на миг, но с множеством оттенков в голосе, о чем-то говорил или что-то проповедовал, а громадная толпа ревела, стонала и ахала. Вскоре жена поняла, что это футбольный репортаж, потом, что играют итальянские команды «Наполи» и «Рома». Весьма спокойно относящаяся к футболу, она не смогла, однако, выключить приемник. Вернувшись домой, я застал только конец, но вполне понял ее. Она была захвачена музыкой спорта.

Вспомнил сейчас по ассоциации: на миланских улицах продавались лакированные открытки «Тайная вечеря» Леонардо и рядом — карточки такого же формата, новые апостолы «Интера» и «Милана».

Радиокомментатор рассказывает нам о том, что он видит, стараясь охватить все или останавливаясь на подробностях, о которых он считает нужным поведать нам. Мы должны верить ему на слово, мы всецело в его власти. В телевидении, казалось бы, ему проще, но на деле гораздо сложней. Здесь мы имеем собственное мнение, мы видим сами, а иногда бываем наблюдательней, чем он. Хороший комментатор это понимает, плохой — нет.

Чудо первых спортивных телерепортажей на экранах крохотных КВН-49 с линзой, наполненной водой, или даже без линзы...

В чем была прелесть тогдашнего телерепортажа при всей его наивности, неумелости, промахах? Почему восприятие было эмоциональнее? Сейчас есть термин: прямой репортаж... «Мы ведем прямой репортаж о хоккейном матче»... Произносится это с некоторой гордостью. Еще бы. Ведь могут сказать и так: «Третий период хоккейного матча смотрите после информационной программы «Время»...» Теперь в спортивном телевидении

главенствует видеозапись. Тебе показывают событие, а ты уже знаешь не только общий результат, но и детали.

Раньше были только прямые передачи. Диктовала программа, сетка — в нее следовало втиснуться любой ценой. Я сам не раз участвовал в «поэтических вечерах» на телевидении. Дается, например, полчаса. Шесть участников. Один ведущий. Примерно по четыре минуты на человека. Но если первые превысят свою норму, последнему времени не останется. Теперь просто — настригут лоскутков, сократят. А тогда человек, выступая, видел себя на экране стоящего в студии монитора, хотя в эфире уже другая передача. Он звонит домой: «Ну, как я выглядел?» А ему отвечают: «Тебя не было. Где ты был?..»

В начале пятидесятых передачи с Шаболовки носили торжественно-волнующий характер. Объявлялась получасовая готовность. Десятиминутная. Пятиминутная. Наконец: «До выхода в эфир осталась одна минута!..» И почти следом голос режиссера, сверху, как с небес: «Выходим в эфир. Счастливого пути, друзья!..» И зажигался красный глазок в камере.

Спортивные соревнования еще долго передавались лишь в прямой трансляции. Летом 1966 года проводился мировой футбольный чемпионат в Англии, и транслировалось большинство матчей — по два в вечер. Даже по европейскому времени они заканчивались поздно, а у нас — двухчасовая разница — глубокой ночью. Мы смотрели их за городом, и у меня, как бывает в таких случаях, сдал телевизор. Пустил сосед, инвалид войны Виктор Михайлович Никольский — замечательный человек. Сейчас его уже нет на свете. И деда нашего тоже нет. Он, как и Никольский, садился смотреть, но вскоре не выдерживал, начинал клевать носом. Однажды он поднял голову и произнес в задумчивости: «Станга!»

Рядом со мной сидел мой приятель, конструктор вертолетов, живший в то лето по соседству. За стеною спала семья Никольских, было неловко, что мы мешаем, но нельзя же было отказаться от этого. В перерывах между таймами и матчами мы выходили в сад, закуривали. Вы-

соко над нами мерцало небо, густо наполненное звездами, заслоняя чуть ли не половину его, черной стеной нависал над поселком лес. И во всех окнах, как пруды под луной, молочно отсвечивали телевизоры. Курящие тушили сигареты — пора! А там — перехватывал мячи белокурый красавец Бобби Мур, бил с разворота всеобщий любимец Бобби Чарльтон, потрясая кулаком, взвивался в воздух празднующий удачу Эйсебио, закрывая лицо руками, шел с поля плачущий Пеле. И все это было не вчера, не утром, не в записи, а сию минуту, сейчас.

С того чемпионата Юрий Трифонов привез мне в подарок книжку о футболе, об этом всемирном съезде лучших, увенчанных успехом и — неудачников. Там были итоговые турнирные таблицы и снимки, среди них главный интерес представляли маленькие, как для документа, фотографии 352 футболистов, то есть всех участников финальных игр. Они были сняты в студии, некоторые в пиджаках и галстуках, их лица не выражали страсти, упорства, боли, жажды борьбы. Были и наши, в их числе выдающиеся игроки — Яшин, Шестернев, Воронин, Численко. Они заняли тогда четвертое место.

А через девять лет Булат Окуджава привез из ФРГ и подарил мне книгу о чемпионате мира 1974 года.

— Как же ты даришь такую книгу? — растрогался я.

— А я буду брать у тебя смотреть, — ответил он тут же.

Эта книга замечательна прежде всего тем, что она состоит из кусков жизни футбола, неоглядной радости и неподдельной печали.

Бывают документальные фильмы о спорте. Без текста — слова не нужны. Частый прием в них — съемка «рапидом», замедленное движение под музыку, как во сне. Эта книга напоминает мне такой фильм.

Или даже другое. Порою, когда нам показывают по телевидению спортивное состязание в цвете, режиссер вдруг на несколько секунд останавливает выбранный кадр, чтобы мы могли рассмотреть подробнее, и он, этот

кадр, как бы сам собой приобретает черты обобщения, искусства. Так и называется: стоп-кадр. В буквальном смысле остановленное мгновение, уже прошедшее. Режиссер вернул его и остановил. Результат гораздо более сильный, чем просто от фотографии. Такое впечатление оставляют снимки в этой книге.

Чудовищные пирамиды высоко в воздухе — по четыре человека. Трое, взмывшие к мячу и крепко зажмурившиеся от напряжения и ожидания встречи с ним. Летящие кубарем по траве в разные стороны. Крики восторга. Объятия. Жалобы. Броски вратарей. И голы, голы, голы. Пара: Круифф и Беккенбауэр рядом, психологический портрет. Ливень в матче Польша — ФРГ. Стена дождя, зонты за воротами, и обреченная фигура вратаря. Комья земли, дерна, газона. Пот и грязь на лицах. Счастье победы, радость малых удач. Ободряющие или карающие жесты судей. Горькие по большей части лица и глаза тренеров... Футбол!..

Да, так вот комментаторы. Есть у них и «ответные контратаки», и «неожиданные сюрпризы», и выражения типа: «Три динамовца вышли один на один с вратарем «Зенита» (сам слышал), и «импровизированная телевизионная кабина» — то есть место у борта, у бровки. Беда не в ошибке, не в оговорке, а в п р и в ы ч к е каждый раз говорить одинаково — как в прошлый. Это все равно что если бы писатель каждую новую книгу писал точно как прежнюю. И еще некоторые из них, как ни поразительно, не видят, не слышат, не замечают происходящего, путают, сбиваются и, конечно уж, не в состоянии ничего рассказать дополнительно, к месту, не мешая основному.

Прекрасно, когда ведут репортажи бывшие сильные спортсмены, но еще лучше, когда они могут рассказать нам нечто такое, о чем способны сообщить только они. Так, Набутов, ведя футбольный репортаж, сказал как-то: «Вратарь в прыжке потерял ориентировку...»

Потеря ориентировки в пространстве случается с мореходами в океане, с летчиками в воздухе. И вот с вратарями... Вратарь выбежал из ворот, прыгнул, не достал до мяча, его развернуло, и он на мгновение потерял ориентировку, не понимая, где мяч и в какой стороне ворота. Поведать о таком смог лишь бывший вратарь сборной.

К слову, о другом комментаторе, тоже бывшем вратаре. Владимир Федотов забил ему гол, судьи гол не зафиксировали. Они не только оказались невнимательными в игровой ситуации, но и не проверили перед игрой, надежно ли укреплена сетка на воротах: сильный низовой мяч прошел под ней. Это видели тысячи людей, вратарь, понятно, тоже. Он в ту минуту потерял не ориентировку, а нечто другое, когда поставил мяч на угол вратарской и как ни в чем не бывало выбил его.

12

Но что все футбол да хоккей? А русский хоккей, любимый всеми, кто связан с футболом! А Куц, Болотников, Тер-Ованесян, а прежде — Знаменские, Попов, Ванин! Их бег или прыжки стоят перед глазами. А та, годами недостижимая высота — 2 метра, которая, как звуковой барьер, вдруг была преодолена резко, свободно, многими. Поразительный прогресс Степанова, Кашкарова, Шавлакадзе! И явление Брумеля. Результаты росли неправдоподобно, и мы понимали, что это будет продолжаться. Я присутствовал при установлении Брумелем трех мировых рекордов, в том числе и последнего — 228 см.

Прыжки в высоту — один из самых удивительных видов легкой атлетики. Конечно, поражают воображение и прыжки с шестом благодаря своему головокружительному, под 6 метров, уровню. Однако бурный рост результатов связан там не только с техникой владения снарядом, но и с самим снарядом, с самой техникой. Бамбуковые, металлические или изготовленные из новейших пластмасс шесты, сгибаясь в дугу, по-разному бросают вверх спортсмена.

Здесь же может варьироваться лишь техника непосредственно прыжка.

На высоте 228 опять наступила длительная, на несколько лет, заминка. Рекорд застыл, законсервировался. Брумель при мотоциклетной прогулке получил тяжелый перелом ноги, остальные явно не были готовы.

И тут появилось нечто неожиданное. Американец Фосбюри изобрел новый стиль прыжка — Фосбюри-флоп. Поначалу стиль производил несерьезное впечатление циркового аттракциона: разбег по кривой и прыжок спиной к планке. Стали говорить, что это опасно, что новинку следует запретить. Но Фосбюри выигрывал, и началось повальное увлечение новым стилем. Казалось, что старый способ — перекидной — уходит в прошлое. Тем более что рекорд Брумеля был наконец побит, а затем быстро доведен Стоунзом (США) до 231 см. Распространился «флоп» и у нас, и в июне 1977 года Александр Григорьев наконец устанавливает новый рекорд СССР и Европы — 230. В мире оказалось несколько атлетов, способных поднять планку еще выше. И уже в начале июля — сообщение: «Советский спортсмен установил новый рекорд мира»... Григорьев? Нет. Им стал известный лишь специалистам восемнадцатилетний Владимир Ященко. В американском городе Ричмонде на матче юниоров СССР и США он с первой попытки взял высоту 233 см!

И опять хочется сказать об уникальности этого вида — прыжков в высоту. Во всех видах спорта, где участникам дается определенное количество попыток, — будь то метания, штанга, прыжки в длину или тройным, или на лыжах с трамплина, или с вышки в воду и т. д., число этих попыток строго ограничено.

Здесь, казалось бы, тоже. Но на самом деле три попытки предоставляются на преодоление к а ж д о й высоты. Взял очередную, планка поднимается — и опять три попытки. Теоретически — до бесконечности. Таким обра-

зом, даже победитель в конце концов сбивает планку, и у него не может не остаться оттенка неудовлетворенности.

Владимир Ященко взял рекордную высоту легко, свободно, с большим запасом. Но кинулись поздравлять, качать, затискали, сбили с ритма. Да и сам, конечно, был ошеломлен. Шутка ли — рекордсмен мира! 235 — он уже не взял.

Характерно, что Ященко прыгает отечественным перекидным стилем. Да и представители ГДР Байльшмидт (231) и мировая рекордсменка Аккерман (200!) — перекидным тоже. Испытанный старый стиль вновь вышел вперед. Соперничество не только спортсменов, но и стилей сулит в будущем немало интересного.

В июле 1957 года Юрий Степанов установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту — 2 метра 16 сантиметров. За двадцать прошедших с той поры лет планка поднялась на 17 сантиметров. Много это или мало? Чувствуется, однако, что очередная мертвая точка еще не наступила и рекорд мира будет в ближайшее время перекрыт.

А коньки, а лыжи! Как прекрасно смотрятся лыжные соревнования теперь и по телевидению, когда камеры установлены на разных отрезках, и мы можем следить за ходом гонки и видеть одновременно заснеженный лес, лиловые лыжни, яркие костюмы зрителей.

Я чувствую, что мой перечень превращается в список для игры в «Спортлото», и останавливаю себя.

В Союзе писателей одно время работала так называемая Комиссия по спортивной литературе. Возглавлял ее Лев Кассиль, а входили писатели, любящие спорт и хотя бы изредка о нем пишущие. Обсуждали книги о спорте, встречались с чемпионами, журналистами. Както возникла идея составить антологию стихов о спорте. Я даже взялся быть ее редактором, а помогать мне обещали М. Луконин, С. Куняев, О. Дмитриев. Но не выгорело дело: не нашлось издателя. А поразительно яркая

возникала панорама: спорт, его дух и облик в отечественной поэзии.

Любопытно: у русских поэтов XIX века почти нет стихов о спорте. Пушкин и здесь новатор — с него и следовало бы начать.

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ

Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легóк и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

Да, действительно, товарищ дискобола. Ведь играющий в свайку, по сути дела, копьеметатель.

И еще одно, тоже выполненное гекзаметром, пушкинское четверостишие:

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удáлой игре.

Зато в поэзии XX века выбор большой. Спорт входит в жизнь все заметнее.

В начале предлагаемых заметок я упоминал об употребляющихся на некоторых состязаниях счетчиках времени, грозно показывающих не сколько прошло, а сколько осталось до конца. Глянул — и все ясно. А если бы так в жизни?

Но есть еще другое понятие в спорте — чистое время. Неигровое не считается: как только игра остановлена — а останавливают часто, — выключают и секундомеры. Таким образом, продолжительность хоккейного матча бывает вдвое больше продолжительности самой игры. И всякий раз я воспринимаю это как деликатное

напоминание о бесцельно потраченном времени в своей жизни, где, увы, остановок нет — все идет в счет.

Вот и пора ставить точку. Но что это — записки, дневник? Желание объясниться с носителями одних только интеллектуальных интересов? Отдаленный, но вполне реальный гул московской Олимпиады, вызывающий встречное чувство? Или это — воспоминание о моей молодости, часть моей жизни, о чем я не могу не сказать? Потому что спорт — не массовый психоз, не средство отвлечься от более важного и насущного, а одно из прекрасных проявлений человеческого духа.

1977

ВРАТАРИ

Бывает, писатель так развернет сюжет, такие предложит ситуации для своих персонажей, что не только умудренный критик, но и простодушный читатель не верит: «Да нет, это уж слишком. Таких совпадений в жизни не бывает».

Автор убеждает: «Да это из жизни и взято».

Но они стоят на своем: «Неправдоподобно!»

Были два футболиста. Они играли в двух разных командах, которые сейчас назвали бы суперклубами или великими командами. Тогда это были просто лучшие команды.

И еще была молодость, только что отгремевшая война, едва снятые солдатская шинель и погоны. Был людской водоворот у Восточной трибуны, драгоценный билет, смятый в кулаке, радующая глаз ранняя зелень поля, особенный футбольный воздух, сладко кружащий голову...

Они выходили друг против друга лишь дважды, от силы три раза в сезон. Но они отлично знали друг друга. Они никогда не соприкасались в игре. Они занимали места на противоположных концах поля. Они были вратарями.

Они противостояли ловким, быстрым, могучим нападающим. Они бросались в гущу ног, под чудовищные удары. Они, как на пружинах, взмывали в воздух, перебрасывая свистящее ядро мяча через перекладину. Они распластывались в непостижимых горизонтальных прыжках, чтобы в нижнем углу накрыть мяч наглухо. Они принимали на себя прямолинейные жестокие мячи, обжигающие ладони. Они мгновенно разгадывали коварные замыслы и перехватывали неожиданные передачи.

Разумеется, не всегда им все это удавалось. «Игра есть игра», — философствовали обозреватели. «Мяч круглый», — говорили на трибунах.

Трибуны любили их, восхищались ими, прощали промахи. Впрочем, у нападающих именно промахов всегда случается больше.

Как истинные индивидуальности, они были совершенно непохожи друг на друга.

Один — даже невысокий для вратаря, но взрывной, прыгучий, длиннорукий. Как ни странно, верховой мяч, казалось, представлял для него меньшую угрозу, чем низовой. Это была европейская знаменитость. Слава его долго еще не стихала на Британских островах. «Тигр», «пантера» — почтительные прозвища, полученные им там, за границей. И действительно, в мягкости, эластичности его повадки проглядывало нечто кошачье.

Второй — крупный, стройный, мощный. Прежде он был борцом. В его игре привлекали открытость, почти простодушие. Но это не значило, что ему легко было забить. Его отличало поразительное хладнокровие, отсутствие нервозности, душевное здоровье. Если он пропускал досадно легкий мяч, «пенку», что случается со всяким, можно было с уверенностью сказать, что на дальнейшей его игре это не отразится. Редкие ошибки не выбивали его из колеи, ничуть не смущали внутреннего равновесия.

Несколько лет стояли они в воротах своих блистательных команд. Это были счастливые годы — для них, для футбола и для нас тоже. Между ними и нами существовала остроощутимая двусторонняя связь. Поэтому они так играли, поэтому переполненные трибуны дышали и замирали в лад их выходам и броскам.

Они появлялись друг против друга не более трех раз за сезон: по разу в каждом круге первенства и еще — если так складывалось — на Кубок. Но в этих трех схватках от них зависело очень многое.

Потом, как это неминуемо случается, они сошли, исчезли — не только с поля, но и из поля нашего зрения. Но не забылись. Они и теперь стоят перед глазами — к а к ж и в ы е.

Впрочем, первый вскоре вернулся. Наметанный зрительский глаз мгновенно схватывал его, обвешанного фотоаппаратами, спешащего вдоль газона своей чуть косолапящей походкой. Он и здесь резко выделялся. За воротами он провел гораздо больше лет, чем в воротах. Потом на его уход тоже обратили внимание.

Странно, они заболели почти одновременно, одной и той же неизлечимой болезнью. Мало того, они попали в одну больницу. Это произошло не потому, что больница была ведомственная или для спортсменов, нет, так вышло совершенно случайно, их определили туда по месту их жительства. По воле случая они оказались и в одной двухместной палате. Это был словно запоздалый знак судьбы, гримаса неведомой жеребьевки.

Более четверти века прошло с той поры, когда последний раз выходили они друг против друга на нежную зелень поля, вступали в свои вратарские площади с дочерна выбитой травой, и стихал стадион в волнующем ожидании.

Потом появился некролог, поразивший многих.

Андрей Петрович Старостин рассказал мне, что этот по-прежнему могучий с виду человек пришел в диспансер своего клуба и пожаловался известному спортивному врачу на неважный сон и самочувствие.

— Может, стоит поехать куда-нибудь, отдохнуть?

— Все, Володя, сделаем.

Его послали на рентген и увидели, что он обречен.

Другой за неделю до конца нашел в себе силы покинуть больницу и заявился на стадион. Тот же Старостин увидел его с трибуны и порадовался: «А говорили, Лешка плохой». Но кто-то столкнулся с ним лицом к лицу и подтвердил горько: «Плохой Лешка!..»

А я все думаю, как они лежали на соседних койках, о чем говорили — перед лицом своей беспомощности, боли, смерти.

Так ушли они навсегда — почти легендарные герои нашей молодости.

1983

ФУТБОЛ ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ВПОСЛЕДСТВИИ

Ноябрьским дождливым вечером включил телевизор, увидел каскад мокрых пустых скамеек, но камеру повели вправо, и на центральной трибуне обнаружились тесно сидящие, словно греющие друг друга зрители. Их, вероятно, было немного, но выглядели они слитно, кучно, решительно. Ими нельзя было не восхищаться. И я с некоторым удивлением подумал, что и я ведь когда-то был из их числа, тоже созванивался с друзьями, брал плащ или зонтик, стоял в очереди к билетной кассе. А вокруг текла, бурлила, закручивалась толпа, сдержанно ржали лошади конной милиции, свистели мальчишки.

Словно не со мной все это было, словно это был не я...

* * *

Демобилизовался я в сорок шестом, в декабре, — ни то ни се: в институт подавать опоздал, следующий набор только летом.

Выправил паспорт, получил карточки, встал на комсомольский учет. Предстояло устраиваться куда-то, выбирать институт, готовиться, поступать. Все предстояло... Но была еще одна ожидаемая радость: весной футбол, второго мая открытие сезона.

Не много сохранила память из того дня. Помню, что было прохладно, я был в шинели. Помню, что купил билет с рук — с приплатой чудовищной, но без раздумий. Помню, как протискивался сквозь толпу, пока не попал в поток, понесший меня к Восточной трибуне. Играли ЦДКА — «Спартак». Счет 1:1. Кто забил — не помню. Боброва не было, но был Федотов. Были Гринин, Николаев, Никаноров. А у «Спартака» — Леонтьев, Василий Соколов, Тимаков, Рязанцев. Остальных не помню. Да это и не важно. Важно сохранившееся в душе ощущение происходящего со мной и другими с о б ы т и я.

Может быть, потому, что это была первая для меня игра после войны? Легко ответить утвердительно, но нет! Ощущение это возникало еще долго, после м н о г и х матчей.

Народ валил валом, как на серьезное зрелище. Таковым оно и было. Кого я только не встречал на футболе, — знаменитейших артистов, генералов, писателей! Ходить на футбол было принято. Много лет спустя, на юбилее Андрея Петровича Старостина, я разговаривал в перерыве с Бобровым, подошел Михаил Иванович Жаров, расцеловался с ним и воскликнул:

— Помните, вы приходили ко мне с тем крайком, ах ты, как его, маленьким?!

— С Деминым, с Володей, — подсказал Бобер.

— Да, да, ах ты, боже мой, как жаль его! — сокрушался тот совсем по-жаровски.

Сейчас нет уже ни Жарова, ни Боброва, ни Юры Трифонова, который тоже был в тот вечер, ни Сереги Сальникова, ни многих других.

И ведь что поразительно, о чем нельзя не сказать! Стадион «Динамо» делал полные сборы при встрече всех московских команд друг с другом, также с тбилисцами, а кроме того, с каким-либо иногородним клубом, нашумевшим в текущем сезоне, будь то «Зенит», куйбышевские «Крылышки» или кишиневская «Молдова». На многие игры просто невозможно было попасть: эти завихрения толпы — от метро до касс, эти гроздья мальчишек на железной ограде!

И в то же время театры были вполне доступны: Малый, МХАТ, Большой. Билеты туда даже распространяли по предприятиям и институтам! И это при том, что еще

не покинули сцену выдающиеся корифеи. Как это сочетать, чем объяснить поистине всенародный послевоенный порыв на трибуны стадиона? Жаждой борьбы, непредсказуемостью исхода, потребностью в многотысячном единении?

Потом наступил обратный процесс: стадионы пусты, театры переполнены.

Говорят, футбол стал жертвой телевидения. Это неверно. Телевизоры КВН появились в 1949 году. На крохотный экранчик смотрели сквозь линзу, а проще — сквозь прозрачный резервуар, наполняемый дистиллированной водой. И где ее только брали, в аптеках, кажется! Впрочем, экраны такого размера, безо всяких линз, вновь вошли в обиход, только и сам «ящик» соответственный.

Потом начали выпускать телевизоры побольше, и совсем большие, и цветные в том числе, и были они уже в каждом доме, а народ на стадионы все валил. В середине шестидесятых в Лужниках на большинстве игр яблоку упасть негде было.

Нет, истинному ценителю футбола требуется дышать этим воздухом, иметь возможность разом видеть все поле, а не тот его кусочек, который покажет оператор. А повторы ему не нужны, ему достаточно самих голов.

Тогда, после войны, на футболистах были длинные и широкие трусы, почти шаровары. Сейчас бы это выглядело комичным, а тогда ничуть: кто длинноног и строен, все равно было видно. Футболки с воротничком и длинным рукавом (Башашкин рукава всегда закатывал). Высокие гетры и обязательные щитки под ними. Сейчас футболист, играющий без щитков, со спущенными гетрами, напоминает мне женщину, не носящую лифчика. И то, и другое веяние времени.

Вратари стояли в кепках. Помните знаменитую кепку Яшина? Теперь вратарских кепок не встретишь. Почему? Объяснение простое: раньше играли при дневном освещении и один тайм, как правило, против солнца.

Мощные осветительные устройства появились позднее. Теперь эти чуть склоненные над Лужниками или «Динамо» могучие мачты видны издалека. Сердце радуется, когда они в сумраке бросают слитный свет на зелень газона. Но, беда, лужниковский стотысячник не заполнялся больно уж давно.

Полный комплект не на трибунах, а только на поле.

Вот вспомнил о вратарских кепках и подумал, что ведь хоккейные-то вратари — теперь представить дико! — долго играли без масок. Словно в цирке воздушный гимнаст без страховки. А полевые игроки, как потом мотоциклисты или монтажники, не хотели надевать каски, всячески уклонялись от этого. То же бывало и на войне — от бравады или неопытности. Зато теперь в снаряжении хоккеиста при необходимости дополнительные защитные устройства: прозрачный щиток перед глазами, решетка, закрывающая челюсть.

Прежде спорт развивался и жил бесхитростно, зависимый от времени года. Кончался футбол, начинался хоккей. Многие играли и там, и там, и одинаково блистательно, — достаточно вспомнить того же Боброва. Теперь это невозможно: играть бы пришлось одновременно.

Хоккей, правда, не сразу, порой отчаянно сопротивляясь, все же ушел под крышу и прижился там, стал зрелищем в зале, как бокс или баскетбол.

А вот футбол, что ни говорите, выглядит под крышей искусственно, как искусственное покрытие, на котором играют. Футболу нужен воздух, трава, грязь на трусах и лицах, мокрый мяч, утоптанные и выбитые вратарские площадки, клочья дерна, земля между шипами. Это необходимо не только футболистам, не только зрителям. Это необходимо самому футболу.

Но деваться некуда, зима долгая, приходится скрываться в такие манежи.

Зима длинная, но и сезон длинный. Впрочем, зима такая же, как была, а сезон все продолжительней. Раньше заканчивалось первенство, начинался розыгрыш

Кубка. Сильнейшие, что называется, на ходу, да и другим путь не заказан: вспомним сокрушавшую всех подряд до самого финала команду города Калинина.

Финальный матч устраивался обычно восьмого ноября. А дальше уж хоккей — и русский, и потом — с шайбой.

Теперь ни один рядовой любитель и знаток футбола не объяснит вам — как и когда разыгрывается у нас Кубок.

Мы сетуем на то, что сроки европейских кубков не слишком нам подходят. Но с в о й - т о Кубок проводим в самое неудобное время, каждый сезон по-другому, и в результате часто видим случайных участников финала и не сильнейший клуб-обладатель.

Да, бывали громкие победы в международных турнирах: Олимпиада в Мельбурне (1956), — тогда олимпийцев встречали в Москве почти как челюскинцев, — Кубок Европы в Париже (1960), кубковые триумфы динамовцев Киева и Тбилиси.

Особенно привлекали в прежнем нашем футболе — вера в себя, бесстрашие. В 1958 году на первенстве мира наша сборная попала в одну подгруппу с Бразилией, Англией и Австрией. И хоть бы кто дрогнул, усомнился. Мы, что ли, хуже!

И вышли в следующий круг.

* * *

Поздняя осень 1984 года. Одни игры на газонах, только что и не до конца освобожденных от снежного покрова, другие на рафинированном синтетическом покрытии. Попробуй приноровись! Но стараются. «Зенит», «Спартак», «Днепр», минчане играют сейчас хорошо, более того — сражаются. Но сопровождающие их путь обязательные роковые срывы и спады не дают возможности смотреть на их будущее с большей уверенностью. Это все равно как если бы замечательный артист или

целый ансамбль время от времени играли бы свой спектакль из рук вон плохо. Но ведь так не бывает, просто не может быть с актерами высокого уровня и класса. А с футболистами, увы...

Отдельно — о ЦСКА. Странная, обидная судьба. Все в прошлом. Удивительно, что это происходит в спортивном обществе, где все игровые виды на самом высоком уровне.

Некоторые пытаются объяснить горькие неудачи давним (1952) несправедливым расформированием команды. Полно, команда А. Башашкина и А. Петрова уже в 1955-м выиграла Кубок. А в 1970-м, когда тренером был В. Николаев, ЦСКА вновь стал чемпионом. Нет, это новое, затяжное, бесконечное падение. Давно бы уже пора дернуть за кольцо и раскрыть купол.

Существует выражение: многомиллионная армия болельщиков. Определенный штамп. Но в данном-то случае это действительно армия — основные приверженцы ЦСКА. Как можно огорчать их столь долго!

И опять об Андрее Петровиче Старостине, бывшем капитане сборной страны и «Спартака». Это человек и спортсмен исключительного вкуса, такта, благородства. Он находится в возрасте достаточно серьезном, но работает, ездит в Управление футбола или в Федерацию.

Насколько я понимаю, он никогда и никуда в своей жизни не рвался. Он рвался только к мячу или с мячом.

И вот недавно он, чуть посмеиваясь, рассказал мне и моей жене, что когда он едет по утрам на работу, то буквально врывается в вагон метро. Врывается, чтобы занять место. А заняв, тут же уступает его — одной из женщин, попавших в вагон после него.

К сожалению, пример этот не подхватывается молодыми гражданами пассажирами. Те не замечают стоящих перед ними женщин и стариков, читают газеты, или делают вид, что спят, или просто не смотрят по сторонам.

И все-таки это пример. Именно так — собственным примером — он показывал, как нужно играть, как нужно терпеть, как нужно вести себя на поле и за его пределами.

* * *

Перечитал написанное и вдруг подумал: а хорошо бы созвониться с друзьями, взять зонтик, не побояться возможного разочарования.

Впрочем, сезон уже кончился. Может быть, весной?..

1985

Футбольный ветер нашей молодости... Он волновал, как морской или степной, оседал на губах, щекотал ноздри. Он гудел в ушах. И скольких людей помню я на этом ветру, самых разных людей, связанных и объединенных воедино футболом.

После войны у нас были две бесспорно классные команды — ЦДКА и московское «Динамо». Повидав впоследствии немало всякого футбола, я совершенно убежден, что это были команды высочайшего мирового уровня. Блистали в разное время — прочно, основательно, не на год, — «Спартак», «Торпедо», тбилисцы. Да и у других команд случались счастливые времена. И еще почти везде, и в «Локомотиве», и в куйбышевских «Крыльях», и в обеих ленинградских командах, и у ростовских армейцев, были игроки — игрочки, игрочищи, профессора, — посмотреть на игру которых приходили десятки тысяч, вне зависимости от результата. Что уж говорить! Но те две стояли отдельно, выше всех, неколебимо.

Теперь такая команда — одна. Да нет, я не являюсь ее сторонником, — но одна, нелепо с этим спорить.

Киевское «Динамо» — команда безупречно подобранная, подогнанная, составленная как хорошая коллекция, где каждое поступление оправдано и идет в экспозицию, а не в запасник. Ведь Чанов, Заваров, Беланов, да и других можно назвать, не свои, но сколь точно они были выбраны. Лобановского можно только поздравить с такими приобретениями. О доводке, шлифовке я не говорю, — это само собой разумеется.

Киевское «Динамо» — команда, столь страдающая от грубости соперников, от потерь своих техничных игроков.

Вот ведь как все изменилось! Помню времена, когда киевлян боялись как грубую команду. Помню киевского защитника, умышленно, расчетливо прыгнувшего обеими подошвами, всеми шипами, на ногу лежащего на земле Валентина Бубукина. Не хочется его называть, много чести. А игравший в том же клубе еще раньше костолом, жестоко калечивший Боброва и Федотова! Его имени сейчас почти никто и не знает, а они остались в футболе навсегда.

Сергей Сальников, сам футболист очень техничный, рассказал мне однажды, как тот защитник, не в силах справиться с Бобровым, подло, сзади, сшиб его и швырнул на гаревую дорожку. Бобер не успел уберечься и проехал лицом по шлаку. Он чуть не заплакал: назавтра ему предстояло жениться. Но он встал и не бросился жаловаться судье или с кулаками на противника, хотя сам был парень атлетичный, он утер лицо рукавом майки и сказал обидчику:

— Посмотри на табло!..

Там стояло — 2:0. Ясно, что в пользу Боброва.

Теперь страдают сами киевляне. Что поделаешь, это оборотная сторона высокого уровня и класса. Приходится терпеть.

Судейство бесспорно стало строже и, главное, нагляднее. Предъявленную игроку желтую (предупредительную) или красную (удаляющую) карточку видят все. Стали официально предупреждать и за нарушения, прежде считавшиеся безобидными: затяжка времени, перехват мяча руками, откатка мяча. И самое страшное здесь не мгновенное наказание, а последствия, — я бы сказал, последующее поражение в правах: автоматический пропуск одного, двух или даже четырех матчей.

Давно замечено, что наши футболисты в международных встречах очень часто нарываются на строгость зарубежных судей, страдают из-за собственной несдержанности или самых пустяковых, необъяснимо-нелепых проступков. Недавно один наш комментатор, ведя репортаж, горячо возмущался:

— Ну что же это такое! Мы им говорим, говорим: не нарушайте! А они нарушают. Что же они, не слушают нас, что ли?..

Какая наивность! Да, не слушают они вас и не будут слушать. Воспитать их сможет только строгость с в о е г о, отечественного судейства. Невозможно привыкнуть играть как бы по разным правилам.

Впрочем, чем выше квалификация судьи, тем более он дает поиграть, не свистит то и дело, хотя и держит ход матча в своих руках. Он как хороший редактор, который не подчеркивает карандашом каждое второе слово, не меняет запятую на точку, а точку на точку с запятой, он доверяет автору, уважает его, дает ему почувствовать собственную ответственность. Но и рукопись, разумеется, должна быть хороша.

2 июня 1986 г. Мексика. Ирапуато. 30° жары. Чемпионат мира по футболу. Матч СССР — Венгрия. 6:0.

После игры судья Л. Аньолин (Италия) шел с поля, обмахиваясь сложенными в виде веера желтой и красной карточками. Они ему понадобились, кажется, только для этого.

Хочется вернуться к Всеволоду Боброву. Конечно, это был удивительный футболист, и хоккеист тоже. Как он шел к воротам — через переплетение ног или клюшек, подавляя своей непонятной неудержимостью. У него был дар забивать, когда особенно нужно, — то есть решающие голы и шайбы. Что он выделывал тогда своими разбитыми, не раз оперированными ногами! Так он играл в Финляндии, на первой для нас Олимпиаде, против футболистов Югославии. А потом? Казалось, все, конец, стар Бобер, надо уходить, но он в хоккее стал еще первым чемпионом мира и олимпийским чемпионом. А затем, придя тренером в «Спартак», не будучи спартаковцем, да и, в отличие от Бескова, не став им, почти на одном самолюбии поднял и вытащил хоккейный «Спартак» в чемпионы.

Да, Бобров... Устроишься, бывало, на трибуне, выходят команды, смотришь: здесь он или нет? Эх ты, черт,

нету! И каждый понимает: значит, не может, врачи не пускают, опять какой-нибудь молодец (или даже известно — какой) постарался в защите, зацепил Бобра, знал, куда ударить. Или — радость: вон бежит. И Федотов здесь, и остальные. Сейчас будет дело.

Еще были у него, конечно, редкое обаяние, широта, благородство.

Я обрадовался, услыхав, что Юрий Власов любил больше всех в спорте Боброва. Казалось бы, что их могло сближать, кроме того, что оба большие спортсмены? Власов же совсем другой — и в своей внутренней сосредоточенности, и в интересах вне спорта. Однако привлекало, видимо, то, о чем я уже сказал: открытость, душевность.

Выступая на одном из юбилеев Андрея Петровича Старостина, Бобров рассказал о приезде в послевоенные годы в Москву по семейным делам старшего Старостина — Николая Петровича. Он тренировал тогда команду в отдаленном районе страны, посещение столицы было ему запрещено, как и остальным братьям. Он приехал незаконно, нелегально. Знаменитый и влиятельный Бобров отчасти опекал его в Москве, почитал это за честь. Они были даже на футболе.

Бобров сказал:

— В правительственной ложе на «Динамо» сидели трое: член правительства, я и заключенный...

Так и сказал, публично, хотя и не в зале, а среди своих — на банкете. Под членом правительства он имел в виду, как все поняли, В. И. Сталина, основоположника спортивного общества ВВС, души не чаявшего в Боброве. Это был авиационный генерал, который, командуя воздушными парадами, сидел всегда в правом кресле, то есть на месте второго пилота, и которого заглазно некоторые, даже еще тогда, называли просто по имени: Вася. Бобров по каким-то своим соображениям, кажется с кем-то не поладив, перешел из ЦДКА в ВВС, благо это было тоже военное общество. И не он один, а и Шувалов, и Бабич, и Виноградов, и Жибуртович, — вся первая ударная пятерка нашего хоккея. Правда, тогда не было цельных пятерок, были тройки форвардов и пары защитников. И футбольная команда собралась у них приличная, — почти все они играли и там. И очень сильный велосипед... ВВС разоряли остальных как птичьи гнезда. Приглашенных прежде всего прельщали отдельным жильем. Короче говоря, если бы и дальше так пошло дело, ВВС превратились бы не только в суперклуб, как «Реал» или «Ювентус», но и в суперобщество. Постепенно все бы лучшие туда перешли.

Этого не случилось по общеизвестным причинам. А так-то ведь возможности были неограниченными. Мой друг Марк Бернес поведал мне когда-то такую историю. Морозным зимним вечером раздался у него дома телефонный звонок, и уверенный голос, поинтересовавшись, не занят ли артист, доверительно сообщил, что его приглашают к товарищу Сталину. Прямо сейчас. Он сказал:

— Мы скоро за вами заедем...

Марк, по его словам, обалдел, испугался, но в то же время краем сознания, облегченно, хотя и с оттенком разочарования, сразу понял, о каком Сталине идет речь. Это подтвердилось, когда он увидел лётную форму заехавшего за ним офицера. Бернес был необыкновенно популярен, а среди летчиков еще и дополнительно — со времен своей роли в фильме «Истребители» и песни там.

Ехали долго, на дачу, в машине почему-то оказалось холодно, и, едва сели за стол, Марк налил себе рюмку, для сугреву, хотя обычно был к этому равнодушен. Однако сосед задержал его руку: «Да вы что! Не по команде...» Тут действительно поднялся хозяин и провозгласил первый тост — за отца и учителя! — после чего можно было держаться вполне вольно. Компания была сборная, — военные, артисты. Был там и Бобер. Они с Бернесом всегда испытывали друг к другу явную симпатию.

...Много знакомых лиц и просто знакомых можно было встретить на футболе. С иным столкнешься и удивляешься: почему он здесь? Но были люди, посещавшие

стадион регулярно, знатоки, завсегдатаи. Скажем, среди литераторов... Молодые еще поэты Евг. Евтушенко и Роберт Рождественский. Они ходили, разумеется, раздельно. А вот драматурги почему-то чаще всего вместе, — обсуждали, смаковали, чувствовали себя гурманами. Старейшиной у них был Алексей Николаевич Арбузов, а рядом располагались Исидор Шток, Леонид Малюгин, Александр Гладков, Леня Зорин... Тесно примыкал к этой сугубо театральной публике и прозаик Юра Трифонов. Они и на чемпионаты мира вместе ездили туристами, и на Олимпиады. Для Арбузова все это вообще составляло половину жизни. Вот вижу его на Рижском взморье, в старой еще столовой на дюнах, слушающим во время обеда репортаж. Перед ним стоит на столе, среди тарелок, редкость по тому времени — японский транзисторный приемничек, проводок тянется к уху. Арбузов рассеянно ест, увлеченно внимая тому, чего не слышат другие, — вздохам стадиона, волшебной скороговорке Синявского.

Когда вступили в строй Лужники, я большей частью ходил туда с Яном Френкелем. Приезжали заранее, гуляли вдоль реки. Деревца, высаженные на территории, были совсем еще тоненькие. Народ валил валом. Вот тогдашние клубы вполне могли быть на самоокупаемости.

Почему-то чаще всего встречали мы там сурового с виду Бориса Панкина.

О Трифонове. Недавно приезжавшая в Москву женщина, профессор Калифорнийского университета, занимающаяся творчеством Трифонова, спросила:

— Правду говорят, что ему не хватало денег, и он вынужден был писать о спорте?..

Какая чепуха! Если уж на то пошло, то как раз увлечение спортом отнимало ужасно много времени. Не только посещение матчей, — мы с ним, например, без преувеличения, часами говорили по телефону о футболе. Да и не только по телефону, — ведь жили несколько лет в одном подъезде, — его квартира находилась непосредственно под моей. И не со мной же одним он о спорте

говорил. В ущерб работе? Не думаю. Это было скорее не просто увлечением, но и средством снятия напряжения, сверхнагрузок.

А написал о спорте он в общем-то немного. Вот на полке, среди прочих, подаренных им, весьма скромная книжечка «Игры в сумерках» с кратким предисловием Андрея Старостина (издательство «Физкультура и спорт», 1970). Надпись на титульном листе: «Дорогому Косте — другу и болельщику. Ю. Трифонов. 26 авг. 70 г.».

В недавно опубликованном его давнем уже рассказе говорится, впрочем, о том, что эта страсть с годами поослабла, и даже странно вспомнить, сколь сильно она жгла. Это верно, у меня тоже похожее ощущение. Причина, полагаю, не только в возрасте, занятости, усталости, но и в самом футболе. Тем не менее и в последние годы Юра звонил порою вечером, пропустив последние известия, — например, после театра, — и спрашивал своим, только по первому впечатлению флегматичным голосом:

— Не знаешь, как там сыграли?..

Не хватало этой малости, чтобы спокойно лечь спать.

Но это уже в конце...

Ну, а что же те два футбольных гиганта, те две сверхкоманды послевоенных лет? Иногда они выбивались повыше, особенно «Динамо», потом опять, не в состоянии удержаться, срывались, соскальзывали. И вдруг, четверть века спустя после Победы, они подтянулись, подобрались, пошли как бывало, плечо в плечо, оставив остальных сзади. Тренировали их бывшие корифеи, свои блестящие игроки — В. Николаев и К. Бесков. Зима выдалась ранней, последние московские матчи играли по снегу.

Так и пришли они к финишу — вровень, и победителя должна была решить дополнительная встреча — в Ташкенте.

Оказалось, что даже две, — первый вечер окончился ничейно.

Главную, драматичнейшую, игру запомнили многие. Показывали ее из Ташкента прекрасно, впервые у нас — крупно скамейки запасных, тренерские, столь меняющиеся лица.

Трифонов был спартаковцем, с в о е г о интереса к этому матчу не имел, он мог смотреть спокойно, развалясь. А я-то за армейцев. Однако просто для поддержания накала пошли мы с ним в пари (он в данном случае — за «Динамо»), заложились на ужин. То есть проигравший угощает второго ужином, — без ограничений в заказе. И не одного, а приглашается и Андрей Петрович, — для еще более профессионального анализа и разбора.

Когда счет был 3:1 в пользу динамовцев и до конца оставалось девятнадцать минут, Юра позвонил мне: «Извини, старик», — сказал он с пониманием. «Что делать!» — ответил я и положил трубку.

Матч окончился со счетом 4:3 в пользу ЦСКА. Это были поистине звездные минуты армейского клуба. Дня через два-три мы пришли втроем в ресторан нашего писательского Дома. Народу было мало.

— Тоня, — обратился я к официантке, — какой там есть французский коньяк?..

— Совсем-то уж не раздевай! — улыбнулся Юра.

Что еще сказать? Мы интересовались не только футболом и хоккеем. Мы, если угодно, вообще знали спорт, были, что называется, широкими специалистами.

И все-таки футбол!..

У нас часто говорят, что это народная игра, и подчас забывают, что футбол — н а р о д н о е з р е л и щ е. Прекрасно понимал это Иван Алексеевич Лихачев, легендарный директор московского автозавода, — сперва еще АМО, потом ЗИСа. Теперь это ЗИЛ — в его честь. Лихачев, между прочим (мир тесен!), был довольно долгое время соседом Твардовского по дому, его квартира находилась за стеной, балконы рядом.

Это был поистине народный директор, член партии с семнадцатого, красногвардеец. Он понимал, что рабочим для хорошего настроения нужна своя классная ко-

манда. Торпедовцев любила и вся Москва. Еще бы! Там играли в послевоенные годы сам Пономарев, братья Жарковы, Гомес, Мошкаркин, пришедший из «Спартака» Акимов. Впоследствии накатилась новая торпедовская волна мирового класса — Стрельцов, Иванов, Метревели, Воронин, Маношин... Но это потом.

Владимир Мошкаркин, известный футболист, в дальнейшем ответственный секретарь Федерации футбола, рассказывал мне, как вскоре после войны вся команда попросилась на прием к Лихачеву — по жилищному вопросу.

Пока рассаживались, он бросил недавно смещенному за какую-то провинность бывшему торпедовскому капитану:

— Ну, что пригорюнился? Ты ведь только с горшка упал, обмарался немножко. А если я упаду, представляешь?..

Все сдержанно засмеялись. Он умел говорить с людьми.

Они высказали свои просьбы. Он помолчал с минуту, задумавшись. Потом резко встал:

— Ну, пошли!..

Они удивились и спустились вместе с ним. Внизу их ждал автобус. Лихачев повез их к баракам, где жили, скученно, тесно, бедно, рабочие горячих цехов. Среди них было еще немало женщин, подростков. Он ходил по баракам, там было темно после дневного света, — команда за ним. Он здоровался, беседовал с людьми, многих он знал в лицо и по имени-отчеству. Он просил еще потерпеть, обещал, что скоро построит для них дома, и они понимали его и верили. Кое-кто постарше обращался к нему на «ты», по давней рабочей традиции.

Потом Иван Алексеевич и футболисты вышли из барака и сели в автобус. Ни он, ни они на эту тему больше не говорили.

Тот эпизод Мошкаркин запомнил на всю жизнь. И другие, наверное, тоже. Это был урок того, что они с народом, что они для народа.

...Футбольный ветер. Нет-нет да просвистит он в ушах, далекий, наивный ветер моей молодости.

Мне доводилось общаться с людьми из большого футбольного мира, со всенародными любимцами. Это всегда выходило не специально, а естественно. В их бесхитростных рассказах (как, надеюсь, и в этом моем) всегда было полно живых деталей и подробностей. Что это, мелочи? Да нет. За ними, думается, встает неповторимое время. Не вспомнишь, не расскажешь — многое пропадет, потеряется.

1984

II

В детстве я жил в заводском поселке в Сибири. Наш двухэтажный бревенчатый дом стоял в последнем ряду, за ним тянулись только дровяные сараи, уборные, а дальше уже — тайга. Бывало, что волки подходили к самому поселку, я видел отпечатки их лап, огромные, расшатанные тем, что ступали они след в след. Однажды я проснулся ночью. Отец, видно, только что вернулся со смены. Он стоял у окна. На столе горела керосиновая лампа с высоким, сужающимся кверху стеклом. Вообще, у нас было электричество, но его часто, когда попало, выключали, и лампа всегда была наготове.

— Слышишь? — сказал отец матери.

И тогда я тоже услышал далекий — я сперва подумал, что это заводской гудок — вой.

— Да, да, — испуганно кивала мать.

А отец размял папиросу и начал прикуривать над ламповым стеклом. Я всегда удивлялся — как это у него выходит: фитилек далеко внизу, но отец усиленно чмокает губами, и на конце папироски просто из ничего возникает, разгораясь, красная земляничина.

Я дружил с братьями Узловыми — Юркой и Колей. Они жили в нашем доме, внизу. С Юркой мы вместе учились тогда в четвертом классе и сидели за одной партой. Мне было одиннадцать лет, ему четырнадцать, потому что на каждый класс он затрачивал по два года. Я помогал ему, как мог. У нас была учительница, местная, чалдонка, Ариадна Поликарповна, полная, статная и властная женщина. Помню, был как-то диктант. Она ходила по классу и, следя, чтобы не списывали, размеренно повторяла: «На плите стояла кастрюля».

Сперва я не обратил внимания, но когда она произнесла это слово дважды, я засомневался. Я был уверен, что нужно писать «ю», и подумал: «Нарочно сбивает», — но она с такой убежденной твердостью в третий раз сказала: «каструля», что я не мог заподозрить ее в столь низком коварстве и поверил ей. И я оказался прав, — получил пятерку. Вернее, тогда не было пятерок, не было и отметки «отлично», тогда высшей оценкой было «очень хорошо» — «оч. хор.». Юрка получил «посредственно» — «посик», не потому, что написал «кастрюля», а потому, что, списывая у меня, допустил три ошибки.

А Юркиному брату Коле было уже шестнадцать, он работал слесарем на заводе. Он был степенный, спокойный, совсем взрослый парень. Я писал письма его девушке. У него была девушка, я ее никогда не видел, она уехала в город, и вот теперь они переписывались. Сперва Коля пытался отвечать ей сам, но у него ничего не получилось, он попросил меня и дал прочесть ее письмо.

В самом конце этого письма были слова, поразившие меня своей печалью и образностью. Там было написано: «Жду ответа, как соловей лета». В тех местах соловьев не было, я вообще не знал, где и как они проводят зиму, но очень уж отчетливо представил себе этого бедного соловья и эту девушку, которая с такой же тоской и надеждой ждет Колиного, а собственно, моего ответа.

Конечно, я догадывался, что она не сама придумала эти удивительные слова, но сладкая их сила от этого не уменьшалась.

Я надеялся, что когда-нибудь тоже буду получать письма с такими словами. С тех пор прошло много лет, и я, конечно, получал много писем, и были среди них прекрасные, приносившие мне истинную радость, но ни в одном из них так и не было слов: «жду ответа, как соловей лета».

На кухне у Узловых мы разогревали над плитой наши лыжи перед тем как натереть их мазью, и, небрежно бросив их на снег у крыльца, легко надевали. Крепления были подогнаны как следует: сшитый крепкой дратвой

носковой ремень, узкий, по мерке, чтобы нога не протискивалась до подъема, а к ремню прикручена мягкой проволокой резиновая аптечная трубка, захватывающая валенок за пятку и держащаяся особенно прочно, если у валенок подшиты задники.

Стуча разъезжающимися лыжами по плотно утоптанной улице, мы углублялись в лес. Коля, если бывал свободен, всегда присоединялся к нам. Я неплохо тогда ездил на лыжах. Именно не ходил, а ездил, съезжал с гор, удерживаясь на ногах там, где падали многие взрослые, прыгал с небольших самодельных трамплинчиков, присев на корточки, пролетал под преграждающими путь низкими еловыми ветвями, сев верхом на палки и тормозя таким образом, благополучно спускался с длинной крутизны Лысой сопки. Я объясняю эту устойчивость своим малым тогда ростом. Но и мне, разумеется, случалось падать, да еще как, и терять на склоне лыжу, и ломать лыжу и палки.

Но в тот день мы не собирались кататься с гор. Стояла уже середина недолгого зимнего дня, неожиданно дали ток, и на улице зажглись все фонари. Идя друг за другом, мы углубились в лес.

Сразу за нашими домами начинался постепенный подъем, долгий, но нетрудный. Идти было лишь чуть-чуть тяжелее, чем по ровному месту, но зато обратно, хорошо разогнавшись по накатанной лыжне, можно было мчаться без особенных усилий до самого дома.

Уже слегка смеркло, было тихо, и мороз, как обычно, не замечался, но рука в рукавичке уже сама то и дело трогала нос и скулы. Наушники у шапок были опущены, и мы, конечно, были не в лыжных костюмах, а в шубейках.

Мы мерно и ходко шли друг за другом, впереди Коля, за ним Юрка, за ним один рыжий парень, Юркин сверстник и бывший одноклассник, и последним я. Мы шли вверх по нетрудному подъему, по хорошей аккуратной лыжне, со следом от лыжных бороздок посередине, мимо огромных сосен. Извилины в их коре были забиты снежком и морозом.

В тайге уже стояли лиловые морозные сумерки. Мы вышли на поляну, откуда и собирались повернуть назад, и остановились. До дома было километра три с половиной, четыре. Мы не очень устали, но все же отдыхали, наклонившись вперед и навалившись плечами на палки, и спорили, кому теперь ехать впереди. Дело в том, что под уклон лыжня несла хорошо и идущим первыми нужно было работать, чтобы на них не наезжали задние.

Мы лениво спорили, кому ехать впереди, а над вечерней уже, зимней поляной за вершинными сосновыми ветвями горела звезда. Она горела так остро, будто это была не целая звезда, а осколок звезды. И ведь сколько прошло лет — больше тридцати — и каких лет, а я все помню, все вижу эту звезду в вышине над поляной.

Мы спорили, и тут совсем близко, почти рядом раздался хриплый, какой-то сперва надтреснутый вой, который, однако, тут же несколько выровнялся, и к нему, как след в след, подстроились еще два или три, повыше. И забыв обо всем, слыша только этот чудовищный, такой реальный звук, мы кинулись на лыжню — первым, кажется, Юрка, за ним рыжий, или наоборот. Я замешкался, у меня одна лыжа попала носком под другую, но Коля наступил на нее, помог вытащить, подтолкнул в спину и крикнул страшным шепотом:

— Давай!

И я покатился по пологому спуску, меж черных сосен, вниз, домой, домой, а за мной, за спиной, тоскливо и жутко звучали в морозной тайге слитные звериные голоса.

Но между ними и мной еще шуршали Колины лыжи, и свистел, толкал меня в спину его голос:

— Давай, давай! Молодец!

И я всем телом слушал этот жуткий вой и этот свистящий голос, и мчался, мчался, потому что я хотел жить, видеть мать и отца, ходить в школу. Я жаждал, я желал, я ждал этого, — может быть, как соловей лета. Как соловей лета. Как соловей лета. Даже сильней.

Я мчался и мчался, весь мокрый, сосны уже начали редеть, а огней поселка все не было видно, и тут лыжи у меня разъехались, я едва устоял. Это я вылетел уже на улицу, утоптанную и укатанную до каменной твердости зимнюю улицу поселка. Не дорогу, а именно улицу, потому что в тех краях выпадает немного снегу и он весь утрамбовывается ногами, полозьями и шинами — вся площадь поселка.

Мы ворвались в поселок и лишь теперь заметили это. Электричество опять было отключено, в замерзших окнах слабо светились керосиновые лампы. Юрка и рыжий ждали нас.

Мы медленно поехали к нашему дому. Ноги наши разъезжались, мы просто шли, стуча лыжами и не замечая этого.

Мы не замечали и того, что молчим.

И тут дали опять ток, и разом ярко зажглись все окна и фонари на улицах.

1969

РАЗГОВОР О ПТИЦАХ

На исходе долгого больничного дня я очнулся и наконец освободился от рваного тягостного сна. В нашей большой палате разговаривали о птицах.

Вернее, рассказывал один — наш морской капитан Поликарп Герасимович. Говорил он, как всегда, спокойно, не громко, не торопясь.

— Замечательно красивая птица. Альбатрос. Судно дает, вы представляете, тридцать узлов, а он стоит над палубой, парит, крыльями вроде не шевелит, а не отстает.

— Это где же? В каких водах? — поинтересовался Витя, мой сосед, атлетически сложенный парень из рязанской деревни, ныне студент Нефтехимического института.

— Пятидесятые широты, — охотно объяснил Поликарп Герасимович и продолжал: — Ну, мы поймали одного. Есть еще голубые альбатросы. А это белый...

— А размеры у него какие? — полюбопытствовал Витя.

— Крыло сто сорок три сантиметра. Измерили. Грудь, — Поликарп Герасимович показал руками, — сантиметров двадцать. Клюв, правда, здоровый. А перышко каждое с узором, исключительно красивый рисунок, тонкий. Царская птица. Но особенно он хорош, конечно, в полете.

— А как поймали, Поликарп Герасимович? — не унимался Витя.

— На крючок.

— Рыбу насадили?

— Конечно, рыбу. Прыгающую. Ну, как называют, летающую. Врач его с крючка снял, аккуратно, чтобы не

повредить. А он с палубы сам взлететь не может. Его надо на борт посадить, он бросается вниз, и пошел. А сам взлететь не может...

Я замер, ожидая, что сейчас он скажет о Бодлере, и поскольку он все еще не упоминал о нем, хотел сам сказать:

— А вы знаете, был французский поэт Шарль Бодлер, в середине прошлого века. И он написал знаменитое стихотворение «Альбатрос»...

Но я был еще слишком слаб и не смог бы прочитать его вслух целиком.

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, Поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе[1].

— Исключительно красивая птица, — говорил между тем Поликарп Герасимович. — Чучело хотели сделать на память, для кают-компании, но команда запротестовала. Пожил три дня, и отпустили. Пищи, правда, много берет...

Наша палата была самая большая в отделении, и к нам заходили многие, запросто, поболтать.

---

[1] Перевод В. Левика.

— Ну, что? — спросил Поликарп Герасимович стоящего у дверей человека. — Завтра операция? А жена уже прилетела?

— Да, — улыбнулся тот. — Как погоду дали, первым бортом вылетела, — и, продолжая улыбаться, рассказал: — А вы знаете, у нас птица кедровка, леса кедровые сажает. Она птенцов-то поздно выводит и вот на зиму заготовляет им корм, кедровые орешки. А уж выбирает самые отборные, ни одного бракованного. Ямки она выкапывает обязательно на полянке, на открытом месте и прячет орешки-то. И всегда запасает больше, чем нужно. А зимой под снегом находит, — нюх такой, что ли, или ориентировка такая. Но не все лунки все же находит, вот они и прорастают потом и растут, кедры-то. Будете в тайге, увидите, на полянке кедры молоденькие растут, три-четыре из одного места, считай, кедровка посадила. Клюв у нее сильный, мерзлую землю долбит, никого она не боится, но когда орешки откапывает, в снег углубится, увлечется, тут ее хищник сверху-то берет беззащитную.

— Ишь ты! — удивился Витя. — А величина ее какая?

— Величина? Как вам сказать? Знаете скворца? Так вот примерно один с четвертью скворца.

— Интересно, — задумчиво сказал Витя. — Бывает, идешь в поле, так видишь: что за птица здоровая такая? А подойдешь ближе — скворец. Так расхохлился.

— Нет, — возразил кто-то, — это когда они весной прилетят — худущие, в скворешник так и проскакивают, а уж осенью с трудом пролезают.

— Один с четвертью скворца, — повторил сибиряк.

— Как голубь?

— Что голубь! Голуби — тунеядцы!

— Тунеядцы! — обиделся слесарь Николай Степанович, работающий здесь же в больнице и заходящий к нам в палату проведать знакомого. — Это же не голуби, которые под колесами по асфальту ходят. Я до войны тридцать голубей держал. Два нагула у меня было. Почтовые у меня все отдельно, никогда в другое не зайдет. Ну, я

вступил в Осоавиахим. Приехали шесть человек, сетку мне поставили, все сделали. А кидал я голубей из разных мест, чтобы запутать, ну, там, из Марьиной рощи, от Савеловского. Потом из пригорода, ну, там, из Пушкина, из Раменского. Каждый раз из другого места. Осоавиахим билеты оплачивал мне, проезд в электричке. Ну, они все приходили, как часы. Потом стали их кидать из других городов, ну, там, из Одессы, из Ленинграда кидали. Ружье взял и зеркало.

— Это как? — не понял Витя.

— Ну, трельяж. Призы. Кинули с Дальнего Востока. Всесоюзное соревнование. Моих было четырнадцать голубей. Пришли два. Один в срок, другой через полтора месяца. На кого ожидал — не пришли, на кого не ожидал — вот они, явились.

Ну, после войны один друг, с которым гоняли, вез мне из Германии двух галок, такая порода редкая, черные-черные, потому называются галки. Так они не очень интересные, а в голубятне, когда свет поступает, исключительно черные. Вез пару. А через границу их провозить нельзя, спрятал в чемоданчик. Пока то да се, открыл, самец уже готов, погиб. Самка осталась, они более живучие. Ну, я когда на рынок ее носил, искать ей пару, мне давали за нее пятьсот-семьсот рублей. Знаешь, какие там люди ходят? Вот с такой бородой. Ну, месяц я ее держал, не пускал, потом решил рискнуть, пустил. Другие почтовые всегда уходили часов на пять и кого-нибудь приводили. А этой весь день не было, с утра. Потом, смотрю, идет. И промазала, села около Колькиной голубятни, на гребне сидит. А уже стемнело. Все соседние голубятники фонари зажгли, они все злые на меня были, я у них многих уводил, а Колька пополз к ней, хотел схватить, но промахнулся. Она взлетела и села около меня на дерево. Я зажег три свечи, и она зашла. После этого жила у меня четыре года...

Позвали ужинать, и все ходячие, покопавшись в своих тумбочках, потянулись в столовую. В большой нашей палате остались только мы с Витей.

За окнами небо еще светлело, но на земле уже совсем смерклось, и у перекрестка ясно стали видны сразу три светофора, — будничная иллюминация, световая реклама размеренности и порядка.

Мы в задумчивости следили, как на всех трех одновременно вспыхивал зеленый, потом желтый, потом красный, потом на одном сбоку приклеивалась зеленая стрелочка поворота и вновь отпадала, потом опять желтый, опять зеленый, — и так без конца.

1969

Душным июльским вечером, ожидая электричку на людной московской платформе и потом с усилием втискиваясь в вагон, художник Сергей Попов остро вспомнил — и острота эта все не отпускала, — как когда-то ротный послал его в Москву к женщине — он сказал: к сестре — с продуктами. Часть формировалась на маленькой станции, по этой же дороге, и вот-вот должна была сниматься с места. Ротный не мог отлучиться и послал единственного москвича. Вещмешок был запакован намертво, удобно лежал на спине, и Сергей отдал его с некоторым сожалением, только остались торопливые слова благодарности и взгляд испуганных молодых глаз. До дома было отсюда порядочно, и он не стал терять времени: мать приезжала к нему прощаться накануне.

Молодой и голодный, он стоял на платформе в полном, без единого огонька, мраке, из которого неожиданно выплыл тоже темный состав. Люди цеплялись на ходу, стараясь захватить место. Когда его внесло внутрь, вагон был уже полон, но долго не отправляли, и народу все прибывало. И на каждой станции садилось больше, чем выходило. Потом остановились в поле, и люди в тесно набитом темном вагоне молча слушали отдаленные взрывы и где-то рядом скорострельную зенитную пальбу.

Попов, конечно, и раньше не раз вспоминал все это, но от многочисленных повторений ощущение постепенно стерлось, размазалось. А сейчас он даже не вспомнил об этом, сейчас он это увидел и почувствовал.

Так получилось. Летом он бывал в городе только при крайней необходимости. Сегодня нужно было срочно сдать портрет маршала Толбухина, выполненный для

музея окружного Дома офицеров. Все прошло нормально, как говорит его сын Витя, а затем на раскаленной московской улице Попов, уже слегка обремененный несколькими необязательными покупками, встретил Игоря Метелина. И тоже — они частенько видались на выставках и на собраниях, а здесь оба как бы придали особое значение этой встрече, остановились, обрадовались. Вскоре они уже сидели в полупустом зале большого ресторана, где Игоря знали и были поэтому довольно внимательны, — и пили вино, лучшее, что нашлось, — каберне. Игорь мимоходом разъяснил, что в принципе вино это зимнее и, как все красные, хорошо чуть подогретым, к мясу, а летом приняты сухие, охлажденные («Знаешь, в запотевших бутылках!») белые вина. Попов в этих тонкостях не разбирался, ну, а Игорь — он во всем был дока.

И сейчас Сергей, улыбаясь, смотрел на него, с удовольствием отмечал его изящество и осанку.

Они вместе учились, сразу после войны, и хотя Сергей жил дома, а Игорь в общежитии, были неосознанно близки друг другу, — оба мальчиками ушли на фронт, да и вернулись совсем молодыми. Тогда ничего еще в них окончательно не устоялось, их связывала только одинаковость их судьбы. Время было голодное, но радостное. И еще сидело в крови ощущение, что нужно чего-то добиться, самому, своими руками. Процветал жанр. «Пресловутый жанр», — говорил Дударов, их профессор Дударов, Петр Григорьевич, которого они за глаза любовно называли «Петя», он и сейчас преподает в их институте. «Нужно видеть общо, — учил он, — а у вас литература!» Все так, но, что ни говорите, перед «Письмом с фронта» толпы стояли.

А Игорь Метелин был прирожденный график, работал изящно, легко. Он был уверен, что время его придет. Теперь он вместе со стариком Дударовым преподавал в их институте, студенты его обожали за его работу, за повадку и язык. Попов всегда угадывал его руку и, встречая в салоне эстамп или беря книгу, называл художника, не глядя на подпись, слегка гордясь, что

это его однокашник и друг. А старик Дударов и сейчас ворчал: «Французисто!» или «Среднеевропейский стандарт».

По правде говоря, не такой уж и стандарт!

Они сидели в полупустом ресторане, болтая о чем попало, как два близких человека, довольные лишь присутствием друг друга. И они к тому же помнили, какой снаружи зной.

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает! —

подчеркнуто произнес Игорь, рассматривая на свет бокал с вином.

— Это кто написал?

— Одоевский. Декабрист.

— «Во глубине сибирских руд»? — уточнил Сергей.

— Нет, то Пушкин. А этот — ответ. «Струн вещих пламенные звуки».

— Да, да! — обрадовался Попов. — Помню. Еще в школе. Но вообще-то, знаешь, если к нам применить, сильных впечатлений было порядочно.

— Были, — согласился Игорь и, вытянув шею, приблизил к нему лицо: — Слушай, Серега, а ведь лучшее в нашей жизни все уже было.

— Та́к, значит, считаешь? — спросил серьезно Попов. — Так ставишь вопрос?

— Да брось ты дурака валять. Послушай. Юность была какая! Война. За Родину воевали. Друзья были какие! Женщины какие нас любили! И работа по душе, и успех мы знали. И дети есть. Судьба есть.

— Считаешь, уже всё?

— Да не все, но главное уже было.

— Не удивил, — сказал Попов, подумав. — К нашему возрасту надо же что-то сделать, чтобы основное уже было. Это нормально. Вопрос: есть ли у нас, у меня к примеру, ядро это?

Ему вдруг ужасно жалко стало себя, растраченных

дней, он поразился своей разболтанности, лени, хотя всегда считал себя работником.

— Работать надо, — сказал он жестко. — Вот это верно. Как нам старик Петя всегда говорил? «Поталантливей, ребята, поталантливей!» Ну, давай выпьем этой кислятины.

Они чокнулись краешками тяжелых бокалов, отпили, и Сергей, неожиданно для самого себя завладев разговором, продолжал:

— Это ты верно говоришь, нужно успеть побольше. Жизнь-то не ждет. Пускай ты сделал уже что-то, надо еще, и получше. Надо пользоваться тем, что не погибли, не умерли, а живем, надо же это оправдывать. У меня на даче, за забором, Сенька Глухов, вот у них дед, семьдесят семь годов, крепкий дед, дай ему Бог здоровья. Вот слышу, говорит внуку, а внуку младшему десять лет, — ох-хо-хо, говорит, тебе жить, а я, говорит, уже на финише.

— Телевизора насмотрелся, — вставил Игорь. — С Олимпиады.

— Да. Ты, говорит, когда жениться станешь, из меня уже береза вырастет. А пацан стоит, глазами хлопает, не знает, что сказать. Ну, зло меня взяло. Что ты ноешь! Ты ведь, думаю, в более выгодном положении. Живи еще двадцать лет, на здоровье, но ты ведь жизнь прожил, а это прекрасно. Все у тебя было. А с ним еще неизвестно, что будет. Может, он завтра умрет или утонет, ничего не испытав.

— Верно, — согласился Игорь. — Со временем нас волнует, не кто раньше или позже помер, а кто сколько жил. Возьми Васильева Федора. Восемьсот пятьдесят тире семьдесят три. Двадцать три годочка, всего-то навсего! А, скажем, Илья Ефимович? Посмотришь в словаре, — ага, значит, восемьсот сорок четыре и девятьсот тридцать. Прикидываешь машинально — восемьдесят шесть, так? И сердце радо. А кто раньше, кто позже — это дело второе, так уж устроено.

Сергей посмотрел на худощавое, такое дорогое для него сейчас лицо Игоря и негромко спросил:

— А мою дипломную работу помнишь?

— Конечно, — удивился Игорь. — И захочешь забыть — не дадут. Каждый год какой-нибудь журнал воспроизводит. Но я и без этого помню. И «Стучат?» тоже.

Да, все есть, выставки, имя приличное. Но все-таки всерьез остались две картины. И первая — как сейчас ни удивительно — это его диплом.

Он ее задумал давно, на втором курсе, но не торопился, сдерживал себя, чувствовал, что это будет не рядовая работа. Она подолгу стояла у него перед глазами — каждый раз по-другому, не так. Там были две фигуры — молодая женщина и солдат. Солдатом он твердо решил написать по памяти Колю Ермачкова, погибшего в самом конце войны в Чехословакии, чтобы Коля остался жить хотя бы на его холсте. Женщину он бы мог написать из головы, но у них было принято обязательно писать с натуры, и самому хотелось, чтобы вышло подостоверней. Институтские натурщицы, которых они без конца писали и рисовали на занятиях, в различных постановках, явно не годились. Он присматривался к девчонкам со своего и с других курсов, к соседкам по двору, но подходящей не было. Можно было писать ту или другую, но не находилось безусловной, единственной. Он раньше читал о мучительных поисках художниками натуры, но как-то не принимал этого вполне всерьез. Сейчас это занимало и задевало его все более.

В тот счастливый январский день, в воскресенье, он ехал в гости. Проезд в трамвае стоил еще пятнадцать копеек. Вагон был насквозь промерзлен, жутко скрипел, на окнах пророс густой мохнатый иней, а с улицы сквозь него пробивалось солнце. Лютые, прочные стояли тогда зимы. Или просто мы были скверно одеты? Англичане говорят: «Плохой погоды не бывает, бывает плохая одежда». Он был в шинели, на брюках латки. Мать исхитрялась ставить их так здорово, что они были почти незаметны, не то что теперешние кожаные заплаты на Витькиных джинсах.

Он не видел, как она вошла. Обернулся — она уже стояла на площадке.

Сперва она ничем его не поразила. На ней была беличья шубка, а руки спрятаны в беличьей муфте, — сейчас такие почти не носят.

Эта муфта была слегка поновей шубки, — видимо, хозяйка брала ее с собой не всегда, а только в сильные морозы. Голову покрывал пушистый белый платок, на ногах белые бурочки. И чем дольше смотрел на нее Сергей, тем дольше хотелось смотреть. Ее миловидное, поначалу показавшееся ему заурядным лицо привлекало необъяснимой прелестью. Оно вызывало в душе доверие.

Он даже не сразу осознал, что уже видит ее на том холсте, в тот хмурый зимний день, рядом с Колей Ермачковым. Он просто смотрел на нее.

Он знал себя. Если бы она сошла раньше, он бы никогда не решился выйти следом. Если бы она ехала дальше, он бы сошел на своей остановке, и все. Но она приготовилась выходить одновременно с ним. Это была судьба. Гулко забилось сердце, и в ушах пронзительно прозвучал сигнал — к действию. Морозное солнце ослепляло, он чуть не потерял ее из виду. Она остановилась у забора, читая афишу, и он, изумляясь своей пусть кратковременной, но столь решительной смелости, заговорил. Она обратила на него большие серые глаза, и, вероятно, он тут же сказал что-то не так, потому что они сделались строгими. И хотя он был как во сне, его осенило, в чем причина этого: она могла понять, что он говорит об обнаженной натуре, — и он уточнил, успокоил ее. Он, сбиваясь, говорил о своей работе, о войне, о Коле, — и она слушала его терпеливо и внимательно.

— Один сеанс, в крайнем случае два. Соглашайтесь, пожалуйста. Это будет замечательно!

— Картина? — спросила она, улыбнувшись.

— Что? — он смутился. — Я не то хотел сказать. Но картина тоже.

— Но разве так делают? — в ее голосе прозвучала нерешительность.

— Именно так. Только так и бывает. Можно вам позвонить?

Она посмотрела на него, чуть задумавшись, и сказала просто:

— Пожалуй, я сама вам позвоню. Есть у вас телефон?

Он вырвал листок из записной книжки, крупно записал номер мягким жирным карандашом.

И она пришла. Позвонила накануне вечером, — он после этого не мог заснуть, наутро с трудом заставил себя выпить стакан чаю. Мать была на работе, он ходил по комнате из угла в угол, останавливался, прислушивался. При каждом звуке на лестнице его начинала бить дрожь. Когда он открывал ей дверь, обе старушки соседки вылупились из своих комнат. У себя он помог ей раздеться. Шубка была морозной сверху и теплой изнутри.

Она стала с преувеличенным вниманием осматриваться, как это делают в незнакомом доме, когда хотят побыстрее освоиться. Вряд ли что-нибудь могло ее здесь заинтересовать. А он, став у окна, не спускал с нее глаз, уже совершенно не заботясь, что ей может стать не по себе от его пристального взгляда. Сильно сощурясь, он начал рисовать ее, углем и карандашом, делал наброски и небрежно швырял листы на пол, разговаривая с ней деловито, строго, как с натурой, с моделью, — прося изменить положение головы, смотреть вправо или влево. Потом он стал писать ее маслом, только голову, и наконец отложил кисть, вытирая пестрой тряпкой руки.

— Хотите чаю?

Она благодарно улыбнулась ему, но отказалась.

— Можно посмотреть? — попросила она робко.

— Пока рано.

Назавтра она пришла снова, и он опять, торопясь, писал и рисовал ее. День выдался пасмурный, Сергей работал, расчистив окошки от герани и столетника, все

равно было темновато, он морщился, щурился, но получалось, получалось, он чувствовал точно.

Она опять торопилась, но согласилась выпить чаю. Посуда была довольно убогая, но чай он заварил крепкий, пахучий. Спасибо «Пете», старику Дударову, — научил, сам не заметив. Сказал о чем-то, — о чем именно, Сергей давно забыл, — сказал: «Это так же отвратительно, как жиденький чаек». Это Попов крепко запомнил.

Они пили чай, — Сергей-то давно привык к устоявшимся в комнате запахам масла и пинена, но ей, наверное, было не очень приятно. Много раз слышал он байки о романах художников со своими натурщицами, но это был явно не тот случай. Он смотрел на ее лицо и все с большей и большей уверенностью понимал, что картина получится. С такой силой он ощущал это впервые в жизни. И еще ему жалко было расставаться. Немыслимо жалко. Ведь он о ней ничего даже не узнал.

Она поднялась.

— А может, останетесь? Немножко.

— Никак нельзя.

Он подал ей шубку. Она завязала концы платка.

— А как я вас найду? — спросил он тихо. — Я бы хотел показать готовую работу.

Она чуть-чуть поколебалась.

— Я позвоню сама. Желаю удачи.

Потом открыла дверь и быстро пошла по коридору. И, подчиняясь острому предчувствию, он схватил картон, где была написана ее голова, взял этюдник с красками и выбежал следом.

— Еще минуту, — сказал он. — Во дворе. При другом освещении.

Он поставил картон, прислонив к спинке скамьи, и, смотря то на него, то на нее, щурясь и отклоняя голову, добавлял белил, снегу, света. Сзади уже скапливались ребятишки и няньки. От такой дремучей бесцеремонности возненавидишь все эти пленэры!

А она, улыбаясь, стояла среди снежного двора и говорила :

— Ничего, что я смеюсь? Можно?

— Можно, можно, — отвечал он, продолжая работать. — Даже хорошо...

На картине был хмурый зимний денек. Лишь угадывалась деревенская улица. На переднем плане молодая женщина с полными ведрами на коромысле. Собственно, видно только одно ведро. А солдатик попросил напиться и пьет, придерживая ведро обеими руками. Оно, чувствуется, слегка подрагивает на весу. Солдатик не видит ее, как бы не замечает, он смотрит перед собой, в снежную даль, в свою судьбу, а она — на него, спокойно, терпеливо, с оттенком материнства, хотя сама только чуть старше его. И все это исполнено тревожащей смутной печали. Ни деревни, ни других солдат не видно, но сразу чувствуется, что война, идут войска и впереди еще длинная и долгая дорога.

Картина имела несомненный успех. Как-то никто и не спорил — жанр это или нет. В ней ощущалось нечто более важное — в р е м я. Все это было еще живо, остро, задевало многих.

Он назвал ее «Полные ведра», — по примете: к удаче, к доброму пути. Перед защитой встретил Игоря Метелина в институтском коридоре, и тот спросил сочувственно:

— Ты, говорят, работу хорошую представляешь — «Полные бедра». Правда?

Сергей так разозлился, так обиделся, что Игорь долго бежал за ним следом и уговаривал не сердиться, извинялся, обещал, что никому не скажет. И точно, больше Попов этого не слыхал.

Потом была городская выставка дипломных работ художественных вузов, и о его картине писали, хвалили. Он как-то пришел на выставку — они целыми днями там толклись, наблюдали реакцию посетителей, болтали, им было жаль расставаться со своими работами, с институтскими годами, друг с другом. Он как-то зашел после

обеда, и к нему бросились Игорь и еще две девчонки с курса.

— Слушай, твоя приходила. Долго смотрела.

— Кто? — спросил он, холодея.

— Кто! Натура. Модель. Да как тут обознаться! Все видели... Минут сорок, наверно, стояла.

А он так больше ее и не видел. По правде говоря, работая, он в какой-то миг решил было написать рядом с ней не Колю Ермачкова, а себя, но устыдился и оставил Колю.

Но это желание, эта мечта родили вторую его картину — «Стучат?».

Он выставил ее через два года. Вокруг нее был шум. Не в том дело, что тоже говорили: «литература». Она показалась слишком смелой, почти фривольной. По тем временам.

В маленькой комнатенке общежития или барака, почти в темноте, привстает на коленях совсем молодая женщина — не она, юная, но очень похожа. На голые плечи наброшен лейтенантский китель со смутно мерцающими медалями. Взор испуганный, но и уверенный, счастливый. «Стучат?» А е г о почти не видно, только белая рубашка и папироска на отлете.

На картину сначала напустились не на шутку, но столько было в этих ее грудях и в наброшенном кителе наивности и правды, что постепенно отступились. Да и по цвету картина вышла хороша, — он не раз ставил ее на пол вверх ногами, боком — как учил «Петя», — чтобы отвлечься от содержания, воспринять только колорит, и друзья одобряли.

Эту картину приобрел областной музей, восстанавливающийся после войны и оккупации, — директор, недавний фронтовик, прельстился, бредил этой картиной, пока не купил.

Они еще поболтали о новостях различной степени интереса и ценности, потом расплатились, причем каждый обязательно хотел выступить в роли угощающего, и вышли на улицу. Самая жара как будто спала, но город

вобрал ее в себя, всю целиком, в свой асфальт и камень. Им сразу попалось такси, и Игорь довез его до вокзала.

Теперь Сергей сидел в прокаленном вагоне электрички — ухитрился занять место — правда, не у окна, на проходе, но и это сейчас был немалый комфорт. Покупки он пристроил на багажной сетке и ждал отправления. Но и сквозняк, на полном ходу, при всех опущенных окнах, не принес облегчения, — воздух был слишком разогрет.

Сперва ехали по самой Москве, останавливались у ближних платформ, и народу набивалось все больше, потом пошли дачные места, и с полдороги начали выходить все заметнее, вагон опустел.

Попову ехать было почти до конца. Он уже сидел у окна, расстегнув на груди тонкую рубашку, и смотрел на привычные заборы и сады. Проехали мимо платформы, где когда-то в лесу формировалась их часть и откуда ездил он неправдоподобно далеким тревожным вечером в Москву, с продуктами, по заданию ротного. Теперь он всегда совершенно спокойно проезжал здесь, — все было настолько застроено и так изменилось, словно это было совсем другое место. Он с нетерпением ожидал, когда сможет соступить наконец на деревянный настил платформы, перейдет через пути и зашагает по сухой песчаной тропинке мимо огромных старых сосен, которые он писал столько раз. Верхи их были металлически-бронзового цвета, и чем ниже, тем стволы все больше темнели и все утолщался панцирь похожей на крокодиловую кожу коры.

Он устал за сегодняшний день. И еще ему хотелось работать. Завтра, послезавтра, всегда. Как что-то сейчас почти нереальное, он вспомнил свою уютную, несколько захламленную московскую мастерскую, запахи масла, разбавителей и клея, сизый зимний закат за окнами. И желто-красный нарядный трамвай плавно катится вдоль заснеженной длинной аллеи.

В вагоне стало прохладней, можно было свободно дышать. И, уже готовый к своей остановке, Попов думал

о минувшем дне, об Игоре, об их молодости, о первой своей картине.

Он время от времени вспоминал и думал об этом и, конечно, о женщине, так коротко мелькнувшей в его молодости и так долго остающейся в его жизни. Что побудило ее прийти и позировать ему? Доброта, женское тщеславие, любопытство? Когда-то он решил, что она несчастна. Но потом, с годами, подумал, что она, может быть, как раз была очень счастлива.

Он иногда, когда его спрашивала какая-нибудь незнакомая женщина, приходила или звонила (а звонили часто — приглашали на всевозможные встречи или по делу, с заказами), иногда он позволял себе подумать, поверить на миг, что это она. Потом решил, что она умерла, и это его немного успокоило, примирило, но когда он думал об этом, то необъяснимо для домашних становился задумчивым и грустным.

1969

Мои родители снимали комнату на даче, мы жили там постоянно, круглый год. Кроме нас, были еще жильцы — мой сверстник тихий мальчик Коля с матерью и бабушкой, но без отца. И, конечно, хозяева. Глеб Васильевич был строен и сухощав, с независимо откинутой назад седеющей головой. Я и потом редко встречал людей, так гордо держащих голову. Он работал на соседней станции, в к о о п е р а ц и и. Я, разумеется, не знал, что это значит. Как-то раз, когда я не спал, но притворялся спящим, отец сказал о нем моей матери: «Из бывших». Я не мог спросить объяснения, и это меня долго мучило. Из бывших? Может быть, он уже был раньше?.. Его жену звали Ариадна Арсентьевна. Она прежде играла на сцене, и сейчас в ней оставалось что-то от театра, — не только красивое имя, но особенная, немного грустная и порою чуть растерянная улыбка. Он продолжал быть ее поклонником.

Наша комната выходила окнами на ведущую от ворот аллею, Колина — на другую сторону, а комнаты хозяев — на фасад. У них было несколько комнат, и в особенности поражала одна, почти зала, заставленная столиками, тумбочками с множеством белого и цветного стекла, увешанная по стенам коврами, картинами, медальонами, веерами. Я был там всего два или три раза, по нескольку минут, и уходил ослепленный ее общей пестротой, — у меня даже не возникало охоты рассмотреть все подробно и не торопясь. Я ничего не могу вспомнить оттуда, — только окна и за ними голые осенние яблони в крупных каплях дождя.

Это была большая дача, почти усадьба. За домом помещался давно кем-то утоптанный до бетонной твердо-

сти хозяйственый двор: дровяные и прочие сараи, погреб, хлев, сеновал. Сейчас все это пустовало. Справа, перед Колиным окном, тянулся огород, впереди — фруктовый сад: яблоня, слива, груша, вишня, вдоль заборов — густо — крыжовник и — та и другая — смородина. Но основное пространство участка занимал парк — иначе не скажешь: несчетно березы, сосны, липы, ну, а рябины, сирени, жасмина, — и говорить нечего.

Но это только казалось, что несчетно. Каждое дерево было учтено и записано. Дом принадлежал Глебу Васильевичу, а деревья — нет. Деревья принадлежали поселковому Совету. Глеб Васильевич не имел права свалить ни одного ствола. Но ведь близилась зима, а печей, облицованных синими уютными изразцами, было в доме немало.

Сухая сосна стояла у переднего угла, по краю аллеи. Она была не совсем сухая, не совершенно высохшая, как столб, по которому стукнешь обухом или даже палкой, и он звенит, — но сухая. Лишь на самом верху, на двух сучьях оставалась не только рыжая, но и тускло-зеленая хвоя. Она была обречена, эта сосна, она стояла слишком близко от дома, корни ее были давно и непоправимо повреждены, — теперь она стремительно угасала. Она не погибала, она, собственно, уже погибла. Она и по виду была уже легкой. Всякий, кому доводилось поднимать на плечи сосновые кряжи, знает, сколь разительно отличаются по тяжести сырой от сухого. В этом поджаром стволе сохранилась лишь самая малая часть былых его соков.

В тот день, перед сумерками, Ариадна Арсентьевна постучала в нашу дверь и сказала мне доверительно, как умеют артисты:

— Зайди, пожалуйста, на минуту!..

Я, недоумевая, вышел за ней и увидел впереди покорную спину Коли. В большой комнате она усадила нас на бархатный диванчик и, глядя сразу обоим в глаза и грустно улыбаясь, четко объяснила, в чем дело, и попросила никому не рассказывать. Мы, польщенные доверием, обещали и в довершение беседы получили по темно-коричневой рубчатой ириске. И в это время через

комнату прошел Глеб Васильевич со своим приятелем, который часто бывал у него. Они прошли быстро, словно только что решившись.

Ранней весной, еще по снегу, в поселке стреляли собак, сперва говорили, бешеных, потом — просто бездомных. Наклеили объявления на заборах и столбах, призывающие не выходить на улицу в определенное время, и подняли пальбу из винтовок. Это были молодые ребята, осодмильцы. В соседний двор забежала собака, они за ней, и все никак не могли попасть, а живший там красный командир вскочил на стул и через форточку с первого раза уложил ее из револьвера. Мы с Колей, конечно, только слышали об этом, — на улицу нас тогда не пустили. Не хотели пускать и теперь, но мы пробились, даже Коля.

Глеб Васильевич, высокий и стройный, стоял около сосны и, подняв в руке пилу, еще шаркал подпилком по ее зубьям. Потом они пригнулись и начали. Приятель пилил напряженно, втянув голову в плечи и держась за ручку пилы обеими руками. А Глеб Васильевич, широко расставив ноги, действовал одной рукой; вторая, согнутая в локте, была картинно уперта в колено, он напоминал человека, сидящего на низком диване. Со свистом летели на две стороны желтые щепотки опилок.

Они пилили не сразу до конца; время от времени вынимали синее полотно пилы из разреза и опиливали сосну с другого бока, так, чтобы она упала туда, куда им было нужно.

И вдруг они быстро выдернули пилу, я еще заметил восторг в тихих глазах Коли; вершина качнулась, и ствол сначала очень медленно, — так, что Глеб Васильевич, перед тем как отпрыгнуть, еще нарочито небрежно подтолкнул его рукой, — а потом все стремительнее, чертя гигантскую дугу в вечереющем воздухе, стал падать и с треском рухнул точно посередине аллеи. В нем еще была своя мощь.

Они на миг словно испугались и раскаялись. Будто результат их действий оказался для них неожиданным.

Потом они взялись обрубать сучья, распиливать ствол. Так после удачной охоты свежуют и разделывают добытого зверя.

Я и заснул, различая под окном их возню и сдержанные голоса. Утром аллея уже была чисто подметена. Они бились только над пнем, выкорчевывая, выдирая его из земли. Они уже глубоко окопали и раскачали его, обрубили вокруг тонкие белые корни и теперь добирались до главного, нижнего. Наконец и он различимо хрустнул, а пень все еще сопротивлялся, хотя и без прежней уверенности. Они выволокли его, тяжелый, черный, с трудом завалили в тачку. Он был похож на осьминога. Его вывезли через заднюю калитку — мимо аккуратно сложенной поленницы, в которой он не смог узнать того, что еще столь недавно возносилось над ним, — и скатили в овраг.

Глеб Васильевич со своим приятелем долго мылись, стуча цинковым рукомойником, затем сели обедать на открытой веранде. Ариадна Арсентьевна, улыбаясь, подавала им, они чокались рюмками и наливали опять — водка с кудахтаньем лилась из графинчика.

Яма, в которой стояла сосна, была уже засыпана заранее приготовленной землей, а поверху заложена желтым дерном. Если ничего не знать, то на это место вряд ли можно было обратить внимание. Но когда мы с Колей, будто нечаянно, ступали на него, земля, пугая, оседала под ногой, колыхалась, как болотная трясина.

Вскоре, однако, начались дожди, сходить с дорожки уже не хотелось, потом землю подсушило морозцем и лег снег, укрыв под собой многое из того, что мы видели летом.

Зима тянулась долго, она была такой же бесконечной, как лето.

Глеб Васильевич возвращался домой поздно, отец еще позже: ведь он работал в городе. Начиналось время входящих в моду и обиход длительных вечерних задержек на службе — действительных или мнимых. Их обоих тревожно ждали, и они, подойдя к дому, стучали — каждый в свое окно, каждый своим стуком. Но еще перед этим ждущие улавливали скрип промерзшей калитки и хрустящие вдоль аллеи шаги.

Дело в том, что вокруг было неспокойно, ходили слухи о страшных бандах, грабивших в Москве квартиры, о бесследно исчезающих молодых молочницах, убиваемых теми же бандитами, — почему-то «на мыло». А одна будто бы знакомая жительница поселка рассказывала, как купила в городе на улице пирожок с мясом и в начинке ей попался женский ноготь.

В ту зимнюю ночь, о которой пойдет речь, обоих не было долго. В доме, замершем среди недвижных стволов, в глубине заснеженного дачного участка, лишь в Колиной комнате никого не ждали. Сжатая жестоким морозом, светила луна, голубые параллельные тени лежали поперек аллеи, смутное мерцание пробивалось сквозь щели внутренних ставен. И вдруг — слабо стукнула калитка, зазвучали по аллее уверенные скрипящие шаги. Человек прошел мимо одного окна, за которым ждали, потом мимо другого. Настала короткая томительная тишина и следом — сильный наружный стук.

Ариадна Арсентьевна в накинутом на плечи шерстяном платке бесшумно подошла к дверям, склонив голову, послушала и спросила, кто там.

— Милиция, — отвечали хрипло. — Откройте.

На вопрос, кто ему нужен, человек назвал Глеба Васильевича.

— Зачем он вам? — спросила она независимым голосом.

Тот отвечал, что должен его арестовать.

— Глеба Васильевича нет дома, — сказала она твердо, — а без него мы вас пустить не можем.

Он предупредил, что если это обман, то она за него ответит, и отошел от дверей.

Теперь, набившись в нашу комнату, все напряженно слушали, как он ходит по аллее. Он ходил быстрее и быстрее, потом стал прыгать на месте, потом пробежался немного, потом резко до калитки и обратно, — будто кого-то догонял.

Снова настала тишина, и снова стук в дверь, только он не был таким сильным.

— Послушайте, — сказал человек, — вы же не одна. Пустите меня погреться.

— Здесь одни женщины, — возразила Колина мать.

— Ну и что же, — настаивал он. — Что я вам сделаю, я же из милиции.

— А откуда мы знаем, что вы действительно милиционер? — спросила моя мать.

— Давайте я подойду к окну, а вы на меня посмотрите, — предложил он.

— А может быть, вы убили милиционера и надели его форму? — высказала предположение Колина бабушка.

Он засмеялся:

— Еще немного, и я замерзну совсем. Вы видите, я же не ломаю вашу дверь.

— Не так-то ее просто сломать, — заметила Ариадна Арсентьевна.

Ему велели стать на дорожке против нашего окна и приспособились смотреть сквозь двойное стекло, приотодвинув внутренний ставень.

В лунном морозном свете, среди недвижных деревьев, приплясывал на месте невысокий и нестрашный милиционер. Они смотрели довольно долго, боясь ошибиться, желая удостовериться, что это настоящий представитель власти. А он все прыгал и хлопал в ладоши.

— Ну, что? — спросила хозяйка.

Колина мать и бабушка были тихие женщины, но за долгие годы жизни без мужчин они привыкли принимать самостоятельные решения. Они предлагали пустить. Моя мать тоже не возражала.

— Ну, что же, — вздохнула Ариадна Арсентьевна. — Быть по-вашему.

Пожалела она его или хотела заручиться его сочувствием? — ведь она ни на миг не забывала, зачем он пожаловал.

Загремела щеколда, подняли огромный стальной крюк, дверь с визгом растворилась, и он вошел в облаке морозного пара, синий от стужи. Он еще долго топал ногами, дул на руки, сморкался и вытирал платком слезящиеся глаза. Потом пристроился у самой двери, на табурете.

И тут отдаленно скрипнула калитка, затрещали по снежку шаги, замедлились у нашего окна, и отец условным стуком четырежды щелкнул по стеклу. Мать бросилась открывать.

Пройдя по такому морозу от станции, отец все еще был занят тем, чтобы сегодняшнее опоздание выглядело достаточно убедительно и не вызывало сомнений в его служебной целесообразности. Он был сдержан и исполнен достоинства. Он был так увлечен этим, что почти не обратил внимания на милиционера, посмотрел на него столь равнодушно, будто тот навещал нас регулярно, много раз.

И милиционер сразу понял, что нужен ему не отец. Я уже спал, когда вернулся Глеб Васильевич. Мороз стрелял и звенел по парку, поезда уже не ходили. Они с милиционером пили чай, и увел он его только под утро.

Вскоре уехала и Ариадна Арсентьевна, одевшись определенным образом — строго и скромно, со сдержанным уважением к себе.

Возвратилась она вечером, и не одна, а с Глебом Васильевичем, который был устал, небрит, но выглядел довольным и так же гордо нес седеющую голову. Ариадна Арсентьевна была против обыкновения возбуждена и объясняла, что в кооперации у него все в полном порядке, а арестован он был по наговору командира-соседа за то, что якобы свалил сухую сосну, но был отпущен с миром. Она предложила отметить радостное событие. Колина мать и бабушка, оживленно вспоминая подробности минувшей ночи, заторопились в большую комнату, но моего отца еще не было дома, мать ждала, чтобы открыть ему, и обещала зайти позже.

1974

ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ

Женщины в детстве. Не женщины в своем детстве, не девочки. Женщины в нашем детстве. У Пастернака есть стихотворение с таким названием.

И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Это очень точно, именно загадкой.

Мы жили на даче. Сын хозяев, Митя, учился играть на гитаре. Он перебирал рокочущие струны и пел:

Ах, мама, мама, мама,
Со мной случилась драма.
Вчера была я дева,
Сегодня стала дама.

Мне было шесть лет, ему двенадцать. Впоследствии, как я слышал, он сделался священнослужителем.

Я ничего не понимал, — думаю, он тоже. Но было ощущение чего-то смутного, тайного.

Мы жили там и зимой. Помню, я вышел за калитку, к шоссе. Стоял ясный морозный день. А по дороге шли две девушки. Может быть, это были старшеклассницы или уже студентки. Одна несла в руке аккуратный портфелик, у другой висела на плече командирская сумка, что выглядело тогда особенно шикарно. Но, главное, обе они были в брюках. Должно быть, я видел такое впервые, и это меня поразило. Они и вели себя соответственным образом. Они шли по накатанной полозьями, блестевшей под зимним солнцем дороге и увлеченно пинали мерзлый навозный катыш. Они были возбуждены, в них ощущалась какая-то свобода, смелость. От них веяло женской молодостью и свежестью. Они прошли, не заметив меня, но я запомнил их на всю жизнь.

И еще. Мне было уже семь лет. Я и мой сверстник, тихий мальчик Коля, пошли с его матерью на пруд, купаться. Это была высокая тридцатилетняя женщина. Не знаю, как и почему, но я понимал, что она молода.

Конечно, сейчас там понастроили больших одинаковых домов, и ничего не узнать. Но все-таки удивительно, что тогда, теплым летним днем, на пруду по обыкновению было совершенно безлюдно — ни купающихся, ни стирающих белье, ни рыболовов.

Мы подошли к старой корявой иве. Колина мать бросила на плотнокудрявую травку полотенце, взялась за края платья и, потянув вверх, вывернула его. Под ним ничего не было. Не обращая на нас никакого внимания, она, крепко ставя ступни, сошла по тропке к воде, взбивая ногами воду, прошла по отмели и, бросившись животом вперед, поплыла.

Мы побултыхались около берега. Она плавала довольно долго, вернулась, поднялась на берег, нагнувшись, взяла с травы полотенце, набросила на плечи и стала неторопливо вытирать руки, груди, потом ноги. Коля косил в сторону, ему было неприятно. Она по-прежнему не видела, не замечала нас.

Женщины в детстве. В нашем детстве...

Потом мы выросли.

1974

МАЛЬЧИК

Мальчик, маленький, лет шести, вышел из дому с санками. На нем был ладный черный тулупчик, схваченный сзади, в поясе, мелкими складками; с белым барашковым воротником и такой же оторочкой понизу. Сейчас бы это казалось модной, изысканной вещью.

Мальчик за веревку выкатил санки из калитки и остановился наверху сверкающего снежного склона. Под синим небом снег слепил глаза, плотный, крепкий. И ребят было полно, больших и маленьких, на лыжах и с санками. Склон тянулся длинно, раскатывал и уносил далеко.

Мальчик лег животом на свои санки и сразу же резво покатил под уклон, только ноги в серых валеночках касались снега, он ими правил, рулил.

Где-то посредине склона, когда он уже разогнался вовсю, стояли на лыжах, он их заметил, большие ребята и девочки. Тут его слегка занесло, он удержал равновесие, но следом попалась выбоина, санки пошли на одном полозе, и его выбросило в снег. Он упал ничком и услышал, как они засмеялись.

Он долго лежал лицом вниз. Потом ему крикнули: «Эй, ты, вставай, чего разлегся!..» Потом кто-то пошевелил его ногой.

Через полчаса, может, и через час, двое таких же, как он, постучались к его матери.

— ...лежит на снегу и не встает.

Она сперва не поняла:

— Как — лежит? Почему?

— Мы не знаем.

— И что, давно?

— Давно...

Она побледнела:

— Он обо что-нибудь ударился?.. Там не было какой-нибудь лопаты?

Они не ответили.

Но она и не ждала их ответа. Она выскочила, как была, от керосинки, в туфлях на босу ногу, с голыми руками. Она издали увидела его и бежала, съезжала со склона — сидя, на коленях, вскакивая и падая, врезаясь каблуками в крепкий снег.

Упав около него, она потянула за плечо, переворачивая, с ужасом ожидая увидеть мертвенно-белое, неживое лицо, и увидела малиново-красную родную рожицу с уже высохшими следами от слез.

Она потом, и в старости тоже, иногда вспоминала эту историю и добавляла:

— А? Обиделся. Каково самолюбие! А я так даже не простудилась...

И еще — года через полтора. Он тяжело болел, два месяца провел в больнице, выжил чудом, и дома ему тоже был прописан строжайший режим. Ни резвых игр, ни резких движений.

Наконец он, немощный как старичок, впервые один отошел от дома, приблизился к пруду. Пруд находился с другой стороны. Собственно, это был небольшой прудик, летом он почти совсем пересыхал, но сейчас стояла весна, и он был полон до краев талой, тяжелой, словно выпуклой водой.

А мальчишки катались на плоту. Несколько мокрых бревнышек, между которыми проступала вода, были на скорую руку связаны толстой проволокой и скреплены с одной стороны скобами.

Плот как раз находился у берега, и один знакомец, который, наверное, ничего не знал о его болезни, окликнул мальчика.

И тот, не колеблясь ни секунды, ступил на бревна. Двое ребят оттолкнулись длинными шестами, и плот с

удивительной плавной стремительностью отдалился от берега. Пруд оказался глубоким, шесты едва доставали дна. И мальчиком владело удивительное ощущение сладкой, непоправимой безвозвратности.

Испытывал ли он подобное впоследствии? Наверное.

При первом прыжке с парашютом, в любви, при литературном дебюте.

Этим мальчиком был я, а прошло с той поры уже более полувека.

1984

РУКИ

Кожа на его пальцах была шершавая как наждак, толстая, грубая, многослойная, в старых, очень глубоких шрамах, ее невозможно было проткнуть шилом. Ногти тоже покалеченные, сбитые.

Когда он здоровался с напарником, их ладони, касаясь друг друга, издавали почти металлический звук, — как два рашпиля.

Уголек для прикуривания он брал из печки, не обжигаясь.

Иногда казалось, что он в больших рабочих перчатках.

Это были не руки, а ручищи. Они словно были от другого человека.

Кулак его обладал тяжестью кувалды, пальцы — силой и цепкостью гаечного ключа. Он действительно мог открутить любую гайку.

Иногда, в свободное время, он словно не знал, куда их девать, смущался.

Поразительно выглядели в его руках молоток, топор, лопата, — словно это были детские, игрушечные инструменты. Про ложку и вилку и говорить нечего, — в его кулачищах их почти не было видно.

Но особенно трогательно смотрелась в его ладонях книга — раскрытая, белая. Это была готовая, глубоко символичная картина. Скорее, плакат. Здесь четко и прямо отражались идея и время.

Однажды настоящий художник попросил его послужить натурой для этюда или эскиза. Собственно, интересовали живописца именно руки. Он согласился и терпеливо сидел, упершись локтями в колени. Не знаю,

нашлось ли для его рук место где-нибудь на большом полотне, но здесь, на картоне, чувствовался их нешуточный вес.

Он признался мне однажды, что всегда, когда он ласкал женское тело, касался ее груди, его пальцы почти ничего не чувствовали. Зато женщины инстинктивно напрягались, страшились его руки, будто терки.

Лицо у него было небольшое, чистое, почти детское.

1984

ДВА УТРА

Я хочу рассказать о своем институтском друге. Его жизнь стремительно прошла предо мной по широкому экрану молодости. Этот фильм длился пять лет и помнится во всех подробностях.

Я назову его здесь Валей. Он был русоволосый, синеглазый, как и остальные, недавно с войны.

В небольшом общежитии не было гардероба, шесть наших зимних пальтишек плотно висели на четырехкрючковой настенной вешалке. Посторонние не раздевались. Приходившие в гости девушки, не снимая шубок, стесненно сидели на стульях около кровати навещаемого — словно возле больного. Впрочем, что тут было сидеть. Он тотчас одевался, и они уходили в хрустящий зимний вечер, в его белую полутьму — погулять, а если случались деньги, посидеть в кафе «Мороженое», где можно было получить и что-нибудь более горячительное, чем сливочный пломбир.

К Вальке ходила Рита. Он познакомился с нею на поэтическом вечере, где выступал, и она искренне и просто привязалась к нему. Она была, как тогда говорили, с о л и д н а я, плотная, чуть выше его. При взгляде на ее миловидное спокойное лицо вам не могли не прийти в голову мысли о чистоте и верности. Если мы ехали выступать в какой-нибудь клуб или институт — тогда это было заведено, — она всегда была с Валей и сопровождала как бы и остальных.

Наступила весна, можно стало посидеть в сквере, на укромной скамеечке — все начали возвращаться позже. Потом — сессия, экзамены и наконец — каникулы, лето, разъезд. Одни ехали в командировку, большинство — по

домам, я собирался в гости к другому своему другу — на Черниговщину.

Валька сказал Рите, что поедет на Балтику, в Кронштадт. Но сперва ему нужно завернуть к товарищу тех лет и захватить его с собой, чтобы написать о нем. Один только я знал, куда он едет в действительности.

В зимние каникулы он побывал дома, у родителей, в маленьком, отдаленном от железной дороги районном городке. Там он познакомился с Леной. Вернее, он и прежде был с нею бегло знаком, но теперь, встретясь, познакомился заново, близко, и провел с нею все время — как во сне. Она была в отпуске, — только что закончила медицинский институт, получила назначение, и они уговорились, что летом он к ней приедет.

— А как же Рита? — спросил я.

Он развел руками:

— Вот так.

Мы провожали его летним теплым вечером на Казанском вокзале. Стояли около общего вагона, курили. Время от времени он брал Риту под руку, отходил в темноту вдоль состава, прощался. Потом он стоял на площадке рядом с проводницей и махал нам. Потом мы брели поздними московскими улицами к общежитию, и Рита долго шла вместе с нами. Она чувствовала себя в нашей компании своим человеком, ей не хотелось с нами расставаться.

А скорый ходко понес Вальку на восток. Только осенью он рассказал мне, как все это было.

На разъезде, где работала Лена, скорые не останавливались, он сошел раньше и добирался на местном. Она жила у самых путей, в одноэтажном длинном здании барачного типа. У нее была отдельная комната. На столе, застеленном льняной скатеркой, стоял букетик полевых цветов, на стенке висела его, Валькина, фотография. Сразу обратило на себя внимание то обстоятельство, что в комнате была только одна железная узкая койка — никакого дополнительного диванчика.

Они расцеловались, да и дальше, пока сидели за столом, целовались то и дело, но как-то несколько скованно, и все смотрели друг на друга, и говорили друг о друге и об общем для них родном городке. Лена была фигурой потоньше, чем Рита, но в ней замечались те же спокойствие и степенность, она была женщиной того же типа и, вероятно, этим подсознательно и нравилась Вальке.

Наступало время ложиться спать, Валька был парень бесхитростный и особенно любил таким казаться, и прямо спросил:

— А мне, что же, на полу постелишь?

Она засмеялась:

— Кто это таких гостей на пол кладет?

— Сама на полу?

Тут она серьезно посмотрела на него и спросила:

— Слушай, ты зачем приехал? — и поскольку он не стал разъяснять причину своего прибытия, помолчала и, чуть краснея, сказала: — Ты не думай. Я хоть и в меде училась, и о нас слава такая, а никого у меня до сих пор не было.

Она погасила свет, и они легли, — Валька с самого краешка, на железный костяк рамы. Так они лежали неподвижно в темноте, только товарняк долго гремел где-то рядом. Она сама слегка придвинулась к нему, а он обнял ее и прошептал в самое ухо:

— Ничего не было? Ну, и не нужно пока. Успеем.

Она замерла, застыла, и тогда он на миг прижал ее к себе, чтобы она почувствовала его силу. Она тут же расслабилась, и он ощутил лбом, что у нее из-под ресниц выступили слезы. Так она и заснула в его объятиях.

Его рассказ потряс тогда мое воображение.

— Ну, как же ты? — только и нашелся я сказать.

— Так надежней, — объяснил он мне просто. — А то мало ли что...

Рассвело. Он осторожно, чтобы не разбудить, освободил ее от объятий, оделся и, встав на подоконник, беззвучно и ловко вылез в большую казенную форточку. Слабое утреннее солнышко грело землю, он сел на лавочку, достал пачку «Бокса», выщелкнул из пачки папи-

роску, затянулся и стал смотреть на проходящие в обе стороны поезда, тяжелые товарные составы, дребезжащий порожняк, элегантные экспрессы. Под ними, пружиня, чуть оседали рельсы, смерчем закручивались мусор и пыль. Так и сидел он, пока она не позвала его из окна — завтракать.

Он пробыл там несколько дней, и они твердо условились пожениться. Думаю, главную роль сыграло то, что они земляки, что все в родном городке у них уже есть, — Валька не был уверен, как сложилась бы его дальнейшая жизнь в столице.

Глубокой осенью к нам в общежитие пришла Рита. К счастью, Вальки не было в комнате. Она остановилась на пороге, поздоровалась, посмотрела на каждого очень внимательно и, стараясь не показывать волнения, осведомилась, все ли в порядке у Вали. Ее заверили, что все — и в полном. Она поблагодарила и ушла, больше ее не видели.

К концу учебы Валька женился. Лена родила ему мальчика. Они стали жить у ее родителей, у них был большой дом, а она единственная наследница. Теперь она работала врачом в родном городке, Валька писал стихи и рецензии и посылал в редакции. Родители Лены выращивали помидоры — на продажу. У них дело было поставлено на широкую ногу — теплицы, рассада, все как полагается. И собирали как следует. Головой всему был Валькин тесть, инвалид войны, он возился около грядок с рассвета до ночи. Теща больше занималась реализацией.

Однажды Валька проснулся чуть свет — он привык вставать рано, еще с флота, — вышел на заднее крыльцо и увидел хромающего между грядок тестя. Тот приветственно помахал ему рукой, а потом сделал знак: иди сюда. Валька подошел. Тесть присел, вытащил из-под куста четвертинку и вопросительно глянул на Вальку: «Как с утречка?» Затем развернул мокрую от росы тряпочку с солью и открутил с куста оранжево-красный помидор с чубчиком. Валька тоже опустился на корточки. Тесть выбил ладонью пробочку, набулькал половину Вальке в граненый стакан, они чокнулись, и Валька выпил легко, как воду. Тесть разломил помидор пополам, половинку подал Вальке. Овощ был внутри плотный, сбитый, почти без жидкости. Валька присолил его не желающей рассыпаться мокрой солью и ел с наслаждением.

— Порядок? — подмигнул тесть, тоже очень довольный. — Ну, ступай...

Вставало солнце, в низинах лежал туман, все еще спали.

Иногда Валька приезжал по делам в Москву, обязательно видался со мной и как-то ни с того, ни с сего признался, что все у них было хорошо только вначале, что сейчас его семейная жизнь скрипит и разлаживается.

Потом Лена ушла от него, а затем вскоре ушел и он, — безнадежно заболел и на удивление быстро ушел из жизни.

Последний раз я встречался с ним за месяц до конца. Он осунулся, помрачнел, но мне и в голову не могло прийти, что я вижу его действительно последний раз. Здесь он и рассказал мне о том утре между грядок и заметил с грустью, что, может быть, это было самое счастливое утро в его жизни после войны.

— Не из-за водки, конечно, — уточнил он тут же и, подумав, добавил: — И еще, пожалуй, то, на разъезде...

Он вздохнул и поднялся. Ему пора было уезжать — навсегда.

1984

МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ САША

У него была замечательная, подаренная кем-то, очень толстая китайская авторучка. В нее набиралось чуть ли не полпузырька чернил. А писал он в общих тетрадях под клеенчатой обложкой. Мог сесть и писать без остановки, пока свет не выключат.

Он сочинял идиллические рассказы о деревне. Он еще не догадывался, что должен писать про войну. Про море. Про то, как волна у причальной стенки готова разбиться вдребезги, лишь бы доказать свою силу и правоту. О придурковатых криках чаек. О стальной палубе катера, по которой гремят в полутьме незашнурованные по тревоге ботинки. О том, как во время боя заклинило башню и его освободили только через двое суток, когда пришли на базу и разрезали броню автогеном.

Ему нужно было сразу писать об этом, но ведь никто не надоумил, а сам он тоже не скоро додумался.

Как все моряки, клеша́ он клал на ночь под матрас, а по воскресеньям утюжил на кухне общежития огромным, наполненным раскаленными угольями утюгом, отпаривал сквозь мокрое отжатое полотенце. Утюг готовила уборщица Зина — как самовар.

Мы с ним корешковали, вели общее хозяйство, вечерами часто гуляли по Москве.

Однажды он сказал небрежно:

— С девушкой хочу познакомить. С Оксаной.

— Меня?

— Посмотришь, во девка!

Эту фразу он повторял по дороге туда несколько раз.

Помню, нас почему-то мучила жажда, и мы выпили на углу по кружке пива. Так и вижу, как мы стоим друг

против друга, держа пузатые граненые кружки, а в левой руке у каждого — горящая папироска.

Ехали на метро, вышли у привокзальной площади.

— Посмотришь, во девка!

— А я-то зачем?

— Ну, мало ли что. Вдруг у нее подруга, я тебе мигаю, ты говоришь: «Давайте я вас провожу»...

— На хрена мне ее провожать!

— К примеру. А пойдем куда-нибудь или дома останемся, я тебе мигаю, ты говоришь: «Эх, забыл, мне ведь нужно в Историческую библиотеку».

— Она уже закроется.

— Еще будет работать...

— Я тебе говорю.

— Хорошо, я тебе мигаю, ты говоришь: «Мне нужно на выступление».

— Я скажу: на обсуждение.

— Во! Прекрасно. — И опять: — Посмотришь, во девка!

Подошли к двухэтажному дому. Номер квартиры значился прямо на наружной двери. Сашка позвонил. Очень долго не открывали, потом дверь все же отворилась. На пороге стояла высокая девушка в длинном халате.

— Здравствуй, Оксана! — сказал Сашка прочувствованно. — А это мой друг, некто Костя.

Она даже не улыбнулась и стала подниматься по крутой деревянной лестнице.

Сколько потерял я в молодости дружков и приятелей из-за неразумности их жен и подруг! Достаточно было с их стороны самого слабого, неосознанного оттенка равнодушия, смутного холодка, и меня уже невозвратимо отбрасывало в сторону.

Оксана поднималась первой, что вообще-то являлось нарушением корабельных правил, этики трапа, о чем Сашка, разумеется, знал, хотя на кораблях, где он служил, никогда не бывало женщин. Правда, Оксана была в длинном халате.

Она поднималась первой, Сашка за ней, я замыкал шествие. А наверху, над нашими головами, били пулемет-

ные очереди. Хотя, скорее, автоматные. Оксана, однако, поднималась безбоязненно.

Мы оказались в большой комнате, заваленной ворохами синего сатина. За двумя швейными машинами сидели, как выяснилось, мать и тетка Оксаны, швеи-надомницы, шившие халаты для ремесленных училищ. Работа у них была сдельная.

Они разом остановились, наступила тишина, мой друг поклонился и несколько чопорно представился:

— Молодой писатель Саша...

И они в ответ тут же опять застрекотали на своих машинах.

Я всю жизнь поражался, как это люди не стесняются вот так называть себя. Писатель... Поэт... Но у него получилось как-то беспомощно-наивно.

Я же, конечно, не пропустил, запомнил и уже до конца называл его так.

За окошком были видны зеленые спины поездов, пригородные кассы, копошение толпы у ларьков. Я сидел в уголке дивана, меня клонило в сон, и я обо всем забывал, идя сквозь волну автоматного боя.

Когда же я заставлял себя открыть глаза, я видел, что Оксана сидит в кресле, плотно запахнув халат на коленях и положив сверху закрытую книгу. Названия ее не было видно, так как книга была аккуратно обернута бумагой, — в моем детстве говорили: обложена.

Саша сидел на стуле и, наклоняясь к Оксане, что-то горячо говорил. Можно было подумать, что он просит ее руки. Складка на его черных брюках была безупречная.

Тут швеи снова, как по команде, остановились, и я услышал, что Сашка приглашает ее в кино.

Она ответила:

— Я лучше за это время прочту двести страниц текста...

Она готовилась к экзаменам.

И, видя обескураженное Сашкино лицо, я вскочил с места, всплеснул руками и крикнул:

— Саша! Мы совсем забыли. Нам же нужно в Историческую библиотеку! — И, помолчав, добавил: — На обсуждение.

И, не дожидаясь его реакции, я кивнул хозяйкам и стал спускаться по их сухопутному трапу. И уже внизу с облегчением услышал, как ловко, по-матросски, сбегает по ступенькам следом за мной Сашка.

Мы закурили. Уже давно наступил вечер.

— Подумаешь! — сказал я.

— Двести страниц текста! — простонал Сашка.

Эту фразу он повторял всю обратную дорогу.

— Что ты в ней нашел?..

— Тек-ста!

Назад мы шли пешком. Сашка здорово ориентировался.

Мы шагали по темным улочкам и переулкам, где у ворот стояли ребята и девушки, слышался смех, звучала гитара. Женский голос кого-то звал из окна. Мы неожиданно попадали на ярко освещенные магистрали, будто внутрь помещения, в зал или в фойе, и пересекали их, вновь погружаясь в зыбкий колеблющийся полумрак.

Сашка время от времени бил себя кулаком по колену и вскрикивал:

— Двести страниц текста!

— Да ладно, — успокаивал я его.

Молодой писатель Саша выпустил-таки свою книгу. Ее заметили, дружно хвалили, по ней был отснят фильм.

И Оксана написала ему. Что вышла замуж, что несчастлива, что очень переживает, ругает себя и упрекает мать и тетку.

Но сам письма этого я не видел. Мне пересказал его молодой писатель Саша.

1984

МАРАТ ТАРАКАНОВ

Фамилия его была Тараканов. Родители назвали Семеном. Он считал, что это их ошибка. И в дальнейшем переменил имя на Марата. Марат Тараканов. В то время лишь самому тонкому уху такое сочетание могло показаться сомнительным.

Как бы там ни было, он сразу после войны прибыл из провинции в столицу, — едва окончил десятилетку, а прошел, поступил, вместе с фронтовиками.

Стал учиться, — Марат да Марат. А вокруг стучали костыли, скрипели протезы. Вообще-то учился он неплохо, средне, наверно, чертил только хорошо, и внешностью не бросался в глаза: среднего роста, белобрысый. Но вот обратил кто-то внимание: иной раз идет, будто не он, — левую руку в брючный карман, правой отмахивает, а голова закинута. «Ты чего это?» Он сперва не отвечал, а потом говорит как-то: «Через три года после института буду начальником главка, вы все ко мне на прием запишетесь, да мало кого приму». Посмеялись, конечно. Но он вскоре — опять.

А время летит — и неплохо. Отменили карточки.

И вдруг он женится. Привел ее на вечер, все удивились — миловидности необыкновенной. Такая приятная, маленькая, мягкая, волосы волнистые, глаза большие, даже смотреть в них как-то неудобно.

— Видали, у Марата жена?

— Глазастенькая такая?

— Да, да, с глазами.

Чем же он ее взял? Да тем же, конечно: через три года буду начальником главка. То да се...

Звали ее Даша, а жила она в одной комнате со своей

старшей сестрой Клавой. И он к ним прописался. Квартира двухкомнатная, соседка — старушка, тихая, правда, вылезала раз в три дня, но все равно соседка.

Марат с Дашей отгораживались с вечера фланелевой ширмочкой, какие бывают у артистов-кукольников. Клава среди ночи иногда демонстративно шумно вздыхала. В отличие от сестры, она была тяжелая, крупная. Видно, терпела через силу, но уж больно любила сестру.

Родила Даша девочку, комитет комсомола и профком подсуетились немножко: подарочки там какие-то. А Тараканов ходит, голову откидывает: да я через три года после института... Дался ему этот начальник главка!

Когда дочке сравнялся годик, Даша ушла от него. Незадолго перед этим он встретил около подъезда молодого, в орденах, полковника, — вот с ним она и уехала. Это уж Клава расписала, не в силах скрыть злорадства: любил давно, помнил всю войну, вернулся, взял с ребенком.

Все в жизни бывает, но тот, первый, день он не смог забыть никогда. Даша не оставила даже записки. Комната выглядела как при переезде, почти уже освобожденная, в самом конце.

Через много лет он был в гостях у одной женщины и, пока она строгала на кухне салат, подошел к книжной полочке. Там стояли стихи: Ахматова, Цветаева, Евтушенко, Римма Казакова, Асадов. Он хотел было взять Евтушенко, но тут заметил еще томик — Борис Пастернак — и вытащил его, — он что-то такое слышал об этом Пастернаке, только поэтому. Раскрыл наугад, попался стих про зимнюю ночь и свечу, которая горела на столе, он перелистнул, и тут, следом, шло стихотворение «Разлука». Его прямо как ударило:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома,
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.

Он был поражен.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Он читал, готовый в любую минуту, когда войдет хозяйка, захлопнуть книжку, не показать это место, будто рассматривал нечто стыдное, тайное.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

А еще захотелось вырвать эти странички, сунуть в карман, — не то чтобы украсть, а потому что это было его, кровное.

Но это все случилось через много лет.

А тогда Клава потребовала, чтобы он выматывался. Он отказался: находится на законном основании, прописан. Они так и жили — в одной комнате. Время от времени она стала приводить мужчин, они оставались, он громко возмущался, совестил их из-за своей ширмочки. Некоторые конфузились, пугались, тут же уходили, другие не обращали внимания, иные сами ругались или грозили ему.

Однажды она заявилась с его однокурсником, Сашкой Щекалиным, боевым летчиком, теперь одноногим. Любопытно, что тот ничуть не удивился.

Тараканов совсем зашелся.

— Молчи, Мюрат! — миролюбиво сказал ему Сашка и с грохотом бросил на пол протез. — Молчи, Варяг! — и спросил Клаву, поскольку тот все еще не унимался: — Он что, всегда так?

Следует заметить, что на работе у Клавы была самая хорошая репутация, — и как общественницы тоже. Дважды ее выбирали народным заседателем.

Нужно отдать должное и ее характеру: она так и не сказала Марату, куда и с кем именно исчезли его жена и дочь.

Но ведь и ненависть не беспредельна. Есть жизнь, ночь, молодость. Случайно или нет, но они оказались наконец в одной постели, и им владели суровые, карающие чувства возмездия и наказания.

После этого его как подменили.

Все, конечно, знали о случившемся с ним, — кто жалел его, кто посмеивался. И тут он опять начал появляться с девушками и с молодыми женщинами — чуть не каждый раз с другой.

— Я теперь народный мститель, — объяснял он наиболее близкому своему приятелю Кольке Чужмину. — За всех мщу. Пощады нет!

К тому времени старушка соседка померла, и Марат Тараканов стал полноправным хозяином отдельной комнаты.

— Понимаешь, Коля, — растолковывал он, — мы просто дураки. Ведь им это нужно, так же как и нам. Не менее...

У него была тактика широкого охвата. Он подходил к незнакомым девушкам, здоровался, назначал свидания. Одни отскакивали, крутя пальцем у виска, другие слушали, снисходительно посмеиваясь, а третьи нерешительно соглашались.

— Раз на раз не приходится, — важничал он. — Но одна из двадцати пяти — тридцати попадает. Статистика.

— А унижений сколько! — смеялся Колька, чуть задетый.

— Оборотная сторона удачи! — снисходительно ответствовал Тараканов.

Трал он заводил с размахом.

К выпивке был совершенно равнодушен.

С годами Тараканов женился вторично. Жена его была спокойная добрая женщина, обихаживала его, любила, заботилась.

Товарищей его пораскидало. Сашка Щекалин умер. Один из сокурсников действительно стал начальником Главного управления в республиканском министерстве, — разумеется, не сразу.

Тараканов работал на заводе сменным инженером. Он был высокий, словно еще подрос, поджарый, нравился женщинам. Длинные, прямые, уже поседевшие волосы он зачесывал назад и весь был выдержан в голубых тонах, — как говорила его жена: в серебряной гамме.

На этом же заводе работал Николай Чужмин.

В пятьдесят семь лет Тараканов овдовел. В воскресенье проснулся утром, полежал, окликнул жену — слышал, как слабо дважды щелкала дверь при ее уходе и возвращении, — но жена не отзывалась. Он вышел в соседнюю комнату и первое, что увидел, — выкатившийся из сумки батон на полу, а потом уж и ее, лежащую на спине поперек дивана. Она умерла скоропостижно. Так же скоропостижно ушла когда-то и Даша.

Потом, через полгода, через год, женщины, которым нечего делать, подбирали ему пару, просили Чужмина подсказать, намекнуть, но Марат неожиданно твердо заявил, что жениться больше не будет.

— Не по возрасту, — объяснил он. — Лет в сорок, в сорок пять, там еще можно создать семью, а тут поздно.

А когда Колька заметил, что женятся люди и куда старше, ответил с удивившей Чужмина жесткой точностью:

— В семьдесят? В восемьдесят? Но ведь это от неприкаянности, от беспомощности. Это совсем другое...

Он шел высокий, прямой, закинув голову, сунув левую руку в брючный карман и отмахивая правой.

Где-то у него была дочь, может быть, внуки...

1984

АЛЕША И АЛЕНА

Алеша Иноземцев женился поздно, — по понятиям родителей. Сперва им это нравилось, что он такой серьезный, усидчивый, занимается много. Но и тогда друзей у него было полно, и девочки приходили, сначала одноклассницы, потом однокурсницы, и среди них попадались симпатичные, — Капитолина Григорьевна во все вникала, со всеми знакомилась.

Жили Иноземцевы раньше в коммуналке, но когда Алешка был еще детсадовского возраста, вступили в кооператив по месту работы, в один из первых, дешевый еще. Но все равно записались на маленькую двухкомнатную квартирку, и когда сын подрос, стало тесно.

Алексей окончил институт с отличием, взяли в солидную фирму, и все шло у него успешно, но и время шло. И тут родители слегка забеспокоились: внука надо бы. Прямо, конечно, не говорили, намеками, а он будто бы не понимал.

Девушки появлялись, но все как-то не так: эта просто товарищ, та — жена друга. Была, правда, одна, Аня, очень им нравилась, маленькая, приветливая, из Перми. Бывала, можно сказать, постоянно, и по праздникам, и на днях рождения, и так, стала своим человеком, почти членом семьи.

Тут уж они за него взялись: не тяни, где́ ты еще такую найдешь! И тайно подали заявление в правление — пока на однокомнатную, а то ведь тесно будет вчетвером.

А сын посмеивается, кивает, но все на месте. Аня поехала в командировку длительную, потом реже стала бывать, совсем редко и вообще исчезла. Капитолина Григорьевна до этого пыталась с ней как-то пооткровенни-

чать, как союзница, но ничего не получилось, та уклонялась, отнекивалась, отмалчивалась. На том и окончилось.

И вдруг, года два уже прошло, он говорит:

— Друзья! Сообразите завтра что-нибудь на стол, приду с товарищем...

Они удивились:

— С каким товарищем?

— Со знакомой.

И привел. Но это была уже не Аня. Алена! Дело, разумеется, не в имени. Эта была другая, — высокая, подкрашенная, правда, в меру. Курила. Пепельницы в доме не нашлось, задевалась куда-то, она длинным розовым ногтем сбрасывала пепел на блюдечко. Держалась вежливо, сдержанно.

Потом Алешка пошел ее провожать, а они с Валерием Денисовичем даже не обменялись мнением. Вымыли посуду и сели смотреть телевизор. По московской программе передавали третий период «Спартак» — «Торпедо».

Сын вернулся не скоро, веселый, чуть смущенный, она знала за ним такую манеру, сказал бодро:

— Ну, что, не понравилась? А ведь показывать приводил. Женюсь! — и засмеялся.

— Шутишь? — спросила она тихо, хотя знала, что это правда.

— Но вы же сами хотели!

Свадьба была в кафе «Молодежное», и действительно, преобладала молодежь, но и пожилые присутствовали, какие-то его начальники и руководители. Говорили об Алексее уважительно. От невесты были двоюродный брат, быстро упившийся, и древняя бабка. И она, и старшие Иноземцевы чувствовали себя здесь почти лишними. В какой-то момент отец, расчувствовавшись, сказал напутственную речь о долге и ответственности молодых перед обществом и друг перед другом, но затянул, и его плохо слушали.

Молодоженам выделили одну комнату, жить стали, конечно, по-людски, общим хозяйством, но Валерий Денисович вскоре первый заметил, что Алена старается

по возможности ограничить общение с ними. А Капитолина Григорьевна говорила ей «ты» и долго настаивала, чтобы невестка называла ее мамой, но та почему-то упорно уклонялась от этой родственной привилегии.

Тут после ряда кооперативных передвижек подоспела однокомнатная квартира, которой добивались, имея в виду еще Аню, и молодые переехали.

Теперь они жили в том же доме, но бывали у стариков редко, — Алена явно тормозила их отношения. Но когда заходили, все протекало нормально. Алешка любил рыться в своих старых книгах, что-то искал и находил, и, увлекшись, тихонько счастливо смеялся. Алена иногда возмущалась:

— Да возьми ты их с собой!

Он этого не делал, так ему было интереснее.

Однажды, когда еще жили вместе, зашла к Алене подруга Дина, и они уселись на кухне пить чай. Алеши и отца дома не было. Капитолину не позвали. Она возмущенно походила по своей комнате, выдержала минут десять и появилась на кухне:

— А, чай пьете?

Алена промолчала. Дина пригласила:

— Садитесь, Капитолина Григорьевна.

Та налила чаю, подсела к столику.

Дина рассказывала:

— В пятницу норовит уже на дачу к родителям. Устал, говорит, отоспаться. Один норовит. Хоть бы ребенка взял. Так нет, прямо с работы.

— Теперь все такие, — усмехнулась Алена.

Капитолина Григорьевна слушала, расширив глаза.

— Возможно, — согласилась Дина. — Отдыхать только отдельно. Нет, не погулять. У меня тетя Глаша говорит: «Смотри, наверно, он у баби». А я ручаюсь, что не у баби! Зато на теннис у него хватает.

— Времени? — спросила Капитолина.

Та посмотрела на нее с сожалением, помолчала, ответила:

— И времени тоже.

Они обе закурили, и Дина добавила:

— У нас шеф новый, молодой, стройный такой. И тут выясняется, что холостой. Но ни на кого не глянет. Так его прозвали: холостой патрон! — и засмеялась как-то задето.

— Так то шеф, — утешила Алена. — Чего захотела!

— Диночка, — сказала Капитолина Григорьевна, потрясенная услышанным, — а как там Света?

Света была одноклассница Алеши и в то же время знакомая Дины, — мир тесен.

— Разошлась. Сама. Да нет, не пьет. Иждивенец он, понятно? Ну и что́, что мальчик! Нужен кому такой папаша! Вот Светка и говорит ему стишок детский:

Не хочу водиться,
Хочу разводиться!

А? И правильно!

Вечером, когда легли, Капитолина пересказала все это мужу.

— А ведь правда, — горячо дышала она ему в ухо. — И наш тоже — то к бабушке, то к другу. Поговори с ним, Валера...

— Я? Да ты что! — и вдруг расчувствовался, вспомнил: — А мы не так, бывало! — и обнял Капу.

Разговор все же произошел полгода спустя, — Алена была на чьей-то защите, и Алешка заявился поужинать.

Валерий Денисович мигнул жене и, когда они остались одни, как-то особенно внимательно посмотрел в молодое худощавое лицо сына.

— Ну, как, сынок, жизнь?

— Все в порядке.

— Диссертация?

— Заканчиваю.

— Ну, а дома как?

— Тоже все хорошо.

— Ты меня пойми правильно, — сказал отец, с трудом подбирая слова. — Мы ведь уже старые. Погоди, погоди, не молодеем. Как там у вас с этим?.. Нам ведь это тоже нужно, нас это еще тоже подержит на земле...

— Да брось ты, отец, ну что ты. Все будет хорошо. Но нельзя же воспринимать женщину как устройство по производству внуков.

Старшему Иноземцеву неожиданно страшно захотелось закурить, — он бросил двадцать лет назад, и ни разу так не тянуло.

— Не хочешь так, государственно погляди, — он помахал в воздухе ладонью, будто отгонял дым. — Мы сами сплоховали: не одного тебя надо было родить. Но время тяжелое было. Ты слушай: у моих родителей было трое детей, у матери твоей еще три брата, так? Значит, две пары произвели семерых. А мы только тебя одного. А вы вообще на нуле. Чем же это кончится?

— Демографическое исследование серьезное. Но не волнуйся, отец, скоро все будет.

— А как вы живете? — неожиданно закричал отец.

— Отлично.

— Помогает она тебе?

— Да ты что! Конечно. И я ей тоже.

— Что за шум? — заглянула мать. — Валера, успокойся.

Но тот уже не мог остановиться:

— Почему редко заходите?

— Папа, времени нет. Ну, совершенно.

— Почему к себе никогда не зовете?

Алешка был обескуражен. Действительно. По той же причине, наверное. Другой нет.

— Мы вам поможем, не сомневайтесь, — пообещала мать.

— Диссертацию ей напишешь?

Позвонили в дверь.

— Есть хочешь? — спросил Алеша.

Алена улыбнулась:

— После защиты?

— Садись, чаю выпьешь, — пригласила мать. Она упорно отстаивала это свое «ты».

— Нет времени! — громко продолжал между тем Ва-

лерий Денисович, и Алена посмотрела на него с удивлением. — Нет времени! Удивительно, как раньше на все его хватало: гулять, ходить на футбол, в гости, в кино. На лодке кататься. Да оно раньше просто другое было! Раньше, еще в шестидесятые, если заменяли, скажем, вратаря в хоккее, — он повернулся к жене, — ему для разминки, для разогрева, полагалось десять минут. Целых десять минут он разминался, а партнеры ему бросали, готовили его. Поняли? А сейчас — ни секунды! Вышел — вставай в ворота и играй! Жизнь не ждет, не дает поблажек, не прощает медлительности. Времени — нет!

Все смотрели на него, пораженные его красноречием.

— Ну, монолог ты выдал, отец! Хоть на эстраду. А главное — правильно. Нет времени. Порой даже дослушать. Нам вот, например, пора.

— Ох и ловкач ты, Алешка! — восхитился отец и добавил неожиданно: — Зато играли прежде вратари без масок! Сейчас трудно себе представить...

Когда молодые ушли, Иноземцевы вымыли посуду и сели смотреть телевизор.

1984

В институте, где работал Борис, и особенно в их секторе, одно время пошло поветрие: брать жену с готовым ребенком. Прямо формула такая появилась — «с готовым ребенком». Этот вариант считался самым предпочтительным. Подразумевалось: чтобы не отвлекаться от работы, от науки. Трое приятелей так женились и остались очень довольны. У двоих из них дети были уже школьники.

Борис тоже хотел бы так, но не нашел, как прежде говорили, подходящей партии. Он был все-таки по воспитанию и по натуре слишком традиционен, излишне консервативен. Это ему отчасти мешало и в деле. Однако и он в должный момент проявил определенную отвагу — женился на Клаве. Познакомился у друзей на вечеринке и увлекся.

Клава работала плановиком.

Про нее говорили: «Она сама себя сделала».

Ее отец, человек простосердечный, малограмотный, размышляя над этой, слышанной им формулировкой, не вполне понимал, что это значит.

«Сама — себя? Так уж и сама!»

В ее облике была некоторая тяжеловесная элегантность. Учась в школе, она занималась художественной гимнастикой, дошла до первого разряда и сохранила грубоватую осанку, грацию. Она нравилась. Но, скажем, таксисты или сантехники не обращали на нее внимания, смотрели сквозь, — она для них была слишком своя.

Особенно она бывала привлекательна, когда немного подтягивалась, держала вес.

Мать ее говорила:

— Я к вам приехала на метрé...

Зять не выдержал однажды, переспросил:

— На метле?..

Она его поправила.

Родителей своих Клава не только не стеснялась, но еще и гордилась — вот я откуда.

Они были разнорабочими. Они ее ничему не научили. Они были так потрясены, что она хорошо успевает и легко переходит из класса в класс, что ничего с нее больше не требовали.

— Первый раз за хлебом сходила, когда в седьмом была, — сказала как-то мать с гордым умилением.

Готовить Клава не умела, покупала, когда попадались, сосиски, пельмени, московские котлеты.

А Борис и мясо мог куском поджарить, и шашлык. Но времени почти не было, работал как проклятый, преподавал, писал докторскую. Она порой поглядывала на него с недоумением. Только по ночам они вполне понимали друг друга.

Она работала в своем плановом отделе — спокойно, не торопясь. С достоинством проносила по коридорам свое некогда тренированное тело. Мужчины оборачивались.

Иногда Борис думал мимолетно: «А может, есть кто у нее?» Или вспоминал: «А ведь не уделяю ей внимания»...

Да, так вот готового ребенка у нее не было. Он говорил ей, что воспринял это как ее недостаток. В некоторых островных племенах в Океании, толковал он, существует именно такой взгляд на девушек. Если у нее до замужества нет ребенка, значит, она неполноценная, что-то у нее не в порядке, и жениться на такой рискованно.

Она смотрела с недоверием:

— А ты как же?

— Рискнул.

— Ты понимаешь, — философствовал он перед своим закадычным другом Алешей Иноземцевым, — вот у нас есть выражение: простой человек. То есть не занимающий каких-то постов, должностей, без высшего образования, конечно. Но почти исчезли из употребления

понятия: простонародье, простонародная внешность. Простонародное тело, как сказано, кажется, у Бунина. А ведь в этом есть какая-то сила. Вот и в Кланьке нечто простонародное, в высоком смысле.

— Борь, а тебе интересно с ней?

— Здрасьте! Это ведь понятие широкое. Но, скажу честно, с ее отцом интереснее. Когда он про войну рассказывает. Такого нигде не прочитаешь. А ее он зовет: Клавдúя...

Борис помолчал, сказал строго:

— Ладно, заболтались. Давай за дело. А с ней бы надо на танцы, что ли, пойти. В Парк культуры, — и добавил, подумав: — и отдыха...

Потом у него началась трудная полоса. Вернее, сначала все было нормально. Диссертацию написал, отзывы хорошие, публикаций полно. Но — очередь и вообще какое-то нарочитое противодействие. И тут пригласили защититься в закавказском институте, с которым они были связаны тематически. Восточное, так сказать, гостеприимство. Поехал, защитился, работа ведь действительно отличная. Но не успел обрадоваться по-настоящему, как узнал, что не понравился сам факт: нет, нет, пусть у себя, а это аннулировать.

Как говорил Алеша: ВАКХ не утвердил. Но здесь до бога виноделия, кажется, вообще не дошло.

Борис приехал с работы, всячески стараясь скрыть свою расстроенность. Клава листала альбом «Сокровища Оружейной палаты».

— Клаш, — сказал он с усталой небрежностью. — Знаешь, не утверждают мою диссертацию...

Она ничего не отвечала, продолжала переворачивать страницы, но смотрела в сторону.

Он испытал странное чувство одновременно обиды и нежности.

— Ну, ты чего, — шепнул он ей в ухо, сев рядом с ней, — все будет как надо. Работа добротная. Ну, ты чего? В муже разуверилась?..

Она не отвечала.

«А ведь ей это безразлично, — с неожиданным облег-

чением подумал он. — Но что же ей нужно тогда? На хоккей ее пригласить? Глупость какая-то...»

Со следующего дня он начал готовиться к новой защите, шлифовал и оттачивал отдельные места. Дополнительные отзывы тоже поступили самые благожелательные. Он был весь напряжен и еще ждал подвоха, как ждали его многие в секторе и сам руководитель, молодой членкор. Но подвоха не случилось...

— Клань, — говорил он в трубку счастливым голосом. — Сейчас приедем с ребятами и с шефом. Шампанское привезем, закуску кое-какую. Давай все, что есть, на стол...

А рядом с ним, с телефонной трубкой, смеялись, кричали, кто-то пел.

Так они и ввалились гурьбой, со свертками и с бутылками. Она сдержанно встретила их в дверях.

На столе ничего не было.

— Прошу! — кричал Борис несколько изумленным голосом.

Женщины пошли на кухню резать колбасу, рыбу, сыр. Иноземцев открывал консервы.

— Клавк, ну, ты что, — прохрипел Борис в коридоре, — картошку-то почистить...

— А почему я должна принимать эту ораву!..

Она стала очень медленно, задето, выгружать из серванта рюмки, фужеры, тарелки... Осанистая, важная.

Среди гостей чувствовалась некоторая растерянность. Но уже несли закуски, захлопали пробки.

— Никакой ВАКХ не подкопается! — возбужденно говорил Алеша. — Какая диссертация!..

Жена его Алена стряхивала ногтем пепел с сигареты.

— Друзья! Прошу внимания! — шеф поднялся с фужером в руке. — Дорогой Борис Сергеевич! Дорогая Клавдия Ивановна!..

Она повернула и удовлетворенно подняла изящно причесанную голову.

1986

Она вскакивала раньше него, мылась, торопясь завтракала, стоя допивала чай. Бежала к метро, натыкаясь на прохожих, свежая, счастливая, привлекая взгляды нежными румяными щеками, натертыми его утренней щетиной.

А он еще полеживал, потом вставал, делал зарядку. У него была вольная преддипломная пора, а Люся уже окончила и работала в статистическом управлении.

Тесть уезжал еще раньше, за ним приходила казенная машина. Он был подполковник, но занимал высокую должность, по снабжению. Он всегда знал, что нужно делать, и все делал вовремя. Едва появилась мода на дачные участки, он взял одним из первых, рядом с Москвой. Да и материалы тогда почти ничего не стоили. Другие спохватились, а участки-то вон уж где, да и построиться встанет раза в три-четыре дороже.

И с машиной также. Ездил на служебной, но свою приобрел, пускай стоит в гараже, — хлеба-молока не просит. Она еще и пробежать-то ничего не успевала, а он уже менял ее на новую модель. Но все по закону.

Вениамин брился, выходил в кухню, Ангелина Степановна тут же жарила ему глазунью. Теща ему нравилась, если быть откровенным — даже больше, чем жена. Не буквально, конечно, а когда он представлял себе ее молодой, сравнивал. И она это понимала, — он был уверен. Между ними установилось некое условное чувство.

Иногда, по праздникам, когда сидели за общим се-

мейным столом, Веня заводил песню, слышанную еще от деда. Она в свое время была очень популярна в армии:

Ой, сад — виноград,
Зеленая роща.
Ой, кто ж виноват,
Жена или теща?

Тут и тесть вступал, подхватывал:

Теща
Ви-и-но-ва-та-я...

Смолоду Вене нравилось ухаживать за девушками.

Ребята на футбол поедут или пиво пить наладятся, а ему с ними скучно. Они там тоже, конечно, порой кого-то встречают, знакомятся, — в трамвае или в метро, но случайно. А он выходил как на работу. Вернее — как на охоту. Не один, вдвоем с дружком Аркадием — это дело для двоих. Ведь и девчонки обычно парами. Волнующий холодок неторопливой вечерней улицы. Они ходили на танцы или просто по бульвару, — пристраивались, подсаживались, заводили разговор.

Если Венькой и двигала страсть, то страсть преследователя, определенный спортивный интерес. Тактика разная, конечно, но в общем-то не новая, одинаковая: сначала мягкость, внимательность, а потом уже настойчивость, напор.

Сперва он остерегался красивых. Если из двух девушек одна хорошенькая, а другая так себе, он обычно выбирал вторую. Так ему казалось вернее. Но вскоре выяснилось, что некрасивые, не владея дополнительными козырями, упорнее защищают то, что имеют. Красотки же гораздо легкомысленнее, снисходительнее, добрее. Им льстит, что ими восхищаются, и они не против отблагодарить за это.

В пылу гона они с Аркадием часто попадали черт знает куда: в чужой двор или даже в общежитие, и слишком поздно обнаруживали опасность. И ведь что интересно:

Веньку ни разу не били. У него была обезоруживающая улыбка и манера держаться: «Извините, ребята. С вами тоже, наверно, бывает...»

Постепенно обострилась проблема: место дальнейшей встречи. Мучительный вопрос: где? Особенно, если зима и вообще плохая погода. Девчонок, которые бы жили одни, ему почти не встречалось.

Но и тут судьба оказалась к нему благосклонной.

Мать несколько раз писала, чтобы он навестил своих теток, и он наконец выбрался.

Они жили в огромном старом доме с коридорной системой. Выходишь на площадку из вместительного тихоходного лифта — и тут же под прямым углом два длинных коридора, шагаешь наугад, всматриваясь в номера квартир.

Тетя жила со своей дочерью, которая тоже была его тетей. Это случилось потому, что старшая тетя на самом деле доводилась ему двоюродной или троюродной бабушкой. Они угощали его чаем и говорили про неизвестных ему родственников, у которых, если поехать в тот или иной город, можно остановиться.

Выйдя от них, он случайно пошел не по тому коридору и заметил в тупичке у окна деревянную скамью, мощную как на вокзале. Она была покрыта слоем пыли, на нее давно никто не садился. Он попал на другую лестничную клетку и пошел вниз, — лифт здесь не работал. Дверь подъезда запиралась изнутри на хилый врезной замок. Веня открыл его, надавив на рычажок, и попробовал отпереть снаружи: пятнадцатикопеечная монета не влезала, гривенник подошел.

Вечером он проверил эту дорожку.

Потом он часто водил туда девочек. В случае чего, всегда можно было сказать: «Мы из сорок девятой» — и назвать фамилию.

Но никто ни разу не потревожил.

Потом он, сидя здесь и целуясь с очередной избранницей, иногда бегло думал: а вдруг забредет какая-нибудь из прежних подружек? Или всех сразу приведет сюда

ностальгическое чувство? Вот бы они устроили ему демонстрацию протеста!

Однажды Аркашке родители передали с девушкой-землячкой посылку из Конотопа. Что за допотопная манера, — отправили бы по почте! Аркадий созвонился, и они вдвоем поволоклись к ней в институт. Познакомились безо всякого интереса, взяли посылку и только навострились уходить, вернее, уже пошли, хозяйка окликнула какую-то девушку, по делу. И Венька остановился, влез в разговор, предложил отправиться вчетвером есть мороженое или покататься по реке.

В общем, включился.

Они согласились. Аркашка проклинал его, таща посылку.

На Люсе был жакетик с подложенными плечами, длинная юбка, но Венька с полувзгляда определил, что у нее отличная фигура. А смотрела она на него странно: неуверенно улыбаясь и в то же время в упор, как-то очень смело. Потом выяснилось, что она близорука. Очков она не носила и даже умудрялась не щуриться. Он для нее был как в тумане, — она поведала об этом позднее. Но все равно ему нравилось, как она на него смотрит.

В дальнейшем ей все-таки пришлось пользоваться сильными очками, что сыграло поворотную роль в его судьбе.

Венька начал с ней встречаться, обхаживать. Она была сдержанной, долго ничего не позволяла и даже, когда уже целовались напропалую, в дом тот с коридорной системой идти отказалась наотрез. Но она, чувствовалось, привязывалась к нему. Потом уже она призналась, что хотела, чтобы это произошло у нее дома.

Стоял осенний пасмурный день, мать уехала куда-то, отец был на службе. Люся задернула шторы, но в последний момент непритворно засопротивлялась, однако сдалась.

А ему словно голос был свыше, словно из мегафона: «Женись на ней!» — и еще пояснение: «Дурак, лучше не найдешь...» И он так считал тоже.

Он всегда побаивался идти в дом, сталкиваться с родителями после э т о г о. А тут пошел, и они вполне понравились друг другу. Квартира оказалась трехкомнатная, плотно обставленная, дом, что называется, полная чаша.

Аркадий был на свадьбе, а потом отпал — за ненадобностью. Все же Венька иногда звонил ому, приберегал на всякий случай. Это когда уже окончили.

Чтобы жить вот так, в чужом доме, требуется все-таки определенное нахальство. У них с Люсей была отдельная комната, по вечерам он порой испытывал неловкость, когда нужно было щелкнуть изнутри ключом. Его не оставляло чувство смущения, что он лежит в постели с их дочерью, — он привык держать такие вещи в тайне. И когда он выходил утром, Ангелина зыркала на него, на миг, но с любопытством. Да и Люська стеснялась своих горящих, натертых его щетиной щек.

С самого начала они не береглись, потом опомнились, забеспокоились, но ничего не происходило. Он считал, что это по ее, женской, части.

Жизнь текла размеренно. Вечером включали телевизор, Люся предпочитала радио, иногда ходили в кино, совсем редко в театр. По субботам обычно ездили на дачу. В мае Веня полетел отдыхать, один, — второй путевки не было, да и время отпусков у них не совпадало. И когда он, едва переодевшись, спустился вниз к санаторной балюстраде, где под доцветающими глициниями пестрели на скамейках стайки женщин, все в нем подтянулось, подобралось, и он наметанным взглядом выбрал самую привлекательную. И даже умилился: хватка осталась, не подводила его.

Вернувшись, он встретился в кафе с Аркадием, — смеялись, вспоминали, рассматривали в записных книжках нехитро закодированные номера телефонов. И снова начались их набеги, — не то что прежде, — скрытные, осторожные, да и пореже, конечно, но начались. Скорее, продолжались.

Победы доставались достаточно легко, жена его не подозревала, и Вениамину пришло однажды в голову,

что следует подозревать ее. Если ему понравилась, могла приглянуться и другим. И он исподтишка начал контролировать, проверять, сопоставлять факты.

Тесть, приезжая со службы, снимал форму, садился ужинать, рассказывал что-нибудь забавное.

— Захожу к Пролеткову, а он на склад звонит: «Маслята есть у вас? Какие-какие! Жена наказывала. Кажется, греческие...» А это — маслины...

Все смеялись.

Люся начала при разговоре сужать глаза, щуриться.

Тесть сказал твердо:

— Ну, хватит модничать. Повезу тебя к профессору Федорову. Да не оперироваться, не бойся, очки подбирать. А оправу тебе достану хоть японскую.

Ангелина Степановна, иронически улыбаясь, подбавила:

— Соглашайся, доча, а то ведь встретишь на улице мужа с женщиной и не увидишь, не разглядишь...

Она словно все про Веньку знала.

И подобрали Люсе очки на американском компьютере. Теперь она смотрела на него с интересом нового узнавания, спокойно и просто. Ему нравилось, когда она их снимала.

Здесь начинается самое главное. Вениамин Николаевич поехал с утра на весь день в филиал их института, за город. Он давно уже ездил на машине тестя, она была как его, — брал, не спрашиваясь.

А Люсю послали в министерский архив, за папкой какой-то старой отчетности.

Она ехала троллейбусом и увидала в окно совсем небольшую очередь у магазина «Галантерея». Это была очень хорошая «Галантерея», там регулярно появлялась редкая косметика. Люся сошла и вернулась назад. Она ошиблась. «Галантерея» оказалась на учете, а очередь была к лотку с огурцами.

Люся вновь направилась к остановке, обойдя вылезшие почти целиком на тротуар «Жигули»-универсал бутылочного цвета. «Похожа на нашу, — мимолетно подумала она, — и даже номер похож. Хотя, стоп!..» Она повернула голову. Номер был не только похож, это был их номер. Она перепроверила это четырежды. Потом заглянула в салон: на заднем сиденье лежал его плащ. Она машинально посмотрела на часы: двенадцать часов двадцать две минуты. «Как в детективе, — пришло ей в голову. — На случай алиби...»

— Как съездил? — спросила она вечером.

— Нормально, — ответил он. — Весь день проканителились...

Она удивилась своему хладнокровию. Все в ней призывало, требовало, чтобы спросить, — спокойно, ехидно, или зло закричать ему в лицо: «А почему же тогда наша машина в двенадцать двадцать две и позже находилась в Москве, на проспекте...»

Но он бы мог ответить: «Извини, не хотел огорчать батю, это же его «жигуль». Друг попросил, ему срочно нужно было в город...»

И все. И тут бы она сама захотела поверить. А друга бы он как-нибудь ненавязчиво потом представил, — в подтверждение.

Но нет, она ничего не сказала.

Она начала присматриваться к нему, внимательней вбирать и классифицировать его запахи. Она вела расследование, но в частном порядке, не прибегая к помощи общественности. И он не чувствовал опасности. Два раза, когда он говорил по телефону и называл абонента мужским именем, она, бесшумно сняв трубку параллельного аппарата, уловила в женских голосах непозволительные интонации. Нет, она не подслушивала, ей этого было достаточно.

Поразмыслив, она решила вызвать огонь на себя. Когда Вениамин собирался в институт на Октябрьский вечер, — она точно знала, что он идет именно туда, — Люся появилась в комнате, нарядная, улыбающаяся, и объявила, что отправляется вместе с ним.

Он растерялся, начал бормотать, что это не принято — приводить жен и мужей, но она уверенно настаивала, и он

вынужден был уступить. Общаясь с его сослуживицами, она постаралась выглядеть до предела доверчивой и наивной. Ей не требовалось особенно притворяться, — ведь совсем недавно она такой и была.

Она танцевала с его сослуживцами, смеялась, и домой они вернулись веселые. Вениамин был доволен, что все так благополучно окончилось.

Ночами она не уклонялась от его ласк, — ведь скоро, думала она, этого уже не будет.

Вскоре Люся получила два письма — одно анонимное, а другое с подписью и номером телефона. Писали женщины, якобы пожалевшие ее, а на самом деле имеющие на Веньку зуб, обиженные им когда-то и сообщавшие теперь о его прегрешениях. Нет, не на работе, но они кое-что знали. Стоило только потянуть за эту ниточку... А у одной было на него чуть ли не досье...

Сперва он отрицал все, отказывался, отпирался, стоял на своем, вопреки фактам, — ей даже бывало жалко его, — потом не выдержал, сломался, признал один или два случая.

Ей и этого было достаточно. Они расстались. На жилплощадь он не претендовал.

Непостижимым образом он умудрился остаться в хороших отношениях с ней и даже с ее родителями. Звонил, расспрашивал, сочувствовал или смеялся. В нем все-таки что-то такое было.

Через три года Вениамин снова женился. Это была женщина строгая, старше его на пять лет. Она взяла его под жесткий контроль, и он почти не возражал, сдался, хотя иногда и взбрыкивал, хихикал по телефону с Аркадием.

Когда они бывали в гостях и он, сидя за столом, говорил, обращаясь к другим, она задумчиво рассматривала сбоку его голову, даже, отклонившись, затылок, словно не слыша его или прислушиваясь к чему-то своему.

И Люся вторично вышла замуж и, к удивлению Вениамина, родила. К тому времени профессор Федоров сделал ей операцию на обоих глазах, и мир поразил ее своей выпуклой яркостью.

Однажды в гостях, у каких-то отдаленных родственников жены, Венька встретил Ангелину Степановну. Она довольно сильно сдала. Они обрадовались друг другу, с приязнью смотрели через стол.

Никто не знал, откуда они знакомы.

Когда они с женой уже собирались уходить, бывшая теща с трудом обувалась, сидя в передней на стуле, потом разогнулась, подняв красное лицо, и сказала ему, виновато улыбаясь:

— В старости ноги становятся длиннее, а руки короче...

А он подумал, что у нее всегда были длинные ноги, но промолчал.

1986

ИСПОРЧЕННЫЙ ВИТЬКА

Когда я ходил во второй класс, нашими соседями по квартире была семья: муж, жена и двое мальчишек, — Витька учился со мной, Валька — в первом. До школы было минут двадцать, но мы выходили за час, шли с остановками, отвлечениями, не торопясь. Иногда даже опаздывали.

Валька обычно молчал, но зато Витька не закрывал рта. Что он молол! Он говорил о женщинах, — не о девчонках, а именно о женщинах и о своих отношениях с ними. Он рассказывал совершенно фантастические вещи, потрясающие подробности. В них немыслимо было поверить, многое просто невозможно было понять, но чувствовалось, что и сочинить это нельзя тоже. В дальнейшем я с изумлением осознал, что истории его были вполне допустимыми, достоверными, но в иной, взрослой жизни, — так и осталось невыясненным, откуда у него все это бралось.

Во всяком случае, он был увлечен этим куда более, чем уроками.

Однажды догнали по дороге девушку и долго шли сзади, в шаге от нее. Витька с пониманием рассматривал ее фигуру, а потом сказал, не понижая голоса:

— Хорошую женю отрастила.

Я не понял:

— Какую Женю?

Он популярно объяснил.

Девушка обернулась и смерила его удивленно-презрительным взглядом:

— Ах ты, шибздик!

Он смело смотрел на нее — как на ровесницу.

А как-то попалась навстречу молодая пара: верзила-муж вел под руку беременную жену. Потом в таких случаях стали говорить: с и л ь н о беременную.

Поравнявшись, Витька обратился к нему одобрительно:

— Молодец! Здорово накачал.

Тот сперва не понял, затем дурацки хохотнул и тут же, рассвирепев, кинулся за Витькой, — да разве догонишь! — Витька этого ждал и был уже за забором, в заглохшем чьем-то саду, где мы часто играли по дороге из школы.

Каким-то образом о Витькиной болтовне стало известно и взрослым, — соседки называли его и с п о р ч е н н ы м мальчишкой. Отец лупил его нещадно.

Но он был словно обуян этой, двигавшей им страстью. Если в пруду, мимо которого мы ходили, купались или собирались купаться женщины, он тут же подкрадывался, прятался за кустами. О школе он забывал напрочь. Валька, топчась поодаль, обреченно ждал его.

Еще помню, торчала в стороне от дороги дощатая уборная с двумя дверями и крупно намалеванными на них буквами: «М» и «Ж», — за каждой дверью по одному «очку». На наших глазах в уборную вошла женщина, и Витька тут же пустился к другой двери.

— Там щель! — успел он крикнуть взволнованно.

В перегородке действительно имелась щель и еще был выбит сучок в доске.

Витька исчез за дверью и пропал. Женщина уже вышла, покосилась на нас, обдернула юбку и удалилась, а его все не было.

Мы приблизились. Витька уронил в «очко» кепку и теперь пытался вытащить ее, но без всякого успеха. Вид у него был хмурый, — потеря кепки не предвещала дома ничего хорошего. Они с Валькой стали искать палку или крючковатую ветку, я подождал их немного и пошел один. Появился Витька ко второму уроку, с мокрой, отмытой в пруду кепкой в руке. Пахло от него соответственно.

Потом мы переехали оттуда, я иногда вспоминал обоих братьев, особенно старшего, с его рассказами, но все реже и реже.

И вот уже после войны я был с друзьями на стадионе «Динамо», только что кончился матч, и мы спустились на уютную площадку перед Северной трибуной, когда меня окликнули. Я обернулся и узнал его в ту же секунду. Удивительно, что прошло не так много лет, — двенадцать или тринадцать. Но еще поразительней, что тогда мы были совсем детьми, учились во втором классе, а сейчас я уже, кажется, давно вернулся с войны.

У него было открытое, довольно привлекательное лицо, а рядом с ним стояла тоже симпатичная девушка. Мы ведь тогда так воспринимали — девушка.

Но он сказал:

— Знакомься. Моя жена.

И тогда я глянул на нее внимательней. Я сразу вспомнил это приклеенное к нему словечко — испорченный, — подумал, что вот теперь-то он, наверное, развернулся вовсю, и подсознательно понял, что ищу того же в ней. Ведь она — ему под пару — тоже должна быть испорченной. Однако в ней я этого не увидел. В ее облике скорее сквозила какая-то наивная доверчивость. Она ничего о нем не знала. Мне даже стало ее жалко. Впрочем, возможно, я и ошибался.

Моя компания, покуривая, терпеливо ждала меня. Им не было скучно, — они обсуждали игру и посматривали по сторонам, — в толпе мелькало немало футбольных и прочих знаменитостей.

— Валька? — переспросил Витька. — Живой. — И записал мне свой телефон красивой авторучкой. — Звони. Увидимся.

— Обязательно, — сказал я, зная, что не позвоню.

Если бы встретил его одного, то, может быть, как-нибудь позвонил бы от нечего делать. А так — не захотелось.

1984

Акентьевы прожили жизнь ровно и дружно.

Паша вообще был человек легкий, запросто отбрасывающий, отсекающий все, что ему не нужно сейчас, — в нем сидело такое избирательное устройство.

Его спрашивали:

— Вы на каком фронте были?

Он слегка медлил с ответом, словно задумывался, и говорил не вполне уверенно:

— На Третьем Украинском...

— А в какой армии?

Он колебался и сам спрашивал:

— В Девятой?

— А корпус?

Он смотрел удивленно:

— Не помню.

— Ну, как это можно не помнить! Кто командовал?

Он удивлялся еще больше:

— Да не знаю я! Сколько лет прошло!

Паша не помнил фамилии даже своих ближайших командиров и товарищей. Они остались там, во фронтовой дымке. Он забыл названия взятых деревень, не помнил врачей и сестер из госпиталя, где лежал после ранения. Так, в общих чертах.

Он не интересовался встречами однополчан — ему там нечего было делать.

Можно было подумать, что он не воевал, — нет, воевал, все как положено. Некоторые подозревали, что, может быть, он после контузии потерял память. Ничего подобного. Контужен он не был, и память у него находилась в порядке, когда дело касалось другого. А это ему было не нужно.

После войны он поступил в институт легкой промышленности, — там училась в тридцатые годы его старшая сестра и вроде осталась довольна. Легкой дороги он не искал, но, как ни говори, это название звучало обнадеживающе. Не то что, к примеру, тяжелое машиностроение. Ведь учиться предстояло пять лет.

Он подал документы, сдавал экзамены. Видел, что девчонок много, но слишком был занят делом, сосредоточен на другом. А когда вошел первого сентября в самую большую институтскую аудиторию, улетающую амфитеатром круто и далеко вверх, внутренне ахнул.

Как будто он попал в женский полк, — например, в зенитный. Каких только девчонок тут не было, и сколько! Их можно было разбить на учебные группы по более очевидным признакам: цвету волос, глаз, по росту и комплекции. Редкие мальчишечьи и мужские головы тонули среди этого цветника.

Групповые занятия проходили в небольших комнатах или в лабораториях, а с этой аудиторией — она называлась десятой — были связаны лекции для всего потока, и общие комсомольские собрания, и шумные веселые вечера.

Очень скоро, может быть, через две недели, Паша, поднимаясь по ступенькам посреди рядов, наткнулся взглядом на уже сидящую девушку: носик сапожком и синие глаза. Садясь немного выше, он еще подумал: «И почему это синее всех привлекает? Какая разница — синие они или нет!» Теоретическое такое размышление.

Тут началась лекция. Профессор, местная знаменитость, сразу строго-доброжелательно объявил, что э т о г о материала они нигде прочесть не смогут, ибо прежний учебник безнадежно устарел, а новый, написанный им самим в соавторстве с двумя коллегами, выйдет, когда они уже окончат первый курс. Ну, может быть, не все, но наиболее усердные окончат. Выход один — вести подробный конспект. Записывать! Короче, страху навел — все зашелестели тетрадками.

Впрочем, Паша Акентьев и так решил с самого начала заниматься хорошо, а иначе смысла же никакого.

Выходя, Паша очутился на лестнице рядом с нею. Оказалось, что она одного с ним роста. «Каблуки наденет — выше меня будет», — подумал он бегло. Но и это понравилось. Потом выяснилось, что она на сантиметр ниже, это его успокоило, удовлетворило самолюбие. А может, она и нарочно себе рост убавила, — это он иногда подозревал. Женщины каким-то образом и возраст себе убавляют, а здесь тем более, в паспорт же не вписано.

Звали ее Лида Бутонова. Сама фамилия как бы предполагала дальнейший расцвет. Потом, когда они решили пожениться, Лида оказала короткое отчаянное сопротивление, желая сохранить фамилию, но он был непреклонен, и она сдалась.

Однажды он заметил, что, здороваясь или прощаясь с ним, она всегда перекладывает портфель в правую руку, а ему подает левую. «Левша она, что ли? Да нет, другим протягивает правую».

Когда он спросил ее об этом, она удивилась:

«Правда? А я не замечала. — И засмеялась: — Наверно, потому что левая ближе к сердцу...»

Один Пашкин земляк учился в Горном институте, — они виделись очень редко, — и рассказывал, что у них девчонок мало, по две-три в группе, и все уже выскочили замуж, даже самые неказистые.

А здесь все обстояло наоборот. Паша был парень открытый, да и собою недурен — крепкий, чубатый. По нему вздыхали многие, записки подсовывали. А некоторые, поактивней, атаковали ради спортивного интереса, — при полной удаче и отбить, а так попробовать что получится, проверить собственные возможности. И опять же — безо всякого результата. Его к этой Бутоновой как прицепили.

Они окончили институт — инженеры! — и уехали по распределению на завод, в небольшой среднерусский городок. Получили комнату в общей квартире.

Ему нравилось просыпаться около нее, смотреть на ее лицо, будить, трогая губами ее ресницы. Когда ждали первого ребенка, он хотел девочку и чтобы она была похожа на Лиду. Но родился мальчик.

Они не успокоились — но опять получился мальчишка.

Жили в согласии.

Лида действительно расцвела, была спокойная, ровная, а он мог изредка и вспылить. Однажды днем ворвался в полной ярости. Она сперва ничего не могла понять. Выяснилось, что он шел на обед, — завод был рядом, и обедал Паша дома, — и вдруг увидел в окне Лиду, которая в голом виде разгуливала по комнате. Они жили тогда на втором этаже. Паша был не один — дом ведомственный, заводской, — но, кажется, другие ничего не заметили.

— Что это за манера французская?! — кричал он.

Она не стала спорить. Но почему французская?

Просто сторона была солнечная, и комната вся прокалилась.

Лида тогда не работала — мальчишки были маленькие.

Перед тем как открыть Паше дверь, она, разумеется, накинула халатик.

При всем том и в нем самом жило какое-то удивительное легкомыслие. Умер бывший его начальник, — три года назад он перешел с повышением на соседнее предприятие, а Паша занял его место.

Акентьев отправился на панихиду. На рынке он купил три гвоздички, хотел пять, но получалось дорого, а после церемонии могли обозначиться новые траты. По дороге он решил забежать в библиотеку за нужной срочно книгой — он вполне успевал, а Леночка, всегда благоволившая к нему, выдавала ему дефицит вне очереди.

Он поздоровался, а она прореагировала простодушно:

— О, цветы!..

— А это вам, — тут же нашелся Паша и вручил букетик.

Спеша к клубу, он хмыкал, несколько смущаясь своего поступка, но вскоре решил, что Леночке цветы куда нужней, чем покойному.

Он быстро выдвинулся, стал начальником цеха, да и Лида, когда немного подросли пацаны, вернулась на завод, — правда, в соседний цех.

Так оно все и шло. Однажды, когда еще жили в одной комнате, Акентьевых обокрали, унесли все, что было. Не ахти что, конечно, но после этого просто надеть было нечего. Приходила милиция, с собакой, но воров не нашли. Обокрали, конечно, свои, днем, нахально. Старший был в школе, а младший гонял по двору со стандартным ключом на шее, — Акентьевы до того случая не удосужились врезать собственный замок.

Вскоре им дали новую квартиру.

А младший сын, носившийся когда-то с ключом на веревочке, уезжая через десять лет учиться в мореходку, покаялся матери, признался, как все было. Он забежал домой попить и почему-то запер дверь комнаты изнутри, оставив ключ в скважине. Буквально через несколько минут он услышал металлические звуки и увидел, что ключ подрагивает, — с наружной стороны пытались вставить другой. Это продолжалось очень недолго, потом все стихло. Он посидел, затаясь, подождал, открыл потихоньку замок, опять запер дверь и выбежал на улицу.

Видимо, вслед за этим их и обокрали. Он испугался и ничего не сказал родителям. Ему было шесть лет.

Теперь испугалась мать:

— А если бы ты вынул ключ? Они отперли бы, вошли и увидели тебя. Они могли бы тебя убить, — ведь ты их знал, наверное...

— Очень может быть, — ответил он, улыбаясь.

Когда она рассказала об этом Паше, тот отмахнулся:

— Да ладно!

Он уже почти и не помнил о том случае.

— Ведь его могли убить!..

— Но ведь не убили. И меня могли убить, мало ли что!

По правде говоря, грех было на мальчишек обижаться. Учились нормально и не докучали по пустякам. Гоняли в футбол, в каких-то кружках занимались, — Паша и не вникал в это.

Когда знакомые жаловались, говорили о проблемах с детьми, Акентьевы только переглядывались коротко: им это было незнакомо.

Неожиданностью для Паши оказалось решение старшего поступить после школы в военное училище. «А ты хорошо подумал?» — хотел он спросить, но не стал спрашивать. Парень уехал, сдал, прислал фотографию в форме. Через два года младший поступил в мореходку. Конкурс жестокий, но прошел молодцом, хотя и вполне сухопутный малый. Теперь отец даже не удивился.

Опять стали жить вдвоем, как когда-то в молодости. Но ведь они еще и не были старыми. Письма сыновьям писала мать, Акентьев делал в конце обязательные приписки, ответы ребят читали вслух, но отдельно от этого Паша почти никогда не думал, не размышлял об уехавших сыновьях. В этом было что-то ущербное. Лида чувствовала это и старалась расшевелить его, но безуспешно. Ему достаточно было ее.

А время шло, и еще как! Завод, да что завод, весь мир был начинен кибернетическими устройствами, вычислительной техникой, всякого рода электроникой, а время пользовалось только старыми счетами. И как оно сухо щелкало полированными костяшками справа налево: раз, раз, раз, в каждой — год, а потом уже — в одной целый десяток!

Старший окончил училище, уехал в дальний гарнизон, женился.

На свадьбу не позвал. Паша утешал:

— Да я бы тебя сам не пустил. Туда же не добраться!

После нескольких напоминаний сын прислал свадебную фотографию. Лида долго рассматривала невыразительную пухлую мордашку невестки.

— Посмотри, а он какой-то грустный, — вздохнула она и коротко всплакнула.

Акентьев глянул и сказал бодро:

— Никакой он не грустный, а она, конечно, медсестричка. А на ком еще жениться, на медведице? Кругом тайга! — и засмеялся: — Вот у меня был выбор...

Павел объяснил, что подобное случается с военными: женится лейтенантик где-нибудь в глуши, потом выйдет в большие генералы, а жена все на том же уровне. Но

ведь не менять же, — целая жизнь за плечами, дети, внуки. Жизнь не поменяешь.

Впоследствии выяснилось, что невестка была подавальщицей в офицерской столовой, и Лида подивилась Пашиной мудрости.

А младший плавал уже на своем сухогрузе по всему свету, присылал цветные открытки, жениться, правда, не собирался.

Так и жили Акентьевы, работали, а что еще делать!

Лида носила теперь в крайнем случае только средний каблук, но почему-то стало заметно, что она все-таки ростом выше Павла.

Время все быстрее щелкало на своих счетах, но это бы еще ничего. Хуже другое. Лида стала скверно себя чувствовать, похудела. Врачи велели соблюдать диету, подозревали плохое, она догадывалась, нервничала. Жизнь враз изменила ритм, сбилась с ноги. Положили в больницу, лечили. Акентьев доставал через московских знакомых заграничные лекарства. Потом возил жену в областной город на консультацию к знаменитому профессору, каких и в Москве-то мало, потом ее опять клали на обследование.

Теперь уже и Павел похудел, спал с лица, глаза лихорадочно поблескивали. Но старался подавать пример, шутил, подбадривал.

Наконец ему сказали: все, надежды никакой. Жить осталось недели три, от силы месяц. Забирайте домой, никаких ограничений, пусть ест, пьет, живет как хочет.

— Домой! — произнес он, входя к ней как мог весело. — Хватит больниц!..

Она недоверчиво смотрела на него своими по-прежнему синими глазами.

Платье, которое он принес, висело на ней как на вешалке.

Он ввел ее в дом, сам едва сдерживая слезы. Они выпили по рюмочке кагора — за ее возвращение. На другой день она уже варила ему кофе.

Прошла неделя, две... Они уже гуляли около дома, в

скверике. Прошли три недели, месяц, полтора... Они с аппетитом ужинали, смотрели телевизор. Были в гостях у соседей...

Через три месяца Павел Александрович Акентьев скоропостижно скончался от тяжелого инфаркта.

На похороны прилетел старший сын с женой. Он был уже полковник. Он не бывал дома с тех пор, как его покинул. Отпуска они проводили в Сочи. Младший был в плаванье.

После кладбища собрались дома — соседи, сослуживцы. Сын уехал прямо с поминок, он опаздывал, вид у него был усталый, озабоченный. Он обещал созвониться с братом, когда тот придет из плаванья, и сообщить ей. О чем — она не поняла. Невестка, соответственно моменту, выглядела грустно значительной.

Они уехали, а остальные, проводив их до машины, вернулись и еще долго сидели у стола. А во главе его, с торца, сидела синеглазая старуха, бывшая Лидочка Бутонова.

Она слегка оживилась и, когда говорили о Паше, порой недоумевала, почему его здесь нет.

1986

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАССКАЗ

Дежурная сестра Лида освободила одну и вторую ногу от туфель без задников, встала на стул, потом на широкий подоконник и, взявшись за никелированную ручку, с грохотом открыла фрамугу. Он смотрел, как она спускается на пол. Остальные сестры были девочки, их никто иначе и не называл, — даже тех, кто были замужем и сами имели детей. Лида была женщиной, знавшей себе цену.

— Не дует?

Он лежал на спине, укрытый до подбородка.

За окном было совершенно темно, но сейчас сквозь фрамужную щель стало явственно видно мельтешение снежной крупки, и тут же он уловил ее тоненькое позванивание о стекло. Повеяло холодом. И вдруг где-то необыкновенно далеко, за березовой рощей и скоплениями однотипных домов, смутно возник почти неопределяемый звук, скорее даже отзвук чего-то бесконечно знакомого.

Больной лежал, прикрыв глаза и вслушиваясь. Неожиданно звук сделался отчетливее, — вероятно, ветер повернул в сторону больницы. Теперь сомнений не было: это шел поезд, различалось его сухое костяное пощелкиванье.

«Где же это, — подумал больной, — неужели у трех вокзалов? Нет, это в Черкизове, на Окружной...»

«Та-та, та-та», — доносилось из темного весеннего пространства, и эти перестуки при желании можно было сосчитать, как считают разделенный краткой паузой голос кукушки, загадать, — но он не решился.

— Не замерзли? — вошла Лида и, опять оставив у стула туфли, легко поднялась и захлопнула фрамугу.

Он лежал на спине, обклеенный датчиками, подсоединенными тонким проводком к висящему над его головой монитору. И по экрану — он видел, когда сильно закидывал голову — колеблясь, бежала тоненькая светящаяся ниточка — нить его жизни.

А в углу на столике стоял наготове аппарат «искусственное сердце». Он походил на средней руки, устаревшей конструкции телевизор.

Лида неплотно притворила дверь палаты, и он краем глаза наблюдал движение жизни по коридору, пусть и замедленное. Там, гуляя, проходили, вернее, прохаживались люди в пижамах и халатах, неторопливо, осторожно уплывали в один конец и не скоро появлялись снова. И он думал: неужели и он когда-нибудь будет вот так же вальяжно прогуливаться там, в коридоре? Быстро промелькивали только белые халаты, — сестры и врачи жили по иным законам, в другом измерении.

Фрамуга давно была захлопнута, а ему все еще казалось, что он слышит ритмичное постукивание тяжелых колес.

Осенью он был в доме отдыха. Стояла ясная сентябрьская пора, пластами валились листья с лип, кружась, порхали каленые березовые листки. Его окно выходило в сторону железной дороги. «Ничего?» — извиняющимся тоном спросила сестра-хозяйка, которую он хорошо знал. «Ничего, я даже люблю...»

Напрямик, через дачные участки, до полотна было не более полукилометра, и, открыв на ночь окно, засыпая, пробуждаясь и вновь окунаясь в сон, он слышал и слушал эти памятные с детства звуки.

Поезда шли один за другим, как трамваи. Прежде проход поезда был событием: выходили на платформу или к насыпи — помахать. Теперь поездной шум накатывался один за другим — как порыв ветра. Иногда тон его менялся, пронизываясь громом встречного состава — так в слитном оркестре один инструмент накладывается на другой. Затем наступала тишина — и вновь аккуратно баюкающее пощелкивание. Стоило начать напевать про себя какую-нибудь — любую — мелодию, и казалось, что поезд выстукивает именно ее.

Они жили тогда за городом. Тоже мела листва, потом снежок. Топилась печка, отбрасывая на стену колеблющийся свет. Одна ножка стола не доставала до пола, но стол стоял достаточно прочно, держался на трех, как собака с подбитой лапой. На табуретке царила чуть сужающаяся кверху башенка керосинки со слюдяным избушечным окошечком, озаренным светом широкого плотного фитиля.

Керосина в поселке не было, но отец работал в городе и ездил каждый день. Это строжайше запрещалось — провозить керосин в поезде, но приходилось, ничего не поделаешь. У отца был маленький чемоданчик и в нем плотно подогнанный латунный резервуар с завинчивающейся крышкой. В конце концов отец заснул в вагоне, и чемоданчик украли.

Как все это помнится! — не только стук колес, но железнодорожный угольный запах. Паровозы разных марок, тендер с углем, водокачки с длинным горизонтальным рукавом, хоботом-поильником. Надпись за вагонным окном: «Закрой поддувало. Не сифонь!» — воспринималась как нечто крайне остроумное.

Перед вокзалом в Москве путь кончался рельсовой рогаткой. Потом, в сорок первом, похожие ежи ставились против немецких танков.

Над их домом и жизнью таинственно стояли сияющие буквы — НКПС. Эн-Ка-Пэ-эС. Там работал отец. Как они шли с отцом, почти бежали, торопясь на пригородный паровик, через пути, мимо будок и пакгаузов, и везде, где стоял человек в форме, отец небрежно бросал: «Служебный!» Мальчик еще не вполне понимал значение этого слова и поэтому не удивлялся, что никто ни разу не сказал отцу: «Предъявите». А может быть, его уже знали в лицо.

Как-то раз, вернувшись с работы, отец сообщил, что, пока не готова обещанная квартира, им временно предлагают для жилья два купе в стоящем в тупике вагоне.

— Ура! — закричал мальчик. Он знал, что это такое, ведь они с матерью не раз провожали отца в командировки. Он представил себе, как они будут жить в двух волшебных комнатках, где дверь открывается вбок, уходя вглубь стены мерцающим зеркалом.

— То есть как в купе? — спросила мать, глядя на отца с изумлением. — А как же, собственно, например, уборная?..

— Там поблизости на путях диспетчерская.

— Ага, на путях... А кухня?..

Так они и не въехали в эти игрушечные комнатки...

А поезда все стучали, невдали, за дачными крышами, то ли баюкая, то ли пытаясь разбудить.

Под утро он вспомнил, как ехал с Мишей в одном купе в Ленинград, и неожиданно остро пожалел его.

Днем поезда были слышны меньше, как меньше слышны днем часы на стене.

Потом он встретил Маликова. Тот жил поблизости на даче и вид имел дачный: сапоги, суковатая палка в руке. Лицо его, особенно в скулах, было розово от холодного сентябрьского воздуха.

И, глядя на усыпанную пестрыми листьями дорожку, они, как бы ни с того ни с сего, заговорили о Мише и Сергее, сознавая, что именно это объединяет их сейчас в наибольшей степени, сближает и связывает.

Миша и Сергей умерли недавно, один за другим, так внезапно, словно погибли в автомобильной катастрофе. Их судьбы и жизни еще стояли рядом с ними, как книжки на одной полке.

— Жалко ребят...

— Что там жалко! Сердце кровью обливается...

И, лежа сейчас в своей реанимационной палате, подключенный к контрольному монитору, он, усмехнувшись про себя, подумал, что это точная формула произошедшего с ним, — сердце кровью обливается. Или еще — нож вострый, — нет, какой там нож, — как отбойным молотком сердце разворотило. Впрочем, все-таки нож. Он проснулся среди ночи именно от чего-то подобного и, еще надеясь, что это другое, лежал, не будя

домашних, пытаясь приноровиться к боли. Потом, уже вечером, когда санитары подняли носилки с ним, выяснилось, что они не могут развернуться («Как? Ногами вперед? Ни за что!»), и они развернулись. Внизу, у подъезда, стояла в темноте небольшая толпа соседей, он с трудом удержался, чтобы не помахать им рукой. Холодная внутри машина перевозки, временами идущая юзом по скользкой дороге. Длинный освещенный коридор, блок нижней реанимации, яркий свет у столика, укол, громкие — среди ночи — голоса нескольких сестер и, наконец, рассвет, и густой, серый от инея березняк рядом с окнами.

Прежде он боялся этого слова, — точнее, не представлял его применимым к себе. Совсем недавно это слово имело для него только одно обозначение — конца.

Дежурный врач сказал ему доверительно:

— Я вам объясню сущность вашей болезни: кровь размывается.

Он сразу понял и представил себе это. Вот стоит на тротуаре помпа, откачивает воду из открытого люка, толстый шланг расправлен изнутри напором воды, но вокруг все растущая лужа, — насос не справляется, где-то в клапане течь. Именно так. Но сердце кровью обливается — все же точнее.

Как же он не сумел проскочить ту наиболее простреливаемую полосу — от пятидесяти до шестидесяти лет? Что? Болезнь помолодела? Ну, хорошо, от сорока пяти. Такие зоны следует преодолевать рывком, броском, короткими перебежками. Не получилось... Но если уж попало — лежи, не вскакивай под пулю, скосит враз, тут все пристреляно.

И Миша, и Серега не могли примириться, рвались в возбуждении, не верили, — это их и погубило...

— И еще знаете, какая перед вами будет стоять задача? Избавиться от чувства страха. Я понимаю, что это нелегко, но чем скорее вам удастся...

Страх? Но он почему-то его не чувствовал, хотя прямо сказать об этом постеснялся.

Теперь его подняли на восьмой этаж, он лежал, склонясь головой к правому плечу, подремывал, а когда туман отступал от окна, иногда видел вершины вчерашней березовой рощи, самые веники.

Тоже мелькающие сквозь туман больничные дни: естественная простота Веры Филипповны, приносящей утром умываться, как ребенку говорящей ему «ты», регулярная бодрость Виталия Никитича и твое родное, испуганно улыбающееся лицо в едва приоткрытой двери...

По нескольку раз в день открывали фрамугу, но поезда больше ни разу не было слышно. А может быть, его не было и тогда?

Однажды отец, вернувшись из командировки, рассказал о своей поездке. Возможно, что и не сразу, а спустя несколько лет. Он ехал через Сибирь, за окнами стояла морозная стонущая зима, но в вагоне экспресса было тепло, уютно. Отец был в купе один. В середине дня он пошел в ресторан, там тоже было малолюдно. Кормили обильно и вкусно, — только-только отменили карточки (да, да, это был тридцать пятый год), он долго смотрел в окно, курил, в который раз поражаясь безмерной суровой красотой этих мест. От деревни до деревни здесь было по пятьдесят, а то и более верст. В вагоне он взял у проводника железнодорожный трубчатый ключ, отщелкнул купе, сел на мягкий, плавно качнувшийся диван, машинально поднял глаза к антресоли над дверью и ахнул — чемодана не было.

Чемодан безусловно лежал с самой Москвы там, но отец на миг усомнился, растерянно заглянул под оба дивана и лишь тогда кинулся к проводникам. Они пили чай в своем узком отсеке; тут же вскочили и первым делом бросились в соседние вагоны и подняли беззвучную тревогу там. Сразу же вернувшись еще с одним, они втроем, рослые, хмурые, начали деловито, одно за другим, проверять незанятые купе, чемодан обнаружился в последнем. Он словно перелетел туда сквозь стенки. Отец открыл его, все было на месте.

Теперь проводники стояли перед дверью занятого туалета. За все это время оттуда никто не выходил. Проводник подергал за ручку, подождал, постучал в дверь ключом, затем отпер и резко распахнул ее.

Там, вытирая вафельным полотенцем руки, стоял и, щурясь, смотрел на них парень в бостоновом костюме. Под пиджаком на нем был пестрый вязаный джемперок, на ногах хромовые сапожки, — брюки, надетые с напуском, наполовину прикрывали голенища.

— Кто такой? — спросил проводник.

— Из ресторана в третий вагон шел, — отвечал тот спокойно. — Прихватило.

— Документы.

Ответил ли он что-либо, отец не заметил, но двое мигом втиснулись в узкое пространство туалетной комнаты и схватили его за руки, — он безуспешно попытался освободиться, — а третий, став к нему боком, во избежание удара ногой, начал его обшаривать.

В кармане пиджака у него оказалось несколько рублей и паспорт, в заднем брючном, зашитом намертво и тут же вспоротом, — еще один паспорт, на другую фамилию, но с такой же фотокарточкой.

— Так, — теперь они втроем вытащили парня в тамбур. Там качалась не захлопнутая дверь в затянутый клеенчатой гармошкой вагонный переход с находящими одна на другую, колеблющимися стальными пластинами пола. Било холодом по ногам. Теперь парень старался вырваться отчаянно.

— Что вы собираетесь делать? — хрипло спросил отец.

— Не мешайте, — огрызнулся проводник. Вообще-то он сказал: «Не мешайте-сь», — как бы с этакой почтительной трактирной частицей. Он рывком открыл наружную дверь, и они сноровисто, мигом выкинули малого с площадки. Словно его и не было.

Отец прижался щекой к стеклу крайнего коридорного окна — путь в этом месте как раз делал очередную неуловимо плавную дугу — и ему на секунду или две уда-

лось увидеть парня. Он увидел его в миг, когда тот, непостижимым образом поднявшись на ноги, погрозил поезду кулаком и тут же исчез из поля зрения. Кончался день. За окном поезда звенела красно-лиловая сибирская стужа.

И отца давно уже не было на свете, а картина эта так и стояла перед глазами.

Весна разворачивалась медленно, в больничном парке еще кое-где лежал меж берез старый и новый снежок, но скамьи были уже сухие, пригревало солнышко. Ничего не было слышно, кроме дальнего крика ворон и воробьиного чириканья.

Больной сидел на скамье, подняв воротник пальто. Вчера это еще называлось — д о з и р о в а н н а я прогулка.

Если бы кто-нибудь вздумал наблюдать за ним, он мог бы показаться тому беспомощным и грустным. Но за ним никто не наблюдал, кроме него самого.

Неожиданно он легко поднялся и, заложив руки в карманы, не спеша пошел по аллее.

1983

III

Электрический сигнал на занятия загремел по всему зданию таким повелительным, оглушающим звоном, словно это происходило где-нибудь на линкоре или в подземном укрепленном каземате и могло означать только одно — боевую тревогу. Вслед за этим можно было ожидать слитного топота десятков или сотен ног по надраенным ступеням стальных трапов.

Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Виталий Андреевич Суханов, чуть поморщась, встал, взял свой темно-вишневый в никелированной оправе «дипломат», улыбнулся Шурочке и начал спускаться.

Он принадлежал к категории людей, выглядящих значительно моложе своих лет, что особенно заметно проявляется с возрастом. Стройный, подтянутый, худощавый, почти без седины в светлых мягких волосах, он неспешно спускался по лестнице мимо докуривающих в положенных или в неположенных местах, в меру торопящихся студентов. Он обладал по-настоящему спортивной фигурой, но это было скорее от природы: спортом он увлекался только в детстве и ранней молодости, а сейчас считал, что за войну уже выполнил свою норму.

Стояло начало дня 6 мая — то есть еще длился и был в разгаре тот замечательный промежуток между Первомаем и Девятым, когда другие красные числа — День печати и День радио — как бы специально поддерживают эту непрерывную праздничную линию, не дают прерваться ее яркой ковровой дорожке. И нежная зелень за высоким лестничным окном подсвечивалась где-то вдали красными полотнищами и щитами.

Он свернул к нужной аудитории и успел заметить, как две студентки с его семинара, оглядываясь, отпорхнули от нового застекленного стенда. Он приостановился. Сверху было написано золотом: «Сотрудники института — ветераны Великой Отечественной войны». Ветеранов осталось немного. Старик замдекана Петр Михайлович. Если вы стояли рядом с женщиной — перед началом ученого совета или в деканате, — он обязательно протягивал вам руку, но тут же отдергивал ее со словами: «Нет, сначала с дамой...» Молоденькая мордашка лаборантки с их кафедры Шурочки. Вахтер Иван Афанасьевич с медалью «За отвагу». Но, рассматривая эти фотографии, он все время боковым зрением видел свою и наконец глянул себе в глаза, и у него перехватило горло. «И где они только взяли?» — подумал он о снимке. Ночью, лежа рядом с Люсей, он сквозь сон внезапно ощутил острейший, как иглой в сердце, укол тоски и почти проснулся в страхе, но тотчас провалился снова и, встав утром, совсем забыл об этом. А сейчас сразу, опять до боли, вспомнил.

За дверью висел смутный ровный гул. Он потянул ручку, и стало тихо.

Суханов вел спецкурс. Посещение было свободное, и всякий раз, не притупляясь, обдавало радостное чувство, когда он видел, что аудитория набита битком.

Все нестройно встали. Он поздоровался, прошел к кафедре, положил «дипломат» рядом на стол и задумчиво осмотрел присутствующих.

Он смотрел на этих славных ребят, которые благоволили к нему и которых он не всех знал одинаково. Одни молча и неотрывно писали, пока он говорил, или же, напротив, ничего не записывали и почти никогда ничего не спрашивали. Сообщения, если они их делали, бывали из рук вон. Но он по опыту давно уже определил, что это еще ни о чем не говорит, что они либо оставались и дальше такими, либо в них с годами что-то менялось, накапливалось, раскрывалось. Он и себя самого причислял к этим последним. Были еще отличники, которые все знали. К ним он относился равнодушно. И были те, что соображали, «секли». Ради них и стоило заниматься делом.

И сейчас, подняв голову, Суханов посмотрел, здесь ли его лидеры. Те, как всегда, были на месте, сидели в разных концах, поодаль. И тоже, как всегда, две девицы с первого стола били по нему подведенными глазищами в упор, прямой наводкой. Были ли они действительно влюблены в него, как считалось, или хотели смутить его? Но они сидели так всегда и отвечали невпопад, когда он к ним обращался. Впрочем, если они подобным образом смеялись над ним, считая, что он стар, то они глубоко заблуждались.

Он подошел к окну и посмотрел в сад. Он любил это окно еще со своих студенческих лет — и багряную листву американского клена за его створками, и голые черные стволы лип среди нетронутой утренней белизны, и вот эту первую нежную зелень. Он любил звон трамвая, которого здесь давно уже не было, и промельк шелестящего по мокрой от дождя мостовой желто-синего троллейбуса.

— Ну что же, приступим, — сказал он. — Продолжим нашу беседу. Есть предложение провести занятие без перерыва. Ну и прекрасно.

Он специально говорил это несколько официально, как на собрании. Он начал читать, то прохаживаясь вдоль старой, выцветшей черно-серой доски с нестертым окончанием фразы: «...сдавать по 2 р. Шумилову», то надолго останавливаясь возле стола. Читая, он порою думал о разном, о постороннем, замечал и отмечал многое.

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА СУХАНОВА

Помнится, в середине пятидесятых годов возникла бурная волна протеста взрослых радиослушателей против регулярного исполнения по радио (да еще в лицах!) сказки о Красной Шапочке и Сером Волке. Было заме-

чено, что маленькие дети повсеместно, слушая ее, излишне нервничают. Может быть, новое поколение оказалось более впечатлительным или же средство массовой информации сработало слишком мощно.

Со временем мой сын рассказал мне, что подозревал свою бабушку — особенно в вечернем полумраке комнаты, при укладывании спать — в том, что и она переодетый волк. Можно себе представить, каких ужасов мальчик натерпелся.

Как бы там ни было, сказка исчезла из дошкольного репертуара. (Теперешние сказки, скажем, из телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», напротив, удручающе безобидны.)

Но вот что интересно: почти все сказки, слышанные нами в раннем детстве, читанные нам вслух, написаны, собственно, не для детей.

Одни сюжеты чего стоят! Умерла любимая, нежная мать, слабохарактерный отец женился на другой. Хитрая, злобная мачеха, жестокие ее дочери, смертельная опасность, исходящая от них. А Синяя Борода, поочередно тайно убивающий своих жен! Разве это для детей? Да и после «Трех медведей» не сразу придешь в себя.

А у Пушкина! Я уж не говорю, конечно, о вещах откровенно фривольного содержания. Но ведь мотив «Сказки о рыбаке и рыбке» — это же для взрослых, умудренных жизнью, опытом. А в «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» почти в начале говорится:

А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

Ясно, что это не для маленьких. Еще слава богу, что не делалось в этом месте купюр. Наверное, те, кто их делает, не обратили внимания, не заметили, а то бы не пропустили. Или в «Сказке о попе и работнике его Балде»,

говоря о том, сколь удачно прижился Балда в поповом доме, автор замечает:

Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей...

Конечно, невозможно предположить, что это действительно его ребенок, так как Балда нанимался всего на один год. Однако ситуация наталкивает на догадку, что отношения его с попадьей именно таковы, что совсем не случайно «попенок зовет его тятей».

Суханов прохаживался вдоль доски и мельком думал о том, что нужно будет не забыть купить вина — появилась в Столешниковом «Бычья кровь». И о том, что Люся заедет за ним в институт, — он и заниматься-то предложил без перерыва поэтому. Она носится сейчас на «Жигулях» по Москве. Дело в том, что ребята — так они называли сына Вальку и невестку Риту — отремонтировали наконец полученную квартиру и купили мебель. Осталось переехать. И еще он думал о Девятом, о предстоящей встрече. Он мельком думал об этом и увлеченно говорил о другом, а что-то не отпускало. И он знал что.

...И все-таки как читаются в детстве эти сказки, написанные не специально для детей! Последнего обстоятельства мы попросту не замечаем, не знаем.

Разумеется, это касается не только сказок. Вот совершенно прозрачные, откуда-то из ранней школьной программы стихи «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет...

Думается, это единственное стихотворение, написанное Пушкиным как бы из домика няни. Действительно, можно допустить, что «обветшалая кровля», и солома, которая по ней зашумит, и даже печальная и темная «вет-

хая лачужка» — это отчасти авторский домысел: как известно, сам барский дом был весьма скуден и беден. Веретено тоже вполне допустимо — нянин домик стоял совсем рядом и, вполне возможно, она устраивалась с вечерней работой подле своего любимца. Но предпоследняя строка, как мне кажется, опровергает все это и служит доказательством в пользу нашей версии. «Где же кружка?» — так можно обратиться только к хозяйке дома. Да и кружка — не бокал, не стакан, не чаша. Ясно, что он в этот вьюжный вечер зашел в ее домик — как бы в гости, на огонек. Может быть, мысленно. Согласны? И опять же «выпьем с горя» и «сердцу будет веселей» ничуть не смущают маленького читателя.

Он помолчал и вдруг воскликнул с восхищением:

— Все-таки поразительный человек Пушкин! Чего ни коснись.

Вновь я посетил тот уголок земли,
Где я провел изгнанником два года незаметных...

Два года, которые он провел изгнанником, ссыльным, прошли незаметно. Только вдумайтесь: «два года незаметных»!.. Вы что-то хотели сказать, Шумилов?

Поднялся сзади румяный здоровяк с кудрями по самые плечи.

— Виталий Андреевич, — произнес он неожиданно глухо, — а может быть, незаметных для других? Для тех, кто его забыл, для кого он стал незаметным?..

— Мысль интересная, — отвечал Суханов с удовольствием, — и все-таки это не так. Перечитайте. Незаметных в этой быстротекущей, меняющейся и заменяющейся жизни, полной мыслей и трудов.

9 мая они собирались сначала в Парке культуры, ветераны их гвардейского корпуса, у фанерного транспаранта с названием и нарисованными орденами — среди шума, музыки, объятий и слез, вблизи таких же бывших частей и соединений. Просто стояли и разговаривали, они уже знали друг друга и смотрели по сторонам, не подойдет ли еще кто. И ведь сколько лет миновало, а подходили, прибивались новые. Кружили около, потом приближались осторожно, неуверенно, переспрашивая. И вдруг: «А ты кто? Да мы же, да мы же...» И всякий раз в такой день он остро, зорко смотрел по сторонам, ждал, выискивал — час, два.

А затем ехали на другой конец, на ВДНХ, в «Золотой колос», сидели за столиками, выступали, вспоминали, пели, но он бывал тих, у него уже не хватало сил и возбуждения.

Но насколько не похожи друг на друга три названные мною безусловно главные сказки Пушкина. Даже тем, как по-разному они написаны. «Сказка о рыбаке и рыбке» — энергичным белым стихом-сказом. «Балда» — к нему мы еще вернемся — удивительно свободно и смело в смысле ритмики и рифмовки. «Сказка о царе Салтане» — наиболее напевная, если угодно, изящная, прелестная вещь. И сколько в ней всего — первым делом ассоциаций, связей, внутренних нитей.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

— Ну что там, Шумилов?

— Извините, Виталий Андреевич. Это я ей объясняю, что большинство читателей запоминают не «хлещут», а «плещут». Так проще.

— Ну хорошо, — недовольным тоном согласился Суханов и продолжал: — Эти строки всегда смутно напоминают мне другую тревожную картину:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

И ведь действительно «Полтава» написана раньше.

В аудитории стояла тишина, которую физики могли бы назвать абсолютной.

Поразительную сладкую тоску всегда испытывал я при волшебной повторяемости строк:

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.

Однако потом, в третий раз, диалог между ними уже не повторяется, а лишь подразумевается — чтобы не стать утомительным.

А какое веселое, свободное стихотворное повествование:

Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты.

И сколько здесь заложено всего, что развилось впоследствии в отечественной литературе. Дядька, предводительствующий тридцатью тремя богатырями, объясняет Гвидону:

«...А теперь пора нам в море,
Тяжек воздух нам земли».

Думаю, в то время мало кто мог это по достоинству оценить. Отсюда пошло — уже в нашем веке — множество фантастических романов и рассказов («Человек-амфибия» и прочее).

Тяжек воздух нам земли.

А то, что написано все это не для детей, не только для них, подтверждается то и дело, хотя и не столь очевидными примерами, как приведенные мною вначале.

«Что я? Царь или дитя?» —
Говорит он не шутя...

Не отсюда ли десятилетьями гремевшее с русской сцены:

Царь я или не царь?..

А строки:

Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь —

неожиданно напоминают нам, что автор сам незадолго перед этим женился.

Под самым окном прошуршала и остановилась машина. Он сперва еще нарочно прошелся в другую сторону, затем, не убыстряя шага, обратно до окна и, продолжая говорить, мимолетно глянул наружу. Люся в аккуратных вельветовых брючках протирала лобовое стекло. Задерживаться хотя бы еще на миг было рискованно — несколько голов уже с готовностью повернулось за его взглядом, — и он столь же степенно направился к противоположной стене.

Повторяю, три названные сказки Пушкина удивительно не похожи одна на другую. Но разумеется, в них есть и общее. Это прежде всего замечательная энергия зачина и столь же блистательная краткость концовки, развязки. И то и другое глубоко свойственно природе русской сказки.

«Уже в рифму заговорил», — подумал он о себе с невольной усмешкой.

И еще — во всех трех фактически одним из главных действующих лиц, а не только пейзажным фоном, является море.

Море вообще произвело сильнейшее впечатление на поэта и с момента первой встречи присутствует во многих пушкинских стихах. Он возвращается к нему в мыслях бесконечно.

Среди прочих гениальных формул искусства существует и такая: «Певец зимой погоды летней». Знаю, Алексей Иванович, знаю, не волнуйтесь. Это написал, как принято говорить, тоже Александр Сергеевич, но только другой, а именно — Грибоедов. Причем у него это сказано в ироническом смысле:

Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой природы летней.

Алексеем Ивановичем он называл Лешу Лаптева, другого своего корифея и доку. Тот уже отслужил в армии, и Суханов почти подсознательно всегда ставил ему это в заслугу.

Так вот возьмем в данном случае только вторую строку. Необходимость для художника временного отступления от описываемого предмета.

Быть может, отчасти благодаря известному полотну Репина и Айвазовского, где поэт изображен стоящим на морском берегу, у нас остается впечатление, что стихотворение «К морю» там и написано. А как же еще?

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

А написаны эти стихи лишь потом, в Михайловском. Пушкин как бы задним числом выполняет обещание, выраженное в последней строфе:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И не только реальное, дорогое сердцу море перенес он в свою и в нашу жизнь, но и море необыкновенное, населенное благородными богатырями, неотесанными чертями, всемогущими золотыми рыбками.

Суханов опять мимоходом глянул в окно. Люся сидела за рулем и читала книгу.

Понятно, что без моря не могло быть ни «Сказки о царе Салтане», ни «Сказки о рыбаке и рыбке». Есть море и в «Сказке о попе и работнике его Балде». Но сперва о другом.

Эта вещь написана с совершенно необычайной свободой, редкостным разнообразием разговорных интонаций, варьированием стиха. А рифма! И абсолютно точная (по лбу — полбу) и так называемая корневая (полбы — полный), столь распространившаяся у нас начиная с середины пятидесятых годов нынешнего века. Зачин:

Жил-был поп,
Толоконный лоб.

Может быть, не все знают, что толоконный лоб — выражение идиоматическое, означающее дурак. Таким образом, с самого начала заявлено, что поп — дурак. Балда — и по имени видно — тоже дурак, но иного склада и толка, он вроде Иванушки-дурачка, который на поверку оказывается умнее многих.

Поп ищет «служителя не слишком дорогого». Однако ему требуется в одном лице «повар, конюх и плотник», то есть работник с обязанностями весьма разнообразными. Но Балда делает еще больше: пашет, «нянчится с дитятей». И везде оказывает «свое усердие и проворье».

Люся стояла, прислонясь к машине, и тут же помахала ему.

Перечень работ и употребляемых в доме продуктов, лексика и весь строй вещи показывают, что дело происходит в типично средней полосе. И вдруг запросто:

Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря...

То есть море оказывается рядом. На то и сказка. Тут, у моря, она в большой степени и проявляется: невероятность положений, недалекость чертей, смекалка Балды. Но, строго говоря, море в этой сказке, в отличие от тех двух, необязательно. Соревнование Балды с чертями могло проходить в любой обстановке.

Выиграв у чертей, Балда тем самым выигрывает и у попа. Предварительный совет попадьи коварен, особенно если вспомнить наши предположения о ее отношениях с Балдой. Но хотя

Ум у бабы догадлив.
На всякие хитрости повадлив, —

победителем выходит Балда.

И теперь о трех щелках — об этом совершенно сказочном и действительно детском уговоре. Зачем Балде понадобилась такая плата? Ответ вижу один: исключительно из ненависти вообще к церкви. Поп не в состоянии тягаться с Балдой.

...с третьего щелка
Вышибло ум у старика.

А был ли он прежде, ум-то? По сути, поп и черти оказываются одинаково несообразительными перед веселой и естественной народной смекалкой. Вот так.

Он вытащил из кармана клетчатый платок и вытер лоб. Они дружно ему захлопали. Он внимательно и с любопытством смотрел на них, дивясь, какие они еще дети. Даже Леха Лаптев.

— Да, — сказал он, кивая на доску. — Шумилов, я все гадал, что сие значит.

— Извините, — объяснил Шумилов, вставая и встряхивая своими девичьими кудрями, — не стерли. Это на экскурсию на телебашню. Я же профорг. Со скидкой.

— Но не с башни, — вставил кто-то.

— Так, хорошо. Кто готовит сообщение для следующего семинара? Слушаю вас, Алексей Иванович.

— Я бы хотел, — чуть смущаясь, сказал Лаптев, — сделать краткое сообщение «Птицы в русской поэзии».

— Замечательно, просто замечательно. Диссертацию можно написать. Ну, не диссертацию — диплом. Знаете, как в научной литературе полагается алфавитный указатель названий или имен, так можно подготовить аппарат и к некоторым художественным произведениям — скажем, перечень птиц, зверей, растений в той или иной книге. Но разумеется, в работе должны быть не просто эти списки, а система, динамика сравнения, находки. Только давайте договоримся — без соловьев. Те слишком уж на поверхности. Пойдет? Или хотите с соловьями?

— Без соловьев! — отвечали все, кроме Лаптева.

— С соловьями будет громоздко, — утешил он Лаптева. — Для вас же слишком просто. Ведь про соловьев все знают. Все, хотя и не всё. Давайте попробуем вспомнить...

— «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», — вдруг сказала одна из девиц с первого стола.

— Точно, — обрадовался Суханов. — Эти фатьяновские соловьи — песня моей молодости...

— «Томительные наши соловьи», — раздалось из середины.

— Кто? Дудин?..

— «Соловьиный сад» Блока...

— А у Твардовского помните?

И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградкой смутной.

— Молодец, Шумилов. Это ранний Твардовский. «Станция Починок».

— «Соловей мой, соловей, голосистый соловей»...

— А это чье?

— Алябьева?

— Алябьева музыка. А стихи Антона Антоновича Дельвига. Ну а теперь вы, Алексей Иванович. Вам и карты в руки.

— Я прочту из Пастернака:

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

А потом:

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

— Н-да, — помолчав, произнес Суханов. — И ведь что примечательно: обыкновенного соловья он сравнивает с соловьем-разбойником. И то, что сам народ соединил эти два слова, поразительно. Ну и соловей! Разбойник!

Вот какой соловей! Его колдовская сила оборачивается противоположностью. У раннего Исаковского «в перелесках щелкал стальной семизарядный соловей». То есть наган. Дальнейшее развитие — и какое! — соловья-разбойника. А то, что вы прочли, это поздний Пастернак, ясный, классический. Но ведь есть и ранний. Кстати, одно из его определений поэзии — «это — двух соловьев поединок». Но вот соловей у раннего Пастернака, по-моему, девятнадцатого года, верно, Алексей Иванович?

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Каково! А? Может, правда, зря соловьев из вашего сообщения вытолкнули? Как из гнезда, «...и сиял соловей»... Но и это детский сад по сравнению с тем, что уже было. И когда — в первой половине прошлого века!

И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей.

Знаете, кто это? Нет. Это Николай Михайлович Языков. Нет-нет, Шумилов, здесь вы не правы. Дело не в первом глаголе и не он его придумал, тогда так говорили. Похоже, будто он тащит вас тралом? Ну, это пожалуйста, сколько угодно. Главное во втором глаголе. Соловей вздыхал. Я прямо-таки ахнул, когда впервые натолкнулся на это.

— Виталий Андреевич, — опять поднялся Лаптев, — можно, я еще строфу?

Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада — в любви.

— Молодчина! — похвалил Суханов. — А какая чело-

веческая интонация! Чьи? Если не знать — не угадаешь. Северянина.

— А посвящены Рахманинову, — с некоторой гордостью добавил Лаптев.

Перерыв со своим двойным электрическим треском прошел уже давно. Нужно было заканчивать. Суханов снова мельком выглянул, Люся опять читала книжку. «Кажется, Сименон, — вспомнил он. — Тогда ничего».

— У меня есть маленькая внучка, чуть старше года, — неожиданно сказал он.

— Вы дед? — с нарочитым изумлением спросил под общее оживление высокий девичий голос.

— Да, и вы знаете — она ко мне очень привязана. И вот как-то раз ее внесли на руках в мой кабинет, а я лежал на диване и читал. Так она не хотела воспринимать меня лежащим, не желала этого понимать, нарочно смотрела мимо. Так и с этим бедным вздыхающим соловьем. Теперь-то мы восхищаемся, мы знаем все, что было потом, и не такое еще. Но тогда этого конечно же не могли и не хотели понимать и принимать. Это как бы из нашего века.

— Виталий Андреевич, разрешите вопрос тоже по поводу птиц, — сказал один из парней, не очень ему знакомый. — О кукушке. Ведь когда хлеба наливаются, кукушка больше не кукует — говорят, колосом подавилась. А у Николая Рубцова написано: «Коротаем осень меж болот» — и тут же: «Не кричи так жалобно, кукушка». Как понимать?

— Есть, по-моему, ложные кукушки, — разъяснил кто-то.

— Но не те дрозды, не полевые?

— Затрудняюсь ответить, — улыбнулся Суханов. — Не такой уж я орнитолог. Но сегодня же позвоню Василию Михайловичу Пескову, спрошу, если, конечно, он в городе... Ну что же, всё? Или еще вопросы?..

— Виталий Андреевич, есть ли Бог?

В аудитории засмеялись.

— Бог? Что вы имеете в виду под этим понятием?

Нравственное начало в жизни или некие силы, законы, фактически управляющие мирозданием?

— Силы.

— Разумеется, есть очень многое, чего мы не знаем и постепенно открываем, даже на Земле. Разумеется, все более, и чем дальше, тем быстрее, будут расширяться рамки вторжения во Вселенную. Узнать, открыть предстоит еще необыкновенно много. Инопланетяне и прочее — это все будет. В этом нет сомнений, беда в другом. Вот, грубо говоря, каждый из нас состоит из каких-то клеток и микрочастиц. Так вот, если даже предположить, что такая клетка мыслит, она мыслит только в своем измерении, в своем же кругу, и не может знать, что сама является составной частью, скажем, Шумилова, не в состоянии его увидеть целиком именно по этой причине. Так же не только наша Солнечная система, но и окружающие галактики являются мельчайшей частью чего-то еще более грандиозного, живущего и находящегося как бы в другом масштабе, о чем мы можем лишь догадываться. Это основная трагедия человечества на пути к познанию.

— Мудрено, — сказала со вздохом одна из девиц. — И почему-то грустно.

— У физиков есть выражение: «Эта теория недостаточно сумасшедшая, чтобы с ней всерьез считаться», — спокойно ответил ей Суханов. — Боюсь, что и у меня все слишком ясно...

Пора было идти, но что-то словно удерживало его. Словно ему жалко было с ними расставаться. И они это чувствовали.

— Расскажите еще что-нибудь, Виталий Андреевич! — попросил Лаптев.

— Рассказать? — Он взял сухую, пыльную от мела тряпку, стер зачем-то призыв о сдаче денег Шумилову и задумался.

Далеко за окном, за сквером звучал город, доносились слабо обрывки песни, это опробовали уличные репродукторы.

И он впервые сегодня открыто позволил себе вспомнить о том, что не отпускало его все эти два часа — с момента, как он увидел стенд фронтовиков в коридоре.

— Хорошо, — сказал Суханов, — я вам расскажу одну историю. Одну балладу. На прекрасной студеной северной реке стоял маленький районный городок. Это был старый городок, но в нем не было никаких достопримечательностей. А вот поблизости находился не старый, а старинный городок, еще меньше и тише, но именно он отнял у первого всю славу — там был музей ссыльных революционеров и два замечательных собора, хотя последнее обстоятельство стало цениться гораздо позднее. А в том городке, о котором я рассказываю, — ну ничего. Кроме реки, чистой, широкой, металлически-серой, какие бывают только на Севере. И вдруг в одной семье рождаются два мальчика. Близнецы! И представляете, они тоже становятся городской достопримечательностью. Его гордостью. Ведь раньше там близнецов не было. Это вообще не такое уж частое явление. А близнецы оказались без обмана — как один. Не только отец — мать не различала. Ну, вы знаете, в детстве принято одевать близнецов одинаково. Однако времена были трудные, со снабжением худо, и матери не всегда это удавалось. Но они что придумали — начали надевать вещи друг друга нарочно, чтобы запутать. Особенно когда пошли в школу. Директор даже однажды приказал им иметь каждому какую-нибудь примету: прическу, скажем. Они не согласились: «Это нарушение Основного Закона...» — Он засмеялся: — Ну стервецы!.. В школе и на улице если их били, то только обоих, на всякий случай. Но они умели за себя постоять. Исключительно дружные были братья. Потом они выросли, стали юношами. И вот девушка, хорошая девушка, она была приезжая, гостила у родственников, понравилась одному из них, он гулял с ней, сидел однажды, обняв, над рекой, и тут они увидели второго, и она не поняла, кого же из них она полюбила. Хотя в принципе это, вероятно, не имело значения, если она не различала их. Она сказала: «Вам нужно разъехаться!» Они

только посмеялись. Они смотрели друг на друга как в зеркало... В одинаковое их одели в сорок первом году. И в полку, куда они попали, они тоже были какое-то короткое время достопримечательностью. Командиру роты очень нравилось, что у него два одинаковых солдата. Но ведь не до этого было. Прибыли на фронт, и одного тут же ранило. Отправили в тыл. Потом второго — тяжелое ранение в кость, в ногу. Завезли черт-те куда, в Сибирь. Госпитали тогда большей частью помещались в школах, палаты — в классах с такой же доской. За окном снега, мороз. Первый вернулся в свою часть, второго — нет. А второй лежал семь месяцев, потом под Сталинград.

В аудитории стояла ничем не прерываемая тишина. Суханов вдруг заторопился.

— Они бы совсем потеряли друг друга, если бы из дома им не писали — кто где. Потом опять их обоих ранило, а одного дважды. А война — к самому концу. И вот приходит ему, ну, какая разница, тому, которого в ногу, уже после войны, сразу после войны, в самые радостные дни, письмо из дома. И сообщает ему отец, не мать, а отец, что получена ими казенная похоронка и еще письмо от друга, что пал его брат Валентин смертью храбрых и похоронен в Венгрии в братской могиле на окраине города Чаквара. И страшно поразило, что похоронен он именно в братской могиле. Да. А второй брат вернулся домой к родителям, побыл немного и уехал учиться. Второй близнец. Собственно, один — он уже перестал быть близнецом. Вот так.

Теперь он открыто подошел к окну, знаком показал Люсе, что идет. Никто и не посмотрел в ту сторону.

— Значит, обо всем условились, — сказал он, взял «дипломат», который так ни разу и не раскрыл, громко попрощался и вышел.

Внизу на вахте был Иван Афанасьевич — видать, только заступил. На полувоенной гимнастерке сверкала белая крупная медаль «За отвагу» еще старого образца, до

февраля сорок третьего, на маленькой красной колодочке. Суханов всегда уважал боевые солдатские награды и не был подвержен в этом смысле сдвигам моды, но он считал, что им место на гимнастерке или кителе, а не на кожаном пиджаке или замшевой куртке.

— С праздничком, Виталий Андреевич, — сказал вахтер, поднимаясь. — С наступающим...

— И тебя тоже, Иван Афанасьевич, с нашим солдатским, — ответил Суханов, приобнимая его одной рукой за плечо. — Только не с праздничком. Праздник это! Разница ясна?

— Все понятно, Виталий Андреич.

Люся похаживала около «Жигулей», как ямщик вокруг застоявшейся тройки, одновременно с нетерпением и достоинством. А от калитки вышагивал замдекана Петр Михайлович с туго набитым портфелем, он еще издали махал свободной рукой и, приблизившись, торжественно выкрикнул: «Доблестному воинству!» — протянул руку, но тут же, словно опомнившись, отдернул ее и дощечкой подал Люсе:

— Сначала с дамой.

Суханов бросил свой вишневый плоский чемоданчик на заднее сиденье и с чувством усталости сел рядом с женой.

— Пристегнись, — приказала она строго и стала выруливать со двора. — Все хорошо?

Он сидел справа от нее, испытывая блаженное облегчение. Он был, как всегда, еще несколько возбужден лекцией. Больше, чем всегда.

Люся плавно вела машину. Откуда это пошло? От подсознательного желания мужчины доверять женщине, жене? От стремления женщины самоутвердиться? Но водила она хорошо — в меру осторожно и в меру решительно. И еще умела выбирать удивительно верный тон в разговорах с инспекторами ГАИ при мелких нарушениях.

— Я ехал сегодня в троллейбусе, впереди сидят двое малых, и один другому что-то рассказывает. Вдруг слышу — говорит: «Взял ее за абордаж». Что он имел в виду, я так и не понял.

Она засмеялась:

— Вечно ты замечаешь какие-нибудь глупости.

— Куда едем?

— Сначала в Столешников. А потом мне нужно на Семеновскую, там в аптеке есть ноотропил.

— Там, где Семеновский полк, — сказал он.

— Что?

— Семеновский полк. А на Преображенке стоял когда-то Преображенский полк Петра. Я после войны, еще, по сути, солдатом в душе, ехал в трамвае и вдруг вижу: «Улица Девятая рота».

— Да, есть такая.

— Там, видимо, рота и стояла. Я прямо сойти хотел. А то, о чем я говорю, тот Семеновский полк находился в Петербурге. Баратынский был в него зачислен в восемьсот девятнадцатом году.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком в панталонах трикотовых, тонких.
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя: какое в россиянах чувство!

— Это Баратынский?

— Нет, Дельвиг. Но с участием Баратынского. Шуточные стихи.

— Это я уж как-нибудь поняла. Даже то, что это гекзаметр.

— Я потрясен и вполне бы взял тебя в свою группу. И без дураков, ты бы ее украшала. А каковы стихи! Вся картина, весь быт в восьми строках!

Так они ехали по междупраздничной Москве в свежей зелени, красных флагах и фонарях в виде громад-

ных гвоздик. Над улицей из репродуктора вдруг пробно прогремел хрипловатый голос Бернеса: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая» — и тут же прервался.

— Пушкин писал когда-то, кажется в «Метели», о возвращении нашей армии из Франции после победы над Наполеоном: «Музыка играла завоеванные песни». «Да здравствует Генрих Четвертый», тирольские и что-то еще. Правда, здорово — «завоеванные песни»? А мы пели свои, да и сейчас поем тоже. Ну что там слышно у них?..

— Я всегда дивилась твоей памяти. — Она мягко остановилась у светофора и так же мягко двинула машину дальше. — Звонят утром: мебель не устанавливается. Валька одно, Рита другое. Знаешь, есть такая четырехугольная игрушечка, забыла, как называется, где квадратики с цифрами нужно расположить по порядку? У одних сразу получается, у других никак. Так и с мебелью. Тьфу, опять только направо... Я им по телефону: «Не помещается? А вы тахту к другой стене, а шкаф на ее место. А стол не посредине, а по диагонали». Звонят: вроде выходит.

Он восхитился.

— Вот это класс! Ты как шахматист, играющий, не глядя на доску...

Он поерзал, невольно ища удобного положения, слегка развернувшись корпусом к ней, наискосок перехваченный ремнем.

— Ты чего? — спросила она, отметив это мгновенно.

Он медленно стал опускать руку в карман и вынул тонкую стеклянную трубочку с нитроглицерином.

— Ты чего такой бледный? — крикнула она.

«А ты? « — хотел спросить он, но тихо сказал вместо этого: — «Там, где Семеновский полк...»

Молодой бравый постовой, пружинисто похаживающий по осевой и ритмично помахивающий пестрым, черно-белым жезлом, полный возмущения, потрясенно засвистел, увидев, как почти на него круто вырули-

вают через сплошную линию бутылочного цвета «Жигули».

Большеглазая осунувшаяся женщина крикнула, опуская стекло:

— Срочно нужна реанимация!..

ИЗ БУМАГ ПРОФЕССОРА СУХАНОВА

1. Письмо (оригинал).

Дорогой сын Виталий!

Пишет тебе твой отец Андрей Иванович. Худую сообщаю я тебе весть. Получили мы с матерью извещение-похоронку, что наш дорогой сын Суханов Валентин Андреевич пал 16 марта 1945 года в бою и похоронен в братской могиле на окраине города Чаквара в Венгрии. Командир его и заместитель по политчасти пишут, что мы можем гордиться таким сыном, которого воспитали. А через два дня пришло письмо от Валиного друга сержанта Пинаичева Алексея, который описывает, что было очень тяжелое сражение у озера Балатон и Валя наш был убит наповал осколком снаряда в голову, совсем не мучился. Он прислал две фотокарточки, одна — где вы вместе перед войной, и еще с этим сержантом Пинаичевым Алексеем. Мать день и ночь плачет, писать не может. Я пишу, рука дрожит, почерк свой не узнаю совсем. Напиши, Виталий, поскорее, успокой нас о себе. Всю войну промучились, и в конце такое горе.

Кланяемся тебе.

Твои отец и мать Сухановы.

2. Письмо (оригинал).

Здравствуй, Виталий!

Это пишет тебе Люся Дроздова, если, конечно, ты такую помнишь. После долгого перерыва я приехала снова на несколько дней к тете и узнала, что Валя погиб. Я никак не могу поверить в это. Мы переписывались с ним почти полтора года,

но потом он перестал отвечать на письма и мне сообщили из части, что он опять ранен, и больше он не писал. Я была дома у ваших родителей, и они дали мне твой адрес и сказали, что ты поступил учиться в Москве.

Коротко о себе: была в эвакуации, оканчиваю медицинский институт. Куда распределят, неизвестно, но хотелось бы в отдаленную область страны. Мой дядя и двоюродный брат Станислав, которых ты знал, тоже погибли. Какое страшное время нам пришлось пережить!

Мне бы очень хотелось повидаться с тобой, посмотреть на тебя, хотя бы недолго. Если это возможно, напиши, пожалуйста. Я поеду обратно через Москву.

Если не захочешь или не помнишь меня, можешь не отвечать, я не обижусь.

26/XI-1946 г. Люся.

3. Заметки к семинару (оригинал).

Вопрос: Какое слово в стихотв. «Там, где Семеновский полк...» откровенно лишнее? «Шутя!» Ведь это и так ясно. Типичный пример столь распространенного в литературе недоверия к читателю.

4. (Отдельный лист)

«Лебедь тешится моя» («Сказка о царе Салтане»).

5. Из письма другу Чугунову Л. И. (черновик), осень 1965 г.

...Вместе с женой и сыном ездил хоронить отца. Отец умер в одночасье дома, лег перед ужином на диван, задремал и не проснулся. Счастливая смерть. Ему было шестьдесят девять лет. Всю жизнь он проработал в судоремонтных мастерских. Через его руки прошло множество речных судов самых разных систем, с самыми причудливыми названиями.

Были и причитания, и слезы матери, и долгий рокот по всему городу духового оркестра, от чего мы давно отвыкли в столицах, и речи, и свежая могила в венках, и поминки. Все как положено. Но тяжелее и страшнее всего — первая весть и дорога туда, ожидание всего перечисленного. Это сначала. Ну а потом — не сразу — другая, уже столь знакомая мне полоса: бесконечные воспоминания, возвращения — только еще острее — в детство, в юность, в мой город, в мою судьбу — уже навсегда...

1983

Примечание. Архив профессора Суханова В. А. пока еще почти не разобран.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ

1

Алексей Степанович Дроздов собирался на строительство металлургического комбината, в одну из далеких, жарких стран. Это было ему, в общем, не в диковинку — в темной глубине заветного левого ящика его стола, рядом с гвардейским значком, с фронтовыми медалями и солидными трудовыми орденами, отчужденно поблескивали высшие награды тех новых государств, где он уже работал.

И сейчас все было готово, утверждено и оформлено. Он прошел и медкомиссию, которой всегда втайне побаивался, безропотно сделал необходимые прививки. И остальные тоже были все готовы — инженеры, техники, механизаторы, — с большинством из них он работал прежде и знал каждого — и уважал, ценил или любил многих. В общем, коллектив был стоящий.

Они поплывут универсальным грузопассажирским лайнером, который уже стоит под погрузкой в южном порту, принимая генеральные, то есть штучные, грузы: бульдозеры, самосвалы, тракторы, скреперы, а также различные материалы, — трубы для газоотводов и других колошниковых устройств, для холодильников и фурменных рукавов, сорокамиллиметровые стальные листы для будущего кожуха и бесчисленное множество всяких других грузов.

Его люди поплывут на белом теплоходе под красным флагом, поплывут по разноцветным бассейнам южных морей, и те из его людей, кто нечувствителен или притерпится к качке, подолгу будут играть в шахматы, в домино и в пинг-понг, будут с невольным замиранием сердца наблюдать за акулами, по временам появляющимися вблизи корабля, за жуткой красотой их веретеновидных тел, ахать при каждом новом гигантском прыжке радужных летающих рыб, спасающихся от хищников.

Они будут плыть долго, изнывать от жары и жаждать ненастья, но и тропический шторм не принесет им прохлады. Они будут входить в чужие шумные порты, а сперва, еще в открытом море, их встретит лоцманский катер, пляшущий на волнах далеко внизу, под самым бортом, и они будут смотреть сверху, как, цепляясь за веревочный трап, ловко поднимается лоцман.

Они будут плыть очень долго, а он проводит их в черноморском порту и встретит уже на месте, — современный самолет доставит его туда менее чем за день.

Все было в порядке, но ряд моментов смутно беспокоил Дроздова. Он уже побывал там, на месте строительства, когда окончательно утверждали проект, и теперь представлял себе это место в деталях. Он-то знал, сколько будет трудностей, особенно поначалу, пока не поставят поселок, как начнут томиться люди, оторванные от Родины, и первым делом те, кто здесь без семьи, как будут панически бояться змей и разных ядовитых, да и безобидных насекомых, как будут страдать от непривычного климата, от непривычных условий работы (у большинства опыт, конечно, есть, но все равно тяжело), от каждой мелочи, даже от отсутствия черного хлеба. Он знал, как он сам будет страдать от тамошней, ни на что не похожей жары, к которой он никогда не привыкнет, как он будет мучиться, пока в его комнате не поставят «кондишку» — установку для кондиционирования воздуха. Он думал о снабжении и воде, о шамотном кирпиче для огнеупорной кладки, о необходимости подготовки рабочих из местного населения и о многом другом, и все это тревожило его, но это была обычная, рабочая, как бы запланированная тревога.

А пока он привычно тревожился обо всем этом, его еще волновало что-то совсем другое, и волновало не так, непохоже, особенным образом.

Два месяца назад он получил письмо от закадычного друга юности и вроде даже родственника, но очень уж далекого, от Коли Пьянкова. Они расстались в первую военную зиму, когда их взяли в армию, и с тех пор не виделись. Коля встретил упоминание о Дроздове где-то в печати и после долгих колебаний и сомнений (он или не он и захочет ли вспомнить?) написал на министерство. Дроздов сразу же ответил, с удовольствием, но както словно машинально, словно думая о чем-то своем, а Николай в следующем письме, ничего не говоря о их родном северном городке, просто рассказал, что в окрестных лесах нынче много грибов, а лето теплое и они купались все лето и загорали, а река изрядно обмелела. Он писал, что получил недавно квартиру в благоустроенном доме и звал в гости: «Приезжай, буду очень доволен». Прочитав про грибы, Дроздов неожиданно вспомнил, как ужасно давно, придя из лесу, его бабка говорила матери: «Грибья этого полно», а он тогда был совсем еще пацаненок. Он глянул дальше и, дойдя до приглашения, подумал: «А что, хорошо бы махнуть!» И едва он успел подумать, как его словно пронзило током, и он поразился, как же это случилось, что он не бывал там так давно, как он мог выдержать, вытерпеть это. А ведь он и раньше часто вспоминал о своей юности, о своем городке, но то были тихие, приглушенные воспоминания, они ни разу не обожгли его. Но теперь для него стало ясно, что, если он не заедет туда хотя бы на неделю, он не сможет работать на юге, на новой стройке, долго, равномерно, изо дня в день, он не вынесет этого, у него просто не хватит сил.

Пока теплоход, ломая стеклянную воду, пойдет по искрящимся южным морям, он, Дроздов, мог бы взять за свой счет недельку, это никому не помешает. Это никому не помешает.

Министр выслушал его без особого энтузиазма, но разрешил, отпустил, посоветовав, однако, сперва проводить теплоход, как и намечалось ранее, и Дроздов сам не свой вылетел в тот же день к Черному морю.

Погрузка подходила к концу, и он два дня проторчал в порту и даже ночевал не у себя в гостинице, а в каюте своего заместителя, идущего старшим на теплоходе, и все, кто знал его, замечали, что у него приподнятое настроение. Наконец все было готово, и был прощальный митинг — выступали родственники отплывающих, и сами строители, и представители министерства и обкома. Дроздов ходил по причалу, потом поднялся на борт, пожимал руки одним, других обнимал и целовал, близко видя их возбужденные, знакомые и дорогие для себя лица, интересовался, советовал, шутил, и люди, разговаривая с ним, не догадывались, что перед его глазами стоят густые хвойные леса, текут серые северные реки, блестят под дождиком мокрые деревянные тротуары.

Потом он опять стоял внизу, гремел оркестр, и теплоход медленно отваливал всем бортом от причала, и между ним и провожающими все росла и ширилась темная полоса воды, а люди — и там и здесь — все махали, уже давно не различая своих близких.

Он не стал дожидаться, пока исчезнет, растает на горизонте теплоход, его почти трясло от нетерпения, и он сам изумлялся этому, но ничего не мог да и не хотел с собой сделать. Он тут же, на пирсе, сел в ожидавшую его машину, взлетел по крутой улице вверх, к гостинице, там поднялся в номер, вышел на балкон и оттуда еще раз увидал теплоход, над вершинами платанов, в морской синеве — белая черточка, совсем далеко, может быть, это был уже и не он.

С балкона был виден весь порт, с белым маяком, с изогнутой линией волнолома, с бесчисленным множеством кораблей различных конструкций, водоизмещения и окраски, двигающихся одновременно в самых разных направлениях или стоящих у причалов и на рейде, и с ярко окрашенными красным и желтым портальными кранами. Склоняясь над палубами судов и как бы глядя на них сверху, они выглядели удивительно легко и изящно. Вид непрестанно движущегося в своих границах, живого и яркого порта был мил Дроздову, он отда-

ленно напоминал ему картину уже налаженного механизма большой стройки. Правда, там все это было не так красиво. А здесь у берега стояла тусклая синева, кое-где переходящая в темно-серую рябь, слева за волноломом полоса чистой голубизны, дальше и чуть правее длинный треугольник бутылочно-зеленого цвета, потом опять синее, — разноцветные секторы морской поверхности.

Теплохода давно уже не было видно.

Дроздов взял чемоданчик и спустился к машине.

— В аэропорт, — сказал он, захлопывая дверку и вынимая газеты из кармана пиджака.

2

С вечера он заснул быстро, но потом проснулся среди ночи и уже не мог заснуть. Сперва он еще не сдавался, ворочался с боку на бок, но потом смирился и, неподвижно лежа на спине рядом со спящей женой, которая была старше его на пять лет, стал думать о своем прошлом и будущем. Глаза его привыкли к темноте, он видел не только мерцающее зеркало, но и полированную стенку шкафа, различал стул со своей одеждой и пристегнутыми к спинке ручными часами. Он повернул голову и посмотрел на измененное сном, почти неживое лицо жены, осторожно слез с широкой деревянной кровати, нашарил ногами туфли и, в одних трусах подойдя к окну, отодвинул плотную штору. Зыбкий свет рекламы, призывающий смотреть фильмы, идущие неизвестно где и неизвестно когда, проник в комнату, дрожа и мигая, коснулся стены. Дождя не было, но мостовая и тротуары были мокры, и отражения редких фонарей уходили в глубину поблескивающего асфальта.

Прямо против окна лежала безлюдная улица, за нею тоже пустынный широкий двор, и с трех сторон его охватывал большой серый дом в девять этажей. Он спал сейчас, этот дом, темнея своей огромной массой, и лишь в нескольких окнах, как-то странно оживляя его, горел свет.

«В любой час, всегда кто-то не спит, — мимоходом подумал Дроздов, — ни одного населенного пункта в России нет, где бы не светилось хотя бы окошко...»

Продолжая думать о своем, он сосчитал освещенные окна, их было восемь, — он заинтересовался: кто же эти люди, что они делают? — и стал всматриваться, оттирая краем шторы туманное стекло. Видно было очень плохо, и он смог рассмотреть лишь мужчину, который сидел за столом и ел, а напротив него сидела женщина и смотрела, как он ест, и можно было только догадываться — вернулся ли этот человек домой после долгой дороги или, наоборот, едва собирается в путь, или еще что-нибудь другое. Светилось еще окно кухни, и там женщина гладила белье, перед ней была белая груда белья, и она все гладила и гладила. А за третьим окном кто-то, склонившись, сидел у настольной лампы — не то писал, не то читал. Больше ничего рассмотреть было невозможно — мешали занавески, и погода, и расстояние, и то, что лампочки в окнах слишком лучились и как бы размазывались.

Дроздов задвинул штору и, как был в трусах, тихонько вышел из спальни. Дверь в комнату сына была приоткрыта. Олег спал, подложив под щеку ладонь, будто пригорюнившись. И Дроздов в который раз с горечью ощутил, что они с сыном не очень близки, видя причину этого в их таких длительных и частых разлуках. А мальчишка хороший и отца любит, а может, даже гордится. Но что делать! Он опять не сможет взять его с собой. Парню надо учиться.

Эта комната выходила во двор, окно ее не было зашторено, как в спальне, и Дроздову видно было милое курносое лицо сына, график футбольного чемпионата над диваном, а на полу роскошную тигровую шкуру — с распластанными лапами и оскаленной мордой — предмет мучительной зависти всех друзей Олега.

Дроздов толкнул дверь кабинета и включил настольную лампу. Здесь тоже было много экзотического — черные кудрявые статуэтки, веера, божки и драконы, но все

они были призваны лишь украшать эту комнату, — главным здесь были книги, — а если уж говорить об украшениях, то стальная модель доменной печи и макет доменного цеха с миниатюрным вагоноопрокидывателем, перегружателями, трансферкарами, бункерной эстакадой, колошниковым мостом, подъемником и всем прочим, конечно же гораздо более занимали и самого Дроздова и его обычных гостей.

Он сел за стол, посидел с минуту, открыл левый ящик и снова остановился, словно забыв на время, зачем пришел сюда и что именно он ищет, потом достал большой черный конверт и вытряхнул на стол фотографии.

С кем и где он только не был запечатлен! С министром и замминистра на заседании Совмина, рядом с членами Президиума, на приеме, при вручении ему ордена в Георгиевском зале, и со своими орлами-экскаваторщиками возле ЭКГ-8, и с президентами тех стран, где он работал, и с космонавтами, посетившими строительство, и с фронтовыми друзьями, и на встрече институтского выпуска, и в кругу семьи.

Но Дроздов не обращал сейчас внимания на эти фотографии и равнодушно откладывал их в сторону, лишь изредка задумчиво задерживаясь взглядом на какой-нибудь из них. И вдруг он быстро взял из груды две маленькие, чуть пожелтевшие и с обломанными уголками карточки и придвинулся с ними ближе к лампе.

Непроизвольно раздвинув губы в улыбке, он смотрел на такое близкое, юное, серьезное лицо Коли Пьянкова, на его круглую шапочку-кубаночку, из-под которой выбивались такие же прямые и светлые, как и у самого Дроздова, северные волосы.

А на обороте твердой Колиной рукой было выведено:

«На добрую память наилутшему другу с юных лет нашего проживания. Алексею от Николая. 11 марта 1941 года».

Продолжая улыбаться, он отложил этот и поднял ближе к глазам второй снимок, держа его в своих жестких пальцах, и улыбка стала медленно сходить с его лица и, так и не уйдя вся, заменилась болью.

На карточке была девушка в беретике, пышные шестимесячные кудряшки обрамляли ее широкое в скулах, добродушное лицо. Он перевернул карточку и прочел проникновенную надпись:

«На память Алеше от Маруси. В дни дружеских отношений.

Здесь нет красы, она не каждому в жизни дается,
Здесь только простая душа и спокойное сердце
в ней бьется».

И тоже дата, чтоб не забыл: 2.XI-1941 г.

Дроздов снова посмотрел в ее спокойные глаза, как бы стараясь встретиться с ней взглядом, и вдруг резко вспомнил, увидел, почувствовал, как он лежит на снегу, а смерть его рядом.

Тогда был уже март, солнце сильно припекало, и слепил глаза весенний крупитчатый снег, рыхлый, хоть лепи снежки, — он лежал на этом насте, раскинув руки, и снег подтаивал под ним. А сначала было раннее утро, густеющая синева неба, голый березняк вдали, и их безнадежная атака, их бег по рыхлому снегу вверх по склону и шквальный огонь, которым их встретили. Он бежал, делая тяжелые прыжки, голенастый, забрав под ремень полы шинели, хватая воздух ртом и сжимая легкий, недавно полученный автомат ППС, висящий на груди. Перчатки он сбросил, и они болтались на шнуре, как у детей. Он бежал вперед, при каждом шаге проваливаясь по колено в рыхлый снег, задыхаясь и уже не слыша немецкого огня, но он услышал, как прямо навстречу ему движется что-то, все ближе, ближе, шелестя и широко раздвигая воздух, и этим раздвинутым в стороны, спрессованным воздухом его опрокинуло на спину. Он рухнул, раскинув руки, а его черный ППС полетел через плечо и воткнулся стволом в снег, и брезентовый ремень автомата сдавил Дроздову шею. Неимоверных усилий стоило ему поднять руку и оттянуть, ослабить ремень. И в это

время рядом прошла смерть, совсем близко, и даже чуть коснулась его — он не понял только, раскаленным или ледяным было ее дыхание.

Когда-то давно, когда они ходили в шестой или в пятый, — в той, другой, нереальной, жизни, дружок Колька Пьянков зимой позвал его в какой-то подъезд, где под лестницей была батарея водяного отопления, и сказал:

— Тронь-ка...

Лешка снял рукавичку, дотронулся до пыльного ржавого железа и сразу отдернул пальцы, не разобрав — горячо оно, как кипяток, или же совсем промерзло. Там, конечно, было все не так, как тут, ерунда, пустяк, но и здесь, слыша дыхание смерти (а он точно знал, что это смерть), тоже невозможно было понять, какое оно, это дыхание. Он лежал на спине, раскинув руки, под ним уже таял и оседал снег, а вверху была синева глубокого мартовского неба.

И он вспомнил тогда о Марусе и стал думать о ней. Он думал о ней т о г д а, вплавляясь в рыхлый мартовский снег и медленно уходя все дальше и дальше от этого снега, от этого дня, от этой жизни. И потому сейчас, приблизив к лампе старый снимок, он сразу же вспомнил — да он никогда и не забывал — себя, лежащего на весеннем снегу, смерть, прошедшую рядом, а вверху бездонную холодную синеву. Он подумал сейчас о том дне, потому что т о г д а думал о ней, хотя и отвлеченно, отчужденно.

Тогда, а вслед за тем и сейчас он вспомнил дымный морозный конец дня и себя с Марусей. Они и еще две ее подруги и соседский парень играли в карты, в дурака, у нее дома, благо мать уехала к родне, в деревню. Стреляя, топилась печка, а за окнами дымился зимний закат. Потом они оделись все, и она вышла с ними вместе, а когда все разошлись, он проводил ее снова и опять зашел в дом. За окнами почти стемнело, лишь горела полоса заката между домами, и тоже дрожала полоска света на полу перед догорающей печью... Потом, идя к себе, поздно вечером, он забыл опустить наушники у шапки и отморозил уши... Неужели это был он? Наверное, да, но больно уж давно все это происходило.

Нет, она не была его первой любовью, его Первая Женщина, о которой он вспоминал с благодарностью и нежностью. Где она сейчас? Мысль о том, что он скоро сможет встретить ее, заставила его вздрогнуть. Он сидел в своем спокойном доме, за стеной спал его сын, в следующей комнате спала жена, а он рассматривал маленькую фотографию девушки с шестимесячными кудряшками и добрыми глазами, и был в это время далеко отсюда.

Он все еще лежал на снегу, раскинув руки, остро выставив вверх подбородок, уже не шевелясь, вмерзая в снежный наст, а над ним сперва лилово стояли сумерки, потом ярко зажглись звезды. Потом он услышал, как кто-то ступает по громко хрустящему подмерзшему насту, и в уши его, сверля мозг, вошла чужая, страшная речь, он хотел узнать, о чем они говорят, и напряг память, но она подсказала ему всего лишь два слова: «дертыш» и «плюсквамперфектум». Чужая речь была совсем рядом, и тогда он слабо ощутил замерзшей щекой шершавый брезентовый ремень автомата, это было все, что он мог сделать, но в мыслях своих он легко перевернулся на живот, выдвинул перед собой вороненый ствол, дал короткую очередь и крикнул звонко и яростно:

— Хенде хох!

Немцы остановились, о чем-то тихо говоря, может быть, не решаясь идти дальше, а затем действительно их хрустящие шаги стали удаляться, удаляться, и Дроздов, уже ни о чем не думая, плавно провалился в глубокий, невозвратный сон. И почти уже на самом его дне он услыхал шуршащий, чуть присвистывающий звук, который был очень ему знаком и который вызвал в сознании одно, только одно, последнее, беззвучное слово: «в о л о к у ш а».

И из его губ вырвался ликующий вопль, призывный клич, полный радости, надежды и боли, но этот его стон был настолько слаб, что, если бы пожилой солдат и де-

вушка-санинструктор за миг до этого не остановились, прислушиваясь, они бы никогда не услыхали его. Но они, эти люди, которых он ни тогда, ни потом в своей жизни не видел, остановились, услыхали и наклонились над ним, отдирая вмерзшую в наст шинель.

Может быть, в эту минуту они не услышали кого-то другого.

Дроздов подошел к окну. Уже рассвело, а освещенных окон стало гораздо больше, — люди уже собирались на ранний свой труд. Но только теперь эти окна были менее лучистыми, а стали более четкими, хотя и бледными.

3

Стояло самое начало сентября. Утром — Дроздов еще спал — прошел мелкий дождик, и сейчас его сырость чувствовалась в воздухе. Пока Дроздов брился, одевался и завтракал, жена была где-то там, в глубинах их большой новой квартиры, и вошла, когда он уже поел и стоял у окна.

— Ну, мать, — сказал он ей, слегка потягиваясь, — гостинцев бы надо купить, конфет, как думаешь?

— Обязательно. Я куплю, не беспокойся. — И спросила сама: — Ты сегодня надолго?

— Думаю скоро вернуться, — и окликнул ее, когда она была в дверях: — Надя! (Ее имя удивительно к ней не подходило, но он уже привык.) Надя, и коньячку, наверно, нужно.

— А как же, конечно.

Она была с виду тихая, незаметная, но со своими твердыми взглядами и принципами: «А как же, непременно».

У него оставались еще дела в министерстве, и он постарался их закончить как можно быстрее, нигде и ни с кем не задерживаясь, потому что был человек опытный и остерегался, как бы министр или зам не поломали случайно его поездку. Но все обошлось, и к обеду он уже был дома.

Олег пришел позже, Дроздов слышал, как он бросил портфель на стул, насвистывая, пошел в ванную, как мать ему что-то сказала, верно, сделала замечание, а он примирительно засмеялся.

Потом он просунул голову в дверь:

— Привет! Сегодня полуфинал, — помедлил и вошел в комнату.

— Знаю, — сказал Дроздов.

— Ты за кого?

— За «Торпедо».

— Хо! «Торпедо» давно вылетело.

— Знаю. Я в о о б щ е за «Торпедо».

Олег поднял палец и произнес назидательно:

— Болеть нужно за «Спартак».

— Эта концепция нам тоже знакома. А в школе как дела?

— Не вызывали. Папа, ты читал про Флиппера?

— Это кто?

— Интеллигент моря, дельфин Флиппер. Снимался в двух фильмах в главной роли.

— Новые данные о дельфинах действительно потрясающая штука, — сказал Дроздов.

«Хороший парень. Сейчас расстанемся черт знает на сколько, вернусь, а он уже не такой, совсем не такой. Весь горит этими морскими змеями и дельфинами. Жаль, что у него нет интереса к моему делу. А откуда ему быть? Плавку последний раз видел, когда ему лет шесть было...»

— ...Дерется с этим преступником и нокаутирует его, а у того нож...

«Вот тебе и интеллигент!»

— ...Спасает их. Правда, здорово? Наши, интересно, купят эту картину? По интеллекту дельфин приближается к человеку, это все ученые признают. Все эксперименты подтверждают...

— И размеры мозга и характер извилин приближаются к человеческому, — сказала от двери Надя, — и запас слов у них больше ста...

Было уже темно, когда, взяв чемодан, собранный женой, и, как всегда, даже не интересуясь, что туда положено, потому что потом в чемодане оказывалось именно то, что нужно, Дроздов надел заграничный тонкий плащ, в каких ходила сейчас вся Москва, и, секунду помедлив, выбирая между кепкой и шляпой, отдал предпочтение кепке.

Олег сидел у себя, прильнув к «Спидоле», и с таким выражением лица, будто передавали военную сводку, впитывал хриплое дыхание стадиона и скороговорку комментатора. Дроздов потрепал его по волосам и, нагнувшись, поцеловал куда-то в ухо, сын рассеянно улыбнулся и чмокнул отца в щеку.

— Ну, ладно, мать, поехал, — сказал Дроздов жене и, поцеловав ее, вышел на площадку, уже отрешившись, уже отсюда начав свой непривычный путь — к юности.

Обычно сидя в своей, или не в своей, машине, впереди, рядом с шофером, он не смотрел по сторонам, а что-нибудь читал или просматривал — ему всегда не хватало времени. Но сейчас было темно, и он смотрел вперед на влажный асфальт с отраженными в нем фонарями. Шел меленький неощутимый дождь, но все же дождь — к удачной дороге — и когда проезжали по метромосту, слева, над Большой ареной стадиона, густо дымились прожектора.

Да, давно не бывал он там, в своем маленьком северном городке. Двадцать лет и два года. С того холодного дня поздней осени, когда красный товарняк, громыхая, понес его, и Кольку Пьянкова, и других ребят на юг, к Москве, и неизвестно было, случится ли им вернуться. Впрочем, многие, и он в их числе, не сомневались в этом, заботило другое: когда? Беспрерывно живущий в них, как притихшая боль или радость, непременный день возвращения был далеко, за метелями и дождями, за походами и фронтами, за операционными и госпитальными ночными палатами. Но этот день жил в них, и в тех, кого уже нет сейчас, он жил до конца.

Два раза его задевало легко, можно сказать, царапало, и дальше медсанбата он в тыл не углублялся, и той мартовской ночью, скорее утром, его без памяти тоже доставили в медсанбат, но теперь он здесь уже не задержался, а был эвакуирован в глубокий тыл, — санитарный поезд застучал на восток, за Москву, за Волгу, на Урал.

Госпиталь, где он провалялся пять месяцев, находился в городе металлургов, и это сыграло главную роль во всей дальнейшей жизни Дроздова.

Когда стало ясно, что, выписав, его вчистую демобилизуют по ранению, а война еще не кончается, он в одну из долгих бессонных ночей — еще с тех пор он пристрастился к бессоннице, — в одну из душных госпитальных ночей твердо решил не ехать к себе, на Север, а остаться здесь и учиться. Это было отчаянное по смелости решение, но Дроздов принял его, и принял бесповоротно, он знал, что в своем городке ему будет легче, но там у него не было никаких перспектив.

Он пришел в горком комсомола, на костылях, не для блезиру, а еще не решаясь с ними расстаться, и его устроили на комбинат нормировщиком в мартеновский цех. Здесь, в славном пролетарском городе, было много молодых, здоровых ребят и мужчин в самом возрасте, потому что они варили сталь для армии, для страны, и страна, в свою очередь, дала им бронь, хотя и бумажную, но тоже достаточно прочную. Таких, как Дроздов, — раненых фронтовиков было мало. Он прыгал по цеху сперва на костылях, потом ковылял с палочкой, на козырьке кепки болтались привинченные на трех винтах синие очки, и временами он, зачарованный, смотрел сквозь них на кипящую сталь, которая кипела буквально как вода в чайнике — пузырясь и бурля. Эта картина покорила его навсегда.

Его избрали в комсомольское бюро, он поступил в школу рабочей молодежи, а потом в институт — филиал был прямо при комбинате, — первый курс на заочный,

как многие здесь, но после все же на дневной, — это тоже был шаг, на который следовало решиться.

И все это было нелегко, невозможно, невыносимо, — и прошибающие насквозь ветры, и недоедание, потому что, конечно, не хватало ему карточек, особенно после рабочих, и то, что общежитие далеко от института, и занятия, занятия, от которых распухала голова, — но ведь не мог же он все это бросить, иначе и затевать все это не стоило.

Были лекции, тяжелые, непонятные, он конспектировал все, он заставлял себя понять, подходил в перерыве к преподавателям, переспрашивал, были лабораторные и групповые задания, было много чертежей, — вообще, черчение у него пошло, он этим слегка и подрабатывал, еще на первом курсе он удивил преподавателя начерталки способностью к пространственному мышлению. А так он учился средне, в общем хорошо, но не блистал.

Это был такой период его жизни, когда он отключил все лишнее и заставил себя интересоваться только учебой. Он не ходил на курсовые и институтские вечера, на самодеятельность, капустники и танцы, этот его жестокий период длился три года! Некоторые издевались, подтрунивали над его работоспособностью, теперь они не смеются, нет. Но и тогда его уважали все. Теперь кое-кто удивляется, как это он выдвинулся и достиг такого положения, сравнительно молодой, как это он сделал такую «карьеру», но те, кто знал его тогда (а таких много), не удивляются ничуть. «Ну, это был фанат, — говорят они, — с ним все законно!»

Учился он хорошо, но не выделялся особенно, и лишь когда началась практика, выяснилось, что он первый, настолько неожиданно здраво и логично связывал он все, чему учили, с самим делом, с производством, а для большинства это были отдельные разграниченные сферы. Ему, конечно, еще повезло, что он попал к старику Селиванову, тот ценил таких, как Дроздов, и после института взял Дроздова с собой на строительство комбината, в далекую жаркую страну, и многому он у старика

научился, и вырос быстро — искусственно не сдерживали. В работе он многое перенял, в стиле, и внешне — в подтянутости, и внутренне — во взглядах. Всякое, конечно, бывало, но, в общем, упрекнуть себя особенно не в чем. Это тоже факт.

Три года он себе во всем отказывал, давно уже он живет иначе, но странное дело, до сих пор внутри, в крови, в печенках, в самой его сути, главное ощущение: некогда, некогда, некогда!

Может, это немного смешно, но именно когда он жил, лишая себя всего, именно тогда он женился. Какой-то подлец даже сказал, что это, мол, чтобы не терять времени на дорогу — она жила рядом с институтом. Как он женился? Она была лаборанткой в химическом кабинете, налаживала им разные опыты, которые требуются по программе, в общем, лабораторные занятия, и все к ней: «Надя, помогите, пожалуйста! Надя, а как это? Надя, а что нужно сделать?» — и он, конечно, тоже с вопросами, только реже. Она хорошо работала — быстро, ловко. А он сразу подумал, что имя к ней не подходит. «Надя! Надя!» И еще она старше его на пять лет, а остальных и на семь и на восемь. Он там засиделся однажды, в кабинете, — опыт ставил, ерунда, реакция какая-то в реторте и химическое уравнение в тетрадке, — никого уже не было, и разговорился с ней. Она местная, уральская, родители здесь же, в городе, и брат младший, но уже женат и двое детишек у него, они все вместе живут, тесно, а ей комнатку дали, она одна. Работа ее удовлетворяет, вот она помогает студентам, уже доценты есть, которые тоже вот так же пищали: «Надя, Надя...» Это ей приятно... А он? Он? Он, значит, так. С Севера. Мать померла, пацаном был, в школу еще не ходил. Отец женился скоро, уехал с новой женой куда-то на зимовку, деньги присылал, потом пропал перед войной. Жил Лешка у тетки. В армию забрали, ранило, сюда привезли, поступил в институт, пришел в химический кабинет, познакомился с лаборанткой Надей, она чай кипятила на плитке, он ее сахар брать ни за что не хотел, иногда забегал в химка-

бинет, хотя дел там у него не было, домой к ней стал заходить, а весною, прямо перед сессией, в самую горячую пору, они поженились. Она хорошая была, вот говорят о жене: помощница, не о каждой так скажешь, а о ней можно. Она все делала, чтобы помочь ему институт закончить как следует. Он как-то ей сказал, расчувствовавшись: «Давай-ка и ты в институт поступи. Теперь я тебе помогу. Знаешь — натаскаю!» Она улыбнулась и покачала головой — это была не ее линия.

Когда старик Селиванов взял его на строительство, Надя поехала вместе с ним в далекую знойную неведомую страну, спокойно и решительно — как в сотый раз. Она работала там в конторе и, лишь когда пошла в декретный, бросила работу и вернулась в Союз. После появления Олега ее потребность, может быть, даже талант помогать кому-то теперь уже вполне удовлетворялись дома.

В общем, они неплохо жили, когда бывали вместе, их семейная жизнь была размеренна, налажена и ровна. Ее ласки и поцелуи были спокойны, как поцелуи сестры или матери. Что было в их жизни общее, объединяющее? Именно начало их жизни. И конечно, Олег. Как горько было Дроздову, что не налаживается настоящая близость между ним и сыном, что опять надо с ним расставаться, потому что там нет старших классов, — пусть теперь остается в Москве вместе с матерью, а то разболтался в интернате. Пусть лучше Дроздов будет один там, вдали, бритый, при галстуке (все-таки заграница), будет обливаться пóтом среди этих пальм, диковинных цветов и всяких колючек, задыхаться, а местные рабочие, которых он должен подготовить, будут, не показывая виду, вежливо удивляться его белым северным волосам.

4

Помахивая чемоданом, Дроздов прошел по длинному, скупо освещенному перрону. На миг колыхнувшаяся в нем (пока он доставал билет) наивная мужская мечта

о том, что единственной попутчицей окажется красивая женщина, разумеется, не сбылась. В купе сидел молодой парень и слушал репортаж.

— Ну, что там? — спросил Дроздов без всякого интереса, поднимая полку и засовывая под нее чемодан.

— Один — ноль.

Дроздов повесил плащ и сел. Стекло снаружи было в крупных дождевых каплях, еще не удлиненных движением. Шелестела футбольная речь из репродуктора, потом она прервалась на полуслове, загремел марш, и бодрый поездной голос, наложенный на музыку, объявил отправление.

Вагон плавно тронулся с места, быстро набирая ход. Опять слабо донесся голос комментатора, но помехи были столь велики, что уже ничего нельзя было понять.

— Поле от электровоза мешает, — сказал парень.

В их мягком вагоне было малолюдно, тихо, лишь гремели колеса скорого поезда, летящего в ночь, в дождь, в сторону его молодости.

Вошла проводница:

— Постель брать будете?

Парень от постели отказался.

«Из отпуска, — подумал Дроздов, — все оставил до копейки. Но зато в мягком».

— Что-то холодно здесь у вас, — сказал он проводнице, застилающей его полку.

— Холодно? — притворно удивилась она. — Что вы? Это у мужчин температура переменная, то их в жар кидает, то в холод...

Он засмеялся.

— Это вы точно подметили.

— А то как же. А у женщин, у тех температура более постоянная. Но вообще-то прохладно здесь. Вагон старый, довоенный, в щелях весь, а углю мало сейчас дают, еще не сезон. Ну, на станции прихватишь гдень-то ведерочко, погреешь своих пассажиров.

Поезд мчался в ночь, на север, на север, все чаще сту-

чали колеса на стыках, нахохлившиеся капли на стекле вытянулись в длинные прямые пунктиры.

Проходили по коридору люди, непроизвольно заглядывая в их раскрытую дверь.

— В ресторан пойдешь? — спросил парень.

Дроздов внимательно посмотрел на него. Нет, он не дерзил, он просто не чувствовал разницы между ними. Таким хорошо, легко.

— Немного попозже, — ответил Дроздов спокойно.

— Я тоже тогда с вами, — согласился парень, переходя под взглядом Дроздова на «вы».

А поезд все летел и летел в ночь, и Дроздов прямотаки физически ощущал, что он движется на север, как будто внутри него была магнитная стрелка.

Они тоже пошли через чутко вибрирующие вагоны, непроизвольно заглядывая в каждое открытое купе, добрались до ресторана и с трудом нашли себе место.

Дроздов взял меню, желая угостить своего соседа, но стали заказывать, и выяснилось, что деньги у того имеются.

— Коньяк есть? — спросил Дроздов.

— Коньяк оставлен только на восточном направлении.

— Ну, на восток из-за коньяка я не поеду.

Его остроты официантку не интересовали.

Все пили только вино.

— Портвейн будешь? — спросил парень-сосед.

— Нет. Я шампанского тогда уж возьму.

— В розлив не подается.

(А состав между тем идет, натянут до звона, летит в темноту.)

— Давайте бутылку. Полусухое есть?

Поезд мчался в ночь, вагон мотало, за окнами ничего не было видно, кроме отражения оранжевых настольных ламп.

Дроздов пил шампанское («Что ж, подходящий напиток для торжественного случая»), ел яичницу и почти не слышал того, что говорил парень-сосед, — он умел выключаться, уходить в себя, отсутствовать, присутствуя, расслабляться, как бегун расслабляется посреди длинной дистанции и отдыхает, продолжая бежать, — здесь требуется настоящее мастерство, большой навык.

За соседним столиком сидели трое солдат, оживленные, совсем мальчики, пили красное вино, воротнички расстегнуты, — не каждый день такое бывает. И они были близки и понятны Дроздову.

Парень-сосед сказал снисходительно:

— Служба.

— Сам-то служил? — спросил Дроздов.

— А как же. Я в армию уже сходил. Я не как они, пехота, я в стройбате служил, то есть, значит, в инженерных войсках, мы кабель тянули. Я в мастерской работал, деньги получал. Все время в деревнях стояли, в городе ни разу не были, а майор у нас был хороший, выпивал даже с нами несколько раз.

— А! — сказал Дроздов. — Это конечно.

Он опять отключился. И опять перед его глазами лежал горящий мартовский снег, и опять они шли в атаку, и опять Марусино доброе лицо склонялось над ним.

Они вернулись к себе, и Дроздов стал раздеваться.

— Чего ж постель-то не взял? — спросил он парня.

— А зачем? — удивился тот. — И так мягко.

Он разулся, лег на спину, не снимая пиджака, ничем не укрываясь, и сразу же заснул, скрестив на груди руки.

А Дроздов не спал. Выпитое шампанское не опьянило, а лишь еще более возбудило его. Он давно не ездил поездом, на нижней полке, и теперь слушал, как под ним, совсем близко, плакал, стонал и выл металл. Вагон был старый, его то и дело охватывала дрожь, и он начинал тихонечко, жалобно дребезжать.

Дроздов лежал и смотрел на блестящее, мокрое снаружи стекло, за ним были ночь, темнота, дождь. А поезд все мчался и мчался.

И Дроздов вдруг, ни с того ни с сего, четко предста-

вил себе фосфоресцирующую воду тропических морей, огромную южную луну и белый теплоход под красным флагом. Он представил себе своих людей, которых так знал и ценил, — они чередой пошли перед его глазами, — он увидел мельтешенье порта, где теплоход станет под разгрузку, и все, и больше уже не будет покоя — лавина дел и хлопот обрушится на Дроздова, норовя сбить его с ног, накрыть с головой, потащить за собою, но он постарается удержаться, — ценой страшного напряжения сил и нервов. Он представил себе то пустынное место, где они поднимут печи, будьте уверены, обязательно поднимут, он представил себе все это и ужаснулся: «Что я, с ума сошел? Почему я здесь? Куда это я еду?..»

Словно при безумной фантастической пытке, его тянули в разные стороны — тот теплоход и этот поезд, убивая его, разрывая пополам его тело и душу.

А теплоход все шел и шел по стеклянной южной воде, а поезд все мчался и мчался в дождь, в ночь, на север.

И Дроздов не спал, в ночном дребезжащем вагоне, все более удаляясь от зовущей и ожидающей его стройки, но вместе с тем приближаясь к ней во времени.

Много раз за ночь он засыпал и много раз просыпался. Уже давно стоял за окном белесый северный рассвет. Парень еще спал, скрестив руки на груди, — он ни разу не пошевелился. Дроздов оделся и вышел в коридор. Рядом с поездом, впритир, шла его тень, с трубами на крышах вагонов, а чуть дальше от полотна сплошной шеренгой, и вдоль пути, и бесконечно уходя в глубину, тянулись хвойные северные леса. «А ведь все эти южные страны, — остро подумал Дроздов, — все эти пальмы и пески приемлемы и терпимы для меня лишь потому, что существуют леса, северные леса».

У самого полотна начиналось мелколесье, и среди него, на подступах к большому лесу, поднимались отдельные высоченные ели, а дальше, среди черноты елок

струились редкие стволы берез, и все больше было золота осени. И вдруг возникали рябины, рябины, с яркими, щедрыми кистями ягод, а у многих краска ударила и в листву. Посадил их, что ли, кто-то вдоль пути, эти рябины?

Рассеивался туман, едва трепетал волглый воздух меж отсыревших сосен, и вдруг, как по сердцу, серая, такая северная, холодная полоска воды.

В одном месте лес расступился, ненадолго открылся чистый холм с двумя соснами на вершине, а за ним целая панорама — избы, церквушечка на пригорке, опять серая вода, и опять лес, лес, лес. Этот холм так уверенно и горделиво господствовал над окрестностью, что Дроздову неожиданно вспомнились неизвестно откуда удивительные слова: престол природы.

По-прежнему стоял за летящим вагонным окном белесый северный рассвет, а теперь уже было ясно, что он длится здесь целый день.

Дроздов вышел на маленькой станции, прошелся вдоль состава. Было тепло. Бабы продавали бруснику и красную северную картошку, которую ведрами покупали проводницы. Перед вагоном выстроилось несколько бездомных железнодорожных собак, терпеливо и безропотно ожидающих подачки, и вчерашняя проводница засуетилась.

— Ах вы, миленькие, я ведь про вас позабыла, сейчас принесу, — и объяснила Дроздову: — Знают меня. А на восточном направлении есть станция, там козы. Там этих коз многочисленные табуна́, черные все от угля. К вагонам подходят. А здесь собаки...

На стенке деревянного станционного здания висел плакат: «Донор — лучший друг больного», за окном парикмахерской кого-то стригли, укутав до горла простыней, — а кругом стояла мягкая ровная тишина.

Вылез парень-сосед, подошел к газетному киоску: «Можно лотерейный билет без очереди купить?» Ему не ответили.

Потом Дроздов опять стоял в коридоре, смотрел на голубые капустные поля, на серые дома северных поселков, крытые тесом или щепой. И опять лес, лес, лес...

А где-то сбоку, в вагоне, звучал давно не слышанный северный говорок: «На поезд не сести», «Всего не съести» и оживали в разговоре волшебные названия станций: Удима, Кизема, Урдома.

Вышел сосед, стал рядом.

— Скоро доедешь? — спросил Дроздов.

— В одиннадцать с мелочью. Жена встречать будет.

По берегам рек и речек высились штабеля леса. Кабель-кран вынимал бревна из воды.

— Лесу пропадает много, — сказал парень, — не успевают выкатить, он вмерзает, весной уходит со льдом. Много уходит. Норвеги лесопильный плавзавод держат в Баренцевом, на нашем аварийном лесе только, да и не один завод-то...

Потом парень сошел, — его действительно встречала молодая женщина, — а Дроздов все стоял в коридоре, и снова за окном мелькали речки и запани на них, появлялись и уходили голые поселки с широкими улицами, нескончаемо тянулись леса, и в мелколесье, где больше встречалось лиственных пород, — чем дальше, тем заметнее выделялись пестрые краски осени.

5

На перроне народу было немного, и изо всех, стоявших там, память сразу выхватила, выделила круглое, милое и дорогое лицо Коли Пьянкова. И мгновенно Дроздов как бы окунулся в легкий, приятный туман и уже пребывал в нем, сам того не замечая. Сквозь этот прозрачный туман был виден чистый перрон, уходящие вдаль рельсы и Коля, берущий из его руки чемодан.

Они расцеловались.

— Брат, что ли? — спросила проводница вслед.

— А ты почти не изменился, — сказал Дроздов.

— И ты тоже.

— Ну, нет. Я-то изменился, — он даже слегка обиделся. — Я-то изменился шибко, — и спросил: — Вокзал старый?

— Зачем, новый вокзал.

— То-то я смотрю, не узнал.

Их ожидал «Москвич».

— Твой кабриолет?

— Нет, у меня нету. Это из горкомхоза, я же в горкомхозе работаю.

— Я про то и говорю.

— В гостиницу.

Поехали — Дроздов ошеломленно смотрел по сторонам, не понимая, узнает он что-нибудь или нет, — и, проехав метров пятьсот, остановились.

— Все? Ага, гостиница.

— Номер забронирован, как ты просил.

— Прекрасно. Машину отпусти, потом пешком пройдемся.

Они поднялись в небольшой светлый номер, с телефоном и туалетной комнатой, и пока Дроздов брился, Коля сидел у стола, не сняв темный прорезиненный плащ, и смотрел на Дроздова.

— Ну, как жизнь, Коля?

— Как жизнь? Работáем, — ответил он, подчеркнуто делая ударение на предпоследнем слоге.

«А что, и я могу так ответить, точно так же. Работáем! А как же иначе?» — подумал Дроздов.

Он вытер лицо и шею одеколоном, надел свежую сорочку и опять наклонился над чемоданом:

— Вот тут жена положила. Коньяк, конфеты. У тебя карманы глубокие?

— Да зачем, все есть.

— Держи, держи, не помешает.

По одной стороне улицы тянулись новые четырехэтажные дома, а на другой стояли в палисадниках, в осенней листве, прежние домики, аккуратные, с резьбой по наличникам.

А сами они деловито шли по старому деревянному тротуару, настеленному над кюветом, и внизу, как в арыке, журчала вода. Кое-где доски искрошились, провалились, и в черном проеме поблескивал ручей. Дроздова возмутила бесхозяйственность.

— Как же ночью ходите? Ногу сломать можно.

— Ничего, приспособились.

Удивительная штука — человеческая жизнь. Когда-то, неправдоподобно давно, шли они, эти же люди, по этим же деревянным тротуарам, а потом словно разорвалось время, словно пропасть разделила их, и прошло больше двадцати лет, чуть ли не целая новая жизнь, и вот опять идут они здесь, по деревянным тротуарам-мосткам, а над ними роняют листву старинные осенние тополя. Но, странное дело, это все теперь не поражало Дроздова столь глубоко, как, казалось из Москвы, должно было поразить, но это вызывало желание как бы приостановиться, задуматься над своей жизнью.

Навстречу густо попадались знакомые Пьянкова. Одним он просто кивал, с другими останавливался и говорил: «Вот познакомьтесь. Это мой друг, из Москвы приехал, Дроздов, сам отсюда, слыхали?..»

Он произносил его фамилию по-северному, с ударением на первом слоге. Дрóздов — так давно уже никто его не называл, и Дроздову уже казалось это странным, нарочитым.

— Работой доволен?

— Нет, Леха, не доволен (тоже давно никто не называл его так, и назови его так кто-то другой и не здесь, это было бы дико и невозможно, а сейчас это было естественно, только отозвалось где-то глубоко в душе: «Леха», — как слабо отзывались в его душе вот эти тротуары и дома, среди которых угадывались знакомые). Не доволен. Не нравится мне горкомхоз этот и работа эта. Канцелярия, а писарей у меня, понимаешь, нет, самому приходится сидеть целый день, писать бумажки. А ведь я мог быть, как и ты, но не повезло, а в горкомхоз попал случайно. Я, понимаешь, Леха, если в очередь становлюсь крайним,

то уже до конца так крайним и стою, за мной уже не занимают. Почему? Да кому нужно, те все уже впереди стоят. Понял? Я ведь хотел в институт метеорологический идти. Хорошее дело. Остался на сверхсрочной, старшина, поступил в вечернюю школу. Стояли в Рязани, хорошо. Сам в штабе работал, занимался. Поехал в отпуск, тут с Тоней познакомился, она только институт кончила, учительница, понимаешь, по географии. Стали переписываться, на другой год приехал, женился. Ну, потом забрал ее с собой. Там устроиться ей было трудно, потом забеременела, не нравится ей там, уедем да уедем, ну, и демобилизовался. Приехал, хотел устроиться в управление дороги, но тут в райком, понимаешь, вызвали, партия, говорят, посылает на эту работу, в горкомхоз. Стал работать, учиться кому-то нужно в коллективе, в техникум поступил на заочный, но кончил через силу, — пацаны пошли, то да се, голова болит, в институт уже не могу. А не люблю я сидеть на одном месте, мне бы работу, как у тебя, а тут даже никаких командировок, ну, от силы в район. Трое пацанов, ну, куда теперь. А так с работой справляюсь, Леха.

6

На этажерке с книгами стоял елочный Дед Мороз из папье-маше, весь в блестках. Он смутно напомнил о чем-то Дроздову: тоже Дед Мороз, елка из полиэтилена или даже настоящая, а за окнами зелень, синева или теплый мучительный дождь, — но Дроздов отбросил это воспоминание, не дав ему развиться и завладеть собой.

— Вот так и живем.

— Ну, что же, неплохо.

Они посмотрели друг на друга и ни с того ни с сего как бы почувствовали некоторую неловкость, еле заметно, но почувствовали, и оба постарались избавиться от нее.

— Тоня в школе еще, потом за Юркой зайдет в садик. Мы ее ждать не станем. Ты как думаешь? Не возражаешь?

— Может, лучше подождать?

— Нет, ждать не будем, — твердо решил Николай и начал действовать — доставать из буфета тарелки и рюмки, продолжая говорить. Говорил он вроде бы почти по-московски, лишь слегка на «о» и чуть-чуть певуче, но из этого легкого оканья и плавной певучести и складывалась его северная, привычная и одновременно чудесная для дроздовского уха речь. И сидя в этом доме, и слушая Кольку Пьянкова, и глядя, как он накрывает на стол, Дроздов смутно ощущал нереальность всего происходящего и продолжал пребывать в том легком прозрачном тумане, в который окунулся, сойдя с поезда.

— Квартиру эту недавно получил, хорошо, а то в старом доме жили, совсем трудно, удобств нет, дров одних, понимаешь, заготовить сколько нужно.

— Кубометров двадцать?

— Не меньше. А в благоустроенном хорошо. И вообще место расположения нашего дома имеет большое стратегическое значение.

— Это как?

— Рядом магазины: книжный, молочный, фрукты-овощи, продовольственный, радио-музыка, поликлиника. Все, что нужно.

Он поставил на стол хлеб, огурцы, грибы, тарелку с холодными котлетами, нарезал сыр, колбасу и откупорил бутылку грузинского коньяка.

— Тут у меня сосед-приятель, в райисполкоме у нас работает бухгалтером, а жены вместе в школе работают, она у него по истории. Может, позвать его? Ты не возражаешь?

— Как хочешь, как тебе удобнее.

— Ну, если ты не возражаешь, я его сейчас позову.

Он удалился и очень скоро возвратился вместе с прихрамывающим, рябоватым человеком, который крепко пожал Дроздову руку и представился:

— Елохов.

— Вот я, Леха, с ним советовался, писать тебе или нет, ну, он, понимаешь, посоветовал написать.

— Молодец.

Елохов потупился, польщенный:

— И ответ ваш вместе читали.

— Ну, давайте выпьем, — сказал Коля и налил в рюмки.

— Это что же? — деланно заинтересовался Елохов. — А, лошадьяк!

— Ну, будьте здоровы.

— Со свиданьицем.

— А я на вокзале стою и все боюсь — не узнаю. А глянул — сразу узнал.

— Давно не виделись.

— На первой формировке расстались.

— А я все думаю: он или нет? Про награждение прочитали, вроде сходится. Потом уж снимок увидел в газете — ну, все. Чего ж не приехал-то ни разу?

— Да все некогда, Коля. Я ведь в Москве почти что, как ты, редко бывал. А тетя Катя, сам знаешь, померла давно.

— Инфаркт у нее был миокарда. А отца ты нашел, Леха?

— Отец в войну погиб. А до этого всякие у него неприятности были. Несправедливо с ним обошлись.

— Раньше бы сообщил, что приедешь, я бы отпуск отложил.

— Я же точно не знал, что приеду.

— Телевидения у нас еще нет, но будет по плану через два года.

Тем временем Елохов опять налил коньяк в рюмки и похвалил себя:

— Глаз-ватерпас!

— Будьте здоровы.

— Алексей Степаныч, — сказал Елохов, — так у нас не пойдет. Чего ж вы только верхнее отпиваете! У нас нижнее пьют.

— А я тоже нижнее пью, а верхнее вниз проваливается, на его место.

— А! Отдельные и у нас так поступают.

— В Курежму тебе надо съездить, Леша.

— Обязательно.

— Деревни-то ведь уж нет. Там целлюлозно-бумажный комбинат крупнейший строят. Город целый новый. Можно сказать, наша гордость.

— Я знаю.

Они опять посмотрели друг на друга не просто через стол, а сквозь свою двадцатилетнюю разлуку, изумляясь тому, что встретились, что это все взаправду, так и есть.

— Помнишь, как мы призывались? Ну, пацаны, и все! Давай альбом посмотрим, не возражаешь?

Николай достал с этажерки толстый альбом и начал его перелистывать, а Дроздов с острым вниманием и интересом стал смотреть на чужие, незнакомые лица, стараясь и надеясь узнать хоть кого-нибудь.

И вдруг он увидел Колю в бушлате и шапке ремесленника и воскликнул, радостно смеясь:

— Смотри-смотри!

— Да, — сказал Коля небрежно. — Ремесло.

А на следующей странице красовался он сам, Дроздов, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Такой карточки не было у Дроздова, и ему стало приятно, что она существует где-то, отдельно от него. А вот такая есть! Он с удивлением и радостью узнавал когда-то знакомые лица, задерживаясь всякий раз возле своего нехитрого изображения.

Пока они смотрели альбом, Елохов грустил и томился, ему это было неинтересно. А может быть, просто ему хотелось выпить.

А Дроздов не мог оторваться от альбома. Многое совершенно исчезло, выветрилось из его памяти, и, если бы не старые снимки, он бы никогда и не вспомнил эти лица, а некоторые он не мог вспомнить и сейчас.

— Неужели не помнишь? — огорчался Коля.

Но и сам Коля тоже не помнил многого из того, что Дроздов помнил ясно и четко. Чувствуя, что волнуется, Дроздов, как бы между прочим, после того, как поинтересовался другими, спросил о Марусе. Коля не помнил и не знал ничего.

— Какая Маруся? Машка, что ли?

— Да нет, Маруся, — отвечал Дроздов разочарованно и вдруг вскрикнул: — Смотри, а это Ваня, учился со мной. Ты помнишь? Нежный такой был, как девочка.

— Конечно, помню. Ваня не жив. Умер. Чего примолк, Елохов? Наливай-наливай. Он фотографирует здорово. Вот это все он снимал. Фотодокументы. Вроде пустяк, а посмотришь через двадцать лет, и за душу возьмет, вся жизнь, как на ладошке. Вот я смотрел недавно документальный фильм про войну, про сражение, где я участвовал на Курской дуге, понимаешь. И прямо по сердцу, прямо до слез, потому что так и было.

— Кинохроника вообще забьет со временем художественное кино, — согласился Дроздов. — Никакие артисты великие, никакая режиссура не может сравниться с ее силой воздействия. Правильно ты говоришь, мурашки по коже.

— А это как сказать, — вступил в разговор Елохов, — почему мурашки? — и хмыкнул с таким видом, будто знал нечто большее.

— Налей, — сказал ему Коля.

Когда пришла Колина жена, за окнами было уже темно, а Дроздов совсем забыл, что она должна прийти и что вообще она есть. Младшего она держала на руках, а старшие, которых она, видно, перехватила во дворе, стояли по бокам, немножечко сзади.

— Извините, я задержалась, — сказала она быстро. — Что же ты не подогрел ничего? Я сейчас картошки нажарю. Извините.

— Вы садитесь, — сказал Дроздов заботливо, — нам ничего не надо.

— Ты познакомься, — сказал Коля.

Она подошла, худенькая, миловидная, ее снимки Дроздов уже встречал в альбоме, но там она была моло-

же и не так измучена своими и чужими детьми, домом, школой, географией.

— Садись, выпей.

— Неудобно, ничего нет. Хотите, я суп согрею? — спросила она и была рада, когда все отказались, она была слишком утомлена и не скрывала этого.

— И вы познакомьтесь с дядей Лешей. Помните, я вам говорил?

Мальчишки, серьезные, глазастые, белобрысые северные мальчишки, смущались, переминаясь у дверей.

— В каком классе? В первом и в третьем? Отличники? Молодцы! А у моего отметки интернациональные, хотя парень способный. Разболтался в интернате.

— Так он в каком классе? — спросила Тоня. — Это ведь в младших классах отличников много, а потом все меньше и меньше. Жизнь для них все сложнее делается.

— Это вы правильно подметили.

— А вот младший, Юрка, мой любимец, — сказал Коля.

— Ну, зачем... — начал Дроздов, но старшие сыновья отнеслись к этому высказыванию отца вполне хладнокровно.

— Ну, вы, семья, — крикнул Коля и повернулся к Дроздову: — Вот, Леша, так все и идет. Как женился, ни разу не выспался.

— А ты думаешь, я выспался? — вдруг спросил Дроздов, обозлившись. — И я, мой милый Коля, не выспался ни разу, да и не высплюсь уже, — проговорил он, едва скрывая раздражение. — Понял? Такая жизнь и время, наверное, такое. Думаешь, мне легко?

— Отдельные высыпаются, — сказал Елохов.

— Ты бы жену пригласил. Тоня, пришла она? Пригласи, старик.

— И аппарат принесите, снимите нас на память.

Елохов поднялся и, прихрамывая, пошел к дверям.

— Ранение? — спросил Дроздов, когда он вышел.

— В Пруссии ему закатало. А ты на сколько к нам, Леша?

— Дней на шесть. Лететь скоро надо. К семье заскочу на денек, и привет Москве, — он подмигнул пацанам,

которые смотрели на него из-за приоткрытой двери, и добавил для них: — В жаркие страны...

Он опустил голову и покрутил головой, желая избавиться от видения — море, зной и белый теплоход, уходящий в марево, все дальше и дальше...

Он, Дроздов, как бы находился сейчас между прошлым и будущим, и ему казалось, что прошлое для него дороже, но это только так казалось, потому что прошлое было действительно прошлым, прошедшим, было безвозвратным, а будущее было, в сущности, рядом, в нескольких летных часах от него. Но и это будущее — это строительство — было во многом очень знакомо ему, оно было похоже на прежние стройки, напоминало их и потому в чем-то тоже было почти прошлым.

После этой тихой осени здесь будет еще долгая осень с холодными дождями, с непролазной грязью, и лишь затем подморозит, и придет долгая прочная зима — так для всех, а для него после этой осени, которую он сохранит в душе, будет дикая жара, пот, перегретые механизмы и песок, песок везде — на зубах, в карманах, в моторах.

Но его машины неприхотливы, а сам он еще менее прихотлив.

Вернулся Елохов с женой, она была такая же, как Тоня, худенькая и усталая, подойдя к Дроздову, она протянула руку и, не зная, как представиться, произнесла :

— Как сказать-то? Ну, Елохова.

Она села рядом с Тоней, и обе они, не скрывая своей усталости, почти не участвовали в разговоре. Они насыпали в глубокую тарелку брусники, залили кипяченой водой, подсластили и стали хлебать ложками. Предложили попробовать и Дроздову, — не забыл ли? — и он зачерпнул несколько раз из их тарелки, чувствуя во рту кисло-сладкий железный вкус, чудесный, как в детстве.

Елохов стал всех фотографировать, после каждого кадра он для зарядки включал в сеть лампу-вспышку и терпеливо ждал.

А Коля твердил, обращаясь к женщинам:

— Ну, вы, история с географией! — было видно, что острит он так не первый раз.

Потом Елохов, перегнувшись со стула, шарил по полу среди бутылок, бормоча:

— Сейчас мы им ревизию сделаем.

А Дроздов вновь пытался завести с Колей разговор о Марусе.

Потом Дроздов прощался со всеми, многократно отказавшись оставаться ночевать, и Коля пошел его провожать до гостиницы.

Они шли по скользким деревянным тротуарам, под которыми слабо журчала вода, Коля поддерживал Дроздова под руку. Дроздов все же провалился одной ногой в щель, но вторая нога стояла твердо, и Коля не дал упасть, так что все закончилось благополучно. Дроздов опять возмутился, что не чинят тротуары, а Коля даже не обратил внимания на случившееся.

У подъезда гостиницы они распрощались, и Николай быстро, гораздо быстрее, чем шли они вдвоем, деловито зашагал по деревянному тротуару и сразу исчез в темноте.

Он ловко шел по скользким мосткам и думал о далеком их детстве и юности и о том, что ему не очень повезло в жизни.

А тем временем Тоня, уложив детей и убрав со стола, уже легла, бегло подумав, что завтра у нее только три урока, но заседание педсовета, и размышляя над тем, что нужно купить и сготовить к завтрашнему приходу Дроздова.

А Елоховы ушли к себе и также легли, и жена сказала:

— А он простой.

— Да, но вообще-то зазнается.

— Ну, почему! — не согласилась она.

А старшим мальчишкам Пьянковым уже снились далекие жаркие страны, куда полетит дядя Леша, тигры, слоны и обезьяны среди высоченных, как сосны, пальм.

В коридоре было темно, лишь на столике дежурной горела зеленая лампа. Дроздов прошел к себе, умылся и, разобрав постель, лег на холодные, чуть влажные простыни. Заснул он быстро, и всю ночь снился ему длинный пестрый сон, где присутствовали Надя и Олег, и министр, и космонавт Николаев, и дельфин Флиппер, и Коля Пьянков с семьей, и еще множество действующих лиц: парень, спавший без постели в поезде, проводница, похожий на девочку Ваня, с которым он учился, Маруся, глядящая ему в глаза, его заместитель, и главный инженер, и Елохов с фотоаппаратом. Этот сон то прерывался, то продолжался снова, и сам Дроздов участвовал в нем то теперешним, то почти непохожим и юным.

Просыпаясь, он дико взглядывал на светлеющее окно, за которым роняли желтую листву старые тополя, и вновь погружался в сон, не подозревая, что завтрашний день готовит ему что-то совсем новое и неожиданное.

7

Утро было теплое, чуть влажное, Дроздов до завтрака, в одном свитере, с непокрытой головой, вышел к киоску «Союзпечать» и купил вчерашние газеты. Над палисадниками, над коньками крыш и между старыми тополями рассеивался туман, и все большее место занимало в этом утре солнце. По деревянным тротуарам спешили на работу люди. Дроздов лишь сейчас сообразил, где же находится эта гостиница, которой раньше не было, и вдруг понял, где должна быть их школа, где дом Маруси, где река.

С трубкой газет под мышкой он вернулся в гостиницу и направился по коридору к лестнице, мельком обратив внимание на молодую красивую женщину, иду-

щую ему навстречу. Он взглянул на нее мимоходом, машинально задержался взглядом на ее фигуре и лице и с удивлением заметил, что она смотрит на него особенным образом, как на знакомого, ожидая от него какого-то действия. Боясь, что это могло ему показаться, он, однако, приподнял голову для кивка и поднял брови для изображения удивления, но лишь настолько, что, если тут же выяснится, что он ошибся, можно было бы перейти на совсем другое движение, сделать вид, что у него затекла шея, и он на ходу еще по-утреннему потягивается после сна. Но притворяться не пришлось, потому что она перехватила его готовность поздороваться и тут же поощрила, опередила его, остановившись перед ним и улыбаясь. Все это произошло в течение двух или трех секунд.

— Здравствуйте, Алексей Степанович, — сказала она, глядя на него весело, даже радостно. — Сознайтесь, что вы меня не помните.

— Как, то есть, не помню? Отлично помню.

— Да нет, не помните.

— Помню, помню, прекрасно помню, — говорил Дроздов, тоже улыбаясь.

А машина его памяти, уже включенная, работала на полную проектную мощность. Она у него хорошо работала, эта машина, потому что он привык знать, и знать как следует, тысячи людей. Такой у него был стиль, дроздовский.

— Почему же не помню, помню-помню, — говорил он, продолжая улыбаться, потому что уже вышел победителем в ожесточенной и мгновенной схватке с мимолетным, ускользающим воспоминанием. — Вы в плановом отделе работаете. Хотя я, правда, давно уже вас не видел.

— Я уже год как в Комитет перешла.

— Ну, вот видите.

Больше сказать ему, собственно, было нечего, и он хотел уже попрощаться с нею, — но спросил все же:

— Вы идете завтракать?

— Да. Подождать вас? — спросила она просто.

— Ну, что же, — сказал он. — Я сейчас спущусь, только пиджак надену.

Поднимаясь по лестнице, он невольно ускорил шаги.

— Я в командировке, на ЦБК приехала. Но вы-то почему здесь?

— Я здесь инкогнито. Я сам отсюда, вырос здесь, и вот не был, понимаете, давно очень.

Странно: когда-то в Москве они были едва знакомы, то есть он ее едва знал, а его-то она знала, конечно. Он хорошо знает ее бывшего шефа, начальника отдела, тот и познакомил, сидели рядом на каком-то совещании, а по работе он с ней не мог сталкиваться. Странно: там были едва знакомы, но, встретив ее здесь, он обрадовался, как будто давно мечтал об этом.

Подошла официантка. Коротенький карандашик, которым она записывала их заказ, был привязан к ее карману длинной веревочкой.

— Как у космонавта, — сказала она, едва официантка удалилась, — чтобы не уплыл при невесомости.

— Ишь ты, — удивился он.

— Значит, вы отсюда, — произнесла она задумчиво. — Места здесь удивительные, вы удачно выбрали, где родиться. Мне страшно нравится этот Север, старый русский Север. Эта русская готика хвойных лесов.

— Это что, стихи? — спросил он чуть снисходительно. — А в Курежме вы уже были, вверх по реке поднимались? Вот где красота!

Пока они завтракали и разговаривали, сидя друг против друга, он чуть-чуть недоверчиво улыбался, с удовольствием глядя на ее свежее утреннее лицо.

Потом он хотел заплатить за обоих, но она сказала: «Ну, что вы!» — настаивать он не стал.

Можно было идти, но он закурил, сначала предложив сигарету ей.

— Не курю, спасибо, — она улыбнулась.

— А мне казалось, вы курили. Почему-то помню вас с сигаретой.

Она покачала головой:

— Вы ошиблись. А сейчас и мужчины многие бросают курить. Сила воли или страх. Или одно дает толчок другому?

— Импульс во всем нужен.

— А я вам завидую, — сказала она задумчиво. — Мне это незнакомо: посещение родных мест после долгой разлуки. Я москвичка. Наверно, интересно приезжать на родину? — спросила она просто и оживленно.

— Интересно — не то слово. Воспоминания наваливаются. Вот сейчас пойду погуляю по городу.

— А я сейчас в трест, буду там до обеда, а потом тоже собираюсь погулять.

— Если хотите, могу составить вам компанию, — сказал он, помедлив.

— Хорошо, — ответила она спокойно. — Можно встретиться здесь.

Он вышел на улицу, недоверчиво улыбаясь.

Это было поразительное смешение прошлого, настоящего и будущего.

Домики в палисадниках, каменные степенные здания и едва заложенные, тянущиеся вверх, новые современные корпуса. Все это причудливо перемежалось, и иногда казалось непонятным их соседство, но Дроздов знал, что это лишь потому, что он не знаком с общим планом застройки. Город напоминал одну огромную квартиру, где еще вполне прочно стоит столетняя дедушкина мебель, а рядом с нею легкая, современная, приобретенная детьми и внуками, и слегка смущает лишь то обстоятельство, что точно такие же вещи у всех друзей и знакомых.

Марусиного дома не было, не было всей улицы, а была совсем другая улица — стандартные четырехэтажные дома розового цвета, чахлые газончики, играющие дети.

Той улицы не было, будто ее вообще не существовало. Будто никогда не было морозного дымного заката за окном и догорающей печки, бросающей на пол зыбкий отблеск, будто не было широкого Марусиного лица, ее добрых глаз и шестимесячных кудряшек, будто не было самого Лешки Дроздова, уезжающего к Москве в красной теплушке, вмерзающего в пористый мартовский снег, стонущего в ночной госпитальной палате.

Розовые дома пытались заслонить его прошлое.

Он прошелся по этой улице, свернул в другую, старую, которую вспомнил сразу, миновал ее, перешел по мосту через пути, заглянул в здание вокзала. По-прежнему он ощущал странную нереальность своего здесь пребывания, но одновременно внимательно смотрел по сторонам. Это был его город. В этом северном городе не было такси, чистильщика обуви, не было носильщиков на вокзале, не было, вероятно, много другого. Но многое, очень многое здесь было. Здесь была современная гостиница, большой кинотеатр, новые дома, точно такие же, как в Черемушках, новый вокзал с автоматической камерой хранения, ходили изящные львовские автобусы. Здесь были нормально оборудованные магазины с хорошим снабжением. Особенно его радовало обилие привозных фруктов. Люди несли в авоськах яблоки, абрикосы, арбузы, виноград. «Вот так и нужно снабжать северные районы», — думал он с удовлетворением.

В общем, — это была обычная жизнь, все как полагается.

Он задумчиво пересек площадь и вышел к реке. Должно быть, река действительно сильно обмелела за лето, особенно здесь, в своем верховье, ее сузило жарой, и она немножко разочаровала Дроздова, в его памяти осталось нечто более внушительное. За рекой белели песчаные отмели — пляжи, где он купался столько раз, а еще дальше темнела зубчатая полоска леса. Погода совсем разгулялась, было тепло, голубело небо, и лишь вода была по-северному холодной и серой.

Дроздов спустился по деревянной скрипучей лестнице вниз к дебаркадеру. Там все было как на корабле, — трап, окованный железом, иллюминаторы, хронометр на стене. На дебаркадере была и своя гостиница, и он немного пожалел, что живет не здесь. Здесь всю ночь плещет в борт волна, слышны голоса команд со швартующихся судов, гомон пассажиров, гудки.

И сейчас, смутно тревожа Дроздова, у борта стоял большой теплоход, и была уже объявлена посадка, — вниз, на Архангельск, и рябило в глазах от воды.

Потом Дроздов сидел наверху на скамье и смотрел на реку, потом снова бродил по городу, задумавшись о своем и порою непроизвольно взглядывая на часы.

8

— Да, память у меня неплохая. Но должен вам честно сказать: не помню, как вас звать.

— Маргарита Александровна.

Она шла рядом с ним по деревянному тротуару и чуть касалась его плечом, когда нужно было дать дорогу идущим навстречу.

— А мне, чтобы попасть в свою юность, достаточно завернуть за угол, — говорила она. — Там моя школа. Но я тоже очень редко туда сворачиваю, только случайно...

Он слушал ее и почти не слышал, выключаясь, как он умел, лишь как бы между прочим ощущая ее присутствие, а в его душе откликались ему домики в палисадниках, деревянные тротуары, старые тополя. Стояла уже вторая половина дня, ясная, тихая. Было по-настоящему тепло последним теплом осени, и это действовало расслабляюще, утомляло, хотелось остановиться или сесть и не двигаться, подставив лицо осеннему солнцу. Они шли медленно-медленно.

— И долго простоит такая погода? — спросила она.

— А это посмотрим в среду. Тогда бабье лето начинается. Если утром на порог выйдет первой девка баская,

то все в порядке, ясная будет погода, теплая... Примета такая, — пояснил он на всякий случай.

— Как вы говорите?

— Баская, ну, значит, красивая, — он хотел добавить: «Вроде вас», но тут же решил, что это будет лишнее, -- а выйдет первой замухрышка какая, тут все пропало. Вообще, над этим контроль бы надо установить, привлечь общественность. А то ведь красавицы спят дольше.

— Баская, — сказала она задумчиво.

Они были уже на окраине города, вдали, на холме чернела церквушка, а за нею светилась полоска воды.

Навстречу им шла пара. Девушка и парень, оба сильно наклонившись друг к другу, прижимаясь плечами, как бы опирались друг на друга, похожие издали на печатную букву «Л». Они шли как во сне, пришлось уступить им дорогу.

Дроздов считал себя человеком современным, такие сцены его не раздражали, но сейчас он представил себе, что вот он, молодой, идет эдаким манером с Марусей, и усмехнулся, так это было неправдоподобно и нелепо.

Дроздов и Маргарита Александровна по-прежнему медленно шли по тротуару под еще теплым осенним солнцем, и он вдруг обнаружил странное ощущение: будто оба они живут здесь давно и просто вышли пройтись, прогуляться, как обычно, как всегда.

Они подошли к типовому серому зданию Дворца культуры, огромному, с колоннами, и хотя колонны были архитектурным излишеством, Дроздов гордился перед ней этим дворцом, который тоже видел впервые, так, будто сам построил его.

— Как Большой театр, — произнес он с удовольствием.

На фасаде висели афиши и объявления, и она сказала:

— А вот, видите: «Открыта выставка самодеятельных художников». Зайдем?

Они прошли через пустынный, полутемный вестибюль и фойе, невольно стараясь не шуметь, почти на цыпочках, и попали в маленький светлый зал, где и размещалась выставка. Там висели картины, стояли глади-

олусы из материи и поролона, деревянные зверюшки. Под каждой работой подпись: фамилия и профессия автора.

Дроздов наклонился, рассматривая фигурки, когда услышал ее шепот: «Посмотрите сюда!»

Он обернулся. В простенке, поблескивая и отсвечивая, висела большая картина. Она называлась «Наш красный сигнал».

На ней было изображено железнодорожное полотно с одним лопнувшим рельсом. Между шпалами, на шесте, висели красные трусики. А рядом застывшие, неподвижные трое детей. Девочка, пожертвовавшая трусы, совсем голенькая сидела сбоку на сложенных шпалах, подложив под попку книжку, обхватив руками колено, с томным, понимающим видом. Вблизи с безучастным выражением лица стоял мальчик, а следом столь же нелепо-неподвижно, в одних трусах, еще девочка, с вполне сложившимися формами. Оба они смотрели из-под руки вдаль, навстречу поезду. Кожа у всех троих была какого-то сероватого оттенка, но выписано все было чрезвычайно аккуратно и покрыто лаком.

— А что, смешно, — сказал Дроздов.

— Может быть, вы и правы, потому что это пародия. Жаль, что художник не знает этого.

— Т-сс, — он отвел ее к другой стене, сообразив, что сидящий возле картины человек и есть автор, а рядом на столике лежит книга отзывов. Он кого-то напоминал Дроздову, — смотрел гордо, с достоинством, будто знал еще что-то дополнительно.

На другой стене висели небольшие картины: «Ветер», «Лес», «Поле», и на них действительно гнулись под ветром кусты, взлетали ввысь красные на закате стволы сосен, темнели вдали стога. На одной картине было нагромождение различных судов, стоявших тесно, почти касаясь друг друга, под ними застыла зеленая вода, а наверху тянулась улица с маленькими домиками, деревянный тротуар, осенние рябины. Картина называлась «Улица адмирала Ушакова».

Они опять прошли через полутемное фойе, где висели портреты писателей-классиков, и она спросила, кивнув на Чехова:

— Знаете, какой у Чехова был рост?

— Рост? Небольшой, наверно.

— Сто восемьдесят шесть сантиметров, — сказала она торжествующе.

Ее несколько разочаровало, что он не слишком удивился.

Около дворца остановился автобус, Дроздов вдруг потянул ее за руку, они бросились к открывшейся двери и едва успели вскочить. Автобус, раскачиваясь, нешибко катился по разбитой дороге, вдали темнел лес — он здесь со всех сторон, лес, лес, — над ним, уже склоняясь к вечеру, стояло нежаркое солнце.

— Куда мы едем? — спросила она тихо.

— На судоремонтный завод.

Они сошли у затона и долго смотрели на корабли, заполнившие всю его акваторию, — буксиры, баржи, катера, новенькие пассажирские теплоходы. Они ремонтируются здесь и зимуют. Под ними мерцала, отражая их трубы и борта, недвижная, зеленая у берега вода. Казалось, суда тоже стоят разморенные последним осенним теплом.

По грязной дороге они долго обходили затон, пока не очутились на привычном деревянном тротуаре. Над ним склонялись рябины, и на досках тротуара густо краснели осыпавшиеся, раздавленные ягоды.

Он тронул ее за руку:

— Посмотрите.

На домике была прикреплена дощечка с надписью: «Улица адмирала Ушакова», и она тут же узнала все — и затон, и тротуар, и рябины, — и оба они обрадовались, будто это было очень важно.

— Я бы хотела приехать сюда в отпуск. Я всегда во время отпуска путешествую. Мне здесь нравится.

Вдали, над затоном, в густеющей дымке, смутно ловел перелесок.

— Как мираж, — сказала она.

— Почему мираж? — удивился он. — Ничего общего.

— А вы наблюдали мираж?

— Конечно. Много раз.

Они дождались автобуса и поехали в сторону города.

— Сейчас я в гости иду, — сказал он небрежно и почувствовал, что ему неохота с ней расставаться. Хорошо бы не ходить, поломать это дело. Или взять с собой. «Знакомьтесь, товарищи. Моя жена».

— Чему вы улыбаетесь?

— У меня плохая память на отчества. Можно, я буду называть вас Рита? Что вы делаете завтра?

— Завтра мне нужно поехать в Курежму.

Он помедлил:

— Я ведь тоже собираюсь. Вы едете одна?

— Да, катером.

— Это не годится. Удобнее туда поездом, а катером обратно. Но ведь завтра короткий день, надо рано выехать, чтоб вам успеть, первым поездом. Вы не проспите?

— Я рано встаю. Я дома до работы еще в Лужники езжу на теннис. Уже приехали?

У входа в гостиницу они остановились.

— Значит, я за вами зайду. Какой у вас номер?

Опять он сидел у Пьянковых, опять женщины хлебали бруснику из глубокой тарелки, а Елохов фотографировал, потому что накануне неважно получилось — он уже успел проявить пленку, — и опять выглядывали из соседней комнаты мальчишки. А Дроздов чувствовал себя здесь совсем уже свободно, совсем своим, он смотрел через стол на круглое, доброе и дорогое Колино лицо, слушал его голос и, поднимая вместе со всеми рюмку, уже привычно удивлялся: неужели он здесь не был двадцать два года? Это выглядело диким, потому что, когда он видел Колю, он сам себе казался почти молодым.

— Дожди пойдут, — говорил Коля, — дороги раскиснут, вывезти ничего не успеют, и нас с Елоховым в район мобилизуют, по колхозам, по леспромхозам, в помощь, понимаешь.

— Вернутся заросшие, как из Антарктиды, — сказала Тоня.

— Некогда бриться. А условия там нормальные, — вступил Елохов. — Я был вот прошлый год в поселке коммунистического быта при леспромхозе. Неплохо живут, хорошо. И доверие, сознательность, — в столовой пообедал, а платить можно потом, никто ничего не скажет. Порядок там такой: тунеядцев как привозят, сразу женят. Женсовет собирается и решает. Ну, они сразу остепеняются, тунеядцы. Там женсовет — сила!

— То есть как женят? — изумился Дроздов. — На ком?

Елохов хмыкнул:

— На ком! Добровольно, конечно. Которая хочет, та и выходит. Я там присутствовал, одного семейного обсуждали: был в бараке у бабы. Жена его говорит: «Он был пьяный, полчаса полежал у порога и домой пошел». Не хочет, значит, жена раздувать. А одна из женсовета: «Нет, говорит, я видела, он в четыре часа утра от нее ушел»... Еще присваивают звания семей коммунистического быта. Условия такие: первое — уважать друг друга...

— А любить? — спросила Тоня, но он оставил вопрос без внимания.

— Второе — хорошо работать, третье — чтобы у детей не было троек, четвертое — чтобы в семье не было блуда, и так далее. Обсуждают, отдельным отказывают. Вот одна на обсуждении говорит: «Не достойны. У них свекровь на невестку ругалась, я слышала», — и отказали...

— Послушайте, товарищ Елохов, — перебил его Дроздов, — вы меня извините, но ведь то, что вы рассказываете, отвратительно. Черт знает что! Роются в грязном белье и с какой охотой! Доверия к человеку никакого, в столовой только и доверяют. Там что, парторганизации, что ли, нет! И райком куда смотрит!..

— Ну, почему, — Елохов очень обиделся, — поселок передовой, культурный. Клуб хороший, кружок изобразительный. У меня брат художник, ездил туда три раза на общественных началах, помочь кружку.

— Художник? — спросил Дроздов. — Слушайте, это он нарисовал картину «Наш красный сигнал»?

— Нет. Почему? Какой сигнал? — удивился и вконец обиделся Елохов.

— Давайте лучше выпьем, — сказал Коля примирительно.

Потом Дроздов и Коля стали вспоминать, как они призывались и в холодный осенний день шли строем от военкомата к вокзалу и по мосту через пути, как грузились, — и эти воспоминания сладкой болью отзывались в сердце. Как ехали в теплушке, и дымила печка — жестяная труба была плохо скреплена в колене, а никто не поправлял, не интересовался.

— Тебя кто провожал? Мать, я помню.

— А тебя тетя Катя.

— И Маруся такая была. Неужели не помнишь? — и еще зачем-то объяснил женщинам, которые внимательно слушали: — Девушка у меня была тогда, Маруся.

— Нет, Марусю не помню.

Дроздов на миг выключился, как он умел, мимоходом, чуть отчужденно подумал о Рите. Все-таки мысль о ней доставила ему удовольствие.

— ...И она меня тоже провожала. Зина. Не помнишь?

— Да, — неожиданно вспомнил Дроздов, — в сапогах.

— Точно, — засмеялся Коля. — Она и сейчас здесь живет. Тоня вот только ревнует.

— Полно тебе.

Дроздов посмотрел на часы:

— Ну, ладно. Спасибо хозяевам, пора мне идти.

— Сиди.

— Я же завтра в Курежму еду.

— Вот это ты молодец. Посмотри, чего там понастроили. Жалко, раньше мне не сказал, я бы отпросился, с тобой бы съездил.

В коридоре было темно, лишь на столике дежурной горела зеленая лампа.

Идя по коридору, он удалялся от зеленой лампы.

Конец коридора тонул в темноте, и он с трудом различал номера на дверях. Из-под ее двери пробивалась узенькая полоска света.

Он постоял несколько секунд, чувствуя возрастающее желание тихонько постучать в дверь, но не решился.

У себя в номере, не зажигая света, он долго смотрел в окно. Вдали, за тополями, кое-где мигая, горели во мраке огоньки — люди не спали, готовясь к труду или ко сну, к отдыху или к дороге.

Он медленно разделся. Он знал, что его возбужденный мозг не даст ему сразу заснуть. И еще ему мешало что-то, он долго не мог понять — что же именно, и это мучило его, пока он не догадался: ему нужно было подумать еще о строительстве, о своих людях, о ломающем воду белом теплоходе.

9

Раннее утро было ясным и холодным. За ночь лужицы стянуло пленкой льда, на оградах и опавшей листве густо лежала изморозь. Дрожа от холода, они почти бежали по деревянным тротуарам, оставляя на инее четкие следы, — она держала его под руку, и это несколько мешало ему, — прошли над путями по влажно блестевшему мосту.

— У вас вчера поздно свет горел.

— Это моя соседка к докладу готовилась. Врач из района, на совещание приехала.

Он закашлялся, закуривая.

Поезд уже стоял у платформы, и едва они сели в старый, бывший когда-то вагоном дальнего следования, а ныне пригородный вагон, разгороженный трехэтажными полками, едва они успели вскочить, как он тронулся.

Вагон был почти пустой, они сидели у окна, друг против друга, и смотрели сквозь грязное стекло на уже освещенные солнцем красные стволы сосен, на волны хвои, седой от изморози.

На первой остановке вошло много народу, и сразу началась проверка билетов, но оказалось, что это не ревизоры, а продажа билетов прямо в поезде, — такого Дроздову не приходилось видеть в Союзе, только за рубежом.

Здесь были все знакомые между собой люди, каждое утро ездившие вместе на работу и каждый вечер возвращающиеся.

Рядом компания играла в подкидного, шумя, и смеясь, и называя пики винями; позвали играть и их, но они не стали. Сидящая сбоку бабка с корзинкой рассказывала своей соседке про внучку, — и было непонятно — случайная ли попутчица ее собеседница или старая подружка. Бабка сочувствовала своей внучке:

— Дак везде деньги-т. А она молода. На шпильки сколько надо? — Под «шпильками» она имела в виду туфли.

Дроздов, уже давно опомнившийся от сна, но еще в состоянии как бы заторможенности, впитывал в себя все это, такое знакомое и близкое ему, смотрел в окно, по сторонам, улыбаясь, взглядывал на Риту.

Потом все разом поднялись, и они тоже, спрыгнули на междупутье, в еще холодное, бодрящее, уже пронизанное солнцем утро, прыгая через рельсы, добежали до автобуса и понеслись по новой дороге в новый город — уже открывающийся сквозь редеющий лес. Они уже видели огромные корпуса и трубы комбината, прямые и широкие, такие знакомые улицы, застроенные по типовым проектам.

И Дроздов, прильнув к автобусному окошечку, с волнением и гордостью смотрел на этот новый город и комбинат — уж он-то знал эту, ни с чем не сравнимую радость, когда на голом месте твоей волей и трудом поднимается город.

В ее присутствии он чувствовал это острее.

Они наскоро позавтракали в кафе «Молодежное» и расстались возле заводоуправления, договорившись встретиться здесь через три часа.

И он пошел по городу. Этот новый город был похож на сотни новых городов, но для Дроздова он был особенный, единственный город. Здесь было оживленнее, чем в старом городе, больше молодежи — в спецовках и ватниках и в модных коротких плащах и пальто. Потеплело. Вдоль выложенных плиткой тротуаров шелестели последней редкой листвой уже набирающие силу насаждения. И если в старом городе больше всего было тополей, то здесь на каждой улице росли разные деревья — была улица и тополиная, и обсаженная березой, и липой, и даже рябиной. «С душой сделали», — подумал Дроздов.

В распахнутом плаще, держа в руке кепку, он неторопливо шел по тротуару. Сперва он думал побродить только внутри города, а к реке выйти уже вместе с ней, но теперь изменил свое решение. Оставляя комбинат слева, он все убыстрял шаг, не замечая этого, и шел к реке по прямой недостроенной улице. Сначала он видел впереди только небо, потом далекий лес на том берегу, потом самый тот песчаный берег и вдруг увидел все сразу, — у него перехватило горло, и он остановился, потрясенный открывшейся картиной.

На той стороне светлели песчаные берега, редкостные здешние пляжи, прямо над ними, дальше, сдержанная пестрота осеннего северного леса, где преобладали темные краски елей. А ближе — самое главное, занимающее более всего места в этом пейзаже — река! Очень широкая, темно-серая, осенняя, и кое-где по ней шли отдельные светлые, ясные полоски, как в море бывают полосы воды разных цветов. И плоты, плоты, широкие и еще более длинные. Их вели вниз буксиры, а на плотах — шалашики, костерки — жизнь. Повсюду лес в воде — здесь это главное — и выкаченный лебедками из воды, в штабелях, уже высохший, серый, и мокнущий в воде, и далеко от берега, на самом краю неподвижных плотов, баба, согнувшись, полощет белье.

Справа, вдали, над темным лесом монастырь, отсюда ушел Ермак Тимофеевич воевать Сибирь, здесь снаряжался. Темные ели, темно-серая река и темные облака над ней — и среди всего этого, холодного, — неожиданная светлая полоска — и на воде, и в небе, и на берегу...

И множество катеров, буксиров, моторок, ежеминутно взламывающих серую гладь воды.

Если бы здесь жить и работать, и чтобы окна выходили на реку! Все бы само собой делалось, по крайней мере у него, это уж точно!

«Почему такая судьба? Почему, если я так люблю эти места, я никогда здесь не бываю, почему я должен работать за много тысяч километров отсюда, где ничто не напоминает мне об этих краях! Почему я должен давить себя во всем?» — думал он, но в глубине души сознавал, что все это не совсем так, что все это не так просто.

— Вы не очень долго ждали?

— Пойдемте, скоро катер.

Он вел ее по прямой недостроенной улице, она говорила о ЦБК, о его первой очереди, о его второй очереди, о его мощности, сыпала цифрами, все время поворачивая голову в сторону комбината. А он не слушал ее, он шагал и думал: «Погоди, я тебе сейчас покажу. Ты такого сроду не видела».

И действительно, едва они вышли к реке, речь ее оборвалась, она только сказала:

— Вот это да! — и замолчала.

Внизу, по широкой серой воде шли плоты, двигались катера и моторки, один буксирчик пришвартовался к барже и повел ее как бы под ручку. Противоположный берег сверкал белым песком, в котором там и тут торчали отставшие бревна, пестрел и темнел далеким зубчатым лесом. Справа белел монастырь, откуда ушел Ермак, и Дроздов сообщил ей об этом факте.

— А здесь что было? — она кивнула на дома нового города, уже выходящие сюда, к обрыву.

— А здесь, моя милая, была моя деревня. Я здесь родился.

— Нет, серьезно? — она глядела вдаль, за реку, на открывшуюся панораму. — Удивительная красота. Просто Нестеров.

— Какой Нестеров? — спросил он, не понимая.

— Михаил Васильевич Нестеров. Великий русский художник, один из самых блестящих мастеров.

...Ага, Нестеров... Значит, это его пробел. Он знал, что у него есть подобные пробелы в общей подготовке и не стыдился этого, а старался от них избавиться.

— Где можно посмотреть?

— В Третьяковке прекрасный Нестеров, в Русском музее. Он не только пейзажист, но и портретист превосходный. А портрет Павлова вы, наверное, знаете?

— Академик Павлов? — Дроздов вытянул руки, сжав кулаки. — Это его?.. Я-то хорошо знаю о другом Нестерове, о Петре Николаевиче, летчике...

— Мертвая петля?

— Да. Петля Нестерова. И первый таран.

Они спустились к пристани и вместе с другими смотрели, как подходит катер — речной трамвай, какие ходят по Москве-реке, ждали, пока сойдет народ, а потом поспешили в нижний салон, наверху ехать было слишком холодно.

Немного обидно плыть по такой прекрасной, такой северной реке в привычном речном трамвайчике. Прошел по левому борту город, целлюлозно-бумажный комбинат, близко, у самых окон, проносилась назад вода.

— Сольвычегодск уже. Пошли.

Они поднялись на палубу.

Тучи разорвало, и вверху стояла ясная холодная голубизна, солнце резко освещало реку и старинный городок на высоком берегу, где главенствовал удивительной стройности и красоты белый собор с зелеными луковицами и погнувшимся шпилем.

Катер привалился к пристани, и они побежали вверх по деревянным ступенькам и потом вокруг оврага к собору, они боялись, что рано закроют музей, потому что была суббота.

Он не дал ей остановиться и читать славянскую надпись на воротах, он протащил ее вперед, и вовремя: женщина-экскурсовод уже навешивала на двери огромный амбарный замок, они с трудом умолили ее пустить их ненадолго.

Их шаги гулко раздавались в пустом соборе. Лики святых глядели на них своими огромными глазами. А наверху, в зале неожиданно оказалась галерея современной живописи — из запасников лучших музеев, как сказала экскурсовод, — и дико было видеть на этих древних стенах изображение защиты дипломного проекта и загорелых гребцов с эмблемой «Динамо» на майках.

После этого они попали опять в старый зал, и бегло, не желая задерживать экскурсовода, рассматривали иконы, утварь — пряничные и набивочные доски, подголовный сундучок для ценностей (чтобы не украли во время сна, в дороге, наверно), туеса, одежду, посуду, чернь по серебру (устюжскую или тогда и здесь чернили?). Особенно заинтересовали Дроздова переносные пушечки на деревянном основании, совсем крохотные, длиной порядка 300 миллиметров.

— Пойдемте, — позвала Рита. — Неудобно.

— Спуститесь вниз, — хмуро сказала женщина-экскурсовод, — подождите меня, я запру, и каменные мешки посмотрите. А то как же без них...

— Да-да, мешки, — вспомнил Дроздов.

Это была тюрьма, подземная каменная тюрьма, построенная под собором, одновременно с ним, в шестнадцатом веке именитыми людьми Строгановыми, их «усердием и иждевеньем», пока они еще не ушли отсюда на восток, чтобы стать владыками Урала и Сибири.

Внизу было полутемно и холодно.

— Вот это мешки-камеры, — с привычной значительностью сказала женщина-экскурсовод, — в эти отверстия в нижней части стены бросали узников, сквозь них же подавались еда и питье, часто они замуровывались. Внутри за этим мешком следует второй. Можете, если хотите, попасть туда.

На корточках, почти ползком, Дроздов, привычный еще и не к такому способу передвижения на своих стройплощадках, пролез сквозь довольно узкое отверстие внутрь мешка и подал руку Рите, помогая ей.

Они близко стояли в полумраке средневекового каменного мешка, держась за руки. Слабый свет падал на бледное лицо Риты, и Дроздов слушал гулкие, как набат, звучные, каких он никогда не слышал, удары собственного сердца.

— В тысяча девятисотом году, — донесся голос женщины-экскурсовода, — мешки были вскрыты и отсюда вывезено девять возов костей.

Стояла уже вторая половина дня, самое ее начало, ясное, бодрящее холодным неподвижным воздухом, и лишь с солнечной стороны было тепло.

Они обошли вокруг собора, мимо поразительно толстых, в два обхвата, берез, — они проверили: обхватили вдвоем ствол и едва смогли встретиться пальцами.

— Как дубы!

Они миновали высохший пруд, где Строгановы разводили когда-то искусственно жемчуг, прошли мимо крытой танцплощадки и остановились над рекой, подставив лица солнцу.

Вдали дымили трубы Курежмы, комбината, где они были недавно. Рядом с собором стояла мачта высоковольтной передачи, а следующая уже за рекой, и провода шли в голубизне, а глубоко внизу холодно светилась вода. Из города в Курежму, вверх по реке, прошел речной трамвай. На его задней палубе кто-то вез зеркальный шкаф, пускавший огромных солнечных зайцев по воде и по окнам домов.

Рита захотела посмотреть, какие на берегу камушки и есть ли ракушки, и стала спускаться по крутой тропинке, а Дроздов остался стоять над высоким, укрепленным камнем, обшитым лесом обрывом.

И глядя, как она спускается, боком, осторожно ступая и придерживая темные разлетающиеся волосы, он вдруг подумал, что, может быть, эта женщина и есть та самая, единственная, которую может посчастливиться встретить в жизни. Как и почему возникла эта мысль или это чувство, он, вероятно, не смог бы объяснить, но факт тот, что это возникло.

«Первая любовь, — усмехаясь про себя, подумал он. — Не поздно ли? Но ведь у меня ее не было. А говорят, должна быть обязательно. Жаль, что Рита работает не у меня. А что, если предложить ей поехать на строительство, попросить, чтобы оформили побыстрее». Он с сожалением подумал о Наде, о том, что она хорошая, но, наверно, он никогда не любил ее, о том, что привык жить в разлуке с нею. Он подумал — вместе — об Олеге и Рите, это показалось ему странным. «Взять ее с собой? Да я ничего не знаю о ней, я даже не знаю, замужем ли она или нет. И не хочу знать».

Он стоял высоко наверху, подставив лицо осеннему солнцу, и видел — сразу — всю ширину серой холодной воды, и темный лес на той стороне, и трубы Курежмы, и маленькую женскую фигурку внизу, под берегом.

«А ведь жизнь-то проходит, — подумал он. Он хотел подумать: «прошла», но тут же улыбнулся: — Ну, ладно, это уж слишком»... Он приехал сюда на свидание с прошлым, и оно незримо присутствовало в нем, но сила его воздействия уже притупилась. Настоящее — всегда между прошлым и будущим, и с двух сторон они бросают свой свет на настоящее. И свет прошлого кажется более четким, ясным. А на самом деле это не всегда так. И свет будущего бывает острее, пронзительней, резче, особенно, когда всерьез ждешь и хочешь чего-то.

Он приехал сюда на свидание с прошлым. Встреча с этой женщиной как бы соединила для него прошлое и

будущее. Прошлое, где он был молодым, и будущее, о котором он сейчас не знал ничего.

Он знал о другом будущем, знал хорошо и видел его явственно: это был утвержденный проект, жара, машины, материалы, и его люди, которых он так хорошо знал и с которыми вместе прошел и сделал уже немало, и контуры домны, и бессонница, и тот белый теплоход, что ломал сейчас океанскую воду, — это было его будущее, ради этого он и жил на земле.

До катера было еще время, они прошли по городу и рассматривали второй, стоящий в стороне от реки собор Введенского монастыря, красно-белый, кирпичный, более помпезный, чем тот, белый, Благовещенский, водогрязелечебницу и рядом озеро, откуда прямо ведрами берут грязь, и домик, где некогда жил сосланный, молодой, никому не известный Джугашвили.

— Смотрите, какое объявление!

«ВОЛК — БИЧ ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ.

Областной конкурс по истреблению волков.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — за наибольшее количество истребленных волков, но не менее семи — 125 рублей.

ВТОРАЯ — не менее пяти — 90 рублей.

ТРЕТЬЯ — не менее трех — 50 рублей.

125 рублей — за уничтожение логова — волчицы и не менее четырех волчат.

Кроме премий за каждого уничтоженного волка, вне зависимости от его пола и возраста, выплачивается госвознаграждение — 50 рублей.

Включайтесь в конкурс по уничтожению волков».

— Как интересно!

— А что, — сказал он, — можно бы остаться, купить ружье и включиться в конкурс.

Они шли к пристани, освещенные осенним солнцем,

и все это было нереально, невозможно, необъяснимо. «Неужели я только позавчера приехал из Москвы? Правда, как мираж. Ничего не скажешь»...

Они опять сидели в тесном салоне речного трамвая, друг против друга, касаясь коленями, было тепло и клонило в сон, а снаружи, очень близко, почти на уровне окна, пролетала выпуклая северная вода. Катер подходил к пристаням, то на одном берегу, то на другом, и в салон все больше набивалось народу, видно, на палубе стало совсем уже холодно. Рита задремывала, а временами поднимала голову и взглядывала на него, виновато улыбаясь. Вечерело. Внутри стало совсем темно, но электричества не зажигали, а за окном долго еще горели краски холодного северного заката.

С одного борта катера бежала яркая, окрашенная красным, будто подсвеченная снизу, вода, а с другого — темная, свинцовая, мрачно-серая, где иногда лишь проступали розоватые блики. Потом возникла вода совсем другая, даже в темноте светлая-светлая, почти серебряная.

— Марке, — сказала Рита сонным голосом.

— Нет, это не Марке, — ответил он, не интересуясь, что это за имя, — нет, Маргарита Александровна, это не Марке, а Вычегда при слиянии с Северной Двиной. Вот так-то.

Катер подвалил к дебаркадеру, народ стал выходить, и они, внизу, еще долго ждали, пока до них дойдет очередь.

Было очень холодно, они бегом пересекли площадь, перешли через пути по мосту, замерзшие, голодные.

— Кафе сейчас уже закрыто. Пошли сразу в ресторан...

Ресторан помещался отдельно, не в гостинице, хотя и близко от нее.

Они сели за маленький столик, объединенные этим длинным днем, долгой поездкой, редкостной красотой увиденного, даже холодом, встретившим их на берегу.

Висели на окнах и дверях бархатные желтые портьеры, играла радиола, но никто не танцевал. Подошла официантка с карандашиком на веревочке, приняла заказ.

Дроздов налил себе и Рите, и она, не споря, выпила большую рюмку водки, и еще одну, раскраснелась и призналась, что вообще не пьет совсем, разве что немного сухого вина. Негромко играла радиола. По стеклам ударили редкие капли дождя.

— Можно идти, — сказал он.

— Посидим еще немного, — она улыбалась чему-то, он не спрашивал — чему.

Вдруг, словно кто-то толкнул его, он поднял голову. В конце зала накрывала на стол полная пожилая официантка, которую он словно встречал прежде и на которую теперь он смотрел во все глаза. Машина его памяти работала на полных оборотах, и следом его будто обожгло: ему показалось, что это Маруся. Конечно, он не был уверен окончательно. Официантка поставила на стол закуски и исчезла за портьерой.

— Пойдемте, — сказала Рита.

В коридоре на столике дежурной горела зеленая лампа.

— Моя соседка дома? — спросила Рита.

— Ваша соседка рассчиталась и выехала, — услышал он, — так что вы теперь одна.

Рита взяла ключ и медленно пошла по коридору.

— А вам из Москвы звонили два раза. Велели, как вернетесь, позвонить, — дежурная прочла вслух фамилию замминистра и номер его домашнего телефона.

— Отсюда можно позвонить?

— Можно, но талон нужен.

— Тогда я пойду за талоном, — сказал он громко.

Переговорный пункт помещался близко, и Дроздов, купив два талона, вскоре уже шел по деревянному тротуару к гостинице, решив позвонить из номера. Дождь

усилился — холодный, с резким ветром, он бил Дроздова по коленям, разбрасывая короткий плащ.

В номере Дроздов переоделся, заказал Москву и, ожидая, подошел к окну. Где-то вдали, дробясь и отражаясь в лужах, горели огоньки. Монотонное шуршание дождя сменялось звенящими дробными ударами и целыми очередями, когда ветер склонял струю на жестяной карниз. За окном, во мраке, под дождем, прочно стоял прекрасный город его юности.

Зазвонил телефон.

— Москву-т возьмите, — сказала телефонистка.

— Как отдыхается, Алексей Степаныч? — спросил замминистра. — Ну, и хорошо. Тут такое дело. Теплоход твой идет с опережением. А там не только министр стали и недр, но и президент хочет приехать, встретить и площадки осмотреть. Тебя он хорошо знает, ты все покажешь. Надо будет тебе вылететь на день-два раньше, для прочности — на три. Давай, завтра выезжай, послезавтра будешь в Москве, во вторник вылетишь.

— Что же, Курочкин не может показать?

— Лучше, если ты подскочишь.

Он постоял у окна, потом вышел в коридор, углубляясь в полутьму, удаляясь от зеленой настольной лампы. Еще не дойдя нескольких шагов, он увидел полоску света под ее дверью и, словно прогуливаясь, неторопливо повернулся и пошел обратно.

Звонок домой он решил отложить до утра, а сейчас быстро разделся, умылся и лег на холодные простыни и, к своему удивлению, стал погружаться в сон, стараясь не противиться этому. Шелестел дождь, струи дробно стучали по карнизу.

Он уже почти заснул, а может быть, и вправду заснул, как вдруг он пробудился, вздрогнул от ощущения смутного, неуловимого, но вполне реального счастья. Он лежал и думал: «В чем дело? Ведь любви-то не было. Один мираж. Это я сам все, наверно, придумал, и ее, и свои чувства, я бы сказал, свои возможные чувства, — и усмехнулся про себя: — Выдал желаемое за действительное».

Да, конечно, никакой любви не было, он знал это твердо, но она была возможна, в этом он тоже был уверен теперь, как никогда. «А ведь всего-то три дня я провел здесь, даже меньше. А кажется, что я здесь давно, очень давно, как все сконцентрировалось! «

Он с нежностью подумал о Коле Пьянкове, о жене его Тоне и мальчишках. Еще недавно они были как бы заслонены Ритой, а теперь снова вышли вперед, дорогие и близкие.

Уже совсем засыпая, он протянул руку, взял со стула блокнот и шариковый карандаш и в темноте, наугад, записал для памяти: «Ознакомиться полнее с М. В. Нестеровым».

Шумел дождь. Было уже очень поздно.

А где-то, по зеленой южной воде, ломая ее, шел теплоход — его жизнь, его судьба.

1965

ГРАФИН С ПЕТУХОМ

Часть первая

1

Он повстречал ее снова через два года, совершенно случайно, как это бывает в войну. Он ждал пересадки на узловой станции, болтался по вокзалу, обошел уже все углы и закоулки и базарчик за путями, где одноногий красавец бросал на фанерном лотке «три листика», продавали нарезанный ломтями хлеб, дымящийся вареный картофель и всякое барахло.

Стояла ранняя весна, чернел спрессованный привокзальный ледок, но в черных железнодорожных лужах непостижимым образом отражалась голубизна. И хотя над этими незамерзшими лужами еще похрустывал легкий морозец, все уже сверкало, слепило глаза.

Он лениво бродил по станции. На левом плече у него висел вещмешок, — именно на левом, чтобы не мешал приветствовать встречных офицеров, — а в вещмешке, тщательно завернутые, лежали два графина с петухами. В каждом графине, внутри, намертво пристывший к донышку, сидел яркий стеклянный же петух с красным гребнем и разноцветным оперением.

Воздушно-десантная бригада, в которой служил он с самого начала, отдыхала сейчас в снежном сосновом лесу, собираясь с силами для нового и, должно быть, скорого десантирования. И тут он получил письмецо от родного дяди, брата матери, жившего в общем-то совсем неподалеку — всего одна пересадка — на маленьком стекольном заводике. «Приезжай на денек, — писал дядя, — попросись, а командирам своим графины привезешь с петухами».

Он и думать не думал, ерунда, кто отпустит! — только гражданскому могло прийти такое в голову, но рассказал, конечно, ребятам. Как-то стояли, курили у землянки, мимо шел начальник ПФС бригады, и Витька Стрельбицкий, парень шустрый, вылез:

— Товарищ майор, разрешите обратиться. Смотрите, у Луткова письмо какое!..

Тот остановился, пришлось доставать письмецо — пробежал и вдруг загорелся, да настолько, что через три дня Лутков был уже у дяди, а через пять ехал обратно.

Есть ему хотелось, но не слишком, в вещмешке оставался еще хлеб, шпиг и домашний тетин пирог. И он после недолгих колебаний купил в вокзале то, чего давно уже не пробовал, забыл, как выглядит, — мороженое за тридцать рублей. Коммерческая цена — тридцать рубчиков отвалил, очень уж захотелось.

Развернув печатку мороженого и уже лизнув раза два, он выбирался наружу и у самого выхода, в дверях, потрясенно остановился: навстречу с чемоданчиком в руке шла Зина. Он, сам не понимая почему, вжался в стенку, она прошла рядом, почти задев его плечом в узком проходе, он ощутил ее свежий, с весеннего солнечного морозца дух. Она не заметила его, со свету попав в полумрак, а следом прошла ее закадычная подруга Аля, полностью — Алевтина, которую он тоже прекрасно знал, и еще две девчонки, он их тоже, кажется, видел, но теперь не помнил.

Они прошли мимо него, эти люди из другого, давнего мира, и когда они исчезли, он почувствовал облегчение. Он был так ошеломлен, что на ступенях вокзального крыльца бросил мороженое. Именно это обстоятельство потом изумляло его более всего. Вероятно, не меньше, чем он, был ошеломлен мальчишка, моментально это мороженое подобравший.

Лутков закурил. Необъяснимое горькое чувство говорило ему, что эта встреча хороша была бы после войны, что вот тогда она была бы логична и естественна, а сейчас она ни к чему и лишь будет мешать. Но ощущение это было неясным и мимолетным.

Он не то чтобы забыл о ней к этому времени, но он о

ней не думал, не вспоминал совсем. Он вспоминал о ней раньше, мучительно и остро, в первые недели своей службы. Он попал в карантин, очутился в огромном бараке с цементным полом и трехэтажными нарами, и его пронзила безжалостная юношеская тоска. Он был сам по себе, и еще были другие люди, которыми он был не в силах интересоваться. Они имели просто опознавательные данные: фамилию и внешность, лишь потом они все более прорисовывались, кроме общих контуров, возникали краски, непохожие характеры. А некоторые так и остались смутными — не потому, что такими были, а потому, что не раскрылись, не увиделись ему. Зато остальные — как они притерлись друг к другу! И среди них был Коля — до конца дней будет горько, что его нет.

И вот тогда, в первые дни своей службы, он мучительно вспомнил о ней, написал ей, и она откликнулась тут же, прислала фото, а в письме ее были слова «жду» и «твоя». Он понимал, что это не так, не может быть так, но тем не менее это сладко обжигало сердце.

В школе она нравилась многим, почти всем, это радовало ее, а на его чувство она откликалась с готовностью.

Любил ли он ее? Кто из ребят успел ответить на этот вопрос, понять, разобраться? В озарении военных пожаров многие восприятия оказывались искажены. С чего началось у них в классе? Ребята постарше, более развитые физически, начали гулять с девушками, потом это распространилось на всех. Покупали в аптеке то, что им вовсе было еще не нужно, но что следовало все же купить, в одном этом был уже смысл, одно это было жутко, и не каждый мог решиться. Это, конечно, ерунда, смешно вспомнить. Другое не смешно. Война не оставляла нашему поколению времени, война сконцентрировала понятия. Отношения не успели развиться, они из детских искусственно шагнули в иные. И эта быстрота перемен потом сказалась, и тем, кто остался в живых, захотелось проделать весь путь снова, постепенно, естественно, и разрушилось многое прежнее.

Были чувства, была любовь, и все это было словно бы игра, не всерьез, но ведь остальное-то все было серьезно: война, разлука, уход, может быть, на смерть, — все это было слишком серьезно и требовало такого же отношения — в этом заключалось противоречие. Неясное сознание, что, кроме этого, в жизни может ничего и не быть.

Первый раз он пригласил ее в кино, она была с подругой, с этой самой Алей. Он после сеанса взял их под руки, вклинившись между ними. Он был выше их и торчал над ними довольно нелепо. А главное, надо было о чем-то говорить. Он чувствовал себя скованно, хотя обе они были из его класса. Да и с ней одной он часто не знал, о чем говорить, и подолгу напряженно молчал. Иногда они быстро начинали болтать и смеяться, не обращая на него внимания, тут он выглядел совсем глупо.

Он вступал в разговор:

— Ну, как картина?

Рассуждали о фильме, называя имена артистов, а не персонажей:

— А Зоя Федорова говорит...

— А Крючков не растерялся...

— А Алейников...

Девчонкам почти все нравилось.

Довели до дому Алю, пошли назад. Сколько раз он ходил вот так с ними по затемненному уже городку.

Аля и помогала и мешала им: помогала, потому что без нее они часто не знали бы, что делать, и мешала, потому что была лишней, когда они знали, что им делать.

Это было первое, страшное, нереальное военное лето. Городок лежал далеко от фронта, но здесь тоже было затемнение, и иногда объявляли воздушную тревогу. А в темном городском саду, словно по инерции, крутились на радиоле довоенные пластинки, и кружились перед смертной разлукой пары.

Мать его была начальником крупного цеха на заводе и пропадала там с утра до ночи, а вскоре ее перевели на другой завод, ближе к Москве, и она уехала, пока

одна, он остался с бабушкой. Отец давно ушел от них, не выдержав выдвижения матери, сперва появлялся, а потом пропал совсем, то ли спился, то ли завел другую семью, а сейчас, может, уже успел сложить голову на поле боя.

А он ждал вызова от матери, хотя и не знал, хочет ехать к ней или нет. Все вокруг было наполнено напряженным ожиданием. Ожиданием дальнейшей своей судьбы, ожиданием писем с фронта, ожиданием первых, нестерпимо нужных побед. День он проводил с ребятами на реке или в лесу, а вечером шел с Зиной и Алей в кино или в сад. Иногда он вдруг понимал бессмысленность этого, переставал ходить и тогда встречал ее с другими ребятами. Была какая-то неясность в их отношениях. Однажды он подошел к ней на главной улице, мощенной сосновыми кругляками, поздоровался и сказал небрежно:

— Мне нужно с тобой поговорить. Сходим в кино?..

Она с готовностью согласилась.

Опять они говорили о фильме, опять проводили Алю и долго молча шли вдвоем по темной улице. Он запомнил их разговор слово в слово, столько раз прокручивал он его потом в памяти.

— Я хочу задать тебе вопрос.

— Задай.

— Только ответь мне правду. Хорошо?

— Да.

— Ты меня любишь?

— Да.

Она ответила сразу, без тени сомнения, словно не раз уже отвечала на этот вопрос.

Он не то чтобы растерялся, он просто не знал, что же делать дальше. Они шли так же молча. Возле ее дома, прощаясь, он обнял ее левой рукой за шею, нагнувшись, поцеловал в мягкие губы, и его будто пронзило, тело напряглось и стало железным. Она тоже обхватила его за шею. И он был счастлив этим, ему ничего больше не было нужно.

Он бросил цигарку и вошел в вокзал. Внутри после слепящего света было совсем темно, в зале ожидания полно народу, но он сразу же увидел их — они сидели кружком на своих чемоданчиках в самом конце зала. И он пошел к ним, перешагивая через узлы и мешки, расталкивая людей, обходя лавки. Лицом к нему сидела Аля, и она тоже сразу увидела его и смотрела на него, не отрываясь. А Зину он видел теперь со спины, она замерла, не понимая, что произошло с подругой, потом обернулась, и он прочел на ее лице изумление и радость.

— Борис! Боря!

Девчонки повскакали, и он поздоровался со всеми за руку, и с ней тоже.

Оказалось, что они едут на неделю домой, что учатся в институте, в областном городе, всего в тридцати километрах от расположения бригады, что их поезд будет через час, а его был через четыре.

— Пойдем пройдемся?

Все это было как в полусне. Они вышли на платформу, девчонки деликатно отстали. Она ничуть не изменилась, только стала еще лучше, и радостно, но еще с особой, знакомой каждому солдату, бабьей жалостью смотрела на него большими серыми глазами.

— Замуж не вышла?

— Нет, — ответила она спокойно, — во-первых, институт еще надо кончить.

Неизвестно почему, он вдруг отчетливо вспомнил, как когда-то давно, в той, другой, жизни, он однажды отчаянно захотел ее увидеть и пошел под дождиком в прорезиненном плаще, пошел по мокрой бревенчатой мостовой, о которой, сокрушаясь, сказал ему встречный заезжий мужичок: «Дров-то сколько напортили!» Он шел под дождиком, а она по обыкновению смотрела в окно, она любила смотреть в окно на прохожих. Он вынул руку из кармана, сделал неопределенное движение, означавшее приветствие, и кивнул небрежно, словно проходил

случайно. Она улыбнулась, поставила локоть на подоконник и пошевелила пальцами, как бы помахала ими.

Что знал он о ней, теперешней? Не больше, чем она знала о нем. Их связывало только прошлое. У нее было еще будущее. А у него? Он об этом не думал.

Они сами не представляли, насколько каждый из них из другой жизни, несмотря ни на что — ни на общее прошлое, ни на связанное всеобщими помыслами и надеждами настоящее.

За то время разлуки, что он был в армии, а она в институте, они узнали и поняли очень многое и очень разное, — в гражданской жизни она ушла далеко вперед, а он так и остался в десятом классе. А ведь сейчас он сталкивался с ней именно в гражданской жизни. Она училась в институте, а он был солдат в обмотках, а сейчас в чужих сапогах, которые хлопали кирзовыми голенищами на его худых ногах, но он ничуть не чувствовал себя ниже ее, и она тоже это понимала. То, что знал он, она не узнает никогда. А ему, чтобы догнать ее, тоже предстояло немало, и первое из этого — выжить.

Он глянул на нее отчужденно и подумал с неожиданной обидой, будто о себе: «Что же она про Колю не спросит?»

А она вспомнила:

— Что же ты уехал, не попрощался?

Тогда он получил вызов от матери и решил ехать. Уложил в чемоданишко пару рубашек, синие в полоску брюки — 32 сантиметра, и вышел пройтись. Городок их лежал на боковой ветке в двадцати километрах от магистрали, по которой он должен был ехать на скором рано утром, расписания не совпадали удобно, лучше всего ему было идти до станции пешком. А вечером перед уходом он прошелся по городку. Он хотел повидаться с Зиной, и это волновало его, но она не попадалась, он попрощался с ребятами и по дороге к дому услышал ее голос, ее смех. Она стояла у входа в сад, вместе с Алей и двумя парнями, с которыми он был в хороших отношениях. Они стояли и смеялись, ребята курили, белые их рубашки резко выделялись в темноте. Он хотел уже подойти и

вдруг раздумал — это решение пришло мгновенно и жестко — он остановился как вкопанный совсем близко от них и тихонько перешел на другую сторону.

— Вроде Борька Лутков, — сказал один из ребят.

Чтобы не проспать, он совсем не ложился, в полвторого взял чемоданчик, терпеливо снес поцелуи бабушки и вышел. Огромной черной массой стоял лес, прорезанный полотном одноколейки. Дорога плавно забирала вправо, белая луна резко, отточенно озаряла рельсы. Иногда левый их ряд мерк, гаснул, но зато ярко, как нож, вспыхивал правый. Идти по шпалам было неудобно: наступая на каждую, приходилось слишком частить, семенить, шагая через одну, нужно было делать шаг чересчур широкий. Перед уходом он сунул в карман на всякий случай магнит — довольно тяжелая штука — и теперь ничего не боялся. Он бодро вышагивал по шпалам и рассеянно вспоминал, какой полюс магнита окрашен синим, а какой красным. То, что осталось за спиною, было отсечено навсегда. Двадцать километров он прошел очень быстро. За всю дорогу ему никто не повстречался.

У него был вызов и разрешение, поэтому билет ему выдали сразу. К концу дня он уже был на месте, в большом заводском поселке. Садилось солнце за корпусами. У самой автобусной остановки женщина с пацаном клеили на стену белые листы. Он подошел — это был приказ о мобилизации. Призывался его год рождения.

3

Они стояли в самом конце длинной платформы. Солнце уже померкло, лиловая тень накрыла платформу, стало холодно. Далеко позади виднелись девчонки с чемоданчиками.

— Сейчас состав подадут.

— Ну, так что, увидимся?

— Обязательно. Я тебе адрес запишу. Приезжай. В об-

щежитии мест не было, я на квартире живу. Вот, не потеряй.

Она говорила быстро и вся уже была там, с девчонками, но он чувствовал, что она хочет, чтобы он приехал.

Их связывало только прошлое, но сила его была беспредельна. Как пальцы в пальцы, входили друг в друга их воспоминания.

Пятясь, подползал к перрону зеленый поезд. И Лутков с тоской ощутил мимолетность их встречи. Это задело его больно, как может задеть только солдата и только в войну. Таков человек — только что он и думать о ней не думал, а сейчас уже строил планы, как приедет к ней, прикидывал, как удобнее это сделать.

Он помог им втиснуться в вагон и удивился, как быстро и ловко захватили они хорошие места. Сквозь грязное и мерзлое стекло он увидел еще раз обращенное к нему зовущее лицо, а спустя пять минут стоял на опустелом перроне с вещмешком, в котором скрывались графины с петухами, стоял, как прежде, томясь в ожидании своего поезда. Но он был уже не тот, что час назад.

Он снова бродил по станции, смотрел, как лиловый от холода и водки красавец инвалид, окруженный дружками, все бросает три листика — три бубновые карты: две шестерки и туза, — привычно приговаривая: «Кто шестерочку вынимает — ничего не получает, кто туза вынимает — шапку денег получает. Как туз — так и денег картуз. Последний день, последний час, завтра уезжаю на Кавказ. Телеграмма уже в кармане. У нашего Ивана без всякого обмана...» — и опять сначала, и как обалделый парень с кнутом под мышкой проигрывает ему сотню за сотней. Все это Лутков уже видел не раз, и знал секрет, и даже сам умел бросить — помкомвзвод показал как-то от нечего делать.

Потом он поел и попил кипятку вприкуску, пристроившись в вокзале на окошке, и наконец с трудом, страшась за графины, пробился в нужный ему проходящий поезд.

Мест в вагоне не было, он приткнулся в конце концов на самом краешке, почти на весу, подремывал в тепле и думал о своем. Он думал о их городке, о школе, вспомнил Зину, какой никогда ее не вспоминал — наверное, в пятом или шестом классе, в матросочке. И снова ту, другую, возле дома, и ее губы и сегодняшние ее большие, тревожащие жалостливые глаза. Он вспомнил, как играл в детской футбольной команде, какие у него были трусы и гетры, и вспомнил один свой гол, который забил в левый верхний угол. Самой игры он не помнил — с кем она была и когда, а гол помнил отчетливо и даже сейчас ощутил всем телом и подъемом правой ноги этот удар.

До чего же странна и непохожа на теперешнюю та его жизнь. Она как бы из другой жизни. Или вот в книжке бывает — сначала вступление, пролог, а потом отчеркнуто, всякие картинки, заставки, и с новой страницы собственно только начинается книга — первая глава. Здесь только все и происходит. Но ведь нет, — первые главы там, до заставки. А потом просто другая жизнь, другая книга, и действующие лица почти все другие. Почти все.

Он снова подумал о Коле, и снова его задело привычной уже, но такой же нелегкой болью. Он увидел его спокойное серьезное лицо, темные сросшиеся брови, говорят, счастливая примета. Он вспомнил, как впервые заметил Колю. По расположению ехал в санях кладовщик, а Коля схватился за задок саней, не остановил, конечно, но лошадь слегка приуменьшила бег, а кладовщик удивленно оглянулся:

— Здоров парень!

В каких только переделках не побывали они. И прыгали вместе, и спали на снегу, и ходили к девчонкам в барак на кирпичный завод, и лежали под огнем в перелеске у той проклятой деревни.

И много раз потом возникало у него мучительное чувство: «Эх, был бы Коля!» И сейчас он подумал не о Пашке, а снова о Коле и пожалел себя, что не сможет, войдя в землянку, увидеть его. Вот бы кто обрадовался, узнав о сегодняшней встрече. Здесь была особая история.

Однажды перед баней пропускали их одежду через дезокамеру — «вошебойку», и они сидели голые под соснами, ждали. Это был парад шрамов — от ранений, экземы, фурункулов. Только один старшина был одетый — у него вшей быть не могло. Нательное белье после бани

им, конечно, выдавали чистое, а новое обмундирование получали редко и лишь те, кто совсем уже поизносился. В «вошебойку» забирали не только гимнастерки и шаровары, но даже обмотки. Оставались только ботинки, и они сложили в них документы и всякие мелочи. И тут Коля увидел у него в ботинке письма и поинтересовался откуда. Это были старые нежные Зинины письма, которые она присылала еще в карантин, почти совсем истертые, неизвестно зачем хранимые, ведь он уже давно не думал о ней. Коля попросил прочитать, вернул и сказал, простодушно улыбаясь:

— Хорошо бы вступить в переписку.

И они действительно начали переписываться, и в каждом письме она передавала привет Боре, но переписка эта длилась совсем недолго.

Он очень много потерял, потеряв Колю. Он потерял часть себя. Ему всегда хотелось что-то значить в его глазах, ему это было приятно. Он привык к тому, что у него есть близкий человек. С этой утратой был утрачен некий смысл, стало неинтересным многое из того, что происходило и говорилось во взводе. Утром он просыпался с ужасающим ощущением пустоты и потери. Это повторялось каждое утро.

Коля погиб в его отсутствие, от случайной пули. Первый, сообщивший ему это, был совсем чужой человек, из другой роты. Все знали об их дружбе, и, когда Лутков вернулся из медсанбата, все наперебой говорили ему о Коле. И он отвечал: «Я знаю. Я уже знаю». Он точно знал, что такой дружбы у него не будет никогда.

Больше, чем с кем-нибудь другим, он сблизился потом с Пашкой Кутилиным. Этот его дружок и напарник по котелку был не из своих, а новенький, по неизвестным соображениям командования переведенный из другой бригады. Помкомвзвод Агуреев сразу поставил его дневальным. Была оттепель, землянку их затопило, и Пашка стоял снаружи. Второго дневального, Стрельбицкого, не было, крутился, наверно, на кухне, и новенький не решался отвлечься от дневальства и поесть —

мимо, по линейке, то и дело проходили офицеры. На пеньке стоял, видно, остывший уже котелок с супом.

— Давай подменю, — сказал Борис.

Тот быстренько похлебал супчику, потом спустился в землянку, прыгнул на сухие нары, достал из вещмешка маленькую банку американских консервов, открыл финкой и ровно половину оставил Луткову.

В деле они еще не побывали вместе, но как будто это был неплохой парень. Он быстро прижился во взводе и жалел о прежней своей бригаде, лишь когда вспоминал врачиху. Там у него был роман с молодой врачихой. Это было неправдоподобно: воинская часть, полно офицеров, сержантов и обеспеченных старшин, а она предпочла неимущего и бесправного Пашку. Но Борис поверил ему. Пашка рассказывал о своем романе спокойно, не вдаваясь особенно в подробности, как опытный человек, для которого все это не такая уж редкость. Лутков поверил и потому, что он и сам знал, что в солдатской однообразной жизни случаются редкостные минуты везения. Зимой во время выхода он отбился от своих, отстал, таща на ремне надоевший РПД, и попросился ночевать в деревушке. Великое множество раз ночевал он в попадавшихся на пути избах, падал на пол и засыпал мгновенно, одетый, в лучшем случае сняв шинель, никогда не разуваясь. А здесь хозяйка накормила его ужином — картошкой и молоком, — постелила на теплой лежанке. Он и не думал ничего, почти заснул, когда она пришла к нему. Он совсем не ожидал этого. Подобное бывает лишь в мечтах, и так редко в жизни. Он по сути рассмотрел ее только утром, она была крупная, разрумянившаяся женщина лет тридцати. У нее был семилетний мальчик. Когда они пили чай, пришел из другой половины дома свекор, сухой старик, и спросил у Луткова, не может ли тот продать ему кусочек сахару за пять рублей. Это была ходовая цена. Борис деньги не взял, дал сахар пацану, протер свой РПД и подался. Она, будто по делу, вышла перед ним, в сенях обняла и, сильно покраснев, поцеловала на дорогу.

Он был очень горд собой. Конечно, такие случаи бывают не часто, но часто это ему было и не нужно.

4

Он давно уже отвык от освещенных тротуаров, даже от вида светящегося слабо окошечка — вечного знака тепла и уюта для запоздалого путника. Он перешел через рельсы и углубился в лес. Еще долго журчал вдалеке, за соснами, уходящий поезд. Кругом лежал снег, здесь было заметно холоднее, чем в городе. Сразу от разъезда начинался спуск к лагерю, каскад лестничных деревянных маршей среди заснеженного ночного леса — гордость бригадных саперов. Он спускался по скрипящим деревянным ступеням, слегка придерживаясь за перила, — нелепо было бы оступиться здесь и разбить графины. Но он крепко стоял на ногах.

Он миновал КП, длинный склад ОВС, вокруг которого, притопывая, похаживали часовой и подчасок, кухню, откуда доносились сонные голоса наряда. Он шел по передней линейке, вдоль спящих ротных землянок, и ощущал их дыхание. Над ними смутно дрожал теплый воздух. Никогда еще в этом лесу не бывало сразу столько народу.

Он спустился в огромную жаркую землянку. У печки встрепенулся задремавший, видно, дневальный, сразу узнал и сказал буднично:

— А, Лутков! Живой?

Это был один из двух старичков, служивших в их взводе, — Голубчиков. Им было лет по тридцать, Боровому и Голубчикову, и казалось ошибкой, что они служат вместе с молодыми ребятами. Они были тихие, благоразумные и держались всегда рядом.

В натопленной землянке, разметавшись, раздетая до белья, на двухэтажных нарах, тяжело спала рота. Спали лихой помкомвзвод старший сержант Агуреев, и командир отделения сержант Веприк, и шустрый Витька Стрельбицкий, и главный любитель поспать — Мишка Сидоров, и белобрысый Двоицын, и другие ребята, которых он знал, как себя. В углу, отдельно спал взводный, лейтенант Плужников, а за перегородкой, в каптерке,

писарь и старшина, и еще в отдельной клетушке — командир роты Скворцов, к которому каждую субботу приезжала жена. Но сегодня был вторник.

Одни спали совсем беззвучно, другие хрипло дыша, кто-то стонал, — и снилось ребятам разное: дом, девушки, когда-то любившие их, матери, боевые прыжки, разрывы мин и всякая всячина. А Пашке Кутилину, как он утверждал, вообще никогда ничего не снилось.

Лутков, легко выжавшись на руках, боком сел на край верхних нар и толкнул Пашку: «Подвинься!» — тот послушно подвинулся и улыбнулся, не просыпаясь: «Приехал?..»

После завтрака, поблескивая медалями, построились внутри землянки, в проходе, вышел ротный, высокий, свежий, приложил кончики пальцев к почти голубому меху щегольской шапки:

— Здравствуйте, орлы!

— Здравия желаем, товарищ гвардии старший лейтенант! — с удовольствием ответила рота.

Скворцова любили. Очень важно, какие у тебя непосредственные начальники. Комбат и командир бригады далеко. Ротный ближе, но и с ним солдат общается мало. Главное — какой у тебя взводный, помкомвзвод, командир отделения.

— Выводите людей!

Возле землянки успели еще покурить. Мимо уже спешили на занятия другие — бронебойщики, таща на плечах длинные противотанковые ружья, бежал на слегка подгибающихся ногах отставший пулеметчик, на нем, как хомут, сидел станок старого «максима».

Построились повзводно, пошли.

В лесу стояла целая бригада, но, странное дело, у каждой роты и даже взвода, как будто кто специально распределил, был свой и весьма обширный район для занятий, своя зона, куда обычно другие не только не вторгались, но и не замечались поблизости.

Вышли в поле, на южном покатом склоне холма снег

уже истлел, но земля еще не подсохла, грунт был вязкий, тяжелый. Взвод шел по дороге, лейтенант и сержанты сзади. Замыкающим было слышно, как Плужников рассказывает о своей давнишней поездке в Москву. Как всегда, в его рассказе фигурировала женщина. У него была привычка слегка поплевывать, будто что-то пристало к кончику языка. Отделенные почтительно слушали. Помкомвзвод Агуреев изредка еще подсчитывал ножку — голос его долетал издалека, — потом это ему надоело, и он сказал:

— Веприк, ведите взвод.

Командир отделения сержант Веприк приблизился к строю и тоже подсчитал ногу:

— Раз, два, левой, левой, раз-два, р-раз, р-раз, р-раз, запевай!

Витька Стрельбицкий, кашлянув, хрипло начал:

Якорь поднят, вымпел алый
Плещет на флагшто-о-оке,
Краснофло-те-ец, крепкий малый...

Но подхватили нестройно, не в лад, кто-то сбился и сбил остальных. В строю засмеялись. У них было хорошее настроение. Они понимали друг друга, они знали все друг о друге. Они знали, кто из них кем был, их, правда, не интересовало, кто кем будет.

Стрельбицкий продолжал хрипеть:

Как прощали-ись мы в Кронштадте,
Цепь отгро-омыха-а-ала...

Тут одни запели как надо:

Ты стояла в белом платье
И платком махала,

а другие, дурачась:

Ты стояла, сено ела
И хвостом махала.

— Отставить! — крикнул Веприк и возвысил голос: — Взво-од, бе-го-ом марш! («Марш» — он мог и не добавлять, взвод и так двигался.)

Взвод потрусил легонькой рысцой, почти с той же скоростью. Никто не обижался, так было принято: они плохо спели, он их заставляет пробежаться, так уж было заведено, это была норма, своего рода правила тона.

— Правое плечо вперед! — крикнул Веприк, чтобы самому оставаться на дороге.

Взвод трусил по кругу, аккуратно, выбирая, где посуше.

— Стариков-то не гоняй! — сказал Агуреев Веприку, и тот неохотно скомандовал: — Боровой и Голубчиков, выйти из строя!

Те отстали, стояли на холме, не зная, что делать.

— Ладно, — добродушно произнес взводный. — Приступим к занятиям.

За спиной у Мишки Сидорова шишковато торчал вещмешок, набитый деревянными гранатами — болванками. Воткнули в землю палки, покидали на точность. Потом стали бросать в падении, бросил гранату и, как продолжение того же движения, упал на живот. Потом, наоборот, бросали лежа, едва приподнявшись, и тут же, быстро вскочив, делали перебежку. Лейтенант показывал с явной охотой и сам падал, не жалея шинели.

Потом вышли к мостику. У них было такое место — овражек метра три глубиной и над ним два бревнышка без перил. Первым пошел Мишка Сидоров, на середине заколебался, закачался, крикнул: «Больно склизко!» — сорвался, но умудрился ухватиться локтевым сгибом за мосток и вылезти, — больно уж здоров был малый. Остальную часть пути он проделал сидя. Пашка Кутилин пошел боком, осторожно выдвигая левую ногу и подтягивая правую. Но тоже потерял равновесие и, прежде чем упасть, долго балансировал на бревнышках, умоляюще взглядывая по сторонам хитрыми испуганными глазами и смеша взвод, насколько его можно было сейчас рассмешить. Ведь остальным испытание еще предстояло.

Лутков пошел быстрой побежкой, преодолел мостик

на скорости, поскользнулся лишь в самом конце и успел прыгнуть хотя и не на другую сторону, но и не вниз, а на скат овражка и быстро вскарабкался наверх. Мосток никого не щадил. Веприк, как ни старался, слетел, зато Агуреев прошел замечательно — быстро, четко и до самого конца. Будь вдвое шире овраг, он бы все шел.

— Помкомвзвод, — сказал Плужников, — выдели человечка три людей, пускай в лесу костер большой разведут. — И сам перешел на ту сторону, не так чисто, как Агуреев, но тоже уверенно. Он построил взвод, скомандовал: — Запевай! — И взвод запел лихо и слаженно.

Через полчаса они уже сидели у костра, отворачивая лица от жара и отстраняясь от огня, когда подбрасывались сухие ветви и он вздымался, ревя и почти выходя из-под контроля. Но огонь быстро опадал, костер горел сильно и ровно, можно было хорошо просушиться.

На земле шла война, большинство из них знало, что это такое, а вскоре им предстояло подтвердить и умножить эти свои знания, но здесь, у костра, жизнь была устойчива, привычна. Здесь не было ничего и никого, мешающего взгляду и слуху. Это был их клуб, ассамблея. Это был час равенства.

— Умаялись? — говорил лейтенант Плужников, сухо поплевывая. Он сидел, широко расставив колени и равномерно кидая в огонь мелкие ветки и сучки. — Бросьте, вы молодцы. На выходе сколько прошли? И ничего не заметно, отстрелялись еще прилично. Вот я в училище учился в сорок первом, вот там был распорядок. Приходили — падали. Бабу голую рядом положи — не шелохнешься. Не заметишь! — Это была его любимая тема, но она не получила достойного развития, потому что большинство слушателей не находило в описанной ситуации ничего необычного. Лишь немногие вообще знали, что это такое.

— Письмо получил, — невнятной скороговоркой пробормотал Двоицын, — сестра пишет, сосед воротился из госпиталя, а жена-то с другим. Ну, он выгнал и живет.

— Кого выгнал?

— Этого выгнал, с женой живет.

— Хо! — возмутился Стрельбицкий. — Да я бы убил обоих, — и, подумав, уточнил: — Если фронтовик, не тронул бы, а тыловой — на всю жизнь бы покалечил.

— А ее? — спросил Пашка Кутилин, сладко покуривая. — А как дети?..

Здесь Витьке ответить было трудно — ни жены, ни детей у Стрельбицкого не было. И никто, разумеется, не знал, что никогда их у него не будет.

— Жизнь, — сказал Веприк, — она свое показывает.

Он стоял на одной ноге, сняв сапог, и сушил, держа в вытянутых руках, ржавую байковую портянку.

— Жизнь прожить — не поле перейти, — поддержал Голубчиков своего отделенного.

— А если оно минное, поле-то? — спросил Пашка, вскидывая карие, живые, то хитрые, то наивные — по заказу — глаза.

— Так-то, брат, — не понял, но сухо ответил Голубчиков.

— Минное-то не больно перейдешь, — усмехаясь, пояснил ему помкомвзвод Агуреев. Он ценил понятливых.

— Голубчиков, — сказал лейтенант, — а сам небось, как в деревню войдем, так и высматриваешь, как бы к молочнице подвалиться.

— Они с Боровым ведут наблюдение.

Трещал костер. Мишка Сидоров просушил портянку, надел ботинок и сидя спал, держа обмотку в руке, она развилась, упала кольцами. Белобрысый Двоицын стоял, забрав полы шинели под ремень, сушил шаровары, а потом просто грелся.

Это был счастливый час, но на них и на всем вокруг лежал отчетливый знак предстоящей вскоре перемены. Разговоры постепенно смолкли. Все сидели расслаблен-

но, думая каждый о своем, и, как Борька Лутков, были мыслями далеко отсюда.

Костер еще гудел, пощелкивал и был жарок, но он уже догорал. Никто не подбрасывал веток, все чувствовали, что вот-вот нужно будет выходить на дорогу и строиться.

5

Через три дня за Лутковым прибежал посыльный — вызывали в штаб бригады. В бревенчатой даче, где располагался штаб, Борис бывал только однажды — часовым у знамени. Зачехленное знамя стояло прямо против входа, теперь прошли мимо него по коридору, и Лутков очутился в очень большой комнате, где посредине курили и разговаривали несколько человек — начальник штаба, начальник политотдела, комбат-два и еще кто-то. Лутков тут же выделил среди всех командира бригады полковника Ковырзина, подошел строевым и четко доложился.

— Это он за графинами ездил, — подсказал полковнику начальник ПФС, и Ковырзин улыбнулся, глядя на Луткова.

— Слушай, мировые графины. Но, ты представляешь, командир корпуса приезжал, я ему один подарил, а второй разбился. Я думал, там еще осталось, тряхнул, петушок и оторвался... Еще привезти можешь?

— Я постараюсь.

— Тогда оформляйся.

Комбриг уже уделил ему достаточно времени и вернулся к офицерам. Лутков не успел опомниться, откозырял в направлении полковника и вышел. В соседней комнате начальник ПФС вручил ему список: «Посуда для офицерской столовой». В самом начале значилось: «Графинов с петухами — 12 шт.». Скоро предстояло десантирование в тыл противника, — до графинов, до петухов ли, но все высшие офицеры штаба пожелали их иметь. Борис не стал объяснять, что теперь такие графины не выпускают, да и раньше делали редко и мало, не серийно, для себя. Он лишь сказал:

— Не мог петух от донышка оторваться.

— Какая разница, — пробормотал майор, — еще кому-нибудь подарил.

В списке перечислялись фужеры, рюмки, блюда для фруктов.

— Получишь деньги под отчет.

— Мне одному не управиться.

— Кого хочешь взять?

— Гвардии рядового Кутилина.

Поезда на разъезде останавливались редко, и, чтобы не терять времени, они, как и многие, решили садиться на ходу на товарняк. В сторону города был подъем пути, и поезда здесь теряли скорость.

Лутков и Кутилин приготовились, надели как следует вещмешки, скрепив лямки на груди, и стали ждать. Вначале прошел пассажирский — слишком быстро. Через полчаса потянулся длинный товарный состав. Если смотреть издали — вагоны катятся медленно, но, когда ты рядом, внизу, возле колес, они только мелькают, тяжело вдавливая рельс в черные промасленные шпалы.

Они стали друг от друга шагах в двадцати, высматривая тормозные площадки.

— Давай! — крикнул Борис, пропуская площадку для Пашки и не успевая посмотреть, как он садится, ища взглядом следующую для себя. Показалась площадка, он побежал, но не набрал нужный ход, площадка уходила, хвататься было опасно. Он, отставая, глянул вперед, — Пашка уже ехал и, свесившись, махал ему. Заметив следующую, Лутков изо всех сил рванулся вдоль полотна, параллельно составу, площадка догнала его, она была неудобна, слишком высока подножка, но снова пропускать было невозможно, — он уже затратил много сил. Он схватился обеими руками за поручни, его тряхнуло, но он не отпустился, а, резко оттолкнувшись ногой, сумел сесть бочком на нижнюю ступеньку. Он сидел и смотрел, как размазанно летит рядом, под ним, земля, потом

осторожно, по одной, подтянул ноги и медленно встал. Поднявшись на площадку и переждав, пока пройдет дрожь в коленях, он высунулся и помахал Пашке. Потом он закурил и, слегка приплясывая, смотрел на мелькающие голые перелески.

Подъезжая к городу, среди запасных путей у стрелок, поезд резко сбавил ход, и они спрыгнули.

Спросив дорогу, они быстро доехали на трамвае до нужной улицы, нашли старый одноэтажный дом с несколькими входными дверями. Их дверь была со двора, заваленного осевшим весенним снегом.

— Может, еще дома нет, — сказал Лутков, сильно затянувшись и бросив цигарку.

Он постучал, и они вошли, ворвались, в другой, в совсем иной мир, он шагнул в дверь, но не в эту, глотнул жесткого разреженного воздуха, у него перехватило дыхание, он полетел вниз, и вдруг его что-то задержало, раскрылся купол, и он, ликуя, приземлился в другом мире — заваленный весенним снегом двор, ступеньки, обитая клеенкой дверь.

Открыла высокая девушка в наброшенной на плечи шали, взглянула вопросительно и тут же приветливо сказала:

— Вы к... Зине? Зина, к тебе! — И из глубины, навстречу, она ударила в него серыми глазами, и он, сразу поймав ее волну, почувствовал и поверил, что она рада ему, взволнована его приездом.

— Боря! А я только пришла.

Он пожал ей руку, как тогда, на вокзале, у нее была теплая рука, а у другой, высокой, холодная, вялая.

— Ира.

— А я некий Паша, — сказал Кутилин, и все засмеялись.

— Раздевайтесь, — пригласила Ира. Она кутала в шаль.

— Вы в увольнении? Или как это называется? — спрашивала Зина и смеялась.

— Мы в командировку едем.

— Зачем?

— Военная тайна, — объяснял Пашка, хитро блестя наивными глазами.

И все это было странно, необъяснимо, даже нелепо.

Из соседней комнаты, торопясь, вышла, почти выбежала женщина, в платке и в куртке, спросила на ходу у Зины:

— Приехал? Который? Дай-ка гляну. Ну, что, ничего. Ну, я побежала, и так с дежурства отпустили на пятнадцать минут. Еще увидимся, солдатики.

— Мы вообще-то проездом, — начал Борис.

— Ночуйте, ночуйте. Где ж солдату ночевать. А вы, девчата, позаботьтесь.

— Конечно, мама, — сказала Ира.

— Можем и переночевать, — развел руками Пашка.

У них были с собой продукты — сухой паек — и вскоре девчонки готовили обед. Потом они все обедали, как обедают на гражданке, сидя за накрытым голубой клеенкой столом, а за окошком сверкала весенняя улица, а перед ним сияло ее лицо.

Решено было всем пойти вечером в театр музкомедии. Пашка вызвался поехать за билетами, ему объясняли, как ехать. Борис, не одеваясь, вышел за ним на крыльцо, похвалился: «Ну, как?» — Пашка показал ему большой палец и потопал к воротам. Темнело, — глуша розовое и голубое, все более густели над домами лиловые тусклые тона. Он вернулся в дом.

В доме было тепло. Свет еще не зажигали. Зина прибирала в комнате и взглянула на него преданно и нежно. Он знал этот взгляд. Ира сидела на диванчике и что-то вязала, тихая, грустная, плечи укутаны шалью, руки у нее тоже, должно быть, вечно мерзли, кожа на них была не ровного тона, а словно в крапинку. И он испытал острую нежность не только к Зине, но и к Ире, к этому дому, к этой жизни. Все здесь было просто, даже скудно, и жизнь их была нелегка — зима, дрова, карточки, — но

это была другая, необыкновенная жизнь. И эта жизнь увлекала ее, радовала, и она с удовольствием принимала ее. Он чувствовал это, глядя на ее еще похорошевшее лицо. А он здесь был гостем. И он все время не забывал о недолговечности, непрочности своего теперешнего положения. Он терял себя, растворялся в этом мире. Он, разумеется, давно уже не был тем прежним мальчиком, он был другим, но сейчас, здесь он утрачивал и что-то свое новое, теперешнее.

Что их ожидало? Они двигались каждый по своему маршруту, по своей орбите, и вот на какой-то миг, в какой-то точке их пути сошлись, но ведь ни один из них не мог дальше пойти по пути другого.

Совсем стемнело, опустили маскировочные шторы на окна, зажгли свет.

— Вот и посумерничали, — сказала она.

А он сказал, как говорил когда-то:

— Пойдем пройдемся?

На улице он взял ее под руку, они пошли по бугристому, узкому тротуару. Стало совсем темно. За опущенными шторами кое-где пробивалась полоска света, занавешивались не так строго: немец сюда давно уже не залетал. Все было тихо и спокойно. И ему тоже вдруг чудовищно захотелось устойчивости, определенности в своей жизни.

Крупная снежинка упала ей на щеку, вторая на нос, она смешно сморщила нос и сдунула снежинку. Он нагнулся к ее лицу и спросил, как когда-то:

— Ты меня любишь?

— Да. Но, во-первых, я должна тебе сказать: у меня был один мальчик...

— Ах, это неважно, — почти с облегчением выдохнул он и, жмурясь от снегопада, поцеловал ее в мягкие губы, и словно мгновенно перелистнули назад множество страниц и нашли нужное место: как вспышка, возникло то невероятно давнее ощущение — его словно пронзило, тело напряглось и сделалось железным.

А снег валил медленно, густо, совершенно отвесно.

Лишь там, где была неаккуратная маскировка и пробивался свет, хлопья словно меняли направление и летели горизонтально. Это были тяжелые, крупные, мокрые хлопья. Приходилось то и дело стряхивать их. Улочка была окружена и придавлена снегопадом. Они разговаривали о разном. Вернее, больше рассказывала она, а он только спрашивал.

— А Аля где живет?

— Она в общежитии. А у нас мест не было, я уж три года здесь живу. Хозяйка хорошая женщина. Работает в гостинице коридорной. Только попивает она. Всю жизнь вдвоем с Ирой живут. Отца нет. В гражданскую она была в санитарном поезде, там один поляк ее использовал...

Как иногда женщина умудряется одним движением, одним словом разрушить долго и тщательно воздвигаемое стройное здание. Правда, часто ей удается столь же быстро его воздвигнуть.

Она, наверное, хотела выразиться покультурнее, а его всего перекорежило, хотя, конечно, чего он только не слышал в армии. Интересно все же, от кого она усвоила такое.

А снегопад все не переставал, даже не редел, висел над миром, оседая на ее берете, на его шапке, на их плечах. Это была последняя весенняя метель.

Долго топали и сбивали друг с друга снег в тесном тамбуре, вошли в дом раскрасневшиеся, с мокрыми щеками. Ира тут же опять села вязать, показывая, что не обращает на них внимания.

Когда он, повесив шинель, затягивал ремень, Зина тронула кончиком пальца медаль на его груди и спросила грустно и доверительно:

— А Коля погиб?

— Погиб. Тебе кто написал?

— Не помню. Смешная фамилия.

— Веприк?

— Да. А ты почему не написал?

— Не знаю. Не захотелось.

И опять его смутной болью задело сознание, что Коли нет и уже не будет, и раздражили ее вопросы, как раз-

дражают мужчину вопросы женщины о том, чего ей касаться не стоит.

Затопали шаги, стукнула дверь, и, еще отряхиваясь, ввалился Пашка.

— Ну, как?

— Порядок!

Девчонки засуетились — одеваться, поставили чайник на плитку, в кухне стучали ходики, — раньше Борис их почему-то не заметил. Он стоял рядом с Пашкой посреди кухни, они были близки друг другу, им было приятно, что они здесь вдвоем, от этого все вокруг выглядело более привычным. Они оба еще не пришли в себя после происшедшей в их жизни мгновенной и краткой перемены.

— Мы готовы.

Он оглянулся, не замечая, что́ на ней, не обращая внимания на это, посмотрел ей в лицо, подошел, взял за руку, наклонился к ней — она подумала, что он хочет поцеловать ее, и слегка отстранилась. Держа за руку, он вывел ее в другую комнату и, касаясь лицом ее волос, сказал хрипло ей на ухо:

— Давай останемся, пускай они вдвоем идут.

И не успел он договорить, она тут же, с готовностью, кивнула. Он отошел от нее и закурил, чтобы сдержать волнение.

Сели пить чай с пиленым армейским сахаром. Пили из обыкновенных фаянсовых зеленых чашек, но одно это было замечательно. Лутков опорожнил две чашки и сказал:

— Голова что-то болит. Я, пожалуй, не пойду, — и когда все выжидательно посмотрели на него, скованно добавил: — Мы с Зиной, пожалуй, останемся. Правда, Зина?

— Жалко, конечно. Ну что ж, посидим — повспоминаем, — ответила она, изобразив сожаление.

Те на миг растерялись, но только на миг. Пашка бодро произнес:

— Это ничего. Билеты ваши с руками оторвут. Пошли, нам пора, Ирочка.

Та слабо оживилась, зарумянилась, беспрерывно оправляя какую-то оборочку

Они остались вдвоем. Никогда еще они не оставались вот так вдвоем в доме. Они оба сразу почувствовали необычность этого, их охватило общее волнение. На земле шла война, а здесь было тихо, гулко стучали ходики в кухне, за окном начинал разыгрываться ветер.

— Хочешь еще чаю?

— Нет.

Он подошел к ней и прижался лицом к ее лицу, она обхватила его за шею, и так, слушая ветер, они стояли посреди комнаты, ни ей, ни ему не хотелось двигаться. Но нельзя же было так стоять вечно, нужно было что-то делать, они оба чувствовали это, и их не оставляло напряжение. Наконец он решительно, может быть, резче, чем нужно, развернул ее за плечи и подвел к дивану. Они сели, он поцеловал и обнял ее, как никогда смело и настойчиво, на миг ему показалось странно и неловко чувствовать под платьем ее тело. Он еще ждал, что сейчас она опомнится, отстранится, и сдерживал себя, но она потянулась к нему, и он спросил невнятно: «Дверь запереть?» Она, глотнув, молча кивнула, и едва он, подскочив к двери, взялся за задвижку, дверь перед ним отворилась, и вся в снегу вошла хозяйка.

Не отряхиваясь, она направилась в кухню, объясняя на ходу:

— Знаешь, почему раньше я пришла, а, Зинаида? Там у нас летчики живут в люксе, три подполковника, на фронт улетают, их сегодня провожали. Девушек они пригласили, ну, я проходила, мне тоже поднесли. Раз да другой, Дуська и говорит: «Ступайте домой, а то неудобно, я за вас додежурю». Ну, хорошо, пойду...

Тут только немного пришедший в себя Борис заметил, что она действительно под хмельком, и услышал, как Зина рассказывает ей, что Ира и Пашка в театре.

Ветер все усиливался, налетал порывами, били по стеклу голые ветви, в комнатах мигало электричество.

— Помнишь, как в школе свет потух? — спросила она.

— Хорошо помню.

И мельком прошло воспоминание — во всей школе

темно, в коридорах шум, свист, а они долго смотрят в окно, крепко держа друг друга за руки.

Позже, чем было нужно, вернулись Ира с Пашкой, довольные, дружные. Пашка глянул вопросительно и скрытно скорчил рожу в сторону хозяйки.

Гостей уложили в большой комнате, с удобствами, — Пашку на диване, Луткова на кровати. Девчонки стелились в маленькой, проходной, мать в кухне. В комнатах было уже темно, свет горел только в кухне и сюда доходил слабо. Борис, лежа, видел, как шире открылась кухонная дверь, в ее ярком прямоугольнике обозначилась фигура Зины, она неплотно притворила за собой дверь, потонула в полутьме другой комнаты, исчезла и вдруг оказалась возле него и села на край кровати.

— Спокойной ночи.

— Тебе там жестко, приходи ко мне, — прошептал он просто так, несерьезно, зная, что это невозможно.

— Нельзя, — ответила она шепотом, провела по его голове, по едва ощутимому чубчику, который и такой нелегко было сохранить: — Какие у тебя раньше волосы были мягкие... Спи...

Назавтра, воскресным весенним утром, уже освоившись и с сожалением подумывая о предстоящей дороге, сидели на кухне за накрытым голубой клеенкой столом, пили чай. И тут вошел капитан пехотных войск в полурасстегнутом кителе, под которым виднелась желтая майка. Он увидел их, очень удивился, на его круглом лице появилось строгое выражение, словно он собирался подать команду: «Встать! Выходи строиться!»

— Заходите, Петя, — сказала Зина. — Познакомьтесь, это мой товарищ, мы в школе вместе учились. А это наш сосед.

Капитан сел, продолжая сохранять неприступный и несколько обиженный вид.

— Тоже заходили ко мне друзья детства, недавно были, — сказал он с достоинством. — Ну, посидели — посмеялись.

Зина восхищенно смотрела на капитана. «Зачем она его пригласила садиться?» — с неприязнью подумал Луткова. Ему было дико, что она называет капитана Петей. Зато Пашка моментально с ним освоился, держался свободно и уже курил легкий офицерский табачок.

— Ирина, налей гостю чайку, — приказала мать и спросила: — Ты что, может, выпить принес?

Тот поколебался и ответил отрицательно.

— Вот тоже шел из Дома офицеров, — сказал он, подумав, — и встретил учительницу свою по химии. А ее дочка со мной с первого класса училась. Вот она остановилась со мной, представляешь, говорит, Петя, вышла дочка замуж, ну, муж зael совсем. Сам, говорит, ничего из себя, инженер, бронь имеет, но жить не дает, ревнует, пойти никуда нельзя, ничего нельзя, хоть разводись. А ведь дети. Ну, говорю, ревнует, значит, любит. Нет, говорит, Петя, это не жизнь. И сама-то она тоже грубая стала. Ты бы, говорит, зашел к ним. Ну, я зашел, посмотрел. И зачем люди женятся, чтобы так жить. Как волки. Ну, посидели, посмеялись...

За окном тонула в лужах улица, плавился под слепящим солнцем рыхлый снег. А здесь поднимался парок над чаем, лежал над столом слоистый табачный дым, шли неслышные утром ходики, радостно смотрела Зина. Пора было ехать, пора было расставаться.

Хотелось только, чтобы капитан ушел раньше них.

6

Они заехали еще на обратном пути, сдав в камеру хранения огромный ящик с тяжелой штампованной посудой. Но задержались недолго — пора было возвращаться, время командировки и так было безбожно просрочено. Часть посуды побилась, когда кидали ящик при пересадках, но вообще-то выглядела она при всей своей грубости совсем неплохо, а рисунок был просто хорош — различные фрукты в обрамлении вырезной листвы. Так что начальник ПФС утешился этим, — графин с петухом дядя достал всего один, да и тот с превеликим трудом. Но зато графин был большого размера и петух

в нем редкой красоты и сидел уж больно картинно, растопырив яркие стеклянные перья.

Снега в лагере уже почти не было, тянулись расчищенные сухие линейки, доносились голоса команд, обрывки далеких строевых песен, звучала труба, не часто, не без разбору, а только со смыслом, к месту: подъем, завтрак, приступить к занятиям, обед, ужин, поверка, отбой. Все шло размеренно, четко, привычно, но опытный солдат необъяснимо чувствовал, что главное его дело совсем близко. И Лутков ощущал это совершенно определенно, но если раньше в подобных случаях он спокойно ждал приказа, то теперь ему мешало сознание того, что времени осталось мало и надо торопиться.

Знакомый парень-санинструктор, — вот оно, преимущество долгой службы в одной части, — дал ему два листочка-направления на консультацию в госпиталь, уже со штампом и печатью — оставалось проставить число. И даже диагноз написал: воспаление среднего уха. Госпиталь, разумеется, размещался в городе.

И он ездил к ней, и шагал по длинной боковой улице, вдоль маленьких домиков, дощатых заборов, голых палисадников, и стучал в обитую клеенкой дверь, и встречал в упор ее взгляд — это был лучший миг, — и сидел с ней в темноте на лавочке, обняв ее и попыхивая самокруткой.

Она подарила ему фотокарточку, не очень удачную, в пальто и в берете. Белобрысый Двоицын, когда Борис показывал снимок во взводе, выглянул из-за плеча Витьки Стрельбицкого и спросил:

— Из ремесленного, что ли?

— Иди ты, — послал его Лутков.

А Стрельбицкий и другие ребята одобрили.

Снимок был, конечно, малоудачным, он не передавал не только цвет ее глаз и кожи, но была утрачена живость взгляда и улыбки. Для Луткова ценность карточки была в другом — в надписи на обороте. Там было написано ее округлым почерком: «Самому дорогому». Что ни говори, на такую надпись приятно смотреть, хотя он подумал

сразу же: «Значит, есть еще другие, просто дорогие, а я самый дорогой».

Стояли темные весенние вечера. Они сидели на лавочке, мимо проходили люди, не замечая их. Они сидели, прижавшись друг к другу. Борис жалел, что еще холодно и она в пальто. Они никуда не ходили, даже в кино, ему не хотелось тратить на это время, он почти слышал, как оно убыстряет ход. Оно шло ровным металлическим шагом, как ходики на кухне, со звуком, похожим на щелканье языком.

Они сидели на лавочке в темноте. У него не появлялось мысли о том, что нужно бы чем-нибудь угостить ее или сделать подарок. Такой мысли не из чего было родиться, ведь у него ничего не было. Но у него не было и ощущения своей неполноценности. Нет денег? А откуда им быть? Ведь он сейчас солдат.

Они жили сейчас по непохожим законам, хотя и непохожие законы похожи уже одним тем, что они законы. Но они сидели в темноте на лавочке так тесно, что возникшее в нем щемящее ощущение быстро идущего времени иногда передавалось и ей.

— Когда вы уедете?

— Скоро. Будешь меня ждать?

— Да, — отвечала она с готовностью и сама начинала строить планы, как они встретятся, как она, окончив институт, будет преподавать свою географию где-нибудь в глуши, и он приедет, и тоже будет там работать и учиться заочно. Или устроятся и станут жить в большом городе, там у него будет больше возможностей.

— Я в тебя верю.

Должно быть, где-то слышала или читала эту фразу и теперь говорила ему. Они тесно сидели на скамейке, мешались их запахи дешевых духов и махорки, ее волосы текли по его щеке, но оба они понимали, что все это, о чем они говорят, нельзя принимать вполне серьезно.

Резко потеплело, он был уже в пилотке и без шинели. Он постучал посредине дня в обитую клеенкой дверь. В полутемной комнате она стояла у тусклого выц-

ветшего трюмо и повернула навстречу ему завитую голову. Ира вышла в другую комнату и плотно притворила за собой двери.

— Здравствуй, — сказала Зина как бы задумчиво. — Ах, как неудачно!

— А что?

— Ты понимаешь, я сегодня занята. — Он молчал. — Во-первых, мне нужно вечером пойти в институт, — как всегда она не добавляла, что же во-вторых.

— Обязательно нужно? — спросил он спокойно.

— Да, — сказала она ласково. — Обязательно. Очень неудачно.

— Я могу пойти с тобой.

— Ты понимаешь, — ответила она уже с легкой досадой, — я не могу сегодня. За мной зайдут.

— А, — сказал он, — понятно.

Нужно ли было хитрить, ловчить, садиться на ходу на товарняк, спрыгивать, сторониться патрулей! Дурак, нужно было сидеть за землянкой, привалясь спиной к сосне, курить, прикрыв глаза, слушать, как врет о чем-нибудь Стрельбицкий, и ждать сигнала на ужин.

— Боря, давай в другой раз. — В ее ласковых интонациях угадывалось нетерпение.

Это были люди разных эпох, разных миров, люди, не понимающие друг друга. Они говорили на разных языках. На том языке, который знали они оба, нельзя было говорить обо всем, о важном, о главном. Он годился лишь на то, чтобы говорить о легком, о ерунде. На нем еще можно было говорить о прошлом.

— Другой раз не скоро будет. Ну, что ж, — и уязвленный, жалея себя за все свои старания, он вдруг в одном слове выразил нараставшее ощущение: — Надоело?

Спросил, уверенный в обратном, ожидая шумного возмущенного опровержения, но такового не последовало.

Тогда его прожгло нестерпимой обидой.

— Все! Больше меня не увидишь, — крикнул он, с удивлением отмечая про себя, какое у нее чужое лицо, и вышел, может, чуть медленнее, чем следовало, бросив за собою дверь. — Ну, погоди, пожалеешь, — шептал он, широко шагая по пыльной улице, хотя и ему самому было, по совести, неизвестно, почему она должна пожалеть. Попался молоденький инкубаторный лейтенант, Лутков заметил его слишком поздно и не поприветствовал, но тот не остановил, не сделал замечания.

На душе было скверно, но он знал, что все пройдет, и знал это совершенно точно, потому что знал на опыте.

По дороге к вокзалу он увидал из окна трамвая часы на столбе и подумал удовлетворенно: «Хорошо, сегодня на пятичасовой успею».

И, уже сбегая по скрипучим ступеням вниз к расположению, вспомнил о фотокарточке и сокрушенно пожалел, что не вернул ее, не догадался. Нужно было спокойно положить ее на стол: «Возьми, пригодится!» Действительно, там же не было сказано, что «самый дорогой» именно он, Борька Лутков. Ее можно было подарить и другому. А может, она и до него у кого-нибудь уже побывала.

Он поспел к самому ужину. Пашка удивился его быстрому возвращению, но ни о чем не спросил.

7

А через несколько дней, когда они заступали дневальными по роте, Пашка предложил:

— Как примем дневальство, давай сразу поезжай, а часовым поездом вернешься...

Что-то внутри радостно откликнулось на эти слова, но сам он сказал хмуро:

— Все. Хватит.

— Да брось ты, помириться вам надо, — не унимался Пашка, — она ж тебя любит. Давай я сам поеду, поговорю с ней. Как примем дневальство, сразу поеду, а часовым поездом вернусь.

Лутков не ответил. И едва только с противогазом на боку, финкой на ремне и красной повязкой на рукаве он стал в

первую смену на пост возле тумбочки, у выхода из землянки, Пашка натянул пилоточку на бровь и подмигнул.

— Погоди, — остановил его Лутков. — Если уж едешь, то так: я к ней не поеду, запомни твердо. Захочет — может приехать в воскресенье утренним поездом.

— Все ясно, — серьезно ответил Кутилин и выкатился из землянки.

Рота вся была наверху, ребята курили на задней линейке, потом чистили оружие, а почистив и смазав, спускались, ставили автоматы в пирамиду и сразу выходили, не задерживаясь. Наверху было хорошо, пахло весенним, вполне проснувшимся лесом. Солнце чем ниже, тем быстрее проваливалось между сосен, но небо над землянками еще долго жило воспоминаниями о нем и не могло погаснуть. Сыграли сигнал на ужин, рота разобрала котелки и ушла с песней.

Сквозь маленькое неотмываемое окошечко Луткову была видна сосна, вернее, ее ствол, середина ствола, — основания и вершины не было видно. Иногда ствол слегка, почти неуловимо, покачивался, но чаще был неподвижен. Сбоку смутно начинала зеленеть ветка березки, а ствол сосны, резкий, от подоконничка до верхнего оконного среза, вытянутый, четкий, в чешуйчатой прекрасной коре, был как жизнь, которой не помнишь начала и не знаешь конца.

Вернулась рота, многие остались наверху курить. Мишка Сидоров принес ужин дневальным — треть котелка перловой каши, чай в другом котелке, две пайки хлеба и сахар.

Дежурный по роте старший сержант Агуреев давно уже заметил своим блатным взглядом отсутствие Кутилина, но ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, — слишком многое связывало их с Лутковым, слишком давно они служили вместе и слишком серьезное общее дело предстояло им впереди. Он был сейчас недоволен, но он уважал Луткова.

А тот сунул ужин на окошко и стоял возле тумбочки как ни в чем не бывало. Пост дневального это, конечно,

не то что пост часового, но все равно приступать к еде было сейчас невозможно.

— Лутков! Как рота на поверку уйдет, подметешь, — приказал Агуреев.

— Есть.

Он только управился, как веселая ввалилась после вечерней прогулки рота, стала разбираться ко сну, не дожидаясь отбоя.

Они, не торопясь, разувались, расправляли портянки, ставили в ряд ботинки и сапоги, складывали в голова обмундирование.

Старички Боровой и Голубчиков, как обычно, копались в своих вещмешках, что-то проверяли, перекладывали и тихо разговаривали между собой — у них были свои дела и интересы. Мишка Сидоров уже спал как подрубленный, разбросав могучие руки. Витька Стрельбицкий что-то рассказывал в своем углу, на верхних нарах, откуда доносился хохот. Приглушенно прозвучал сигнал трубы. Агуреев крикнул властно:

— Рота, отбой! — и ушел в каптерку к старшине, все начало успокаиваться.

Лутков принялся за ужин. Перловая каша в котелке застыла, как алебастр, он легко и точно разделил ее пополам. Чай, конечно, тоже был холодный. Лутков, стоя возле тумбочки, быстро поел, Пашкину порцию поставил обратно на окошко.

Рота уже спала крепко и ровно, лишь временами кто-нибудь стонал или всхрапывал. Вокруг Стрельбицкого еще смеялись, но вскоре стихли. Вернулись откуда-то ротный Скворцов с лейтенантом Плужниковым. Агуреев выскочил навстречу, сдержанно, негромко доложил. Ротный, высокий, стройный, кивнул ему, пожал руку Плужникову и удалился в свою комнатушку, куда по субботам к нему приезжала жена. Молодая и тоже высокая женщина, — она всегда проходила по их длинной землянке быстро и не глядя по сторонам. Но сегодня был четверг.

Лейтенант Плужников сел на нары и, сухо поплевывая, долго стягивал хромовые сапоги, наконец улегся.

Агуреев прошелся по землянке, свернул и выкурил цигарку и лег, не раздеваясь, как положено дежурному.

Теперь Лутков тоже позволил себе закурить. Он глубоко затягивался, держа самокрутку в кулаке и выпуская дым в сторону двери. Стояла тишина, слышно было только дыхание роты.

Потом далеко за лесом слабо зажурчал поезд, на короткое время смолк и снова потек за леса, постепенно затихая. На карманных часах старшего лейтенанта Скворцова — единственных часах в роте — стрелки показывали один час четыре минуты. Лутков представил себе, как он, ослабив ремень, ляжет на нары и сладко вытянется. Прошло десять, пятнадцать минут — он напряженно прислушивался, но ничего не слышал. Прошло двадцать минут — он еще ждал. Через полчаса он понял, что Пашка не приехал.

Рота спала спокойно и ровно, но спать ей оставалось так совсем недолго, потому что шла война, и горела земля, и гибли люди. И многие из тех, кто прежде так же сладко спали рядом со спящими сейчас, спят уже иным сном и никогда не проснутся. И среди них первый для него — Коля.

Над землей стояла свежая весенняя ночь, крепко спали ребята, которых он знал как себя. Сотрясая нары храпом, спал Мишка Сидоров, беззвучно, незаметно — Витька Стрельбицкий, постанывал Двоицын, подложив под головы сидора, озабоченно спали Боровой и Голубчиков, готовый в любую секунду вскочить, отдыхал Агуреев, откинув голову, лежал в тени от нар лейтенант Плужников. А за перегородкой спал ротный, и в других землянках спали солдаты и их офицеры, спали комбаты, и командир бригады полковник Ковырзин. Он глубоко дышал во сне, четко отсвечивали ордена на кителе, пуговицы и ремень, и мерцал в буфете графин со спящим на донышке стеклянным петухом, растопырившим крылья.

Все, казалось, было объято сном. Но это лишь казалось. Не спали очень многие, и в их числе рядовой Борис Лутков. Перед ним была долгая ночь, но он не мог бы допустить такого позора, чтобы уснуть на посту.

Он стоял возле своей тумбочки и рассеянно думал о доме, о матери, от которой получил недавно письмо, но еще не ответил. Он думал о том, как играл в детской команде, и вспоминал, какие он забивал голы. Хорошие голы помнятся, как женщины. Стоит подумать о них, и они возникают перед глазами. Как та, что сама пришла к нему, когда он ночевал у нее в избе, отстав от строя. Ему было ясно, что он никогда не забудет ее, а ведь он не знал даже, как ее зовут и почти ее не видел. Зато другую он знает хорошо, а может, и ее не знает.

Ночь все текла над землей. Время от времени кто-нибудь вставал с нар и, сунув босые ноги в ботинки, набросив шинель или просто в белье, поднимался наружу. Потом они возвращались, стуча по ступенькам незашнурованными ботинками, проходили мимо него, падали на нары и мгновенно засыпали. Он узнавал их по звуку шагов, даже не глядя. Он немного, самую малость, тревожился за Пашку.

Землянка медленно наполнялась расплывчатым утренним светом. Неожиданно резко проснулся Агуреев, внимательно, будто не спал, посмотрел на стоящего у тумбочки Луткова и ничего не сказал.

Паша появился, когда рота уже вернулась с завтрака и готовилась к занятиям.

— Патрулей было полно на вокзале, — объяснил он, набрасываясь на еду, — побоялся — заберут, не стал садиться. Всю ночь скитался. Все в порядке, приедет она в воскресенье, сама хотела приехать. Ну, ступай покемарь.

— Ладно, потом разбудишь, — согласился Борис.

8

Он отпросился у лейтенанта Плужникова, получил на весь день хлеб и сахар. Утро выдалось теплое, ясное, но пришлось надеть шинель, чтобы можно было потом постелить на землю.

На разъезде было полно военного народу. Тут стояли группками и поодиночке солдаты, офицеры, сержанты. Все они ждали поезда из города и с этим поездом гостей — матерей, жен, случайных, но не менее нежных подруг и знакомых. Ожидающие, столь разные по званиям и положению, не обращали здесь друг на друга внимания, не козыряли, не вытягивались, здесь словно была особая зона, где на них всех уже распространились законы той, другой, гражданской жизни.

Первая светлая листва берез, ожившие сосны, покрытые травой пригорки, все это успокаивало глаз и душу, но, когда справа вблизи показался паровоз, Лутков снова почувствовал волнение и несколько раз подряд жадно затянулся.

Большинство встречающих вытянулись вдоль всей платформы — они знали даже, у какого им стоять вагона. А он взбежал на холмик, откуда был виден весь состав, и проходил взглядом по вагонным площадкам и окнам.

Поезд остановился и ровно через минуту покатился вдаль, оставив на платформе пеструю женскую толпу, которая, однако, тут же начала перестраиваться и растекаться: рядом с каждой женщиной шел уже человек в форме. Одни женщины — постарше — приезжали с гостинцами, с нагруженными сумками, другие совсем налегке. Всё двигалось быстро и радостно. Лишь несколько женщин еще стояли на месте, с беспокойством оглядываясь по сторонам, но и к ним уже подбегали. Через несколько минут платформа была пуста, — никто не желал терять времени понапрасну.

Он подождал, будто она могла все-таки появиться. Все равно спешить ему было некуда. Только что бурлившая пестрая волна схлынула, он один остался на разъезде. Он один уцелел на своем зеленом пригорке. Но он бы предпочел, чтоб и его смыло.

Он был оглушен ударом волны, и остро саднило покорябанное самолюбие.

Возвращаться в расположение было смешно. Он пошел по шпалам в ту сторону, откуда появился поезд, —

он собирался повести туда ее. В этой стороне, он знал, бывало меньше народу.

Он шел между двух слепящих, улетающих вдаль рельсов, перебирал ногами и все никак не мог приноровиться к всегда неудобной для себя дороге. Он то семенил, то начинал шагать через одну шпалу, то опять частил. И это все было похоже на другую дорогу, только тогда была ночь и он был моложе. Но тоже было отрублено многое из оставшегося за спиною, и тоже неизвестность была впереди. И все-таки это было совсем не так, и он был не тот, потому что это происходило с ним в другой жизни.

Он перешел через железнодорожный мостик, свернул в сторону, сел и, достав из кармана хлеб, не торопясь, с удовольствием съел половину. Потом он спустился к ручейку, стал на колени и напился. Он выбрал маленькую зеленую полянку, бросил на землю шинель и лег — один — глядя вдоль шершавых, белых с черным стволов в синее небо.

Его разбудил женский смех. Он, не шевелясь, глянул в сторону и увидел, как, не замечая его, обнявшись, проходят за кустами сержант и грудастая, в чем-то нестерпимо розовом девица. Ему показалось, что сержант — это Веприк. Они быстро скрылись за кустами, снова взлетел и разом оборвался ее громкий смех.

Лес был уже затоплен тенью, лишь на больших полянах и по просекам висели солнечные столбы.

Он умыл лицо в ручейке, доел хлеб и разогнал складки под ремнем.

Неизвестно для чего, он снова вышел к разъезду. Там уже накапливалась разбитая строго парами толпа. Тут были солдаты с матерями, сержанты с девушками, в конце платформы стоял ротный Скворцов, держа под руку свою высокую, под пару ему, жену. Провожавшие не обращали друг на друга никакого внимания, они сами были сейчас как гражданские. Показался поезд, все стали прощаться, обнимаясь и целуясь, некоторые женщины заплакали.

Через минуту поезд ушел, на платформе не осталось ни одной женщины. Теперь здесь были только военные, и жизнь шла по армейским законам, — солдаты подчеркнуто торопились в расположение, козыряли командирам.

Борис тоже бегом спускался по скрипучим ступеням. Внизу над лагерем плыли лиловые дымки, трубач играл на ужин.

— Тебе привет, — сказал Лутков Пашке.

Через два дня, когда на соседней станции грузились в эшелон, Двоицын крикнул:

— Лутков где?

— Я!

— Тебя там какая-то девчонка спрашивает.

В нем что-то дрогнуло, и он подумал только: «Ах ты, черт, в обмотках я и грязный».

Отряхиваясь, он посмотрел по сторонам:

— Где?

— Да вон Стрельбицкий сказал.

— Была, — подтвердил Витька, — но тебя не дождалась, ушла к генералу. У него знаешь лампас какой!

— Иди ты! — со злостью крикнул Лутков.

— Борька! Ладно, всё! — удивленно говорил ему вслед Стрельбицкий.

Часть вторая

1

Двое суток не было погоды. То есть погода, разумеется, была, но она была нелетной. На третьи сутки вечером подали команду, они надели десантные рюкзаки с продуктами и боекомплектом, оружие и парашюты. Они выглядели несколько непривычно, незаконченно: впереди у них отсутствовали запасные парашюты, — ПЗ были только у офицеров. Они стали в одну шеренгу, начальник парашютно-десантной службы, проходя сзади,

проверил их снаряжение. Потом они снова легли на сено под навес из веток, где провели уже две ночи. Теперь они напряженно ждали, каждый старался не думать о предстоящем, переключиться на другое. Но Лутков знал, что это напрасно. Можно отвлечься от многого, но не от всего же. Когда вас режут на операционном столе, отвлекающие разговоры не помогут, тут нужны средства посильнее.

Совсем рядом взревел во мраке «дуглас», сперва одним мотором, потом вторым. Ему откликнулся другой, еще, еще, машины дружелюбно перекликались своим звериным рыком.

Крикнули: «Становись!» — и вот они быстрым шагом пошли за лейтенантом и стали подниматься в самолет. Это был миг их отрешения от прежней жизни, — когда нога оставляла теплую землю травяного аэродрома и ступала на стальную ступеньку трапа. Что бы ни случилось впереди — смерть или жизнь, — все равно прежнее было уже невозвратимо.

Поднимаясь по трапу, Голубчиков споткнулся и пробормотал про себя: «Что же это делается!» Двоицын подумал безо всякой надежды: «Хорошо бы опять отставили из-за погоды». Стрельбицкий: «Скорей бы!» Кутилин: «Подольше бы лететь!»

Через несколько минут машина, пробежав по кочковатой земле полевого аэродрома, оторвалась от нее. Одна за другой поднимались машины, набирали высоту, ложились на курс. И с других аэродромов взлетали другие батальоны, чтобы встретиться где-то в ночных воздушных пространствах. Это было массовое десантирование всей бригады полковника Ковырзина.

Они молчали, горел скрытный синий свет, самолет мощно ревел моторами. Его окружала ночь, где-то далеко таилась земля в чудовищной, провальной глубине, скрытой мраком. На земле не было и не могло быть ни одного огонька. Туда, во тьму, им вскоре предстояло шагнуть в затылок друг другу. Теперь им не хотелось покидать самолет, как недавно не хотелось расставаться с землею.

Много раз поднимался Лутков с военных аэродромов, чувствуя всем телом, как машина отрывается от земли, но ни разу он не бывал в самолете, который шел на посадку. Он не знал, что это такое. Он всегда покидал машину в воздухе. Предстояло это ему и сегодня.

Самолет ровно ревел моторами, горел синий свет, и, сидя вдоль бортов, лицом друг к другу, напряженно молчали ребята. Многие прикрыли глаза, но, конечно, не спали. Агуреев, не мигая, сощурясь, смотрел куда-то далеко — наверное, в прошлое, потому что рассмотреть будущее было слишком трудно. Впереди возле пилотской кабины сидел лейтенант Плужников с запасным парашютом на коленях и тихонько поплевывал, будто он свернул покурить и к кончику языка пристали табачные крошки.

И вдруг все изменилось. По проходу пробежал кто-то из экипажа. Встрепенулся Плужников. Сквозь ровный рев моторов и слитный гул от вибрации, за спиной, за бортом, угадывались посторонние лишние звуки. И совсем уже рядом ухнул глухой удар, от которого мелко задрожал самолетный металл, и машину сильно шатнуло.

В синем свете круглыми расширенными глазами смотрел на Луткова Двоицын. Побуждаемый непреодолимым жгучим чувством, Борис повернулся боком на сиденье и отогнул краешек шторки на иллюминаторе. Тотчас же он отшатнулся, его ослепило близкой яркой вспышкой.

Земли ему не было видно, но были видны протянутые от земли следы огня. При каждом разрыве, вырванные из мрака, мгновенно подсвечивались и тут же гасли жутко светлые облачка. И вдруг осветилось не облако, а самолет, совсем близко. Только он был освещен своим огнем, он горел. И отчетливо, мучительно было видно, как из него стали прыгать один за другим, но тут он ярко вспыхнул, завалился, перешел в беспорядочное падение. А те, что выпрыгнули, опускались вниз, и разрывами подсвечивались их купола.

Их корабль снова сильно тряхнуло, он пошел резко в сторону, вправо, но быстро выровнялся. Кроме рева моторов, ничего уже не было слышно.

Потом зазвучала сирена, над пилотской кабиной замигала лампочка: «Приготовиться!»

Открыли двери на обе стороны. Воздух, завихряясь, бил по ногам стоящих первыми.

— Пошел!

Лейтенант выпускал в одну дверь, Агуреев в другую.

— Пошел, пошел, пошел!..

Впереди, перед Лутковым, шел Стрельбицкий, перед ним Боровой и Голубчиков. Борис боялся, как бы они не замешкались. Но Агуреев был наготове, подгонял, прихватывая за плечо: «Давай, давай!» — и они выскочили друг за другом. За ними легко, словно ему это ничего не стоило, не замедляя хода, вывалился Витька, и следом он сам с усилием сделал шаг в ночную невидимую бездну, и его отбросило от машины тяжелым встречным воздухом.

Ночь была очень темна, и это было прекрасно. После динамического удара он увидел над собой белеющий перкаль и рассмотрел ниже себя смутное облачко купола прыгнувшего перед ним Стрельбицкого.

Лутков приземлился среди поля и быстро отстегнул подвесную систему. Стояла тишина, не было даже намека на звуки дальнего боя. Кто-то тяжело приземлился поблизости. Вероятно, это был Пашка, а может, уже Мишка Сидоров. Крикнула ночная птица, ей отозвались свистом. Чуть заметно бледнело небо с востока. Лутков, комкая, собрал купол и двинулся на условный сигнал.

Когда развиднелось, они оказались в степи. В редком тумане еще бежали к общей группе отдельные солдаты. Кроме их взвода, здесь был второй взвод вместе со старшим лейтенантом Скворцовым и еще один взвод из другой роты. Им все стало ясно: зенитным огнем разметало корабли, и их выбросили в стороне от основных сил. И хотя кругом стояла мягкая рассветная тишина, это открытие наполнило их новой тревогой. Впереди сквозь туман проступала рощица, и движимый пока одним только инстинктом десантника Скворцов повел людей

туда. Но тут же выяснилось, что это всего лишь редкий ряд пирамидальных тополей вдоль дороги — здесь даже нечем было замаскировать парашюты. Туман растворялся в теплом движущемся воздухе, распадался перед ними. Обещанного леса нигде не было видно. Зато поблизости, за бугром, выступали из зелени мокрые крыши села.

Час прошел в напряженном ожидании, пока не вернулся солдат из числа посланной Скворцовым разведки. Немцев в селе не было, и ротный принял единственно возможное решение — укрыться в селе.

Броском преодолели открытое место и уже у околицы, у первого плетня, ротный построил их, сам подсчитал ногу и скомандовал:

— Запевай!

Стрельбицкий откашлялся и хрипло завел:

Якорь поднят; вымпел алый
Плещет на флагшто-о-оке,
Краснофло-те-ец, крепкий ма-лы-ый,
В рейс идет дале-окий...

И все подхватили дружно, и лихо, и гордо, — понимая, что нужно спеть как следует, как только возможно хорошо.

И потрясенное, в испуганной радости, застыло утреннее село, ничего не понимая, застигнутое врасплох этой песней, этим строем, захлестнутое щемящим, давним, довоенным. Замелькали в окнах неверящие бабьи лица, выбежало на дорогу несколько босых мальчишек, позабывших, что можно пылить рядом с колонной.

Мира пять шестых объездив
По различны-ым стра-а-анам...

Но ротный оборвал песню. Он крикнул одно только слово, и его было довольно, чтобы рота ссыпалась с дороги, укрылась в зелени по обе стороны улицы. Это слово было — «Воздух!». Растворяясь в ранней голубизне теплого летнего утра, почти недвижно стоял в высоком небе немецкий разведывательный самолет.

— «Рама», — сказал Веприк довольно бодро. — Рыщет.

— Нас высматривает, гад, — произнес Лутков и сплюнул. — Больше некого.

Остальные мрачно молчали.

«Что же это будет?» — мелькнуло у Голубчикова.

«Ничего, обойдется, — успокоил себя Пашка. — Не может быть».

«Будет подмога», — понадеялся Двоицын.

И еще подумали все вместе: «Главное — дождаться темноты».

2

Они лежали на взгорке, несколько человек, боевое охранение, отдаленно слыша за спиной смутные шумы деревни. Они оседлали дорогу, замаскировались — воткнули два смородиновых куста — место было слишком открытое. Но отсюда хорошо просматривалась дорога.

— Можно спать! — сказал Агуреев.

Позади была напряженная бессонная ночь, но она была позади, и они о ней не думали. Нужно было беречь силы для следующей ночи.

Они ненадолго, слегка задремывали беглым, поверхностным сном, тут же пробуждаясь. Над ними стояла гнетущая тишина дня.

Их мысли настойчиво возвращались к одному: уйти, исчезнуть с этих открытых пространств, — в спасительные загражденья лесов, в их тень и сумрак. Как домой, хотелось добраться до бригады, хотя там, может быть, шел сейчас самый страшный бой. Но уцелеть можно было, только пройдя сквозь это.

Они уже знали, что отсюда до леса более семидесяти километров, по ровной, как доска, степи.

За спиной, в селе, отдыхали ребята. Многие, наверное, уже проснулись и, ожидая темноты, разговаривали и шутили с женщинами. Ротный выяснял, нет ли в селе предателей.

Агуреев свистнул по-блатному, сквозь зубы — как сплюнул. Они подняли головы.

Далеко впереди, куда едва доставал глаз, различалось в мареве темное пятно пыли. Минуту они еще надеялись, что им померещилось, что это что-то другое.

— Двоицын, — сказал помкомвзвод тихо, — бегом к старшему лейтенанту. Доложишь: на дороге четыре мотоциклиста...

Он не окончил фразы. На щеке его, под кожей, мелко подрагивал лицевой нерв.

— ...а за ними мотопехота. Пять или шесть машин...

Сошки РПД скользили в пыли. Мишка Сидоров вжался плечом в приклад.

— С предохранителя сними, — сказал Лутков Пашке и сам поставил автомат на боевой взвод.

Немцы были совсем близко. Они ехали в колонну по два, сидели уверенно и удивительно прямо.

И вдруг один из них заметил охранение, — они это поняли сразу, что он увидел их, торчащих на взгорке. Но он успел только вскрикнуть...

— Бей, — бросил Агуреев.

Мишка нажал на спуск, остальные тоже дали по короткой очереди и снесли мотоциклистов слитным огнем.

Один мотоцикл загорелся, другой, лежа на боку, дрожал и подпрыгивал в пыли, словно бился в судорогах.

— По машинам бей, — сказал Агуреев Сидорову. Машины были, наверно, в километре.

Мишка выпустил длинную очередь, и они остановились.

— Не, не попал, — объяснил Мишка. — Сами стали.

Три грузовика свернули в сторону и быстро покатили, объезжая село с другой стороны, а три остались на месте, из кузовов попрыгали солдаты и залегли.

— Минометы у них, — щурясь, сказал Агуреев.

— Ага, — согласился Мишка Сидоров. — Полковые.

От села по дороге, сильно пригнувшись, поспешал Двоицын.

— Старший лейтенант приказал отойти.

Они, пятясь, сползли с бугорка и, тоже пригнувшись, побежали вдоль дороги. Легко подняв немалый груз

очень черной земли, рванула совсем поблизости мина. Вторая упала почти одновременно с первой. Странно было представить, что это предназначается им.

— Вперед, броском! — кричал Агуреев.

«Во фриц дает!» — подумал Мишка Сидоров.

Пашка Кутилин: «А дальше что же будет?»

Лутков: «Надо пробиться».

А Голубчиков уже ни о чем не думал, лежа вверх лицом на черной развороченной взрывом земле.

Попытаться закрепиться и удержать длинное село было бы безумием. Но за селом пролегала балка, по дну ее сочился ручеек, и, продолжая балку, тянулась осыпавшаяся, изломанная линия траншей, отрытых, должно быть, нашими при отступлении, в сорок первом. Сюда и отошли сейчас люди старшего лейтенанта Скворцова.

Они были зажаты, блокированы в узкой щели под безоблачным небом, но здесь они могли держаться.

Немцы не сразу, но вошли в село, стали устанавливать в садах минометы. И только лучшие стрелки роты, стараясь помешать, не дать действовать свободно, время от времени били по ним одиночными выстрелами и короткими очередями.

— Мина! — сказал Стрельбицкий.

Ее хорошо было видно простым глазом. Она шла по дуге, слегка раскачиваясь, вихляясь, набрала высоту и стала падать на них, но это только так показалось, она ухнула, не долетев метров пятидесяти и подняв веер очень черной, долго опадающей земли.

Пашка повернул к Луткову бледное потное лицо, подмигнул и крикнул злорадно:

— Не попал, гад!

У второй тоже был недолет, но меньше, у третьей опять больше, одна рванула сзади, за траншеями.

Немцы расположили в садах два полковых миномета и несколько легких и методично чередовали общие залпы с веерным обстрелом: разрывается мина, а та, что за ней, уже рядом, на подходе, и другая тоже в полете, а

следующую только выпустили, и еще одну опускают в ствол. Эта минометная очередь не давала поднять головы, а по спинам, по десантным ранцам, словно град по кровельному железу, стучали мелкие комья земли.

— У них наблюдатель на крыше, — неожиданно звонко крикнул Стрельбицкий.

— Сидоров, снять его! — долетел издалека прежде знакомый голос.

Винтовок не было не только снайперских, вообще никаких, у всех автоматы. Мишка вытащил на бруствер ручной пулемет, приноравливаясь, что-то бормоча. Это был совсем другой человек, он только внешне напоминал Мишку Сидорова, да и то не очень. Сквозь поднятые черные смерчи, он, мокрый, грязный, смотрел вперед, туда, где засел немецкий корректировщик. Сейчас он ему врежет.

В следующий миг неожиданный чудовищный удар пришелся по ним, но не спереди, а сбоку. С поразительной легкостью оторвавшись от дна траншеи, спиной вперед прыгнул на Луткова Стрельбицкий и сбил с ног. Страшный фонтан земли и рваных осколков застыл в воздухе и тяжело осел в траншею.

Мина разорвалась в самой траншее, но не в их колене. Теряя силу при поворотах, прошла сбившая их взрывная волна.

— Кто живой, поднимайсь! — донеслось еле слышно, совсем уже издалека.

Там, где упала мина, траншея, как водой, была заполнена до краев густым темным дымом.

У Луткова заложило уши, он делал беспрерывные глотательные движения. Долго не исчезал въевшийся в одежду и поры острый запах взрыва.

3

Немец в атаку не шел, лишь густо обстреливал из минометов.

Если бы было где укрыться, они вырвались бы отсюда и раненых бы вынесли. Но им некуда было деваться.

На открытой со всех сторон равнине они были беспомощны. И немцы, понимая это, не торопились, не рисковали, а покидывали мины и, вероятно, ждали танки или авиацию. Особенно долго возиться им тоже было ни к чему.

И действительно, — обстрел вдруг прекратился, и десантники, еще оглушенные, не сразу услышали зудящий звук моторов.

Два «мессера» появились из ничего, из синевы, из неосевшей пыли, один остался вверху и стал ходить кругами, а второй, снизившись, прошел не над самой траншеей, а чуть в стороне и не стреляя, — должно быть, летчик хотел сперва посмотреть.

— Гвардейцы! — прокричал Скворцов. — Встретим их шквальным огнем! — и громко выругался.

«Мессер» на бреющем казался огромным, от него на миг стало темно, он заслонил свет. Траншея тянулась зигзагом, он не мог прошить ее всю сразу, на каждое колено нужно было нацеливаться чуть ли не отдельно. Он с ревом прошел над ними и полез в высоту, второй уже заходил на его позицию, вычерчивая с ним вместе гигантское невидимое колесо.

А они подняли навстречу стволы автоматов, не слишком надеясь на удачу, но показывая, что не уступят врагу. Борис вогнал приклад в плечо и держал палец на спуске. Автомат бился в руках, и Лутков видел его защищенную мушку и вмятину на кожухе, и черное брюхо «мессера», и белые кресты на крыльях. Он замечал теперь все, что происходило вокруг. Самолеты заходили и заходили, поочередно закрывая свет и словно длинным бичом пыльно хлестали по земле очередями. На дне траншеи лежал на спине сержант Веприк и делал слабые попытки подняться. На него со стенок текла земля. Мишка Сидоров укрепил сошки РПД на бруствере и стрелял, сидя на корточках.

— Попал, — закричал он вдруг во всю глотку. — Товарищ лейтенант, попал, ей-богу.

Никаких внешних признаков не было заметно, но са-

молет действительно не зашел на них снова, а сделал широкий круг и стал удаляться. И второй последовал за ним.

Может быть, у них кончалось горючее или их смущало приближение темноты.

Пашка, осунувшийся, бледный под грязью, сидел привалясь спиной к стенке. Борис разрезал финкой темный, намокший рукав. Рана была выше локтя, сквозная, из нее сочилась яркая кровь, стекала по руке, капала с кончиков пальцев. Лутков зубами разорвал индивидуальный пакет, бинт был удивительно бел в его черных руках.

— Помоги, Витька.

Стрельбицкий отогнул разрезанный рукав, и Лутков накрепко забинтовал Пашке руку.

Боровой, Двоицын и с другой стороны Мишка Сидоров тащили на плащ-палатке сержанта Веприка в балку, к ручью. Он был ранен в грудь и уже впал в беспамятство. В начале траншеи, возле балки, полулежал на расстеленной шинели ротный. Два санинструктора склонились над его ногой, жутко белой в наступающих сумерках. Рядом валялся хромовый сапог с располоснутым голенищем.

Стояла полная тишина, из села не долетало ни звука. Красноватый закат был притемнен еще не осевшей пылью от взрывов. Все понимали, что сегодня ничего уже не будет, немец отдыхал. Но возбуждение еще не оставляло их. Они ощутили голод и стали вынимать сухари и консервы. Фляга у Бориса оказалась пустой, он, удивляясь, тряс ее, он не помнил, когда выпил воду. Они не думали о том, что их ожидает. Только старик Боровой, потерявший напарника, безучастно сидел в стороне и думал с беспощадностью: «Передушит, как курей, танки еще подтянет с утра, и все, копец». А Двоицын, думая о будущем, полагался во всем на командиров.

— Агуреев! — позвал ротный. — Посчитать раненых!

Он говорил спокойно, и можно было не понять, спутать, что же лучше: быть раненым или нет.

Агуреев стал считать в темноте, и раненые сами назывались, откликались с надеждой, с готовностью.

— Двадцать три.

— Орлы! — сказал ротный. — Слушайте мой приказ. Все раненые остаются здесь со мной. Мы будем держать оборону. Остальные под покровом темноты совершат марш туда, где они должны находиться. Марш нелегкий, всем приготовиться, переобуться, наполнить фляги. Старшим назначаю лейтенанта Плужникова.

В полной тишине слушали они эти слова, отсекающие их друг от друга. Только что они были одно целое, теперь их судьбы стали столь несхожи. Это было больно сознавать, но это свершилось мгновенно и бесповоротно, у тех и у других была теперь своя задача, и следовало думать о ней.

Они передавали из рук в руки полные тяжелые фляги в мокрых чехлах.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Пашка убежденно. — Я в руку ранен, я могу бежать.

— Нет, не дойдешь.

— Я в правую ранен, мне и стрелять-то не с руки...

— Отставить! — прервал его Скворцов.

— Все готово, — доложил Плужников.

— Ну, счастливо, гвардия, — громко сказал ротный.

Плужников нагнулся к нему, и они обнялись.

— Пошли! — бросил лейтенант.

Лутков хотел попрощаться с Кутилиным, но была в этом горькая, мучительная неловкость, и он не решился.

— До свидания, Паша! — крикнул он в темноту и выпрыгнул из траншеи.

Через несколько минут они, огибая село, ходким шагом шли по степи. Плужников впереди строя, Агуреев сзади. И едва отошли на километр, там, за спиной, простучало несколько очередей, показывая немцам, что десантники на месте и ждут утра. А скорее всего это был прощальный салют. И всю жизнь, что осталось им жить — а им оставалось по-разному, — он звучал и звучал в их памяти.

Потом там поставили небольшой обелиск, пионеры переписывались с родственниками погибших, с теми,

кого удалось разыскать, дважды за все годы приезжали матери двух солдат и один раз высокая женщина, та, что когда-то навещала по субботам старшего лейтенанта Скворцова.

Но все это было потом.

4

Они шли быстрее и быстрее, постепенно перешли на равномерный бег, который показался им не слишком быстрым. Пробежали метров шестьсот и снова пошли шагом, — Плужников словно примерялся, втягивал их, давал настроить дыхание. Опять побежали рысцой и бежали долго, строй начал растягиваться, Агуреев не успевал подгонять. Передние тоже дышали с трудом, но держались за лейтенантом. Когда и они стали отставать, Плужников замедлил бег и опять перешел на скорый шаг, делая передышку. И опять бегом, и опять шагом, и следом новое ускорение.

Лутков бежал в середине взвода, делая большие тяжелые шаги и наступая на всю подошву. Нагруженный рюкзак, и лопатка, и фляга, и автомат — все было подогнано хорошо и не мешало, но бежать было тяжело.

Минувший день вспоминался отдаленно, приглушенно, а затем совсем исчез, на него невозможно и не за чем было оглядываться. Он скрылся за густой пыльной пеленой, поднятой их строем, и лишь для тех, кто останется жить, он потом, не скоро, проступит из черной пыли. Но когда он появится вновь, тут уж он будет видеться все явственней, зримей и чаще.

Они вышли на дорогу. Там лежала пыль, теплая, мягкая, по щиколотку. Они подняли эту пыль, окунулись в нее, она забивала им рты и ноздри.

— Привал! — крикнул Плужников.

Они свернули с дороги и рухнули на теплую, милую, пахучую землю, с которой невозможно, немыслимо было расстаться телу. Но уже властвовало над ними жестокое слово: «Подъем!»

Но почему? Сколько они отдыхали? Минуту?

Если за всю ночь не встретится на пути охранения или заставы, тот, у кого хватит сил, кто добежит до старого, темного, глубокого леса, тот мог надеяться, лишь надеяться, что будет жить. Остальные такой надежды иметь не могли. Это было ясно. Если они не дойдут до своих, то не имело смысла все это затевать, бросать товарищей и так мучиться. Это тоже было ясно.

Он вдруг подумал о Коле с острой, подсознательной жалостью к себе: «Эх, был бы Коля». Такое, как искра, как удар, часто возникало у него, всякий раз, когда ему бывало очень хорошо или очень плохо. И сейчас он подумал не о Пашке, а о Коле. «Эх, был бы жив Коля!»

— Привал! — Они падали и засыпали.

И тут же, почти тут же:

— Подымайсь!

Шатаясь, дергал за плечи, пинал ногами Агуреев:

— Подъем!

А Плужников с расстегнутым, с разорванным воротом стоял уже на дороге, ждал, переминался в нетерпенье.

— Мишка, вставай, гад! Не спи, уходим!

— Сколько прошли, товарищ лейтенант?

— Еще мало.

Лутков хлебнул из фляжки. Вода была теплая, она нагрелась от его тела. Он заложил большие пальцы за лямки рюкзака, подтягивая его, и бежал, бежал, сильно подавшись вперед.

Не существовало ни матери, ни девушки, ни жизни, ни смерти, было только ухающее, разрывающееся сердце, забитое пылью дыхание, был только этот бег.

Ночь была еще темна, но чувствовалось, что скоро начнет светать. Мелкий, мелкий просеялся над их головами дождик, он не смог освежить их. Трава на привале была совсем мокрая, уже от росы.

Чуть начинало светлеть. Плужников все бежал и бежал, он боялся остановиться, чтобы не упасть. Агуреев уже не мог подгонять отстающих, иначе он сам начинал отставать. Но он хрипел:

— Двоицын, шире шаг.

— Ногу натер, не могу.

— На мослах беги! Застрелю!

И Двоицын бежал, шатаясь, и бежал широким шагом Мишка Сидоров, как дубину неся на плече РПД, и, чуть отстав, семенил по обочине Боровой, и на зависть легко шел рядом со взводным Витька Стрельбицкий.

Становилось все светлей, утро было пасмурное, тихое. Лица у ребят были густо залеплены грязью, вороты разорваны, закатаны рукава.

— Какие на всех черные лица! — сказал Лутков вслух и засмеялся. Впереди, закрывая горизонт темной полосой, тянулся лес.

Стало совсем светло. Выслав вперед охранение, они вошли в полумрак настоящего, большого леса. Лутков заснул на ходу, ветви задевали его лицо, он, покачиваясь, шел и шел, пока сухой сук не разодрал ему на лбу кожу.

Кровь заливала глаза, и, еле-еле двигая руками, Стрельбицкий бинтовал ему голову.

За кустами в ложбинке что-то белело.

— Никак снег? — удивился Двоицын.

Это был перкаль парашюта.

5

Лутков демобилизовался через год после окончания войны, приехал к матери в новое, неизвестное ему прежде место, но опять в заводской поселок. Мать поседела за войну, но была, как всегда, бодра, энергична и занята своей работой.

А он не знал, где приткнуться, чем заняться — до начала приема в институты оставалось еще несколько месяцев. Эта старая жизнь, куда он возвратился, не была прежней, привычной, это была новая жизнь. Демобилизовавшись, он оказался столь же одинок, неприкаян, как первое время в армии, в карантине. И опять он остро пожалел себя: «Эх, был бы Коля!..» И опять ему захотелось письма, участия, поддержки.

Он не знал, где Зина, но у него был адрес Иры, тихой, вялой, мерзнущей Иры из той военной весны, с боковой улочки под снегопадом, и он написал ей. Она ответила тут же, письмо ее было суховато и кратко. Она сообщала, что Зина уехала на Крайний Север, что переписка их оборвалась. Там еще была такая фраза: «Не понимаю, зачем ей нужно было лгать и обманывать». Эти слова неприятно задели его. «Это она по злобе пишет, от обиды, от зависти», — подумал он, но тут же вспомнил и тот день, когда она собиралась куда-то, и они поссорились, и того капитана, кажется, Петю.

Но все это было далеко позади.

С осени он поступил в институт, в один из труднейших и знаменитых вузов страны. Он шел как фронтовик, вне конкурса, но экзамены сдал более или менее прилично, правда, еле-еле вытянул немецкий.

Теперь он обосновался в общежитии, за городом, возле леса, как на даче, и ездил каждое утро с ребятами на занятия в институт. И эта дорога, — ранний холодок, дощатая платформа в росе, гул электрички за лесом, и его причастность ко всему этому смутно радовали его. Иногда это напоминало нечто похожее, давнее. Но это была другая жизнь, совсем другая, третья жизнь, неизвестно с какой более связанная.

У них в группе было несколько фронтовиков, а остальные ребята из десятилетки, молодые, башковитые, пробившиеся по тяжелому конкурсу, нужно было стараться вовсю, чтобы от них не отстать. Конечно, он многое перезабыл, но многие его силы и способности бездействовали, отдыхали все эти годы и сейчас, получив толчок, рванули вперед.

В общем, он втянулся, зацепился, поймал ту площадку и уже ехал как положено.

И пошли мелькать недели, и месяцы, и семестры его жизни — теснота электричек и метро, гомон столовых, торжественная утренняя тишина большой двусветной

аудитории, уходящей амфитеатром высоко вверх, освещенный морозный город, и первая их работа, напечатанная в научном журнале, правда сокращенная до невозможности, изрезанная, но своя, первая, и там и его есть труд, и его бессонница. И людные поэтические вечера в Политехническом, и танцы у них в институте — под радиолу и свой оркестр, и вечерняя лестничная площадка, и долгий разговор, и ее шепот о том, что волосы у него пахнут талым снегом. А внизу белый двор, туда забрели с улицы двое и стоят, обнявшись, среди белизны, очень долго, весь вечер, а возможно, это уже не та пара, а иная совсем.

У них в институте приходящие письма раскладывали внизу в специальные ячейки, по порядку, по буквам. Он стал перебирать целую стопку писем и открыток на «Л» и вдруг, как тогда, в карантине, вздрогнул от ее почерка.

Он давно уже о ней не думал и не вспоминал, и, может быть, именно эта внезапность взволновала его. Он сунул конверт в карман, вытянул из пачки «Прибоя» сплющенную папироску и выкурил ее в несколько затяжек прямо на лестнице, где курить строжайше воспрещалось.

Письмо он вскрыл, когда началась лекция.

Она писала, что прочла сообщение о нем и их студенческой работе в «Комсомольской правде», если это однофамилец, она просит извинения, но думает, что это он, ее одноклассник. Она писала, что приезжает через неделю на три-четыре дня к родственникам, и просила встретить ее.

Они шли по сухому весеннему тротуару. Они были теперь людьми одной жизни, одной и той же, она, собственно, всегда жила в ней, а он пришел недавно оттуда, где все не такое, где все не так. Теперь наконец они были людьми одной жизни, но это не соединило, не сблизило их.

— Женился?

— Собираюсь. А ты?

— А я замужем. У меня сыну два года.

Он не понял, правда ли это.

— А кто муж?

— Ты не знаешь. Он учится в военном училище.

— Ишь ты, — удивился он. — Все же не отвертелась от армии. Любишь его?

— Я его уважаю, — ответила она серьезно.

Потом они сидели в кафе, в самом центре, пили — он водку, она портвейн «777» — и вспоминали их городок, затемнение, кино, их встречу на вокзале.

Она теперь спокойно смотрела на него большими серыми глазами — не было в них ни жалостливости, ни радостной преданности. Она долго рассматривала широкий шрам, светлеющий у него на лбу, и сказала робко:

— Тогда этого у тебя не было.

— Тогда у меня много чего не было. Давай выпьем.

И когда она спросила про Пашку, ему не захотелось рассказывать о той ночи. Он стал сдержан и часто находил удовлетворение не в том, чтобы рассказать что-либо, а в том, чтобы промолчать.

Перед тем как проститься, он все же не утерпел:

— Что ж ты не приехала тогда?

— Когда? Я не помню, — сказала она искренне.

Прошло много лет, как пишут в романах. Однажды он сидел после ужина дома, в своем кабинете, и работал — просматривал корректуры. Было уютно, спокойно, жена читала в соседней комнате, дети смотрели телевизор.

Отвесно стоял снегопад за окном. Стол был удобно освещен, комната тонула в тени. На полках, среди книг, поблескивали всякие безделушки и мерцал памятный дядин подарок — графин с петухом. Петух был красивый, яркий, сидел, растопырив крылья, утолщенный тем, что смотрелся сквозь налитую в графин водку, — сверху

торчал только красный гребешок. Такие графины не выпускают давно, но все же их можно встретить иногда у самых разных людей, например у генерала Ковырзина.

Лутков отложил работу и стал смотреть на снегопад. Хлопья, тяжелые, крупные, опускались медленно и только возле фонарей, в их свете, меняли направление и словно летели горизонтально. Этот снегопад напоминал что-то далекое, смутное, что можно было при желании приблизить, но не хотелось делать усилия. Но само собой пришло другое: он дневальный, стоит возле тумбочки в полутемной землянке, на нарах спит, разметавшись, рота, а он ждет Пашку из города и слышит, как далеко-далеко журчит за лесом поезд. Он вспомнил, как Пашка вернулся только утром и жадно ел застывшую кашу, вспомнил, как он, Лутков, дожидался Зину на разъезде, как схлынула с платформы пестрая толпа и он остался один. Сейчас мысль его двигалась сама собой, выбирая дорогу совершенно интуитивно. Он вспомнил то ответное письмо Иры: «Не понимаю, зачем нужно лгать и обманывать» — и как Зина спрашивала его о Пашке.

Мгновенно все это соединилось, стало в один ряд, но важнее всех в этом ряду был сейчас Пашка, Лутков хотел сохранить его таким, каким знал в те дни, дни своей наивности, доверчивости, неопытности. В дни своей молодости.

1968

IV

Бригада располагалась в лесу — каждый взвод в отдельной землянке. Землянки были очень тесные, и спали мы только на боку, — о том, чтобы лечь на спину, не могло быть и речи. Если кто-нибудь выходил ночью, то, вернувшись, уже не находил своего места, — каждый во сне успевал подвинуться на сантиметр, и свободное пространство на нарах тут же заполнялось. Поэтому, если кто-нибудь, да еще не один, получал внеочередной наряд и отрабатывал его ночью, это было всеобщим благом и удачей. Вместе с нами, в такой же тесноте, спали командиры отделений и помкомвзвод Пащенко.

Только один лейтенант Каретников спал с удобствами, его место, достаточно широкое, с краю, у печки, было отгорожено от остальных крепкой доской, ребром врезанной в нары.

В темноте раннего зимнего утра звучала труба. Трубач возле штаба поворачивался в разные стороны, и она звучала то звонче, то глуше. Мы, суетясь, натягивали брюки, которые почему-то назывались «шаровары», накручивали портянки и, втиснув ноги в ботинки, выбегали из землянки, — обмотки мы совали в карман, чтобы намотать их потом, сделать это сразу мы не успевали.

Лейтенант Каретников в это время еще спал, укрывшись с головой зеленой шинелью с расстегнутым хлястиком.

Мы в нательных рубашках выскакивали на переднюю линейку. Передняя линейка тянулась очень далеко и вправо, и влево, там, в других ротах и батальонах, шла своя, хотя, конечно, очень похожая на нашу жизнь.

Мы вслед за помкомвзводом шибко бежали по перед-

ней линейке, потом по задней, потом сворачивали на лесную тропинку, тут он давал команду остановиться, сойти направо и «открыть затворы, свернуть курки», что означало — оправиться. Потом мы снова бежали по тропинке, опять попадали на заднюю, потом на переднюю линейку и, сделав большой круг, оказывались возле своей землянки.

Когда мы возвращались, лейтенант Каретников брился. При свете коптилки-фитилька, вставленного в сплющенную наверху гильзу, он скоблил щетину широкой опасной бритвой, заглядывая в прислоненное к гильзе дамское зеркальце с изображением Большого театра на обороте.

Он поднимал голову и с некоторым удивлением смотрел на нас своими серыми глазами.

Я не знал его имени и отчества и никогда не интересовался этим.

Это был лейтенант Каретников. Обозначенный этими двумя словами, он и живет в моей памяти. Так называли мы его и тогда.

Разумеется, в соседних взводах тоже были лейтенанты (или младшие лейтенанты), но то совсем другое дело. То были обыкновенные лейтенанты. А когда лейтенант Каретников докладывал о чем-либо ротному или — реже — комбату, он, высокий, стройный, держался с тем почтительным достоинством и той особой, чисто воинской красотой, которая все-таки бывает чаще всего врожденной и которая так нравится начальству, считающему, что именно оно воспитало в подчиненном это качество.

Мы служили совсем недавно, мы были очень молоды, и все было у нас впереди — и жизнь, и смерть тоже. Странно, но лейтенант Каретников, такой недоступный для нас, был нашего поколения. Более того, он был почти нашим ровесником, но он был уже порождением войны, он уже побывал т а м и уже нес на себе ее меты.

После завтрака начинались занятия. Бывали занятия и бригадные, и батальонные — выходы, прыжки, стрельбы, — но большинство занятий проводилось в составе

взвода. Мы покидали расположение, и только один человек знал, что с нами будет дальше. Углубляясь в лес, мы никогда не могли угадать, какую подаст он команду: залечь и окопаться или развести костер и отдыхать, а если отдыхать, то как долго — до обеда или пятнадцать минут?

Однажды, после затяжной атаки по снежной целине, мы ворвались в лес, в его зимнюю тишину, и лейтенант Каретников приказал утоптать по кругу снег и развести огонь, что мы и сделали, рассевшись вокруг, кто как мог, на пеньках и валежинах.

Мы уже были связаны накрепко общим будущим и настоящим, но мы, не осознавая этого, еще жили и той, прежней, довоенной жизнью, каждый своей, каждый по-своему. Мы задумчиво смотрели на огонь, курили, а веселый и отчаянный парень Витька Стрельбицкий очень правдоподобно рассказывал о молоденькой девчонке-поварихе и потрясающем романе, который закрутил он с нею перед самой службой.

Лейтенант Каретников слушал, курил, усмехался чему-то своему, как обычно с некоторым удивлением глядя на нас, и вдруг сказал, обращаясь к помкомвзводу:

— Посмотри, Пащенко, хорошие ребята. Один у них большой недостаток, знаешь какой? Необстрелянные.

Помкомвзвод поднял на лейтенанта круглое добродушное лицо, хмыкнул и отвечал успокоительно:

— А, это от них не уйдет.

Мы сидели, слегка смущенные.

Сейчас я очень ясно вижу тот зимний лес и желто-белый огонь костра, над которым колеблется и ломается воздух. Я вижу тех необстрелянных ребят, кого нет и никогда уже не будет. Да и сам лейтенант Каретников, о ком никак не скажешь, что он был необстрелянным, и он упал на изодранной минами черной равнине. Я вижу Володьку Замышляева, и Витьку Стрельбицкого, и Колю Авдюшина, и Карпова. Мне не в чем упрекнуть себя, но иногда мне все-таки немного стыдно, что это не я лежу там. Но так получилось.

А утвержденья эти лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы.
Вас с нами нет, но в нас вы живы,
Пока на свете живы мы.

Девчонки те, что вас любили
И вас оплакали, любя,
Они с годами вас забыли,
Но мы вас помним, как себя.

Дрожа печальными огнями
В краю, где рощи и холмы,
Совсем умрете только с нами...
Но ведь тогда умрем и мы.

То утро было еще холодным, еще бодрящим, но потом, едва мы успели отойти от расположения, оно перешло уже в день, в настоящий весенний день начала апреля, полный бесконечной синевы, блеска и света, день, когда то и дело клонит в сон, и неохота двигаться, даже если ты молод. Мы выбрались из лесу, где еще лежал снег, на узкую проселочную дорогу и, растянувшись, медленно шли по ней, изнемогая от тяжести шинелей и оружия. Проселочная дорога привычно вывела нас на большак, мы построились в колонну по четыре и двинулись среди сырых рощ и уже высохших открытых холмов куда-то вдаль, куда хотел вести нас лейтенант Каретников.

Он, как всегда, шел сзади взвода и вдруг, когда мы уже почти совсем забыли — кто мы и где находимся, — громко и грозно протянул:

— Взво-о-д!..

Это команда не окончательная, а лишь как бы привлекающая внимание, и взвод стал рубить строевым по сверкающим апрельским лужам, напряженно ожидая последующих всесильных слов.

— Танки справа! — крикнул лейтенант Каретников.

И взвод по его команде скатился с дороги, рассыпался, залег, начал окапываться, и только лейтенант стоял на гребне дороги в полный рост, будто был неуязвим для вражеского огня.

Потом он сказал: «Отбой», — и пока мы вылезали на дорогу и пытались немного почиститься, он один пошел по дороге вперед. Он шел высокий и стройный, в своей зеленой шинели, заложив руки за спину и задумавшись, и ни разу не оглянулся на догонявший его взвод.

Так мы прошли километров пять. Впереди показался старый длинный барак, но мы опять свернули в сторону, и на сухом пологом холме лейтенант Каретников приказал отрыть одиночные ячейки, а командирам отделений составить стрелковые карточки.

Мы принялись за работу, а лейтенант Каретников прошел вдоль всего фронта нашей обороны и, не торопясь, направился через поле, наискосок, к бараку. Я посмотрел ему вслед. Он шел, как тогда, по дороге — задумчиво, заложив за спину руки.

Отрыть окоп для положения «лежа» дело нехитрое, и скоро мы уже лежали на животах в своих ячейках, почти дремля под апрельской синевой. Но напряжение не отпускало нас, потому что в любой миг могла последовать команда — и какая — неизвестно! — и это ощущение мешало нам по-настоящему расслабиться. И все же мы почти дремали под апрельской синевой, сознавая смутно, что пока лейтенанта нет, мы никуда не уйдем отсюда. Сержанты и Пащенко, не обращая на нас внимания, курили, лежа на вершине холма, о чем-то тихо говорили и смеялись.

А между тем лейтенант мог бы уже и вернуться.

Часов во взводе не было ни у кого, даже у самого лейтенанта Каретникова, это потом, в конце войны, появились у всех «Омеги» да «Лонжины», это потом вошел в моду «гвардейский мах» — обмен часами «ход на ход» — не глядя, по звуку. Это потом каждый открывал заднюю крышку и ковырялся финкой в механизмах трофейных часов, когда они останавливались. Все это было потом, еще не скоро... А пока что во взводе не было часов и узнать время тоже было негде. Но уже все, абсолютно все, а помкомвзод Пащенко в особенности, тонко чувствовали тот момент, когда пора идти в расположение, на

обед, так, чтобы прийти не слишком загодя и чтобы никто не смог упрекнуть, но и не слишком поздно, а именно в самый раз, — не торопясь привести себя в порядок, приготовиться и с сигналом, тут же, степенно направиться к кухне.

Мы почувствовали этот момент, но лейтенанта Каретникова еще не было.

Пащенко поднялся, расправил шинель и, стоя на вершинке холма, хмуро смотрел в сторону барака. Уже никто не дремал, хотя все лежали и, покуривая, смотрели в ту же сторону, что и помкомвзвод.

Лейтенанта Каретникова не было видно.

Прошло еще минут двадцать.

— Становись! — сказал Пащенко негромко и затоптал окурок.

Мы вскочили, отряхиваясь, застегивая шинели и разгоняя под ремнем складки. Мы тоже побросали недокуренные цигарки и взяли на ремень карабины.

— Шагомм-арш! — сказал Пащенко и повел взвод наискосок через поле, в сторону барака.

Барак был старый, длинный и серый, его крыша, крытая толем, немного осела посередине, перекосились окошки с ватой между рамами, с привычными — крест-накрест — бумажными полосками на стеклах.

Мы шли полем, наискосок, прямо к бараку, и сидевшие на солнышке возле входа ребятишки, бабы, старики, подняв головы, смотрели на нас — с восторгом, с завистью, с жалостью, с тоской, — кто как, — наверно, еще и с другими чувствами. Но никто не смотрел равнодушно.

А ребятишки не выдержали, побежали навстречу строю, прыгая через кювет, не в силах дождаться, пока взвод сам выйдет на грязную, в щепках, мусоре, ледке и лужах весеннюю дорогу.

Но мы вышли на дорогу, подравнялись, и Пащенко сказал хмуро:

— Запевай! — и, поскольку сразу не запели, добавил: — Стрельбицкий!

Витька откашлялся и запел. Голос у него был глухой,

хрипловатый, мужественный. Если бы Витька остался жив и ему пришло в голову стать со временем эстрадным певцом, его бы называли «безголосым» или «микрофонным».

За Ленинград, за город наш любимый,
На бой с врагами уезжаю я.
Не забывай, подруга дорогая,
Пиши мне письма, милая моя.

И, еще не дав совсем затихнуть Витьке, мы подхватили несколько медлительный, как бы раскачивающийся припев:

Не забывай, подруга дорогая,
Про наши встречи, клятвы и мечты.
Расстаемся мы тепе-ерь,
Но, милая, поверь —
Дороги наши встретятся в пути...

Помкомвзвод рассчитал правильно, мы грохнули припев как раз поравнявшись с бараком, и сразу же несколько женских ищущих лиц появилось за стеклами, за перекрещением наивных бумажных полос.

Мы миновали барак и лихо, с песней, под женскими взглядами пошли в сторону расположения, но метров через пятьдесят Пащенко скомандовал:

— Правое плечо вперед! — И взвод нестройно развернулся.

— Давай снова! — сказал помкомвзвод, поскольку песня уже кончилась, и Витька начал снова:

За Ленинград, за город наш любимый...

И снова у самого входа грянул наш припев, и снова мы миновали барак, уходя теперь уже в обратную сторону. И опять Пащенко развернул поющий взвод.

— Стрельбицкий, новую!

Витька откашлялся. Родом он был с Урала, из са-

мых сухопутных мест, но имел пристрастие к морским песням.

Взвод снова шел к бараку.

На заводе был он машинистом,
А когда настал двадцатый год,
Он с отрядом первых коммунистов
Добровольцем уходил на флот.

Взвод поравнялся с бараком.

— На месте! — крикнул Пащенко.

И взвод, маршируя на месте, перед входом в барак, под взглядами изумленных женщин и обалдевших от счастья мальчишек, загремел:

Эх! В гавани, в далекой гавани
Пары подняли боевые корабли.
На полный ход!
Уходят в плаванье с Кронштадтской гавани,
Чтоб стать на страже советской земли.

Неожиданно помкомвзвод приказал мне выйти из строя.

— Доложите лейтенанту, помкомвзвод спрашивает: может ли взвод следовать в расположение? — сказал он совсем хмуро и не глядя на меня.

— Есть!

После яркого апрельского солнца в барачном коридоре было темно. Лишь вдалеке, в противоположном его конце, были тоже открыты двери наружу. Я остановился, не зная, куда идти, и зажмурился, чтобы отвыкнуть от света.

Мимо кто-то прошаркал по коридору.

— Третья дверь налево! — негромко произнес женский голос.

Первая, вторая, третья... Я с ходу постучал.

— Да-да, — сказали мне, и я вошел.

Я уже полгода жил в нашей землянке с крохотным окошечком. Она была тесной, но теплой и уютной. С какой умиленностью вспоминал я о ней в походах, как мечтал спуститься по ее сбитым ступенькам и как бывал счастлив, возвращаясь в нее! Но ведь я совсем забыл и упустил из виду, что существуют бараки, а в них комнаты, залитые апрельским солнцем, а в комнате кровать с никелированной спинкой, и коврик, и салфеточки, и репродукция «Девятого вала» на стене.

Эта комната ослепила меня настолько, что я не сразу заметил лейтенанта Каретникова, хотя он находился на самом виду. В своей зеленой шинели он стоял, ловко облокотившись на спинку стула, шапка его лежала на столе, а темные волосы падали на лоб.

Против него у стола сидела о н а. На ней был халатик, вероятно, из байки, в каких-то цветочках. Она с сочувствием подняла на меня большие голубые глаза, и в тот же миг я полетел в их глубину, жутко и неотвратимо, как при прыжке, пока не раскрылся купол, и мучительной болью пронзило отчетливое сознание, что она, и эта комната, и вся ее жизнь не имеют ко мне никакого отношения.

...Пары подняли боевые корабли.
На полный ход!.. —

доносилось с улицы.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться...

— Иду! — кивнул он раздраженно и взял со стола шапку. — В общем, я сказал.

— Поживем — увидим, — ответила она спокойно.

...Чтоб стать на страже родимой земли.

Лейтенант Каретников вышел на крыльцо и, красиво коснувшись кончиками пальцев виска, поблагодарил взвод за песню. Я стоял у него за плечом, очень гордый, что нашел-таки лейтенанта.

— Ведите людей! — сказал он помкомвзводу и по обыкновению остался сзади, но не успели мы отойти и

полкилометра, как он вышел вперед. Мы сразу поняли, что будет. И действительно, лейтенант оглянулся на взвод, кивнул и протяжно крикнул: — Взво-о-д! Бе-г-оо-м! За мно-ой!..

Метров сто взвод держался кучно, а потом стал растягиваться в нитку и рваться. Слабаки сразу отстали. Напрасно подгонял их бегущий сзади Пащенко. Отстал и самый здоровый парень из нашего отделения Мишка Сидоров, ну, этот исключительно из-за лени. Хорошо еще, что мы успели передать ему РПД, который несли по очереди. Я постарался выйти вперед и бежать рядом с лейтенантом. Я уже знал, что это лучше всего: отставшие даже немного — все еще будут бежать, когда мы уже будем идти шагом, а пока догонят, мы побежим снова.

Противогаз съезжает на живот, лопатка бьет по боку, карабин прыгает за спиной, а кровь, как колокол, гулко бухает в груди и ушах.

— Добежим до стога и перейдем на шаг, — говорит лейтенант Каретников тем, кто около него, и мы, дотянув до стога, действительно переходим на шаг (а отставшие все бегут), но вскоре снова бежим, хрипло хватая воздух раскрытыми ртами...

Впереди шло несколько женщин, наверное, в город, и у мосточка, когда мы их догнали, они все повернули к нам лица, и я на бегу поразился — среди них была она, но тут же она осталась сзади. А через километр другая группка женщин попалась нам, эти шли навстречу и посторонились, давая нам дорогу, и среди них опять была она, а потом опять и опять, и еще долго, не один год, и даже сейчас я иногда встречаю ее на дороге.

Прошел месяц.

Стаял уже снег и у нас в лесу, и однажды, когда мы были на учениях, затопило нашу землянку, и мы, вернувшись, долго вычерпывали воду, но сырость потом осталась все равно.

Мы ходили на прыжки, тяжело поднимались друг за

другом по трапу в «дуглас», цепляли карабин вытяжной веревки за трос, слушали, как ревут моторы, и всякий раз, когда машина разгонялась по полосе, не были уверены — катится ли она еще по земле или уже летит, но, когда она действительно отрывалась, мы замечали это сразу. Мы по сигналу сирены вставали в затылок друг другу и двигались к зияющему проему дверей, — а по самолету гулял знобящий сквозняк, потому что двери были открыты и справа, и слева. И, подходя к дверям, я еще из-за плеча других видел, как вылетают в слепящую бездну идущие впереди — будто их высасывает снаружи. Потом я подходил к двери сам и за тот краткий миг, пока я делал шаг из машины — я успевал увидеть очень многое: и серый фюзеляж «дугласа», и белые купола — внизу и сзади, и беспредельную широту земли, и поле, и лес, и домики прямо подо мною. Я делал шаг в тот особый мир, совсем не похожий на все остальные, и летел так очень долго, и лишь после резкого динамического удара переходил на плавное приятное скольжение.

Мы ходили на стрельбище и, лежа на животе, разбросав ноги, укрепив на земле локти и вдавив затыльник приклада в плечо или неудобно стоя на правом колене или еще хуже — в полный рост, затаив дыхание, ловили мушкой черный силуэт мишени. А потом, после сигнала «отбой», замирая, следили, сколько раз махнет вылезший из траншеи дежурный, сообщая, сколько у тебя попаданий.

Мы за землянкой чистили ветошью свои карабины без штыка (раньше все карабины были без штыков, но потом, в сорок четвертом, появились карабины и со штыками, намертво привинченными к стволу. Так что не удивляйтесь). Мы разбирали затвор и магазинную коробку, а затем, поработав шомполом, поднимали к глазу ствол и смотрели на свет, как в подзорную трубу. В таинственном, с синевой маслянистого блеска, полумраке канала ствола четко вилась нарезка, придающая пуле вращение вокруг своей оси — как планете...

Прошел месяц, — может быть, немного больше.

Ничего особенного вроде не произошло, но даже за такой короткий срок мы стали другими. И уже шли слухи, что скоро мы уедем отсюда, навсегда покинем эти ставшие привычными места...

В тот день мне не повезло. После обеда, в свободное время, я столкнулся за землянкой с Витькой Стрельбицким, который, судя по всему, успел сбегать к овражку, где было нечто вроде маленького базарчика, бабы выносили что придется.

— Держи! — сказал щедрый Витька и выпустил из кулака мне в ладонь черную струйку каленых семечек. Плюясь шелухой, мы вышли на переднюю линейку, а здесь лейтенант Каретников строил наш взвод. В кулаке у меня еще оставались семечки, я не мог высыпать их в карман, потому что там была махорка, и я машинально продолжал их грызть уже в строю. Я стоял во второй шеренге, за широкой спиной Мишки Сидорова, и вдруг встретился взглядом с серыми глазами лейтенанта. Я постарался принять безразличный вид, но он продолжал смотреть на меня. Лицо его почти исказилось.

— Выйти из строя! — приказал он гневно и, когда я повернулся лицом к взводу, крикнул: — Строй — святое место, а вы семечки щелкаете!

Высокий, стройный, в пилотке чуть набочок, он смотрел на меня, будто впервые увидел. Пистолет ТТ с трофейным шнуром-шомполом слегка оттягивал широкий ремень, хромовые сапоги сияли.

Он помолчал и закончил негромко, презрительно:

— Два наряда вне очереди.

А я почему-то подумал, что ничего мне не будет. Да и построение-то было по какому-то пустяковому поводу, на десять минут.

Теперь ночью я уже ждал, что меня поднимет дежурный по роте. Но меня разбудили только на четвертую ночь, вскоре после отбоя, едва я успел заснуть. Старшина светил фонариком. Дежурный стоял рядом.

— Подъем! — сказал мне дежурный, сержант из соседнего взвода, и спросил у старшины: — Кто еще?

— Сидоров.

Сидоров получил два наряда за то, что не выучил обязанности часового из «Устава гарнизонной службы».

Мишку будили долго, он никак не мог понять, чего от него хотят. Наконец поднялся и он.

Наверху мы закурили. Ночь была холодная и темная, луна еще не всходила. Старшина вручил нам две лопаты и топор.

— Пошли, — сказал он.

Мы знали, что нас ожидает, — корчевка.

Мелких нарушителей, получающих внеочередные наряды, всегда больше, чем работы для них. На кухню и в караул рота ходит редко. Есть классическое наказание — мытье полов. Но в землянке пол земляной. Тогда кто-то придумал — корчевать пни, тем более что имелись они в неограниченном количестве.

Видимо, когда строили наши землянки, свалили немало сосен, проредили, осветлили лес, и теперь перед всей передней линейкой было примерно одинаковое количество — и громадных, летящих в небо стволов, и широких сухих пней, которые стояли как фундаменты, оставшиеся после совершившихся здесь разрушений. Разумеется, они никому не мешали.

В полной темноте, неся инструмент, мы шли за старшиной и сержантом.

Прежде чем окончательно выбрать для нас два пня, старшина, стоя на одной ноге и упираясь другой в пень, пытался выяснить, крепко ли сидит он в земле. Смысл этой операции заключался в том, что некоторые, выкорчевав пень и сдав работу, опять ставили его на прежнее место и закапывали, — на всякий случай, про запас, до следующего наряда — своего или товарищей. Наконец старшина указал нам два наших пня и, велев дежурному принять у нас работу, удалился вместе с ним.

Мы снова закурили. Было очень тихо. Только где-то в стороне разговаривали солдаты, наверное, такие же «на-

рядники», как мы. Край неба между сосен над нашими землянками озарился все растущим светом — всходила луна.

Мне повезло, что со мной в компании был Мишка Сидоров, это был здоровый парень и лесной человек, хорошо разбирающийся в такой работе. Тем не менее дела было до утра, — пни так крепко держались за землю, как будто еще несли над собой могучие колонны стволов и далеко вверху вечнозеленую крону.

Мы начали окапывать пень кругом, обрубая хитроумную арматуру корней, обрывая переплетенные, как провода, тонкие корни. Мы вгрызались все глубже под пень, мы старались раскачать его, как зуб, и он уже чуть-чуть качался. Луна взошла над землянками, почти белая, она заливала лес своим зыбким светом, падающим между черных стволов и черных теней. Мы все возились с первым пнем, хотя дело и подвигалось. И тут над залитым луной спящим ночным миром раздался звук, который сразу заставил нас остановиться. Этот звук шел от штаба бригады. Это был звук трубы. Трубач играл тревогу!

Мы еще подождали немного, словно не веря, а труба все звучала и звучала.

В землянке творилось невообразимое. В тесноте и темноте собирался взвод по тревоге. А мы с Мишкой только взяли вещмешки и шинели, да из ружпарка — карабины, противогазы и лопатки — и были готовы. Мы стояли снаружи, у входа. Старшина бегал по землянкам, светил фонариком: все ли взяли?

А труба все звучала и звучала...

И вдруг я услышал ночные негромкие голоса и вопрос ротного:

— Где Каретников?..

Помкомвзвод Пащенко, быстро идущий к землянке, вырос из темноты, взял меня за плечи и хриплым шепотом сказал:

— Беги туда, понял? Скажешь лейтенанту: тревога. На рассвете уезжает бригада. Только быстро. Беггомм-арш! — Он подтолкнул меня в спину.

Я отбежал немного и пошел шагом. Вокруг меня, в затопленном луной лесу повсюду слышались голоса, звон котелков и лопаток, топот ног. Я вышел на проселочную дорогу, лес расступился, и теперь луна свободно господствовала в мире, заполняя поля, озаряя холмы странным светом. Труба еще звучала за спиной, потом смолкла. Я тихонько побежал, придерживая противогаз и лопатку. Огромная белая луна стояла надо мною.

Я уже вышел на большак, миновал мостик. Я был совершенно один в этом мире. Я подумал вдруг, что будет, если бригада уедет, а мы с лейтенантом останемся, и прибавил шагу.

Барак темнел впереди, и, пока я приближался к нему, каждое стекло поочередно отсвечивало под луной.

Двери барака, как всегда, были распахнуты, и лунный свет пробивал его почти насквозь.

Я, осторожно ступая, дошел до третьей двери и остановился. Сердце у меня еще гулко и тяжело билось. Я напряженно слушал и улавливал смутный шепот, а потом тонкий, как зубная боль, стон матрацной пружины.

Я постучал.

Сразу за дверью стало тихо. Я подождал и постучал снова.

— Кто? — спросил женский голос.

— Лейтенант здесь?

— Нет, нет, какой лейтенант.

— В чем дело, Ванюшин? — спросил лейтенант Каретников.

— Товарищ лейтенант, тревога. Бригада уезжает на рассвете.

— Подожди, я иду.

Я остался за дверью, думая, что он сейчас откроет. Но свет в комнате не зажегся, и я снова уловил смутный шепот...

Я вышел на крыльцо и ждал его там.

Передо мной простиралась озаренная луной равнина, на которой не было, да и не могло быть ни одного огонька.

Где-то за другим лесом, на станции, угадывался дробный стук сдвигаемых с места вагонов, — может быть, это формировали наш эшелон.

Вышел лейтенант.

— Пошли!

Теперь мы были вместе, и то, что ожидало нас впереди, было общим, — я остро чувствовал это.

— Быстрей!

Метров через пятьдесят я оглянулся. Луна уже прошла часть неба и теперь ярко озаряла вход в барак, где, кутаясь в пальто, неподвижно темнела женская фигура.

Лейтенант Каретников не оглядывался.

1965

ПОВЕЗЛО

Ему действительно повезло. Вся рота уходила в гарнизонный наряд, а они с Митей Ополовниковым накануне вечером заступили дневальными по роте и теперь согласно уставу нигде не могли быть использованы, так как сами были после наряда. Ополовников, маленький, худенький, сменившись, уже спал на нижних нарах, в глубине, защищенной от света, а Игорь Саманин чуть отчужденно смотрел, как готовятся ребята к разводу караулов: подшивают подворотнички, драят ботинки. Рота шла и в полковой караул — к штабу, к знамени, к складам ПФС и ОВС, и к контрольно-пропускному пункту, и к дальнему складу боеприпасов, и патрулями по гарнизону, в поселок и на станцию. А свой взвод, второй, особенно не готовился, он шел в наряд на кухню. Потом загремели команды, и ребята, разобрав оружие из пирамид, вышли строиться, потом ушел кухонный наряд, и в ротной землянке стало непривычно пустынно и тихо. Проводив наряд, вернулся старшина, посмотрел на нового дневального, стоявшего у дверей, на другого, подметающего неровный пол в проходе, ничего не сказал и скрылся в каптерке. Саманин тоже лег на нары, но спать не стал, а с удовольствием думал о предстоящем, ничем не занятом вечере, о долгой ночи и долгом завтрашнем дне. Потом он вышел наружу и в едва наступающих осенних сумерках постоял между землянками. За стволами уже подсвеченных осенью берез, над овражком густели сизые слои не то тумана, не то дыма, где-то вдалеке прошла рота с песней, а в другом конце другая рота, с другой песней. Потом все стихло, и где-то очень уж далеко,

в другом полку, трубач сыграл какой-то незнакомый сигнал, наверно, для командиров.

После ужина, не дожидаясь отбоя, они легли и тут же уснули, но часа через два их разбудили: ребята, вспомнив о них, принесли полбачка перловой каши — остатки от ужина. Едва его толкнули, Саманин сразу понял, в чем дело, и, почти не просыпаясь, достал ложку. Вместе с Митей и новыми дневальными они за несколько минут съели кашу, и в то же мгновение Митя снова уснул, а Саманин, набросив поверх белья шинель, вышел и еще выкурил цигарку.

Утром была возможность поспать хотя бы до завтрака, но внутри уже срабатывала какая-то пружина, и он проснулся перед самым подъемом. Митя спал, накрывшись с головой шинелью, и даже не пошевелился при сигнале.

Позавтракав, они вернулись в землянку. Прежде они никогда не были близки, но теперь их объединяла общность их положения, они были странно связаны ею и держались вместе.

Старшина задумчиво посмотрел на них, он не мог примириться с мыслью, что они ничем не заняты, это было ему неприятно. Однако он еще ничего не придумал.

Митя, маленький, остролицый, снова залег спать, а Саманин, томясь, сел на край нар рядом с ним.

— Старшина, на выход! — крикнул дневальный.

Старшина проплыл в полумраке землянки, и по ярко освещенным ступенькам просверкали его сапоги.

— Старшина, — сказал властный голос снаружи. — Свободные люди есть?

— Свободных людей нет, — бодро ответил старшина. — Рота находится в гарнизонном наряде. Один больной.

— А вчерашние дневальные?

Старшина мгновение помедлил:

— Есть два человека.

— Немедленно в распоряжение начальника ОВС. Получат продукты сухим пайком и в Москву поедут.

— Есть! — сказал старшина и спросил: — Шинеля́ им брать?

— Пусть возьмут, ночью холодно.

Старшина спустился по освещенным ступенькам.

— Саманин, Ополовников, в распоряжение начальника ОВС. Продукты получите сухим пайком. Взять шинеля́. Старший — Саманин.

Они собрались у склада — восемь человек из разных рот. Дивизия переформировывалась — и меньшую ее часть составляли солдаты, которые были ее костяком, старые, свои, вместе повоевавшие. Их сразу можно было отличить, и не только по медалям или нашивкам за ранения; на всех, кто уже побывал т а м, лежал какой-то отблеск, отсвет, отпечаток — как загар. А большинство было — как Саманин и Ополовников — из заволжского запасного полка, пополнение. Но Саманину уже хотелось тоже преодолеть нечто и походить на тех солдат, он уже осознавал, что без этого служба и все ее тяготы просто не имели смысла, и еще он предчувствовал, что будет это очень скоро.

У склада ОВС стоял часовой из их роты, он обрадовался и удивился, увидав их, им это было приятно.

Став цепочкой, они начали загружать крытые брезентом грузовые «форды» старым обмундированием, б/у, настолько уже обветшавшим от ползания в нем по земле, разрывов, бесчисленных стирок, что починить его было уже невозможно. Эти гимнастерки со смутными следами от гвардейских значков и реже — от орденов и медалей, эти шаровары с неуловимым присутствием по швам карманов махорочной пыли были уложены аккуратными пачками и передавались из рук в руки. От них слабо исходил приятный запах каленого, как от жареных семечек, — воспоминание о дезокамерах, куда они закладывались не раз, пока их владельцы мылись в бане.

Однажды весенним холодным днем Саманин загружал дезокамеры — «вошебойки» — и так намерзся, что не выдержал, открыл дверцу — погреть спину. Тепло оттуда шло не так сильно, как он ожидал, и он все глубже

туда вжимался и наконец залез весь, одна голова осталась снаружи, — ребята испугались, а ему ничего, погрелся и только.

Теперь, погрузив обмундирование в «форды», они все вместе пошли получать продукты. Концентраты и консервы сложили в плащ-палатку, а хлеб и сахар разделили тут же и рассовали по карманам шинелей. Часовой около склада ПФС был из своей роты и свой же часовой был у КПП, и Саманин окликнул его из кузова, а то бы он их не заметил.

Машины шли одна за другой по старой аллее, и ветки берез, уже сильно подсвеченных осенью, с шумом задевали крытые кузова, хлестали по ним, роняя на брезент желтые листья.

Саманин с Ополовниковым сидели в кузове предпоследней, пятой, машины, на старом обмундировании, от которого исходил приятный запах каленого. В последней машине, рядом с шофером, ехал краснолицый старшина снабженец, а лейтенант, начальник ОВС, находился в головной. Колонна выехала из расположения, миновала поселок и свернула на шоссе. С одинаковым интервалом в несколько метров, будто соединенные жестким буксиром в одно целое, слитно и мощно шли машины к Москве, лишь свистел, срываясь с брезентового верха, ветер. А кругом стоял тихий и ясный осенний день, ветер был только здесь, на шоссе, но и там, в солнечной ясности, ощущался и угадывался непоправимо крепнущий холодок. Пестрел лес по сторонам, и уже ярко желтела на черном маслянистом асфальте облетевшая листва. Свернувшись калачиком, дремал Митя Ополовников.

Из крытого грузовика было видно только то, что оставалось позади: машина с краснолицым старшиной, сидящим рядом с шофером, лес, деревня с церковью на холме. Иногда из-за последней машины выдвигались легковушка или «виллис» и обгоняли их, но это было редко, потому что колонна шла ходко, и не каждый решался на обгон. С правой стороны, с мгновенным ревом,

проносились встречные машины из той неизвестной, невидимой жизни, которая была впереди. В грузовиках стояли и сидели люди. В одном кузове, держась за кабину, стояла молодая женщина или девушка, и, когда машины поравнялись, у нее ветром взбило платье, и она чуть присела, придерживая подол. В какой-то краткий миг они встретились взглядом, и он погрозил ей пальцем, а она засмеялась. Она тут же исчезла, но оставила неясное сладкое чувство, о котором уже хотелось вспоминать.

Поодаль от дороги промелькнула зенитная батарея, укрытая маскировочной сетью, потом открылось поле, где копали картофель. За лошадью шел парень и вскрывал плугом борозду, а следом, согнувшись, двигались бабы и выбирали картошку. Посредине поля розовела горка картофеля и стояло несколько твердых шишкастых мешков. Проснулся Митя Ополовников, поднял голову, сказал, улыбаясь:

— Смотри, картошка! — и снова задремал.

И тут Саманин ощутил голод. Собственно, это страстное желание не проходило никогда, даже когда он только вставал от котелка, и даже ночью, во сне оно жило с ним вместе. Но иногда оно уже как бы притухало, может быть, лишь затем, чтобы вспыхнуть еще ярче, крича и напоминая о себе. С тех пор как они получили продукты, каждую секунду каждая клеточка его тела знала и помнила, что в карманах шинели упруго втиснутый по полпайки (суточная норма — 800 граммов) ждет хлеб. И сейчас настал тот момент, когда терпеть больше стало невозможно. Саманин сперва решил отломить лишь корочку, но сами собой пальцы отщипывали еще, еще, он не выдержал, достал из кармана весь кусок, половину засунул обратно, но скоро и ее пришлось доставать. Он старался есть помедленнее, откусывать поменьше и пореже, надеясь оставить еще корочку на ужин. Ведь хлеб-то был выдан и на завтра до обеда. А Митя Ополовников, который съел уже весь свой хлеб, тихонько спал, укрывшись шинелью.

Машины стали плавно тормозить и остановились. Из последней вышел, разминаясь, шофер, вылез краснолицый старшина, и по всей колонне захлопали дверцы кабин. Саманин тоже спрыгнул на асфальт. Впереди был переезд, и Саманин медленно пошел к опущенному шлагбауму. Он стоял около шлагбаума вместе с солдатами, которые уже побывали т а м, курил, ожидая, когда пройдет поезд. Поезд накатился слева, и вагоны, как бы приноровившись, ритмично загрохали на стыках: та-та́, та-та́, та-та́, а потом почему-то перешли на другой интервал, реже: та́, та́, та́. Эшелон был длинный, сперва орудия на платформах, а потом пошли теплушки, и во всех до одной у раскрытых дверей тесно стояли солдаты. Они спокойно смотрели на осенний лес и поля, на очередь машин, скопившуюся у переезда, и на солдат, мелькнувших внизу у шлагбаума, и в то же время они чем-то походили на людей, которые видят все это впервые. А из-за их плеча, из глубины вагонов, выглядывали солдаты, не успевшие вовремя стать у проема дверей. Опять пошли платформы с орудиями и часовыми на тормозных площадках, опять колеса перешли на скороговорку, и вдруг все оборвалось, проскочил последний вагон, стало светло и тихо. Пополз кверху шест шлагбаума, захлопали дверки кабин.

Мимо надолб и рельсовых «ежей» въехали в Москву, не в такую, которую знают все, и тряслись по булыжнику, вдоль заводских заборов, между бараков. Теперь машины шли еще более слитно, ничто не могло разорвать их колонну, и регулировщики сразу же понимали это. Остановились около кирпичных складских зданий, лейтенант звонил куда-то из проходной, ругался, поехали к другим складам, но оказалось, что они уже закрыты. Тогда лейтенант сразу успокоился, и колонна двинулась дальше. Они, не торопясь, ехали по старой рабочей окраине, мимо заводских корпусов, где на крышах были нарисованы желтые осенние деревья, мимо универмага, с витриной, зашитой досками, как в оставленной деревенской избе. И в некоторые окна в домах была вставлена фанера, а остальные все были перекрещены бумажными полосками, чтобы не разлетались осколки, если стекло будет вдавлено внутрь взрывной волной.

На ночлег остановились в тихом переулочке со стандартными барачного типа домами и водоразборной колонкой на углу. Лейтенант отдал приказания и сразу поехал домой — он был москвич, — а они, выпрыгнув из машин, разминались после долгой дороги, поправляя обмотки.

Заметно смеркалось, но нигде не было видно ни огонечка. От колонки прошла женщина с ведрами, и они, повернув головы, посмотрели ей вслед. После ясного дня вместе с темнотой внезапно похолодало, стал накрапывать дождь, и они опять забрались в кузов. Теперь уже и Саманин задремал, накрывшись шинелью.

— Эй, солдатики, — сказал кто-то около машины и стукнул рукой по кузову. — Эй, обоз!..

Они на всякий случай не откликнулись, тогда он легко вспрыгнул на задний борт и потянул Саманина за ногу. Саманин сел. Было совсем темно, но он сразу узнал солдата с соседней машины, тускло поблескивали медали у него на груди.

— Давай к нам в машину, по тревоге, — сказал он строго и спрыгнул — медали тоненько звякнули.

Они поняли — зря не позовут — и тут же последовали за ним.

На газете грудкой серебрилась камса, а рядом горячие вареные картофелины — так и ударило духом в ноздри.

— Держи! — Но это не им — протянулась рука, взяла кружку.

Несколько шумных напряженных глотков.

— Хорошо пошла.

— ...Комбат тогда остановил: «Что во фляге?» — «Молоко». Он взял отвинтил. «Верно, говорит, только от бешеной коровки».

— Хороший был комбат.

— По-быстрому, пока ужин варится. Держи!

Саманин взял кружку. Она была почти полна, губы сразу окунулись в водку. Он глубоко втянул носом воздух, как будто собирался нырять, и начал пить большими глотками, не дыша и стараясь не распробовать вкус. Он неожиданно легко опустошил кружку, лишь на последнем глотке икнул и чуть не закашлялся. Водка остановилась в горле, и ее запах с такой силой ударил в нос, но не снаружи, а изнутри, как бы сверху, от лба и глаз, что чуть не задушил его. Но он перетерпел, перевел дух и отдышался. Ему сразу стало легко, как человеку, исполнившему долг, он деловито ел картофелину, подставив под нее ладонь.

— Держи!

— ...Тогда, перед фронтом мы тоже в Москву ездили. Концентраты получали на фабрике «Красный Октябрь». Во дворе стоим, а бабы сверху из цеха нам шоколад бросают. Теплый еще...

— Я больше не хочу, — сказал Митя Ополовников.

— Да ты отпил хоть немножко-то? Давай допью. Заесть-то оставь.

Позвали ужинать, и они дружно попрыгали из кузова.

— Саманин, останьтесь у машин, — сказал старшина. — Сме́нитесь, покушаете.

Они вошли в дом, а он привалился плечом к заднему борту грузовика. Он совсем не чувствовал опьянения. Небо уже погасло, накрапывал слабый дождь. Кто-то набирал воду у колонки, женский голос звал кого-то с крыльца. Стоял полный мрак, лишь иногда чуть отсвечивали затемненные изнутри окна. (Как он тогда был молод, тем далеким осенним вечером, где-то на окраине военной Москвы!)

С шумом, как из землянки, вывалились на улицу солдаты. Теперь позвали его. В сенях его слегка повело, он ударился коленом о косяк, толкнул дверь.

Комната была большая, пустоватая, вроде казармы. В углу у дверей стоял покрытый клеенкой стол, и над ним низко свисала яркая лампочка, отчего остальная комната терялась в полутьме.

Высокая худенькая девушка подвинула к нему тарелку с пшенной кашей.

— Это тебе оставили.

Давненько он не ел из тарелки, все только из котелка. Он глотал остывшую кашу с мясными консервами и смотрел на девушку, которая то подходила к столу, то таяла в темноте. Она чем-то была занята, ну, да, она убирала со стола посуду. Она была молодая, как он, а может быть, даже еще моложе. Но она не обращала на него внимания. Он доел кашу и отодвинул тарелку.

— Обожди, чаю налью. Чаю много.

Он смотрел, как она наливает чай из большого жестяного чайника, и неожиданно сказал:

— И ты садись попей. У меня сахар есть... — И вытащил из кармана три кусочка.

— Разорять-то тебя, — засмеялась она, — ну, ладно, за компанию. Чай больно душистый. — И позвала: — Мама, иди, попьем чайку с защитничком.

Он удивился и расстроился, а из дальней полутьмы вышла моложавая и тоже тоненькая женщина и села к столу.

— Вкусный чай, — задумчиво сказала она, ловко переливая из чашки в блюдце и поднимая блюдце к лицу. — Хорошо вас кормят?

— Первая норма. А в запасном полку, там третья была. Там нас кормили отвратительно плохо. — И еще повторил: — Отвратительно плохо.

— Завтра уже обратно? И Москвы-то не видели.

— Получим обмундирование и поедем.

— И сапоги получите? — Это, конечно, девчонка спросила, в самое больное место ударила.

Он посмотрел на нее с сожалением и не ответил.

— Молодая еще, глупая, — сказала мать и засмеялась. — Сам-то откуда?

Ему захотелось рассказать о себе, о матери, о сестренке, об отце, который на фронте. Но он рассказал почему-то только о домике с балкончиком. Когда Игорь был маленький, они часто гуляли с отцом у них по городку, а

у пруда стоял аккуратный такой домик с балкончиком и цветными стеклами, и отец всегда говорил, вот, мол, когда будут деньги, мы купим этот домик. А его, наверно, и продавать-то никто не собирался.

— А деньги откуда будут?

— Он говорил, выиграем или, мол, поеду в Арктику, на зимовку, заработаю. А домик-то, наверно бы, и не продали.

— Значит, как бы мечта.

Он посмотрел на нее и не то чтобы подумал, но почувствовал, что еще вспомнит этот вечер, эту полутемную комнату с освещенным столом — где-то в землянке, в шатающейся теплушке и даже там, где он, мужественный и сильный, вымахнет по сигналу за бруствер и прыжками двинется вперед, громко крича и не слыша собственного крика.

Саманин отодвинул чашку, не спрашивая разрешения, закурил и только собрался продолжить беседу, как хлопнула дверь и вошел, щурясь на голую лампу, старшина.

— Покушал?

На улице было тихо, накрапывал дождь. Саманин залез в кузов, мимо тихонько спящего Мити Ополовникова прополз на четвереньках поближе к кабине и лег на слабо пахнущие каленым пачки обмундирования. Он уже стал засыпать, думая о доме, о их городке, об аккуратном домике с балкончиком и цветными стеклами. Потом он вспомнил о той женщине в кузове встречной машины, которой он погрозил пальцем, а она засмеялась. Теперь ее грузовик уносился все дальше и дальше, но не пропадал из глаз, а она все улыбалась. И он услышал приглушенный женский смех. Он напрягся, вслушиваясь, но было тихо, лишь дождик шуршал по брезенту, и Саманин снова начал засыпать, когда явственно услышал мужской шепот, быстрый и настойчивый. А женщина тихонько смеялась. Он понял: разговаривали в шо-

ферской кабине. Теперь он окончательно проснулся и, стоя на коленях, стал разгребать связки обмундирования, стараясь добраться до окошечка в кабину, застекленного и забранного стальными прутьями. Он докопался до краешка стекла, но ничего не было видно, а голоса смолкли.

Потом раздались шаги по булыжнику и кто-то сказал:

— Молодой человек, у меня к вам большая просьба. Не откажите в любезности. Мне нужно немножко бензина зарядить мою зажигалку...

В кабине зашептались, щелкнула, открываясь, дверка, шофер сошел на землю.

— Большое спасибо. Очень вам благодарен. Вы добрый и благородный человек. Будьте счастливы оба, вы и ваша девушка...

Щелкнула дверка, шаги стали удаляться.

Саманин лежал на спине, широко раскрыв глаза, и слушал, как шуршит по брезенту дождь.

И вдруг он тихонько застонал, такой мучительной была мысль, пронзившая его. Что же он лежит здесь? Ему захотелось грубо разбудить Митю Ополовникова, сорвать с него шинель, закричать: «Что ты все спишь? Вставай сейчас же! Пойдем!»

Но он не стал будить Митю, а сам спрыгнул на мокрый булыжник, нагнувшись, поправил обмотки и набросил на плечи шинель. Было темно и тихо. Моросил дождик, мимо него кто-то прошел в дом, ему показалось, что это был старшина.

Саманин медленно брел вдоль машин; не зная, что делать дальше, постоял у крыльца, свернул за угол.

И там, у глухой стены, под козырьком крыши, сидели на лавочке две девушки — он подошел в упор, — одна, с которой он пил чай, и вторая — плотная, крупная, в свитере и косынке.

— Ну, что, девочки? — сказал он хрипло. — Как дела?

— Садись уж, раз пришел, — ответила знакомая, и он сел на лавку, но рядом с другой, потому что стоял к ней ближе. А та с другой стороны обхватила ее за шею и ста-

ла шептать что-то в самое ухо, заходясь от приступов смеха. Смех мешал ей, она никак не могла договорить, вскочила и побежала вдоль стеночки, попадая под дождь, сгибаясь от хохота и, повернувшись на углу, помахала им.

— Чего это она дурью мучается? — спросил он неодобрительно.

— Она не над тобой, не обижайся.

Дождь заметно усилился. Они сидели рядом на лавочке, под козырьком крыши, с которого стекала вода, как бы огражденные этой стеной дождя от мира. Расположение, землянка, рота, уже вернувшаяся с наряда и отдыхающая, — все это было почти так же далеко, как дом, как домик с балкончиком.

— Что ж не спишь, солдат?

Он ответил от кого-то слышанным:

— Царствие небесное проспать боюсь. А ты?

— Не спится.

Внезапно над мокрыми крышами, легко пробив пленку дождя, мощно возник широкий луч прожектора. И с другой стороны, и с третьей тут же, будто спохватившись, всплыли такие же голубые клубящиеся столбы, и в их скрещении, в световом прожекторном поле, обнаружился маленький самолетик. И в следующий миг прожектора разочарованно погасли, втянулись, хотя глаз еще долго не мог привыкнуть, что их уже нет.

Там, вдали, за холодными мокрыми крышами, была еще другая Москва, с улицей Горького, Красной площадью и Кремлем, но туда он пока не доехал. И где-то, наверно, была настоящая любовь, до нее он в своей жизни тоже еще не добрался. Но и так можно было сказать, что ему повезло.

Стало холодно и сыро, Саманин привстал, поправляя шинель, и неожиданно для себя набросил шинель и ей на плечи. Удивительно легко и свободно он обнял ее под шинелью за спину, и его рука просунулась к ней под мышку, коснулась ее груди и осталась там. И он сидел, замерев и не веря себе, что это он сидит вот так, и сама рука его не верила, что она лежит на ее большой теплой

груди. Он потянулся к ее лицу и ткнулся губами в ее сухие сжатые губы.

— Ты что, выпил, что ли? — спросила она.

— Пойдем ко мне в машину, — сказал он тихо, — там тепло.

— Ишь ты, быстрый какой!

И они сидели, прижавшись друг к другу, под его шинелью, и дождь свисал с козырька крыши, ограждая их от мира.

(Как он был тогда безжалостно молод, той дождливой московской ночью, в том далеком году.)

Они сидели, прижавшись друг к другу, но набитый карман его шинели мешал ей, упираясь в ногу.

— Ты чего ерзаешь?

— Карман мешает. Что там, хлеб у тебя?

— Хочешь?

— Нет.

Он вытащил хлеб (там было еще граммов четыреста — на завтра), он отломил и убрал корку, а остальное разделил поровну. Они ели хлеб медленно и задумчиво, глядя в темноту на ближние мокрые крыши.

Теперь ему уже было как-то нехорошо опять просовывать руку к ней под мышку, и он просто обнял ее под шинелью за плечи. Думал ли он позавчера или вчера, что вот так будет сидеть здесь, ночью, в дождь, с девушкой. А другой рукой он взял ее за руку и перебирал ее пальцы.

— Рука у тебя какая маленькая, — сказала она удивленно, — меньше моей... Мне идти пора, мне утром на смену. — Еще посидела немного и встала. — Ты еще здесь будешь? Приедешь?

— Нет, — ответил он спокойно. — Завтра обмундирование получим и на фронт.

— А...

Он хотел ее поцеловать, но почувствовал, что не стоило целоваться. Как-то это было ни к чему.

Она пошла вдоль стеночки по сухому и скрылась за углом. А он еще покурил, привычно держа цигарку под полой, чтобы не было видно.

В кузове было тепло и сухо. Беззвучно дыша, спал Митя Ополовников. В шоферской кабине разговаривали — тихо и серьезно.

Через месяц дивизия, заново обмундированная и вооруженная, находясь на острие наступления, прорвала глубоко эшелонированную оборону противника.

В тяжелых боях дивизия потеряла восемьдесят процентов личного состава.

1966

СЛУЧАЙ

Это случилось в начале моей службы, когда я прибыл из запасного полка в бригаду и попал в роту ПТР, вторым номером в расчет к Ване Шапкину. Правда, второй номер у него уже был — Черников, — теперь он стал третьим. Я не обратил на это внимания, я на многое тогда не обращал внимания, и лишь потом это многое словно само собой проявилось, проступило в моем сознании, я словно заново вспомнил все это.

Впрочем, какое это имело значение: первый номер, второй или третий. Мы все были солдаты и попарно таскали нашу бронебойку, наше новое противотанковое ружье, а третий был на подмену. Нам некуда было деваться друг от друга, оно жестко соединяло нас, когда мы несли его над самой землей, низко пригнувшись и продвигаясь вперед короткими перебежками. Оно устойчиво лежало на наших плечах, когда мы шли в строю, и упруго подрагивало при хорошем шаге. При длинных переходах мы часто разымали его пополам, строго и справедливо сменяясь в пути, потому что ствол был вдвое тяжелее коробки.

До сих пор на моем правом плече осталась метка от противотанкового ружья. До сих пор остро помнится, как мы носили ружье, и даже меньше — как мы из него стреляли. А сколько окопов отрыли мы для него — и буквой «Г», и подковой, сколько песка и суглинка, чернозема и камней выбросила моя зеркально отточенная саперная лопатка.

Командир отделения сержант Маврин заставлял нас рыть окопы поглубже. «Давай!» — кричал он зло, глядя серыми выпуклыми глазами. У него был низкий, хрип-

лый, сорванный голос. Говорили, что у него погибла в оккупации молодая жена. Он ненавидел врага истово, страстно, мы раздражали его: ему казалось, что в нас это чувство недостаточно сильно. Он весь горел — скорее отрыть окоп, скорее отстреляться, скорее на фронт, скорее, скорее!.. «Давай!» — хрипел он сорванным голосом.

А взводный, лейтенант Коноплев, напротив, был спокойный и уравновешенный. Наша жизнь и так была напряжена до предела, и он никогда не гонял нас попусту, при каждом удобном случае давал отдохнуть. Но делал он это так естественно и оставался при этом так ровен и сдержан, словно это происходило само собой и совершенно его не касалось. Я сумел оценить взводного лишь через много лет. Не знаю, остался ли он жив, потом я потерял его из виду. С годами я вообще стал часто думать о командирах моей юности, от которых зависело многое в нашей жизни, а часто и самая жизнь.

Мы попарно таскали наше ружье, а третий был на подмену, мы рыли окопы для ружья и для себя, но мы были еще разобщены, мы еще не сумели оценить друг друга, не успели привыкнуть друг к другу, мы были чужими людьми.

Ваня Шапкин из Днепропетровска был первый встретившийся мне сверстник, уже освоившийся в армии. Он уже вошел в это, он уже все понимал. Он стал для меня примером. Мы были в одном расчете, мы ели из одного котелка. Это был первый человек в армии, к которому я испытывал дружеские чувства. Потом у меня были близкие, кровные друзья, и особенно один, навсегда оставшийся лежать на венгерской равнине и навсегда оставшийся со мной и во мне, все это было потом, но и после того я с удовольствием вспоминаю о Ване Шапкине.

И вот однажды, спустя неделю после моего прибытия в бригаду, когда мы рыли в подмерзающей осенней земле окоп и Черников отошел в сторону, Ваня Шапкин сказал мне (он чуть-чуть, самую малость, изящно заикался):

— Он т-тикать хочет.

— Как? — не понял я. — Откуда?

— С-с армии.

— Да брось ты! — не поверил я.

Но слово было сказано, и я, взглянув на Черникова, вдруг заметил в нем не то чтобы только вялость, но безразличие ко всему вокруг, отрешенность. Но ведь этого было мало.

— Это он тебе сказал?

— Н-нет, я сам з-знаю. Я ему г-говорил, чтоб он не думал. — И нарочито строго прикрикнул на подошедшего Черникова: — К-копай, н-не чухайся!..

И Черников, в осунувшемся лице которого еще угадывалась недавняя округлость, уныло глядя перед собой, начал равнодушно бросать со дна окопа комковатую осеннюю землю.

Выпал снег, присыпал лес, где мы жили, наши землянки. В городе он, конечно бы, растаял, а здесь удержался, потом подвалило еще, и быстро установилась зима.

Тут состоялись общие учения на несколько дней — «выход». Вся бригада покинула расположение, остались в опустевших землянках дневальные да освобожденные по болезни, — часто эти категории совмещались.

Мы шли по узкой лесной дороге, не умещаясь даже в шеренгу по четыре, ноги наши вязли в сухом, перетертом, как песок, снегу. Батальон перемешался, перетасовался, и, взглядывая на солдат из соседней стрелковой роты, я всякий раз дивился несправедливости того, что они идут налегке, а мы тащим свои противотанковые ружья. Если бы мне так — забросил карабинишко за плечо и шагай себе, — я бы сколько угодно прошел, не пожаловался. Остальное — и вещмешок, и лопатка, и противогаз — у нас одинаковое. Даже когда меня подменяли и я шел как они, этот кратковременный отдых на ходу был смутно отравлен сознанием, что скоро мне брать ружье снова, и так без конца, никуда от него не денешься.

Мы отошли от расположения всего километров пять-шесть. После десятиминутного привала Черников взял

у Шапкина тяжелый ствол ружья, Ваня — у меня коробку, я теперь отдыхал. Черников все выполнял безропотно, но как-то словно в полусне, безо всякой охоты и интереса, что, собственно, и отличает плохого солдата от хорошего. Он шел сейчас передо мной, и я смотрел на его косо заправленный за хлястик брезентовый ремень. Неожиданно он повернул голову, и в его взгляде отразилась решительность.

— Товарищ сержант, — позвал он. — Товарищ сержант, разрешите выйти из строя... — и, не получив ответа, добавил жалобно: — Оправиться...

Сержант Маврин быстро глянул серыми выпуклыми глазами, прохрипел яростно:

— Привал же был!.. — но смилостивился, разрешил.

Черников передал мне ствол ружья:

— Подержи! — и соступил в снег, демонстративно подбирая полы шинели.

Мы еще долго шли по узкой лесной дороге, меняясь с Шапкиным коробкой и стволом, потом выбрались на шоссе, разобрались, построились. Бронебойщики соединили свои ружья, взяли на плечи. Теперь мы были неразрывны с Ваней Шапкиным, мы не могли бы расстаться ни на мгновение. Но нас объединяло не только тяжелое стальное ружье, нас объединяло нечто большее, и не только нас двоих, и не только друг с другом, я лишь теперь почувствовал это.

Сержант выходил на обочину, оглядывался несколько раз, а потом сплюнул и сказал:

— Нарочно отстал, гад. В расположение вернулся. Ну, погоди!..

Так бывало: во время учений слабаки не выдерживали, отставали, возвращались в землянку и там безо всякой радости ждали возвращения своих и расплаты.

— Вот гад!..

А мы с Ваней Шапкиным понимали, что подмены нам уже не будет, и это соединяло нас еще крепче. Мы уверенно шли в ногу, противотанковое ружье системы Симонова покоилось на наших плечах, оставляя на них

памятную метку. По шоссе мела, свиваясь, поземка, — когда стихал ветер, она застывала и лежала прожилками на асфальте, — мы шли как по мрамору.

Потом мы свернули с шоссе, окопались в снегу на опушке и пообедали сухим пайком — сухарями и шпигом. Потом на нас в атаку шел второй батальон, потом мы атаковали его линию обороны и захватили ее. Стемнело, над лиловым снежным полем, над голым березняком остро, к сильному морозу, зажглись звезды. Мы уже привычно приплясывали около своих снежных траншей, пристукивая одной ногой о другую. Костры разжигать запрещалось — это была зона затемнения. Только поздней ночью дали приказ сняться отсюда, и батальон пошел таким ходким шагом, каким до того не ходил никогда. Но все равно, пришлось покрыть километров десять, пока не отошли застывшие ноги, пока ощутили себя пальцы в ботинках. Глухой порой втянулись в улицу села, где-то в голове строя запели озорную «Калинку». Старшина повел роту на ночлег, в каждую избу — отделение. И до сих пор мое тело помнит окутавшее меня тепло, и запах молока, и скобленые доски пола. Очень немногое в жизни может дать такое счастье.

Еще два дня выходили мы в поле и к ночи возвращались в село. На третью ночь нас подняли по тревоге до рассвета, и мы двинулись домой, то есть в расположение.

Уже рассвело, когда вышли из леса на шоссе. За поворотом, около «виллиса» стоял командир бригады, а в стороне музыкантский взвод. Взошедшее солнце морозно сияло на его трубах. Оркестр заиграл «Эх, полным-полна коробушка», и мы прошли строевым шагом перед командиром бригады. Потом он уехал, а мы под оркестр, который почти не отдыхал, дошли до расположения. И мы шли — не каждый сам по себе, — это было уже нечто единое, сплоченное. И это чувствовали оставшиеся дневальные и больные, они смотрели на нас со скрытой завистью и опаской.

Черникова в землянке не оказалось.

— Так точно, был, — растерянно говорил дневальный. — Сказал, заболел, отпустили, в бригадную санчасть пошел.

Лейтенант приказал проверить это.

— А оружие его здесь? — хрипло спросил сержант Маврин и бросился в ружпарк. Карабин Черникова стоял в пирамиде. На стволе и магазинной коробке пятнами краснела ржавчина: хозяин не протер оружие, когда оно отпотело.

— Почистить! — прокричал сержант своим сорванным голосом, обращаясь к нам с Шапкиным и глядя так, словно это мы бросили карабин.

Проверили: рядовой Черников в санчасть не обращался.

— Я г-говорил, он т-тикать хочет, — начал Ваня, но лейтенант Коноплев спокойно прервал его:

— Отставить! — и добавил, подумав: — Подождем еще сутки.

А назавтра меня вызвали в каптерку, где были командир роты, взводный, Маврин и старшина.

— Пойдешь со старшиной на склад, продукты получишь, — серьезно сказал мне ротный. — В командировку поедешь с лейтенантом Коноплевым и сержантом Мавриным. Ясно? — и повернулся к взводному: — Домашний адрес его не забудь захватить.

И вот мы вышли из расположения. Впереди шел лейтенант, подтянутый, в зеленой шинели и яловых сапогах. На левом боку его висела кожаная полевая сумка, на правом — пистолет ТТ. Следом шагал сержант Маврин. На ногах у него были кирзовые сапоги, на боку тоже сумка, но брезентовая, на плече висел автомат ППШ. И замыкал шествие я. Обут я был в ботинки с обмотками, нес за спиной объемистый вещмешок и карабин на ремне.

На электричке мы доехали до города, а потом я стоял в запруженном людьми зале, держа, кроме своего имущества, автомат сержанта, и смотрел, как лейтенант Коноплев толчется у воинских касс, перебегая от одного

окошечка к другому. Здесь, в толпе вокзала, среди множества других офицеров наш лейтенант выглядел непривычно суетливым, а сержант, напротив, имел вид уверенный, настойчивый. Они безуспешно потолкались у касс и пошли к коменданту объяснить, что дело у них срочное и необычное. Маврин для убедительности захватил свой автомат. А я остался их ждать, ничуть не беспокоясь о том, сейчас же мы уедем, или следующим поездом, или на другой день.

Я, собственно, уже ехал. Прислонясь к стене, я смотрел на людей, сидящих на лавках или спешащих куда-то, на военных и гражданских, особо останавливаясь на женских и девичьих лицах. За короткое время моей службы я в первый раз стоял вот так в людном месте, один, ничем не занятый, и смотрел на текущую, неспокойную, военную жизнь, частицей которой был я сам, смотрел жадно, благо на меня самого никто не обращал внимания. А может, и меня тоже рассматривали из угла чьи-то глаза. Так я думаю сейчас.

Появились лейтенант Коноплев с сержантом. Когда мы, торопясь, поели на продпункте пшенной каши по талонам и вышли на перрон, нас обдало холодом. Вопреки ожиданию, возле состава соблюдался порядок, и мы беспрепятственно сели в вагон. У лейтенанта была плацкарта — вторая полка для лежания, он бросил туда свою шинель и мой вещмешок. А мы с сержантом пристроились внизу, на сидячих местах. Отправление дали быстро, и, когда поезд набрал ход, я ощутил смутную радость, будто сам ехал домой. Первый раз с начала службы я ехал не в воинском эшелоне. Сержант сидел рядом со мной, и я наслаждался тем, что он не может по сути ничего мне приказать, никуда послать — ну, куда тут пошлешь? Напротив меня сидел человек в синем бостоновом костюме с орденом Красной Звезды, который тогда еще носили слева, и оживленная женщина — она ехала с маленькой девочкой к мужу в госпиталь. Она была счастлива, что муж ранен, а не убит. И еще ехали моряки, которые хотя и не были офицерами, но

вели себя с офицерами как равные, и тех это не задевало. Разговор сразу же пошел о положении на фронтах, о сводках, о том, когда откроют второй фронт, но у меня не было сил слушать, и я вскоре сидя заснул, сжимая карабин между коленками.

Когда я очнулся, в вагоне было полутемно, а поезд шел очень хорошо, как бы огромными скачками. За окном лежала лиловая снежная равнина. Сколько мне предстояло еще прошагать по ней, правда, в ином направлении!

Пришел морячок, звал нашего лейтенанта к себе в купе играть в карты. Слово «купе» он произносил как «капэ». «КП».

А поезд все мчался, и наступила ночь, и утро, и солнечный морозный день за окном, а поезд все мчался, как бы гигантскими прыжками. Мы пили кипяток и ели тушенку и сало с хлебом. При всех есть это было неудобно, хотя норма питания у нас была не такая уж большая. Мы смогли угостить только женщину с дочкой.

Этот длинный морозный день пролетел мигом, потому что я бы хотел ехать так очень долго, все ехать, ехать и ехать без конца, даже сидя. Это было так же прекрасно, как шагать, не неся на плече противотанкового ружья, и знать, что никто нести его не прикажет.

Прошли заметенные глухие леса, опять полиловела за окном снежная равнина. Я смотрел в окно, и что-то непривычное, странное было в проплывающих деревушках, уносящихся назад поселках. Я услышал над плечом хриплое дыхание сержанта.

— Светомаскировки нет, — сказал он мне. — Ты понял?

Да, пусть не такие уж яркие, но мигали огоньки деревень в снежных полях, светясь, выбегали к полотну заводские поселки.

Ночью, тряся за плечо, меня разбудил лейтенант. Горела под потолком свеча в фонаре, все спали.

— Подъем, — сказал лейтенант тихо. — Подъезжаем.

В скудно освещенном, теплом бревенчатом домике станции, где дремало на лавках несколько баб с узлами, ожидая утра, лейтенант первым делом внимательно рассмотрел обратное расписание.

— До Бескудникова далеко, кто знает? — спросил он громко.

Бабы зашевелились, а с лавки поднялся мальчишка лет двенадцати, забросил за спину полупустой холщовый мешок.

— Пошлите, я отведу. — Он явно обрадовался, что нашлись попутчики.

Мороз стоял крепкий, скрип от наших шагов был такой, будто шел взвод. Мы сразу углубились в лес. Слегка отсвечивала накатанная полозьями дорога. Пацан шел впереди молча и очень быстро.

— Сколько до Бескудникова? — спросил лейтенант.

— Семнадцать верст будет.

— Семнадцать верст до небёс и все лесом, — прохрипел сержант.

— И полем тоже.

— Едешь откуда? — спросил еще лейтенант.

— На рынке был.

Дальше пошли молча. Мальчишка катился впереди, громко скрипели наши слитные шаги, стягивало морозом кожу лица, я то и дело потирал перчаткой нос и скулы. Как махорочный дым, белой струйкой вылетало дыхание. Слева сквозь заснеженные вершины сосен затянутая морозным кольцом матово светилась луна.

Километров, может быть, через десять вошли в спящую деревню, и где-то посредине ее мальчишка неожиданно свернул с дороги, сказал:

— Прямо идите, будет Бескудниково, — и исчез в воротах.

А мы так же молча, подобравшись, пошли дальше, миновали деревню и вновь оказались в лесу, но теперь впереди уже смутно клубилось, угадывалось самое начало утра. Лес сразу, как отрезали, кончился, мы уже были в поле, дорога поднялась на бугор, и перед нами открыл-

ся величественный малиново-сизый, тусклый от мороза восход. И далеко впереди лежала деревня, там уже затопили печи, и над крышами абсолютно вертикально, как корабельный лес, как невиданная колоннада, подсвеченные розовым стояли дымы.

С тех пор как мы вышли из своей землянки, за все время, пока мы ехали в том прекрасном поезде, я не думал о Черникове, словно забыв, куда и зачем мы едем. Конечно, эта мысль жила где-то внутри, но я ее откладывал на потом. И теперь, когда я, замерзший, увидел эту деревню вдали и колоннаду дымов над трубами и представил себе спящего в тепле Черникова, я ощутил ненависть и омерзение.

А что же чувствовал сейчас сержант Маврин!

Мы спустились в низину, и деревня скрылась из глаз; лишь дымы стояли высоко над снежным горизонтом. Потом мы снова взошли на бугор, деревня была уже совсем рядом. И уже на деревенской улице, у бегущих в школу ребятишек с трудом удалось добиться, где же нужная нам изба — Черниковых в деревне оказалось много.

«А может, его здесь совсем и нету», — подумал я.

— Прячется, наверно, гад! — прохрипел Маврин.

— За мной, — сказал лейтенант.

Мы быстро взбежали на крыльцо — лейтенант первым, я за ним, сержант остался сзади — попали в крытый двор, в упор на нас смотрела телка. Лейтенант мигом толкнул другую дверь — в сени, и оттуда уже в избу. Пахнуло домовитым, расслабляющим теплом, запахом теста, сквозь льдистое окошко с улицы ударил, слепя, солнечный свет.

Черников сидел у стола и ел блины. Я, как сейчас, его вижу, будто он был мгновенно заснят моим зрением, и пленка до сих пор хранится у меня: на нем была нательная рубашка, гражданские брюки и валенки. И он, глядя на нас, продолжал есть, не мог остановиться. А мать стояла у печи и пекла ему блины вдогонку, руки ее были в муке.

— Здравия желаю, — сказал лейтенант. — Только приехал?

— Вчера вечером.

— Долго добирался.

Этот разговор был настолько неожиданным для меня, и говорил лейтенант настолько уверенно и спокойно, что я, как был, так и застыл в той затопленной зимним солнцем избе, и даже сержант Маврин, которого — я знал — разрывала его ярость, не показал этого.

— Здравствуйте, проходите, — кланяясь, пригласила мать. — Сейчас еще блинцов напеку, теста разведу.

— Свои есть продукты, — хрипло ответил Маврин, — и ехать нам надо.

— Ничего, съедим блинцов, время еще есть, — сказал лейтенант, глянув на ходики и снимая шинель. — Зачем хозяйку обижать?

А хозяйка разводила новое тесто и мазала сковороду маслом, макая в него длинное петушиное перо, и лила на сковороду жидкое тесто, и бросала в миску румяные блинцы, а утреннее солнце било в окна, и шестилетняя сестренка Черникова во все глаза смотрела на нас.

А он, как сидел за столом, так и не вставал и ничего не говорил вовсе.

— Сейчас, сейчас, — бормотала мать, ставя на стол стопки и выбегая.

Лейтенант подошел к висящим на стене семейным снимкам в общей застекленной «витрине», посмотрел, спросил у девочки:

— А это кто, отец? На фронте?

Проходя мимо моего прислоненного к стене карабина, лейтенант открыл магазинную коробку и разрядил карабин.

— Оружие протри, — хмуро бросил мне сержант, и я протер свой карабин и его автомат.

Вернулась хозяйка, поставила на стол бутылку.

— Ну, разве что с морозца, — сказал лейтенант и спро-

сил Маврина: — Хочешь? — и хотя тот ответил отрицательно, налил ему и себе, кивнув на нас: — А этим еще рано.

Глотнул и сморщился:

— Ох, отрава!

А сержант выпил, как воду.

— Блинцов, блинцов берите.

— Давай, хозяйка, спасибо.

Я ел пушистые румяные блинцы, один за другим, никакой выпивки мне было не нужно.

— Ну, ладно, — сказал лейтенант. — Нам пора! — и обернулся к Черникову: — Чего сидишь? Собирайся!

Тот вскинулся, спохватился, словно обрадовался.

Мать заплакала:

— Дочка, за крестной беги и за Нюркой.

Мы все трое сидели за столом и смотрели, как он натягивает армейские шаровары, накручивает обмотки.

Пришла крестная и с нею молодая девушка — Нюрка.

— Пора! — сказал лейтенант, взглядывая на ходики. — Времени больше нет.

Черников проникновенно расцеловался с женщинами и сестренкой. Все провожающие заплакали.

— Пошли! — решительно скомандовал лейтенант и, взяв мой карабин, четко, как на занятиях, бросил его Черникову.

На улице у ворот собралась небольшая толпа — бабы и маленькие ребятишки.

— Сыно-ок! Не погостил совсем! — запричитала хозяйка.

— Служба, мать! — сказал лейтенант сурово. — Шагом марш!..

Мы пошли по улице, толпа потянулась за нами, но скоро стала отставать. Все встречные смотрели на нас и кланялись и смотрели вслед Черникову, который вышагивал с моим карабином.

Потом мы спустились в низину, и деревня исчезла из виду.

— Оружие верните, — сказал лейтенант холодно.

Черников передал мне карабин.

— Ах ты, гад! — прохрипел сержант Маврин. Ноздри его раздувались. Он сейчас словно только опомнился от всего произошедшего в избе. — Ах ты, гад! — говорил он, сжимая кулаки и заступая Черникову дорогу. — Он, значит, должен (это про меня), а ты нет?

— Отставить, — сказал лейтенант. — Поздно уже. — И крикнул зло: — Шире шаг! Некогда мне разъезжать с вами.

— Он должен, — бормотал сержант, — а ты, значит, нет?..

Мы шли быстро, по-армейски, в ногу, мы шли вчетвером, но фактически было нас — трое, а он — один. А мы даже не трое, тут и Ваня Шапкин, и старшина, и ротный, и все наши ребята, и командир бригады, и музыкантский взвод, играющий «Коробушку»...

Мы уже вошли в лес и уже миновали деревню, где отстал от нас мальчишка, и снова шагали лесом. Мороз немного отпустил, но еще держал крепко, и чувствовалось, что к вечеру он усилится снова. Мы устали, не выспались и шагали молча, думая о своем.

— Товарищ лейтенант, — вдруг спросил Черников, — а что мне теперь будет?

— Под трибунал пойдете.

Он помолчал и ответил с удивившим меня спокойствием:

— А я бы теперь и сам хорошим солдатом был, — и помедлил, дожидаясь ответа, но его слова были оставлены без внимания.

1967

Минувшей ночью, за два часа до рассвета, первый эшелон мощно форсировал великую водную преграду, неожиданно легко закрепился на правом берегу и до сих пор удерживал занятый рубеж, хотя и не развил успеха.

Сделать это предстояло им.

Петров вышел из полуосыпавшегося, лишь слегка подновленного замученными саперами блиндажа, где комбат ставил задачу командирам. День выдался по-осеннему холодный, сухой и чистый, он уже кончался, едва ощутимо наплывали сумерки.

Блиндажи были отрыты в ложбине, среди редкой рощи старых акаций, и потому не видны с той стороны.

И сейчас, когда дело шло к вечеру, в лозняке, за вторым холмом, начиналось неторопливое, почти безбоязненное копошение, подтягивалась и накапливалась техника. Что ни говори, война уже шла под горку, они давно чувствовали себя прочно, и нынче, оттого, что ночная операция прошла столь удачно, настроение у всех было приподнятое, верилось в успех.

И Петров не испытывал никаких предчувствий, никакой маеты. Безотчетно прислушиваясь к смутным и редким шумам того берега, он смотрел, как стягивается за холмом техника, ждал обычной в таких случаях, мимолетной встречи с Витей и с удовольствием чувствовал на себе новую, едва обмятую, офицерскую шинель. Двубортная, ловко приталенная, да еще схваченная широким ремнем, она сама заставляла делаться стройным, подтянутым.

По званию он все еще был старшина — сержантский состав, но должность с тех пор, как под Сычевкой убило

комсорга батальона, вот уже семь месяцев исполнял офицерскую. Недавно его представили на младшего лейтенанта, но он пока не уяснил для себя — лучше ему будет или хуже.

По крутым, сбитым ступенькам поднялся парторг батальона мелкорябой Казарычев и, как всегда, не сразу, а осмотревшись и оценив обстановку, не то приказал, не то посоветовал:

— Пройдись, потолкуй с ребятишками!

— Есть, товарищ старший лейтенант! — ответствовал Петров. — Разрешите только, земляк тут у меня в артдивизионе...

Мимо, в сумерках, уже медленно тянулись 76-миллиметровые орудия, впереди что-то застопорило, колонна почти остановилась, и Петров пошел вдоль нее, всматриваясь в солдат, но его окликнули первого:

— Толя!

Они учились вместе, на художественном факультете, и вместе пошли добровольцами, да и служили до сих пор рядом, видаясь раз, а то и два раза в месяц.

— Ну, как ты? — спросил Петров, глядя на Витю с некоторой временной отчужденностью, заторможенностью, отмечая про себя, что шинель на друге сидит колом. — Поддержи огоньком-то, не забудь!..

— Не беспокойся, старшина, поддержит, — обнадежил кто-то из солдат. — Наводчик первый сорт...

И Петров, как уже бывало не раз, почувствовал, что Витю здесь уважают нешуточно.

— А ты как думал! — сказал он солдату. — У художников глаз точный.

— Рисуешь? — спросил Витя.

— Нет, не до этого.

Неожиданно вдали, на гребне холма, подняв столб песка, разорвался одиночный снаряд, все повернули в ту сторону головы, вслушиваясь и желая убедиться, что это случайность.

Мимо пробежал ординарец комбата, крепкий, складный, уже возбужденный предстоящим, крикнул Петрову:

— Дрейфит, падла!

Петров с удовольствием отрекомендовал его вслед:

— Лихой парень. Ленька Рогов. Москвич, зацепский, — и так как никто ничего не ответил, добавил: — И еще один есть. Старшина. С Арбата...

К лафету была привязана железная печка.

— Холодно, ребята? — посочувствовал Петров. — Но как ночью топить? Ведь искры...

— Ольховые дрова искр совершенно не дают, — пояснил Витя.

— Так где их взять, ольховые?..

Тут колонна двинулась, все подхватились.

— Витя, а ты-то рисуешь? — крикнул Петров уже вдогонку, будто вспомнил.

— Немножко.

Как всегда, при расставании с Витей он испытал некоторое облегчение, — свои, батальонные, сейчас были ближе. И все-таки объясняя солдатам, что́ он там делал, у артиллеристов, он произносил с истинным удовольствием: «Земляка встретил!..» И теперь, почти неосознанно, он шел к еще одному москвичу.

Было уже совершенно темно, но Петров ориентировался безошибочно, хотя они выдвинулись сюда только прошлой ночью. Лишь изредка он приостанавливался, пропуская очередную колонну незнакомых подразделений и частей, именуемых, согласно приказу, хозяйствами.

Он скатился по сбитым ступенькам вниз, отбросил плащ-палатку, закрывающую вход, и оказался в глубоком и весьма просторном блиндаже. Светили три фитиля в сплющенных сверху крупнокалиберных гильзах.

Дневальный, сидящий на краю нар, у входа, вскочил и крикнул протяжно:

— Взво-о-од!..

— Отставить! — сказал Петров. — Взводный здесь? Здоро́во, старшина.

— Здоро́во, старшина, — добродушно ответил рослый парень, выйдя из полумрака.

Их сближало то, что оба они были москвичи, что оба старшины и оба на офицерских должностях.

— Чаю хочешь? — спросил хозяин. — Обожди только, сейчас они хлеб доделят.

Лишь теперь Петров заметил, что посредине блиндажа, на расстеленной плащ-палатке делят хлеб. Долгое время, уже привыкнув, они получали сухари, и лишь недавно, когда фронт приостановился, тылы догнали их, полевые пекарни обосновались где-то поблизости.

Занимая середину блиндажа, на полу была разостлана плащ-палатка; солдат, которому это было доверено, опустившись на колени, умело резал финкой хлеб, остальные стояли кругом и смотрели. Вероятно, было буханки три с половиной или четыре, — сейчас он уже заканчивал. Он разделил очень тщательно, с довесками, и, не вставая, подался назад, сел себе на пятки, давая дорогу товарищам. Они быстро, но не суетясь, с достоинством, взяли каждый свою, по возможности заранее присмотренную пайку. Он, поднявшись, положил оставшуюся на край нар и стал счищать мякиш, налипший на лезвии.

— Садись, — пригласил Петрова старшина. — Спирту выпьешь?

— Нет, я только чаю.

Ему подали зеленую кружку горячего, дымящегося чая, он, дуя, отхлебывал по глоточку.

— «Боевой листок» выпустили, — сказал солдат, деливший хлеб, и кивнул на освещенную стену.

— Ну-ка, ну-ка? — Петров, не выпуская кружки, приблизился, рассматривая.

Над статейкой, зовущей совершенствовать боевое мастерство, красовался откровенно неумелый, но убедительный в своей наивности рисунок: река, на той стороне немец, заметно наложивший в штаны, и наш боец с автоматом, уже решительно занесший ногу над водной преградой.

— Молодцы! — похвалил Петров. — Так и будет.

И движимый невольным, юношеским порывом, он поставил кружку, нетерпеливо порылся в полевой сумке, не нашел того, что искал, и вытащил тетрадку, разграфленную платежными ведомостями. На обороте последнего листа синим крошащимся карандашом, скупо, лаконично, но с изумившим самого проникновением в суть, он изобразил встающих в атаку наших солдат, деревеньку на взгорке, перелесок вдали. Совершенно не понятно, по каким признакам, но определенно угадывался рассвет. Солдат на рисунке было всего несколько, и не было ни танков, ни самолетов, но тоже непостижимым образом чувствовалось, что за ними сила.

— Здóрово! — сказал кто-то.

— Во дает старшина.

И сам он, глубоко взволнованный, захлопнул тетрадку и сунул обратно в сумку.

— Слушай, старшина, — говорил меж тем хозяин блиндажа. — Вот окончится война, встречаемся мы с тобой на Арбате. На Арбате-то бываешь? Дорогомилово твое рядом, через мост, и все дела...

— Конечно. А у меня еще друг Витя Куликов из артдивизиона, он у Красных ворот, в Хоромном тупике живет. Он прекрасный рисовальщик.

— Ну, ладно. Вот встречаемся на Арбате. «Здорово, старшина». — «Здорово, старшина». — «Ну, давай-ка зайдем...» Куда бы нам с тобой зайти?

— Посидеть? В кафе «Кавказское».

— Можно и так.

— Ну, что ж, — Петров встал. — Надо двигать. А сыро тут у вас!

— Зря, что ли, я тебе спирт предлагал.

— Хорошо, ночью в воду полезем, а то здесь загнешься, — сказал кто-то, и многие засмеялись.

— Это у меня бабка была, покойница, да не бабка, прабабка, — вставил деливший хлеб, — так она мне все говорила, мол, миленький, не простужайся, а то носморк

будет, носморк. Она считала, если нос, то значит — носморк, — еще пояснил он кому-то непонятливому.

— Ну, все, покурим еще на дорожку, чтобы светомаскировку не нарушать.

Петров оторвал листик от сложенной гармошкой газеты, разровнял в нем махорку и залепил цигарку. Поднесли пунцово разгоревшийся трут, он почмокал губами, но цигарка прикурилась плохо, прожглась сбоку, куда со свистом стал проходить воздух. Петров попробовал еще ее отремонтировать, слюнил, зажимал и заклеивал бумажкой это место, но ничего не получалось.

— Плохо дело, — притворно посочувствовал делильщик. — Примета такая. Зазноба-то, наверно, того...

— Скурвилась, что ли? — произнес за него Петров, подумал, к кому бы это могло относиться, и сказал беззаботно:

— А ты знаешь, некому! Никто не ждет... — и попрощался: — Счастливо!

— Счастливо, — ответил старшина. — Нам тоже пора.

И пока Петров карабкался по сбитым ступенькам, в блиндаже деловито прозвучала команда:

— Ста-новись!

В темноте, слабо подсвечиваемой далекими вспышками разрывов или ракет, он опять столкнулся с бегущим куда-то Ленькой Роговым, и тот, приостановившись, уверенный и чуть фамильярный, как все ординарцы, жарко шепнул ему в ухо:

— Уже скоро! Не дрейфь, земляк!..

Петров снисходительно усмехнулся, но неожиданно вспомнил эти слова потом, когда плеснула под ногою черная вода, ощутимо качнулся и осел понтон.

Заняли оборону на том берегу, окопались. Петров вылил воду из сапог, отжал портянки. Песок близ берега был мокрый, плотный, хорошо брался лопаткой. Но когда продвинулись вперед, видимо закрывая бреши в первой линии, картина изменилась: в сухом, текущем песке

было трудно вырыть даже ячейку для положения «лежа». Он курился, тек, из него торчали только мелкие кустики да, как из-под снега, полузасыпанные мертвецы. Это была пустынная, чуть наклоненная к реке равнина, с редким леском на горизонте, песок струился по ней, словно мела поземка.

Стояла убаюкивающая, дремотная тишина. Конечно, она не была абсолютной: с правого фланга доносился дальний гул боя, все более уходящий от реки, но он лишь резче эту тишину подчеркивал.

С вечера и ночью, да и утром, они были готовы ко всему, но, не встретив сопротивления, невольно расслабились, и теперь появление самолетов было для них особенно неожиданным. Самолеты пошли кругами, «лаптежники», с неубирающимися шасси, поливая из пулеметов, а между колесами, хорошо было видно, у них висели бомбы, которые они почему-то не бросали, а берегли.

Это нужно было переждать, перетерпеть, не могло же это продолжаться долго, должна же была появиться наша авиация, пока они чертили в небе черные круги и, вихляясь, заходили на свои одиночные цели.

И тут неизвестно откуда возник и незнамо как распространился неприятный слух: немцы в лесочке!

У Петрова висел на груди трофейный цейсовский бинокль в алюминиевом корпусе — предмет особой гордости — он вынул его и, чуть привстав, вобрав голову в плечи, стал наводить, крутя регулятор, стараясь что-нибудь разобрать. Сперва он видел только деления на стеклах и вдруг, как будто рядом, обнаружил опушку леска, немцев меж стволами. Он чуть повел биноклем и ахнул: немцы шли в атаку. Они шли в рост, не таясь, а посреди строя горизонтально несли за углы красное полотнище со свастикой: знак для своих самолетов. Тут за спиной тяжело, удручающе громко рвануло, — он понял, что «лаптежник» бросил первую бомбу — его сильно придавило к земле, сперва волной, а потом лавиной обрушившегося сверху песка. Он с трудом свалил его с себя, приподнимаясь, выгребая сзади, из-за ворота шинели.

Мимо него в тучах песка пробежал солдат, за ним другой.

— Куда? — крикнул Петров, вскочив и хватая его за плечи. — Назад!

— Приказ был, — тоже прокричал солдат, — к реке отойти и закрепиться... .

Петров не знал, так ли это, но отпустил его. Мимо проходили и пробегали солдаты. Некоторые оборачивались и стреляли. Самолеты все крутились, но поднятый взрывами песок, вероятно, мешал им вести огонь прицельно.

Петров тоже двинулся к реке. Обернувшись, он увидел сквозь тучи песка тот немецкий строй с полотнищем, он был заметно ближе. Петров снова поднял бинокль. Были хорошо видны лица, и это неожиданно напомнило ему кинотеатр «Арс», фильм «Чапаев», психическую атаку белых. И вдруг он увидел, что часть строя, два его правых ряда, исчезли, словно срезанные, и тут же полетели в разные стороны и вверх, но уже искромсанные, жуткие. Полотнище со свастикой упало. Следующий снаряд прошел по середине.

— Дает Витя прикурить! — радостно закричал Петров. — Как в бабки!

Он был коренной москвич и хотя видал бабки, но сроду в них не играл, а здесь почему-то крикнул:

— Как в бабки!

И снова он двинулся к реке.

Его ударило в правое плечо, и, упав лицом в мелкомолотый песок, он успел поразиться, с какой для себя легкостью сбила его эта сила. Он захотел было встать, но не сумел, и охватившее его безразличие показалось ему обычным его состоянием.

Но его потянули, схватив под мышки, он встал на колени и, поддерживаемый, выпрямился.

Он увидел рядом с собой рябое лицо парторга Казарычева.

— Пошли! — сказал Казарычев строго, положив левую руку Петрова себе на плечо и обняв его за талию.

— Пошли, — согласился Петров. Во рту у него скрипел песок. Кровь текла по животу, в штаны, но он еще не понимал и не верил, что это его кровь.

Кругом поднимались столбы разрывов, но стояла тишина.

Неожиданно Казарычев исчез, будто его и не было.

Петров пошел один, на заплетающихся ногах, цепляя носками песок. Правая рука повисла и не действовала. Он заметил, что на груди нет бинокля, это не огорчило его.

Может быть, когда он упал, ремешок перекинулся через голову или его рассекло осколком.

Ему стало душно. Он расстегнул пальцами левой руки все пуговицы шинели, но не мог расцепить душивший его шейный крючок.

Мимо бежал солдат. На нем была не каска, а потерявшая форму, растянутая, совершенно круглая пилотка. Петров окликнул его: «Помоги, солдат!» — тот посмотрел с удивлением и побежал дальше, — на бровях и щеках его налип песок.

Петров с непостижимой быстротой, выгнувшись, перетянул за спиной, по ремню (мешал хлястик!) кобуру на левую сторону и выстрелил в воздух из ТТ, с левой руки.

Солдат проникся, вернулся, расстегнул ему крючок и отвел немного в тыл. А кровь все текла.

Он плелся, опираясь на солдата, и запоминал все: каждый кустик, каждую былинку.

Потом встретились свои солдаты и среди них тот, что делил вчера в блиндаже хлеб. Петров не сразу узнал его. Они говорили ему о чем-то очень важном, но он не мог понять, — лишь потом, в санбате, он, услышав это снова, вспомнит, что уже знает обо всем.

Они перевязали его, отрыли неглубокий окопчик от осколков, и он лежал в нем на спине, глядя на остывающее небо. Его бил озноб, зубы стучали невыносимо.

В темноте появилась первая санитарная повозка. Санитары ходили и спрашивали раненых, какого они полка. Он был из другого, но попросил: «Ребята, возьмите меня, мне очень худо!» — и они положили его в темноте на повозку, на других стонущих раненых.

В санбате, где было много своих, он перед эвакуацией в тыл узнал, что убиты парторг Казарычев и земляк — старшина с Арбата, и вспомнил, о чем ему говорили солдаты. Но и здесь, сквозь полузабытье, известие об их смерти не поразило его, ведь он мог погибнуть и сам.

И еще он услышал, что немцев погнали хорошо, наступление разрастается.

В госпитале он снова начал рисовать.

Сперва, когда рука долго не разрабатывалась, сказал себе горько: «Ну вот, дождался». И едва зашевелились пальцы, обрадовался несказанно, сунул в них карандаш, повел линию. Двинулось дело быстро, и вскоре он уже мог рисовать в блокноте, жадно набрасывать по памяти фронтовые сценки: рытье окопов, дележка хлеба, чистка оружия. И еще — атака на рассвете, перелесок вдали и деревенька на взгорке. Этот, последний сюжет он повторял множество раз, и все ему было далеко до того, сделанного в вечернем блиндаже наброска.

Он изображал и госпитальную жизнь: обед в палате, получение письма из дома, врачебный обход.

Он стал в госпитале популярным человеком. На списанных, в неотмываемых пятнах крови и тем не менее всякий раз с трудом отбиваемых у начсклада простынях он писал сухой кистью портреты маршалов.

Вернувшись, он опять поступил в свой институт и благополучно окончил его. Двумя годами позже воротился и Витя. Он так и прошел всю войну без единой царапины. Теперь они опять были вместе. Учились, потом сами преподавали, потом работали — каждый в своей мастерской.

И чем дальше отходила война, тем пристальнее стали вглядываться люди в те годы, в свою юность, в свою молодость, в лица тогда живых еще друзей. И как многие былые части и соединения, их дивизия тоже организовала встречу ветеранов. Пришли и Петров с Куликовым. Вокруг были постаревшие, растроганные, но незнакомые им люди. Однако они знали других людей, которых знал и Петров. Оживали безнадежно потонувшие в памяти названия сел и деревень, вызывая реальнейшие, до подробностей зримые картины и лица.

Внезапно Петрову показалось, что впереди, по диагонали, сидит Ленька Рогов, ординарец их комбата. В перерыве он двинулся туда и еще раз увидел его за толпой и крикнул: «Рогов!» — но когда пробился, Леньки там не оказалось.

И еще один раз, через полгода, он встретился Петрову на улице, на Кузнецком, около Выставочного зала, он шел по другой стороне, но Петров был уверен, что тот заметил его. И опять, пока Петров переходил, Рогов как растворился.

К двадцатилетию Победы, когда память о войне вспыхнула особенно ярко и живо, решено было провести встречу на отдаленной подмосковной станции, где в сорок первом формировалась дивизия.

Петров и Куликов тоже поехали. Поселок сильно расстроился, ничего нельзя было узнать. Правда, школа, где стоял тогда штаб, сохранилась, и теперь в этой школе, в зале, они и провели свое заседание. Немногие из тех, кто был здесь когда-то, со слезами на глазах вспомнили себя и своих товарищей.

В местном кафе на организованно собранные пятерки был заранее подготовлен банкет, и вскоре они, уже веселые, сидели за сдвинутыми пластиковыми столиками и пели песни.

И напротив Петрова сидел Рогов.

— Ты что, Леня, — спросил Петров, слегка захмелев, — никак сторонишься меня?

Тот глянул в глаза и тоже спросил:

— Зла на меня не держишь?

— Нет. За что?

— За тот день, когда ранило тебя.

Петров помолчал, раздумывая:

— Нет.

— Ты хорошо все помнишь? — зашептал Рогов.

— Все помню. А что?

— Ничего. Я бегу, а ты стоишь, качаешься, шинель расстегнута, и говоришь мне: «Помоги, Леня», — а я говорю: «Не могу!», а ты мне вслед: «Леня, ведь ты же москвич». Так всю жизнь этот твой голос в ушах и стоит. А я правда не мог. Ты видел, что делалось. Меня комбат в штаб полка послал. Ты уж, земляк, меня прости...

— А ведь я этого совершенно не знал, — говорил Петров, потрясенный его рассказом, — ведь я этого, Леня, совершенно не запомнил.

До сих пор ему казалось, что он запомнил все.

1970

Наконец взводный разрешил мне не брать винтовку на занятия.

А дело было так. Морозным вечером, в час, именуемый в распорядке личным временем курсанта, мы складывали на плацу сброшенные с грузового прицепа сосновые бревна. Завтра или послезавтра им предстояло быть распиленными, но законы училища не могли допустить, чтобы хоть день они пролежали в беспорядке. Поотделенно, с жалостью ломая картонку или фанерку, вложенную для шика в только что полученные погоны, мы поднимали бревно на плечи и, спотыкаясь, на дрожащих ногах, заносили его в огражденное кольями пространство. (Сперва задирали один конец, наваливали его на плечи двоих или троих, наиболее крепких, затем, разом взявшись под другой, отрывали все бревно и подставляли под него плечи.) Сержант следил, чтобы несли честно, не приседая, и бросали вместе.

Все шло хорошо, но вскоре нас уже пошатывало, когда мы только направлялись к очередному бревну, а руки тоже не успевали восстанавливать силу. И в конце концов это случилось. За мгновение до того, как четко, по команде, сбросить ствол на остальные, он сам пополз с плеч, пошел косо, мы постарались удержать, чтобы он, спружинив, не отскочил нам на ноги, но не сумели и отпустили — кто как. Я едва успел отдернуть руку — так зверь отпрядывает от лязгнувшего капкана. Чтобы раздавить ее, бревну не хватило сантиметра. Но перчатки на руке не оказалось, и по пальцу все же чиркнуло мерзлой крокодиловой кожей сосновой коры. Это был правый указательный — главный палец при стрельбе из любого личного оружия.

Кожа была вспахана довольно глубоко, начинала саднить, из-под нее проступала кровь. Сержант послал меня в санчасть. Там скучающий фельдшер-лейтенант густо покрыл палец черной едкой мазью, забинтовал и велел приходить послезавтра. Я пришел. И началась моя эпопея.

Палец уже успокоился, подсох, но фельдшер снял бинт, содрал корочку. Обнажилось мясо. Он опять намазал, — это было больнее, чем в первый раз, — завязал и велел приходить послезавтра. Так продолжалось недели две или три. Рана выделяла гной, сквозь бинт неприятно пахла. Палец перестал сгибаться. В очередной мой приход фельдшер, крепко ухватив меня за запястье и поворачивая кисть в разные стороны, неожиданно предложил злополучный палец ампутировать. Я отказался.

Вернувшись в казарму, я с помощью моего друга Сережи Юматова снял повязку, обмотал палец по мази папиросной бумагой, а потом Сережа опять, но несильно его прибинтовал. Может быть, это было варварство, не знаю, но я перестал ходить в санчасть. Мне казалось, что рана пахнет меньше, я боялся верить, но она затягивалась, подсыхала. Когда я решился снять совершенно грязный снаружи бинт, мне открылся мой палец, нет, не палец, а пальчик, неестественно тоненький, розовый, без ногтя, в следах истлевшей папиросной бумаги. Он попрежнему не гнулся, и на стрельбах я приноровился нажимать на спусковой крючок средним пальцем. Но потом он разработался, утолщился, хотя ноготь появился не скоро, может быть, через год, причем отличающийся от остальных — как бы роговой, выпуклый.

Так вот, в самый разгар еще официального лечения, когда мой негнущийся палец был толсто забинтован, а освобождения тем не менее я почему-то не получал, взводный сам разрешил мне оставлять винтовку в пирамиде. Он понимал, что мне в моем положении очень трудно не только носить, но и чистить ее.

Одно из основных занятий в армии — чистка оружия. Так же, как строевая подготовка. Иные говорят: зачем это? На фронте никто не ходит строевым, выбрасывая прямую в колене ногу с оттянутым носком. Однако это надолго добавляет людям лихости. Чистка оружия в училище — тоже скорее ритуал, условность. Оружию не обязательно быть настолько чистым. В боевой обстановке это невозможно и даже противоестественно.

Училищу свойственны преувеличения. Когда старшина говорит: «На казеннике грязь!» — то скорее всего это пылинка, пушинка. Но все равно, если оружие признано плохо почищенным, наказание неотвратимо.

Каждая рота помещалась в огромной отдельной спальне, тесно уставленной двухэтажными сетчатыми койками, — на коечном этаже спали по два курсанта. Двери всех рот выходили в общий батальонный коридор. Пол этого коридора и предстояло мыть провинившимся.

Следует сказать, что основные работы в казарме и на пищеблоке производились вольнонаемными. Курсанту было некогда. Его распорядок был так насыщен, что для отработки нарядов, по сути, не оставалось времени, — ведь он должен был что-то еще и усвоить из военных наук. Но и отсутствие дисциплинарных взысканий армии противопоказано.

Крашеный пол в коридоре, вымытый уборщицами, пока мы бывали на занятиях, блестел даже в самую слякотную погоду: внизу стоял дежурный, и войти в плохо вычищенной обуви было невозможно.

Пол сиял. Его и мыли ночные «нарядники». Производилось это следующим способом. В батальоне имелось тонкое байковое одеяло без хозяина, оно хранилось в вентиляционном люке под лестницей. Его погружали в ведро с водой, в меру отжимали и аккуратно расстилали на полу. Затем двое провинившихся брали его за углы и волочили по полу, оставляя позади широкий влажно мерцающий след. Обычно, когда они доходили до границы своей роты, одеяло перехватывали наказанные из

соседней, а там еще из следующей. Через несколько минут пол принимал свежевымытый вид.

Разумеется, старшины и сержанты знали об этой хитрости, но не замечали ее и по окончании процедуры тотчас засчитывали выполнение наряда. Они попросту жалели нас: им было лучше нашего известно, что нас ждет впереди.

Уже третий день я выходил на занятия без оружия. Остальные разбирали из пирамиды свои винтовки, построившись внизу, брали их на плечо, и мы лихо покидали расположение. Чтобы хорошо петь в строю, требуется умение. Мы еще не научились этому, мы отрабатывали шаг под барабан. Гулкая барабанная дробь напоминала пионерский лагерь, от которого мы ушли не так уже и далеко, но к нему и, главное, к тому времени, не было возврата. Винтовку барабанщик нес не на плече, когда под ее тяжестью, изнемогая, затекает левая рука, его винтовка, чтобы не мешать, удобно висела за спиною. Мы уже начинали понимать, как это важно, — что-нибудь в жизни уметь, чего не умеют остальные.

Под непрерывную барабанную волну, как во сне, мы шли по весеннему миру. Булыжные и грунтовые дороги, перелески, мокрые снежные поля — с этим я еще общался. Но дома, женщины, дети — это было в стороне, мимо них я проходил только в строю, это был другой мир, как за стеной, хотя и стеклянной. Исчезла она, когда я попал в часть, — я расслышал их голоса совсем рядом, я останавливался, подходил, сам говорил с ними.

После строевой бывали тактические, полевые занятия. На привалах каждый оберегал, опекал и нянчил свою винтовку. Если давалась команда составить их в козлы, то старались сделать козлы поустойчивей, чтобы не дай бог не завалились и не испачкалось оружие. Если же держали винтовку при себе, то даже затыльник приклада примащивали на сапоге, хотя уж затыльник-то почистить — минутное дело.

Один я был свободен от этих забот и с достоинством нес необычность своего положения. И вдруг на привале, когда уже поднимались, я увидел, как Валька Портнов пьет из ручейка. Он стоял неудобно на четвереньках, едва доставая губами до воды. Но поражало, конечно, не это. Он пил, наступив коленом на цевье, вдавливая винтовку в мягкую весеннюю землю. Я смотрел на него несколько мгновений, и меня прожгло страшной догадкой: это не могла быть е г о винтовка. Я подбежал и тут же узнал ее, оставленную мною дома, в пирамиде. Но что он с ней сделал!

Переборщил Валька. Прихватив вместо своей мою винтовку, он обращался с ней слишком уж бесцеремонно. Это его и выдало.

К моему удивлению, взводный и сержанты отнеслись к происшествию довольно спокойно. Вальке было приказано только почистить мою винтовку. Он сделал это, но кое-как, и гнев дежурного по роте был обращен на меня. Остальное его не касалось. За оружие отвечал его владелец.

У нас был безответный белобрысый парень Коля Свистков. Однажды утром, перед началом занятий, возле пирамиды раздался его полный отчаяния вопль:

— Товарищ сержант! Затвора нет!

Сбежались — действительно нет. Остальные винтовки стояли чинно и строго. Эта — резко выделялась. У нее как будто вынули челюсть. Сержант сказал:

— Ищи!

Свистков покрутился возле пирамиды — затвора не было. Доложили взводному, потом ротному. Целый день искали, скорее, ждали, что найдется. Пришлось доложить командиру батальона. Потеря затвора оказалась невосполнимой для училища. Это было чрезвычайное происшествие. ЧП! Все-таки еще надеялись. Комбат разрешил проверить номера затворов у винтовок всего батальона. Несколько сотен номеров.

Осунувшийся Свистков в сопровождении сержанта пошел по длинному коридору, по крашеному полу, ко-

торый ему уже случалось с помощью отжатого байкового одеяла столь невинно освежать. Теперь дело было посерьезнее. Уже сыграли отбой. Все спали. Винтовки мерцали в своих пирамидах.

Мне доводилось пользоваться и ловким удобным карабином, и легким автоматом ППС, и другим добротным оружием. Но ни с чем не сравнима красота винтовки с примкнутым штыком, ее подчеркнутая элегантность и боевое изящество. Ее длинная полированная ложа, синий четырехгранный штык, вороненый ствол и светлая сталь затвора.

Теперь винтовки с открытыми затворами и свернутыми курками стояли в пирамидах. Они только выглядели совершенно одинаковыми.

Свистков протягивал руки, нажимал на спусковой крючок, и винтовка доверчиво отдавала ему затвор, падающий в левую ладонь, холодный, чуть скользкий от тонкой смазки. Он проверял номер. В глазах рябило от цифр.

Пропажа не обнаруживалась.

Старшина притащил откуда-то бросовый, насквозь проросший ржавчиной затвор. Днем, пока Свистков был на занятиях, затвор отмокал в жестянке с керосином. Ночами Свистков чистил его. Он драил его песком, битым кирпичом, наждачной шкуркой — ничего не помогало, даже не видно было никакого просвета. И не раз встающие оправляться видели ночью Свисткова, сидящего на полу возле пирамиды. Он спал, держа рыжий затвор в руке.

Я потом думал не раз: куда же мог деваться тот свистковский затвор? Кто-то по злобе, по подлости, мстя, не знаю за что, сунул его незаметно в карман, а потом бросил в очко длинной батальонной уборной.

Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы в соседней роте не объявился курсант, бравшийся достать новый затвор, если его отпустят на неделю домой, в Тулу, где его родня работала на оружейном заводе. Его отправили в служебную командировку, он отгулял неделю, вер-

нулся и действительно привез новенький затвор, даже с выбитым на нем нужным номером.

Мучения Свисткова завершились. Командиры тоже были довольны. Но уже следующей ночью дежурный по роте будил помкомвзвода, говоря громко и взволнованно, почти крича:

— Опять затвора нет!

— У Свисткова?!

— Свистков! Подъем!

Свистков, свесив с двухэтажной койки белобрысую голову, протягивал что-то сержанту. Это был завернутый в носовой платок новый затвор.

Война тянулась еще долго, не один месяц и не один год, и многих из этих ребят не осталось. А те, что уцелели, повидали такое, что давнее, училищное, совсем стерлось, забылось и всплыло в памяти лишь потом, немало лет спустя.

1974

ВИНОГРАДНИК

Остров назывался «Прощай, молодость». Конечно, это было не официальное наименование, а солдатский фольклор. Но оно так укоренилось, что казалось единственно возможным. Оно, как это случается и с настоящими географическими названиями, вскоре уже утратило первоначальный, горько-иронический смысл и стало лишь ориентиром, определением места. Потом просто говорили: «Это когда мы стояли на острове «Прощай, молодость». Недавно жена генерала (тогда он был старшим лейтенантом) спросила меня:

— А что, правда, был у вас какой-то остров, где вы жили, — и, чувствуя странность вопроса, закончила несколько неуверенно: — «Прощай, молодость»?..

— Был, был. Все верно.

Кончалось первое послевоенное лето. Войну мы закончили в Чехословакии, на Влтаве, а затем своим ходом, в строю, возвратились в Венгрию, по которой проходили с боями еще совсем недавно. Здесь и был приготовлен остров для нашего расположения, остров между двумя рукавами Дуная — Большим и Малым. У топкого, неудобного для купания берега Малого Дуная, под старыми акациями, из досок, глины и черепицы выстроили мы себе домики, — в каждом домике — взвод, — и стали привыкать к новой жизни.

Вот здесь, на безлюдном, не считая нас самих, острове, и возникло это народное название, с замечательной точностью выражающее наше тогдашнее положение. Дело даже не в том, что мы повидали Будапешт и Вену, — с окончанием войны мы надеялись вернуться, пусть не

сразу домой, но в Россию, — не задерживаясь в дороге, вернуться победителями. И вот этот остров.

Мы еще были полны войной. Мы отходили от нее очень медленно. Разговоры наши то и дело возвращались к местам, по которым мы прошли, ко всем мелочам и подробностям. Мы только умом понимали, что войны уже нет, мы еще не вошли в новую полосу жизни, не представляли, какой же она будет, и попросту находились далеко от этого.

Мы были очень молоды. И командиры, прошедшие с нами весь путь, знавшие нас насквозь, не были слишком строги сейчас, они старались дать нам возможность прийти в себя, опомниться.

Служба, разумеется, шла своим чередом, прибыло пополнение, начались занятия. Для нас, однако же, делались все-таки послабления.

В нескольких километрах от лагеря на пологом холме тянулись под синим небом ранней осени томящиеся виноградники. Кто был прежде их хозяином, бежал ли он, погиб ли, — мы не знали этого. Время от времени, по двое, по трое, старшина отпускал нас туда — полакомиться.

Издали виноградник густо темнел. Мы приближались и вступали в него, как в лес, который был нам по пояс. Мы шли, задевая коленями плотно собранные кисти ягод. Виноградник был отягчен ими, как недоеное стадо.

Мы выбирали место и опускались между кустами. В нас жило столь знакомое солдату прекрасное ощущение естественности и удобства лежания на земле. Земля была здесь не сырой и черной, как в расположении, а светлой до белизны, глубоко прокаленной солнцем и, как старая печь, испещренной трещинками. Над ней и над нами стояло еще насыщенное синевой небо.

Виноградная лоза, цепляющаяся ловкими усиками за струганую подпорку, аккуратные зубчики листьев — все это было рядом, смотрелось в упор, но было не главным. Главным были нереально приближенные к лицу полновесные гроздья. Давно не шли дожди, и на ягодах, с наружной стороны, лежал налет тонкой, как мука, легко стирающейся пыли.

Виноградник был спланирован таким образом, что различные сорта шли не отдельными рядами или участками, а вперемешку. Я был тесно окружен свисающими кистями самых разных цветов и оттенков. Здесь был черный виноград, и синий, и зеленый, однако вполне спелый, и розовый, и почти совершенно белый. Этот белый виноград запомнился удивительным вкусом сливочной конфеты-тянучки, вероятно, вприкуску с ним можно было пить чай.

Урожай того года был столь обилен, что я наедался, не сходя с места и не меняя положения. Конечно, я ел не все, я тогда надкусывал ягоду и всасывал сок и самую мякоть, виноградное мясо. Иногда я устраивал перекур и, лежа на спине, чувствуя сквозь гимнастерку и нательную рубаху слабое тепло земли, не спеша затягивался, смотрел в высокое, ровной синевы небо. Где-то рядом, за кустами, угадывались движения моих товарищей, это добавляло уверенности и спокойствия.

Порою я замечал, что не могу подняться с земли, и засыпал, как триумфатор, осененный благородными виноградными листьями. Лишь много времени спустя я догадался, что просто пьянел.

Потом я просыпался — сам или меня будил кто-нибудь из своих. Небо и особенно земля уже заметно утрачивали часть недавнего тепла. Мы отряхивались, затягивали ремни, торопились.

Почти всегда одновременно с нами поднимались и выбирались из виноградника на дорогу солдаты соседних рот, среди них встречались и хорошо знакомые. Никто не спрашивал, успеваем ли к ужину, — трофейные часы были у всех.

Часто старшина, отпуская нас, давал поручение: принести винограду с собой. Мы расстилали на земле шершавую линялую плащ-палатку, складывали в середине срезанные финкой отборные крупные кисти и связывали углы. Продев под узел жердь, мы разом поднимали ее

на плечи. Жердь прогибалась, пружинила, и мы старались идти не в ногу, чтобы уменьшить тряску. Однако нижние ягоды все равно лопались и давились, и, распаковав около каптерки наш груз, мы сливали из плащ-палатки котелок, а то и два, соку.

Небо над старыми акациями быстро, как это бывает на юге, тускнело и гасло. И когда мы еще издали улавливали звук трубы или, войдя в расположение, различали внятные голоса команд, мы вздыхали с невольным облегчением, нам начинало казаться, что мы уже дома.

1974

Из немецкого дота выбросили через амбразуру гранату. Она лежала шагах в трех от Кораблева и дымилась детонатором. Сперва Кораблев хотел схватить ее и метнуть в сторону их же траншеи, но побоялся, что не успеет. Он вжался за крохотный бугорок, складочку, чтобы, как только рванет, под прикрытием поднятой земли перебежать дальше. Он так и сделал, но тут же, следом, разорвалась другая, которой он не заметил, — его словно схватили за полы шинели, да еще бесцеремонно сорвало шапку. Касок им почему-то не выдали. Ему бы нужно сразу сигануть дальше, но он, как дурак, стал искать шапку, нашел с вывороченной во все стороны ватой, нахлобучил на голову, а за это время рвануло там, куда он хотел только что упасть, и он броском достиг того места и упал в уже готовую воронку.

Полы его шинели сзади были густо посечены осколками, висели клочьями, и он после обеда, приводя себя в порядок, отмахнул их финкой. Потом он докладывал ротному о бое на своем участке, под высотой, а когда повернулся, чтобы идти, ротный захохотал и сказал вслед:

— Сержант, чего это у тебя шинель без задницы? Как фартук!

Кораблев объяснил:

— А чего ошметки таскать, там одни дыры.

— Взял бы у кого, — хмуро бросил ротный. Действительно, потери были большие. — Хотя стой, кто докладывал, что обмундирование прибыло? — И приказал старшине: — Выдай шинель и шапку...

Кораблев набросил на плечи, поверх ватной фуфай-

ки, нереально новую, болотно-зеленого цвета шинель тонкого сукна, — его слегка познабливало. Землю, лишь кое-где припорошенную снежком, схватило морозцем, но подлая речонка, которую им предстояло утром форсировать, почему-то не замерзала. Одно утешало — она была неглубока.

Кораблев с тоской посмотрел на свое отделение. Один Колька Рысцов был давний, бывалый, на него можно было вполне положиться. Остальные — из пополнения, держались молодцами, но необстрелянные, соображали неважно.

В вещмешке у Кораблева лежали валенки, — им выдали, когда начались морозы этой последней военной зимы. Он намотал две пары байковых портянок, переобулся. То же самое сделал Рысцов. Их примеру последовали еще двое. У остальных в отделении валенок не было.

— Там у них минировано будет, где пойдем, — объяснил Кораблев. — Но земля твердая, они не углубили, все видно.

— Халтурная работа, не тот немец, — усмехнулся Колька.

— Да. Так вот смотрите. Там коробочки такие будут на земле, не наступать — это и есть противопехотные мины.

— И еще будет попадаться, ну, точно как мыло, тоже руками не лапать, — не унимался, помогая командиру, Рысцов.

— Так что и под ноги успевай смотреть, и по сторонам, и команду выполнять. Все ясно? — заключил Кораблев.

Новички потрясенно молчали.

— Напугал ты их, Женя, — сказал Рысцов, и все неуверенно заулыбались.

Красная сигнальная ракета — сколько он повидал их за свою жизнь. Он первым шагнул с берега в черную глянцевитую воду, пошел, тяжело преодолевая ее плотную, густую массу. Следом, стараясь делать это без

всплеска, ссыпались другие. Вода и вправду не доставала до пояса. Он шел, пригнув голову, вобрав ее в плечи, но не отрывая взгляда от того, близкого уже, берега. И тут слитно ударили с той стороны пулеметы, зазвенел на все лады простреливаемый воздух.

— Вперед! — крикнул Кораблев, он сразу понял, что бьют поверх их голов, издали, а их здесь, внизу, накрыть не могут. Они уже выходили на тот берег, поднимались на него.

— Ложись! — крикнул Кораблев и обернулся.

Восточный край неба морозно алел, и его холодные огненные краски охотно принимала вода, — из нее выбирались последние солдаты. А на этой стороне все было хмуро, словно притушено.

Не приподнимаясь, Кораблев перевернулся на спину и задрал ногу, чтобы вылилась из валенка вода. И тут же ощутимо ударило по ноге.

— Ого! — удивленно сказал он. — Уже светло. Снайпер.

Носок валенка был пробит насквозь.

— Не задело? — спросил Рысцов.

— Нет. Валенки большие, запас приличный был.

Колька стащил с головы шапку и поднял ее на малой саперной лопатке — немудрящее фронтовое развлечение. Тут же ее проткнуло снайперской пулей.

— Ничего, — успокоил Кораблев. — Сейчас их подавят. А мы за артиллерией пойдем, за огнем, веселее.

Артподготовка началась минута в минуту. И сколько раз до этого он лежал вот так, опасаясь, чтобы не закатали случаем по своим, и с наслаждением слушая это одностороннее мощное движение снарядов разных калибров над головой.

Потом они пошли. Мины были расставлены в шахматном порядке, совсем на поверхности, новички только на них и смотрели, но все равно и наступали, и задевали. И кто был в ботинках с обмотками, тем отсекало напрочь ступню по щиколотку, только голая кость торчала. А кто в валенках, все оставались на ногах. И у Ко-

раблева в обоих валенках застряло по нескольку осколков, но от мин, которые цепляли другие, — он сам прошел поле чисто.

Артиллерийского прикрытия уже не было, — они подошли к траншеям вплотную. И оттуда суетливо били по ним. Кораблев бежал, пригнувшись, зигзагами, а его щипали пулеметные и автоматные очереди. Бегущие сзади могли подумать, что по нему стреляют специально, чтобы очертить его силуэт. На плечах и на обеих руках и ногах, и даже между ног, около паха, то и дело вылетали клочья ваты, а его чудом все не задевало.

Зато Рысцова, бегущего справа, словно вдруг развернуло на ходу, сперва боком, потом спиной к траншее. Он явственно вскрикнул, будто пожаловался: «Женя!» — и упал лицом вверх.

Все это Кораблев непонятно как умудрился отметить про себя.

— Вперед! — крикнул Кораблев, он любил это слово больше, чем «ура», оно его лучше подхлестывало.

Шагов за десять он выхватил из-под ремня гранату РГ-42 и, рванув кольцо, бросил ее в траншею. Прыгнув следом за взрывом вниз, он увидел немца, скрывающегося за угол хода сообщений, и успел нажать на спуск ППШ. Сунув за поворот ствол, он дал еще одну очередь и тогда выскочил сам. Немец лежал на спине, и пришлось на него наступить, что было неприятно. Неожиданно Кораблев уперся в стенку и понял, что попал в ложный ход. Он обернулся. За ним следовало трое своих. Кораблев крикнул им что-то ободряющее и пустил обратно, до настоящей, действующей траншеи. Они заняли ее, как и было приказано.

Теперь бруствер находился у них за спиной. В той же стенке, в аккуратно вырезанных нишах стояли плоские немецкие котелки и даже лежали гранаты. Кораблев медленно продвигался дальше. Но один из поворотов оказался перекрытым стальной рогаткой.

— Ладно, — сказал Кораблев. — Хорош! Это уже вто-

рого взвода плацдарм, — и впервые хрипло засмеялся. — Закурить надо.

Белобрысый, и от этого еще более бледный, новичок Боровой с готовностью вынул газету и кисет, но соорудить самокрутку не смог — тряслись пальцы. Кораблев свернул и залепил слюной цигарку, высек искру, затянулся.

— Товарищ сержант, — обратился Боровой, — тут пленного привели. Куда его?

— Ну-ка?

Немец был немолодой, он держал руки кверху, бормотал беспрерывно: «Гитлер-капут». И еще от него исходила жуткая вонь.

— Там блиндаж был, — объяснил Боровой. — Кто поверху бежал, все в него по гранате кидали на всякий случай. А он в блиндаже сидел, вот и обмарался.

Блиндаж Кораблев, разумеется, и сам видел.

— Ладно, — сказал он. — Отвести его к ротному.

«Еще обидится ротный за такого вонючего», — мимолетно подумал он и усмехнулся. Но тут он вспомнил Кольку Рысцова и с горечью затряс тяжелой головой.

В траншее стояла тишина.

— Эй, Боровой! — крикнул Кораблев. Никто не отозвался. — Кто там еще? — снова тихо. Лишь где-то очень далеко слева вызывал кого-то связист: «Фиалка! Фиалка!» — «Никак, втроем его повели? — подумал Кораблев. — Черт с ними!..»

Его клонило в сон. Он привалился спиной к стенке и начал окунаться в забытье, с усилием оставляя глаза открытыми. И вдруг не слухом, а всей кожей, всеми нервами и нутром он ощутил сигнал опасности. Он уловил, как течет с бруствера земля. Глаза его сощурились, словно у кошки, и в тот же миг он увидел, как из-за крутого поворота траншеи, но не снизу, где помешала бы рогатка, а сверху, через бруствер, на него нацеливается черный пистолет. Наводили явно наугад, человек, вероятно на чем-то стоя, еле дотягивался до бруствера руками.

Кораблев был высокий парень, и он тут же, сгибая ноги в коленях, стал медленно приседать, а невидимый противник дважды подряд выстрелил и убрал пистолет. Кораблев бесшумно изготовился, и едва черный ствол появился снова, дал по нему короткую очередь. Она оказалась слишком короткой — в диске кончились патроны. Кораблев быстро сменил диск, а немец за это время опять два раза выстрелил.

И тут Кораблева осенило: «Он же, наверное, не в себе, этот немец. А я сгоряча тоже как одурел. Он же рядом, за поворотом, его гранатой нужно достать». Кораблев вытащил из кармана лимонку Ф-1, вырвал кольцо, сказал не торопясь: «Раз, два» — и мягко перебросил ее немцу. И еще две секунды она как раз летела. После взрыва он подождал недолго, взял немецкую гранату с деревянной ручкой и пустил следом. И только тогда, упершись ногой в нишу, толкнулся и лежа выкатился из траншеи. Над ним тотчас прошла очередь, но он таким же макаром спрыгнул в траншею уже по ту сторону рогатки. Как он и предполагал, немец был один. Он лежал на боку, поджав ноги и глядя из темноты на Кораблева. Конечно, он был мертв, но на всякий случай Кораблев предпочел дать по нему очередь. Он нагнулся, поднял пистолет и только тут увидел, что это офицер, обер-лейтенант. Кораблев решил, что нужно взять документы, и, кривясь, расстегнул его мундир, вынул бумажник. На шее мертвеца поблескивала тоненькая цепочка. Кораблев подумал, что это медальон, но потянул — и оказалось, часики. Он опустил их в карман. Как и пистолет, этот трофей достался в рисковом бою.

Лезть наверх ему не захотелось. Он начал раскачивать рогатку, приподнял и с трудом протиснулся на свою сторону. Скоро подошли и солдаты.

Ранило его на другое утро. И как клевало и щипало накануне ватник, а самого не трогало, так сейчас сразу же, едва поднялся, ударило по ноге. Ему показалось, что он сам ударился о какое-то препятствие и что это слу-

чайное недоразумение. Он вскочил, пробежал еще несколько шагов и упал окончательно.

Кто и когда первым перевязал его рану, он не запомнил.

Очнулся он на полковом перевязочном пункте, как он потом сообразил. Его била дрожь. Он лежал осунувшийся, молодой, долговязый, укрытый зеленой шинелью тонкого сукна. Он не мог понять, откуда она взялась здесь. И когда его вот так же знобило — и он набросил шинель поверх фуфайки? День назад, неделю, месяц?

К нему подошла девушка — санинструктор. Даже не подошла, а, стоя на коленях, повернулась от лежащего рядом. Он обратил внимание на ее лицо. Оно было равнодушно-измученное, глаза полузакрыты, — видимо, она не спала очень давно.

— Тебя куда ранило? — спросила она у Кораблева.

Он показал рукой. Она сильно и умело полуповернула его на бок и со словами: «против столбняка» — сделала ему укол, прямо сквозь глиняную корку стеганых ватных штанов, сквозь самую вату, хлопчатобумажные шаровары и бязевые подштанники. Ох и долго же он вспоминал потом эту сестрицу. Не добром! На месте укола, в мякоти бедра, образовался черный страшный желвак, болевший хуже раны и не желавший рассасываться.

А сейчас Кораблев лежал на земле, на спине, рядом с такими же, как он, молодой, с заострившимися чертами. Кровь отошла от его лица. Ни автомата, ни трофейного пистолета при нем уже не было.

Потом он спал и несколько раз просыпался или приходил в себя, понимая, что с ним и где он. Ведь такое с ним случалось не первый раз. Правда, теперь он с облегчением подозревал, что последний.

Он очнулся. Хотелось пить. Он лежал в чистом нательном белье, под простыней и одеялом, в блиндаже или в землянке. Поблизости от него кто-то слабо сто-

нал. И вдруг ударило взрывной волной такой силы, что блиндаж дрогнул и сдвинулся с места, но тут же Кораблев понял: он лежит в вагоне, а к составу подцепили паровоз.

Поблизости, не считаясь с другими, громко разговаривали, и Кораблев выделил один, особенно приятный для себя голос. Он бы с удовольствием слушал его, но жажда мучила невыносимо, и он хрипло попросил пить.

— Женя! — обрадованно сказал знакомый голос, и к губам его поднесли флягу. — Порядок, Женя?

Кораблев долго пил, затем окончательно открыл глаза и посмотрел на Рысцова. Левая рука у того была в лубке и на перевязи. Он улыбался.

— Порядок, — ответил Кораблев.

— В Россию едем, Женя, — сообщил Рысцов. — А лопатник твой у меня, не беспокойся.

Санитарный поезд шел и шел на восток, а все не верилось, что в Россию. Может, в Польше где-нибудь госпитали? Вот станция большая. Нет, ничего, опять дальше...

Уже тянуло вовсю весной. А навстречу, безостановочно — эшелоны: платформы с техникой и теплушки, теплушки, теплушки с пополнением, резервом для последних генеральных сражений. Пацаны из запасных полков и такие, как они, — стреляные, меченые, битые.

Горела нога, ныл желвак от укола, губы и лоб осыпáло жаром, но поезд все шел, и от одного этого на душе становилось легко и спокойно.

Он проснулся. Было темно. Поезд стоял, и около вагона разговаривали. В этом самом не было ничего особенного, — на остановках всегда слышались голоса раненых и персонала. Но сейчас это были не военные, а гражданские, цивильные голоса. Женские и мужской тоже. И эти люди говорили по-русски.

— Всё, ребятки, отвоевались, — сказала женщина со-

всем близко, — наверное, была открыта дверь, — и по его щекам потекли слезы.

— Где мы? — спросил он тихо. Ему никто не ответил. — Где мы? — повторил он.

— Чего кричишь, браток! — произнес кто-то рядом. — Брест это.

С утра долго перегружались в другой состав, — на широкую, свою, колею, — перетаскивали имущество, носилки с лежачими.

Немолодая, крупная сестра Лена подошла с парой облупившихся, видавших виды костылей:

— Ну-ка, Женечка, доктор сказал, хватит сачковать. Обнимай меня за плечи, крепче, так, молодец, молодец...

Он стоял на одной левой ноге, навалясь на костыли, у него кружилась голова. Рысцов правой рукой поддерживал его за спину.

Поезд грохотал над речушками, ритмично стучал колесами — мимо хвойных лесов, лугов и болот, разбитых городов и сожженных деревушек.

А при каждой остановке возникали около вагона бабы и дети, выносили горячую картошку, черные лепешки, а то и самогон.

— Где шинель-то моя, не знаешь? — спросил Кораблев у Рысцова.

— Как не знать, Женя, здесь она у меня, в заначке, — засмеялся тот.

Потом Кораблев смотрел из вагона, как Рысцов в накинутой на плечи шинели подошел к местным, как однорукий инвалид снял с него шинель, ловко подбросил вверх, чтобы увидеть на просвет, покачал головой и водворил ее на место. С третьей попытки шинель, однако, взяли.

А поезд все шел и шел.

— К Москве, к Москве, Женя, — шептал ему Рысцов. — В гости ко мне едем.

Москва действительно была совсем уже рядом.

— Куда везут, Леночка? — допытывался Рысцов.

— Теперь приказ есть помещать по возможности в

госпитали по родам войск, чтобы в свою часть потом удобнее возвращаться.

— Так мне же в воздушно-десантный надо, — чуть не вскричал Кораблев. — Я же десантник. Я же к ним, — он кивнул на Рысцова, — после госпиталя попал.

— Есть в Москве такой, — сказала Лена и удивилась: — Не напрыгался?

— В Москве какие хочешь госпиталя есть, — зашептал Рысцов, будто ухаживал, улещал. — Дашь нам, Леночка, на руки истории болезни?

А Кораблев потянул из бумажника (Рысцов называл его «лопатник»), из-под потайного клапана за тоненькую цепочку трофейные часики, похожие на медальон.

— Это тебе, Лена. На память.

Она взяла их на ладонь, приложила к уху — идут! — и благодарно засмеялась:

— Да я бы вам и так отдала.

Они сошли на путях, не доезжая Белорусского вокзала. Оба в валенках, в стеганых брюках и ватных фуфайках, у Кораблева из рукавов и штанин клочьями торчала вата.

Идти на костылях было мучительно трудно. Но Колька подбадривал:

— Ничего, ничего, ко мне домой, здесь не так далеко!..

Обогнули вокзал, попали в какой-то переулок. Кораблев привалился к стене: не могу. Рысцов вышел на проезжую часть, стал поднимать здоровую руку. Наконец остановился какой-то «виллис». Шофер высунулся из машины, посмотрел на Кораблева, удостоверяясь, что Рысцов не врет, и милостиво согласился:

— Ладно, до Планетария.

Почему до Планетария? Все было как в тумане. Но он слышал захлебывающийся голос Рысцова:

— Слева улица Горького, а это Грузинскую пересекаем. Смотри, Маяковка. Садовое кольцо...

Кораблев ничего этого не различал. Только чувствовал, что Москва уже весенняя, радостная, горячо распахнутая навстречу близкой победе.

Потом они оказались на бульваре у Никитских ворот. Почему у Никитских? Потому что рядом с их скамейкой стоял чудной памятник Тимирязеву.

— Больше не могу, — сказал Кораблев, — пускай хоть патруль заберет.

Ему было все безразлично.

— Да тут рядом!

Потом они еще ехали трамваем. Или до этого? Несколько человек помогало ему вылезти из вагона.

На второй этаж поднимались очень долго. Рысцов тащил Кораблева, но и у него уже не было сил.

Потом Рысцов позвонил в дверь.

— Кто там? — спросили из квартиры.

— Открывай!

— Кто?

— Витька, морду набью! — сказал Рысцов.

Дверь распахнулась.

— Коля! — завопил парень лет четырнадцати. Из-за его плеча показалась женщина, увидела Рысцова и стала медленно валиться на бок.

Потом, — кажется, уже вечером, они сидели за столом, уставленным гражданскими закусками, и пили даже коньяк. Колькин отец был каким-то большим начальником. Он громко говорил:

— Погодите, орлы, успеете с госпиталем, поживите у нас. Я сейчас своего врача вызову...

И правда, появился врач, осмотрел Кольку и сказал:

— Денька три отдохните-ка дома, — а потом взял Кораблева за запястье. — Э, брат, да ты весь горишь. Срочно, срочно!.. В воздушно-десантный? Доставим, не беспокойся...

А потом был госпиталь — жар, бред, маета и тихое, ровное, сладостное выздоровление. Белые палаты, длинный коридор, стук костылей по его мытому полу, и стук капели по карнизу, и дальний трамвайный звон.

Все это сквозь дымку покоя и расслабленности — как во сне.

— В госпиталь ты определился правильно, — сказали ему перед выпиской, — но беда, десантники-то все далеко. Знаешь, где они сейчас? В Вене! А вот запрос. Здесь, под Москвой, в авиационный полк требуется укладчик парашютов. Можешь?

— Могу.

Он сошел с электрички. Слабым зеленым туманом уже сквозил ближний лесок. Над ним низко заходил на посадку транспортный самолет. Около забора, по первой травке, мальчишки играли в футбол.

Было четвертое мая.

Дежурный посмотрел документы и сказал:

— Вон ступай в то здание. Командир сам любит принимать. — И посмотрел на Кораблева скептически.

А тот так и был в валенках и во всем стеганом с вылезшей ватой. Закон госпиталя — в чем прибыл, в том убываешь. И заштопать не удалось, — ткань ползла, секлась под иголкой.

Он вошел в деревянный домик.

В большой комнате, на четырех железных койках, поверх одеял лежало четверо офицеров. «Отдыхают перед полетами», — подумал Кораблев, спросил командира и доложился.

— Ты откуда же, такой? — поинтересовался моложавый подполковник с густой пестротой орденских планок на груди. — Это что же на тебе за рванина?

Кораблев четко объяснил.

Они все поднялись с мест, окружили его.

— Из автоматов?

— Из пулеметов тоже.

— А это?

— Валенки? От минных осколков.

Они удивлялись. Они никогда не видели, не представляли себе в подробностях наземного боя.

— Так, — сказал командир и снял телефонную трубку. — Шестой. ОВС? Рябинин, сейчас подойдет сержант, обмундируй, да, и сапоги поприличнее. Фамилия? Фамилия его Кораблев. — И Кораблеву: — Отправляйся в ОВС, потом к дежурному, станешь на довольствие, определишься, и с утра на парашютный склад. Все ясно?

— Так точно. Разрешите идти?

— Идите.

Кораблев повернулся кругом в своих побитых, растоптанных валенках, пошел к дверям и услышал, как за спиной сказал уже не командир, а кто-то другой:

— Внушает доверие. — И остальные засмеялись.

1986

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

С Дуная тянуло стойким пронизывающим ветром, в наших самодельных, крытых плащ-палатками домиках было постоянно холодно, их никогда не удавалось натопить. Земля стала твердой как камень, с неба время от времени порошило мелким сухим снежком. Негде было согреться.

Наступал сорок шестой год, и, спокойно думая о нем, я поймал себя на том, что не помню, как встречал предыдущие. Да какое там встречал! Я не помнил, где я был и что делал. Может быть, на марше или на посту, а скорее всего — просто спал в землянке. Я не замечал перехода в следующий год, как при наступлении мы не сразу обнаруживали, что переступили еще одну государственную границу.

Теперь все изменилось. Рота была в наряде, и меня пригласили, да-да, как это ни странно звучит, пригласили встретить Новый год. В половине двенадцатого я прибыл на батальонную кухню. Это было единственное теплое место, — разумеется, из тех, где бывал я.

За дощатой перегородкой слышались звон посуды, говор и смех, задумчиво наигрывал аккордеон — там собирались наши офицеры. А здесь наряд уже залил котлы для завтрака, заготовил дрова и находился в предвкушении пиршества — в двух глубоких противнях жарилась на плите нарезанная полосочками — совсем как дома — картошка, стояли миски с солеными огурцами, ломтиками засыпанного красным перцем сала, пышный пшеничный хлеб. Прибор — кружка, ложка и нож — был у каждого свой.

— Давай сюда! — махнул мне мой друг и напарник

Саня Трубицын, и я устроился возле него, за широким круглым чурбаком для разделки мяса. Стали разливать молодое венгерское вино — бор. Оно было розовое, кисловатое. Кто-то посетовал, что нет спирта или хотя бы водки-па́линки.

За перегородкой наступила тишина, и послышался негромкий, с украинским акцентом, голос комбата. Он говорил несколько минут, очень медленно, слов было не разобрать. Потом офицеры трижды прогремели: «Ура!»

— Все, — сказал Саня. — Новый год.

Через час прибыл объезжающий батальоны генерал. Нам было слышно, как сперва известили о том, что он подъехал, как он вошел и властно, звонко поздоровался. Прежний наш командир дивизии был всеобщим любимцем, — к этому относились скорее равнодушно. Ему повезло, — принять такое соединение. Он и генерала-то получил у нас.

Теперь он громко и коротко — как на параде — поздравил офицеров с Новым годом. Офицеры качали его и кричали: «Ура!»

Потом генерал отбыл в следующий батальон, и веселье продолжалось.

Это было последнее запомнившееся событие — там, под старыми голыми акациями, у Дуная, за рубежом. Через неделю нам объявили об отъезде.

* * *

На войне беспрерывно происходит расслоение, расщепление судьбы — одних отправили на переформировку, других на передовую, одних в полковую школу, других просто в полк. Одних в далекий эвакогоспиталь, других только в санбат. И наконец — одни еще живы, а других уже нет на свете.

И всякий раз острейшее ощущение: а ведь только что были рядом!

Военная судьба — это регулировщица на развилке.

Колонна прет — моторы ревут, крик, мат, а она флажками — эти сюда, а эти сюда. Давай, давай, не задерживай!

Но оказалось, что и после войны действуют те же законы. Одних подчистую — домой, другим трубить и трубить. Да и где! Одним служить, но в России, а другим здесь, под Будапештом и Веной. И что более всего удивляло — многие оставались с охотой.

Когда летом начались отпуска, старшина Елисеев получил одним из первых, — в шевиотовом офицерском обмундировании, в хромовых сапогах, сияя орденами, съездил в свою заволжскую деревню, погулял, посмотрел, как живут, воротился и остался на сверхсрочную. Да и других набралось немало. Теперь они уже отбыли — отвалились, отпали от нас.

На соседней станции формировали эшелон, начали строить нары.

* * *

Это ответственное дело — установить в теплушке нары в два, а в большом пульмановском вагоне — и в три этажа. Ребята лежат тесно — нагрузка весомая. Когда ехали на фронт, однажды вечером, — еще не успели уснуть, — затрещали, оседая и подламываясь, верхние нары. Но обошлось — несколько человек тут же среагировали, спрыгнули, ссыпались на пол, а лежавший на нижних наш богатырь Мишка Сидоров успел задрать ноги и удержал верхние доски. А то ведь могло придавить тех, кто внизу.

Теперь, по мирному времени, нары стелили настоящие плотники, саперы.

Потом, таща все на себе, мы прибыли на станцию; испытывая облегчение, разобрались по вагонам. Это было просто, буднично и не ощутилось как окончание необыкновенного отрезка нашей жизни.

Эшелон был громадный, долго грузились техника и штабы.

Наконец паровоз прогудел, потянул, дернул — и не

смог стронуть с места наш состав. На помощь ему пришел второй — толкач, с хвоста, и вдвоем им удалось это сделать. Так и было в дальнейшем, почти на всех остановках — один паровоз не справлялся, уходил за вторым, потом долго ждали первого, и так без конца. Иногда, правда, получалось сразу — может быть, это зависело от умения машиниста или рельефа пути.

И началось наше совершенно нереальное по своей длительности путешествие. Впереди предстояло еще пересаживаться на широкую колею и опять ехать и ехать.

Остановки были по двое и по трое суток. Нас обгоняли эшелоны с пленными, груженые товарняки. Наш генерал гулял по длинным перронам об руку с врачихой — капитаном. Мы высыпáли из вагонов, сидели на сухой насыпи, курили. Заводили знакомства с женщинами и девушками, некоторые умудрялись попадать к ним в гости. За час до отхода паровоз громко гудел, созывая всех к эшелону.

В городе Дебрецене, не помню уже каким образом, но организованно, мы оказались во дворе тюрьмы. Там происходила публичная казнь одного из ближайших сподвижников Хорти. За свои преступления он был приговорен к смертной казни через повешение. Я думаю, этот способ лишения жизни был в те годы наиболее страшным — люди слишком привыкли к стрельбе. Эта смерть была необычной — в ней сильнее чувствовалось Возмездие.

Мне уже приходилось видеть, как вешают предателей в маленьком чешском городке над Отавой. Они трое, двое мужчин и молодая женщина, перед самым концом войны выдали гестаповцам местное подполье. Виселица была сооружена на площади. Осужденные, возвышаясь над головами толпы, стояли в кузове грузовика с откинутым задним бортом. Потом грузовик медленно выехал из-под них.

Теперь тоже был зачитан приговор. Затем палач подсадил невзрачного человечка на табурет, надел и попра-

вил на его шее петлю. Тут же он убрал из-под его ног табурет и сильно надавил ладонями на его плечи, почти повис. Через несколько минут врач подтвердил наступление конца, и повешенного стали снимать.

И в том, и в другом случае толпа воспринимала происходящее с суровым спокойствием.

За Дебреценом белели Карпаты, близко была наша граница.

Я заступил дневалить под утро. Саня Трубицын, потянув за ногу, разбудил меня. Было еще темно. Мы выкурили по цигарке, потом он полез на нары, а я сел возле печурки. Печурка была раскалена, от нее исходил малиновый жар. Я чуть более откатил дверь и закрепил ее чуркой, — все же в вагоне находилось слишком много народу.

Четко стучали колеса. В теплушке стук колес ощущается совсем рядом, под полом, близко, как ни в каком другом вагоне. Светало, все чаще просыпались ребята, у самой двери клубился туман.

Потом стало совсем светло, и я увидел сверкающие освещенной белизной горы, старые ели в снегу и наш состав. Даже обычный пассажирский поезд в горах и то змеится и виден целиком из любого вагона. А огромной протяженности эшелон, казалось, занимал собою все обозримое пространство, свертываясь в несколько колец, а потом медленно разворачиваясь.

Все уже проснулись, оделись, многие стояли у дверей.

И вдруг за грохотом колес возникло нечто постороннее, какое-то волнение дрожью прошло по вагонам. Из дверей свешивались люди, что-то кричали, махали руками. Эшелон еще долго, но все медленнее продолжал раскручивать свои кольца и наконец остановился среди ослепительных гор.

Вдоль вагонов, рискуя сорваться с насыпи, заспешили несколько человек, среди них наш фельдшер и врачиха-капитан, недавно прогуливавшаяся с генералом.

Поезд опять очень медленно, но зато сразу сдвинулся и пополз между гор. И тут же стало известно, что произошло в соседнем батальоне. Ординарец командира взвода чистил пистолет своего лейтенанта. Почистил, смазал, собрал и инстинктивно, для безопасности подняв стволом вверх, нажал на спуск. Но, знать, не зря в армии говорят, что раз в году и незаряженная винтовка стреляет. Выстрелил и пистолет «ТТ». Каким образом оказался патрон в его стволе — непонятно. Но пугающе прогремел выстрел. А сверху от нечего делать наблюдал за чисткой пистолета сержант. Пуля попала ему в голову.

Сперва сказали, что он убит, но потом, что жив, и, кажется, есть надежда.

А эшелон все крутил свои кольца возле самой нашей границы, в заснеженных Карпатских горах.

1986

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЗА ДВЕРНЫМ СТЕКЛОМ ВАГОНА

В Таллине я купил три килограмма сливочного масла, — сказали, дешевое, вкусное, и надо же что-нибудь с собой привезти. В конце войны, в Австрии, когда официально разрешили отправлять домой посылки, я ни разу этим не воспользовался, как-то неохота было. Однако потом, вернувшись и увидав, как скудно без меня живут, я устыдился и соврал, будто посылал, даже возмутился пропаже.

Теперь я ехал сам.

Торговали прямо на тротуаре, под высоким крепостным валом с красной стеной. Стояла влажная эстонская зима. Я был в Таллине дня два, проездом с острова Даго, и у меня осталось в памяти, что город сильно разбит. Через много лет, бродя по его игрушечным средневековым улочкам, я никак не мог понять, откуда же взялось то мое давнее ощущение. Потом мне объяснили — развалины были, и весьма изрядные, но главным образом по одной улице, и даже по одной ее стороне, где располагались казенные здания немецких штабов. Наша бомбардировочная лавина сработала на удивление ювелирно — в двухстах метрах от цели осталась невредимой сказочная ратушная площадь.

Теперь мы ехали домой — совсем. Позади была война и заграница, и послевоенные скитания по незнакомым гарнизонам и частям, которые все еще тасовались и перетасовывались.

— Пошли, — позвал меня Серафим Вихлинин. — Пора.

Я по его примеру купил еще две большие буханки хлеба и крепко завернул в чистую нательную рубаху, — чтобы не черствели.

Мы уже двигались на вокзал, к ленинградскому поезду, где для нас был выделен вагон. Нас было человек шестьдесят или семьдесят и один бедовый сопровождающий лейтенант с нашими демобилизационными документами. Мы и раньше встречались с ним — по дороге на Даго. Вот уже полгода он только и делал, что сопровождал до крупных пересыльных пунктов команды уволенных в запас, а иногда и призывников. Он втянулся в эту странную колесную жизнь и чувствовал себя в ней легко и уверенно.

Почему нас с Вихлининым не отпустили прямо в Москву — так и осталось для меня загадкой.

Уже стемнело, когда мы плотно заняли свой зеленый пассажирский вагон. Лейтенант ходил по проходу, проверял, все ли в наличии. Неожиданно появился незнакомый майор с моложавой женщиной и искательно попросил у лейтенанта разрешения для нее следовать в нашем вагоне, объяснив, что жена обязательно должна завтра быть в Питере (он так сказал), а в другие вагоны сесть невозможно. Он просил оказать ей содействие и поддержку. Лейтенант великодушно обещал.

Поздним вечером, когда я пробирался по темному вагону в тамбур, — фонарь со свечой был только в одном конце, — кратковременный наружный свет проскользнул по верхней полке, и я увидел лейтенанта вместе с нею. Они тесно лежали рядом под его шинелью с расстегнутым хлястиком. Почему-то больше всего поразил и запомнился этот хлястик.

Ехали долго — до следующего вечера. Выбрались на перрон, построились. Осталось в памяти — белый, смутный, послевоенный город в снегу и черные фигуры морских патрулей на привокзальной площади.

Пошли под снегопадом по белым прекрасным улицам к знаменитому на всю армию пересыльному пункту — «Фонтанка, 90». Что-то неуверенно, по-школьному, отозвалось, откликнулось на это название, — как на пароль. Фонтанка, 90? А там какой номер? Ах, нет, простите, там

не Фонтанка, там Мойка. А что же все-таки Фонтанка? И вспыхнуло совсем другое:

Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.

Что это еще за чижик и почему он должен пить водку на Фонтанке? А дальше —

Выпил рюмку, выпил две,
Зашумело в голове.

Немного ему нужно было, этому чижику. Тут я вспомнил себя совсем маленьким, и как меня научили этой дурацкой песенке, и я упорно говорил не «выпил рюмку, выпил две», а «выпил рюмку, выпил две рюмки», не обращая внимания на стихотворный размер.

Рядом со мной прочно шагал Симка Вихлинин, остальные все были незнакомые.

И опять нас не отправили прямо в Москву. На Фонтанке мы провели трое суток, ожидая, пока сформируется подходящий эшелон. Потом опять валил густой снег, мы ехали в открытых грузовиках, через центр, по Невскому, к Московскому вокзалу. А там, волнуя, рокотал на перроне духовой оркестр, звенели медные тарелки. Был митинг, и нас провожали так, словно именно мы защищали этот великий город.

В вагоне, когда уже двинулись, выяснилось, что эшелон на Москву не пойдет, а на узловой станции Бологое повернет на восток — все ребята были с Урала и из Сибири.

* * *

Здесь мы наконец получили на руки документы и сошли — Вихлинин, я и еще один москвич, младший сержант. За плечами у него висел обычный «сидор», а в руке был самодельный фанерный чемодан зеленого цвета с

красной звездой на боку и висячим замком сверху. Перехватив мой взгляд, он спросил:

— В деревню с таким приезжать? — сам засмеялся и объяснил: — А что! Мне мой второй номер сделал на память...

У нас с Симкой было по два вещевых мешка — один, удобно укрепленный на спине, с лямками, схваченными на груди перемычкой, второй на правом или на левом плече, поочередно.

Дело нам предстояло нелегкое. Станция была перенасыщена людьми. Народ стоял вдоль всей платформы, плечо к плечу, как в метро. Поезда, правда, шли часто, но переполненные, — двери даже не открывались. Лишь однажды мы видели, как вышли из комендатуры патрули, оттеснили людей от края — в их полукольце оказался рослый генерал, через минуту остановился поезд, они продолжали умело, спинами, отжимать толпу, а генерал невозмутимо скрылся в дверях вагона.

Совсем стемнело. Внезапно подали пустой состав, но тут же стало известно, что это местный поезд, и хотя он пойдет в направлении Москвы, его конечный пункт всего через несколько остановок, и садиться на него не имеет смысла. Однако Симка успел получить совет у какой-то здешней женщины, что поехать на нем все-таки стоит.

Была глубокая декабрьская ночь. Мы стояли на длинной малолюдной платформе. Два поезда уже прошли. Темные, завьюженные, они останавливались на минуту — только для порядка, даже проводников не было видно. Сейчас причаливал третий.

Мы побежали вдоль состава. Глухо чернели кое-где подсвеченные окна. И вдруг за дверным стеклом вагона я увидел молодое женское лицо. Оттуда, из темноты, она смотрела большими глазами на белую полоску перрона. На ней была форменная шинель и шапка, а поверх шапки домашний пуховый платок. И она показалась мне прекрасной, с этими своими глазами, с этим платком.

Я попросил ее знáком: «Открой!» Она снисходительно, как ребенку, улыбнулась, и задумчиво покачала головой.

Паровоз прогудел и рывком стронул завизжавшие вагоны. И тут она неожиданно кивнула: садитесь!

Это был решающий миг, — ни обсудить, ни посоветоваться.

Мы втроем, на ходу, кто как, вскочили на обледенелые подножки, схватились за промерзшие поручни. Ничего, сейчас она откроет, — ведь станция уже позади. Поезд резко прибавил скорость. Завьюжило по ногам, затрепало полы шинелей. Я не успел опустить и подвязать наушники, шапка съезжала на глаза и еле держалась. Чтобы она не свалилась, я уперся головой в дверь. Что же это, в самом деле?

— Встречный! — серьезно сказал Симка.

Я скосил глаза. Впереди, в снежной ночи, лучился, вспухал, разрастался грозно приближающийся свет. Он стал огромным и бил прямо в нас, почти сшибая со ступенек. Фанерный чемодан младшего сержанта больно упирался мне в колено, сталкивал. Я беспомощно ощутил, насколько далеко позади меня висящий за спиной вещмешок.

— Держись, — дышал мне в ухо Вихлинин, прижимая меня к дверям.

— Открой! — вдруг пронзительно закричал младший сержант. — Открой, сука!

Но, конечно, она не слышала его слов.

Смешанная волна острого снега, освещенного горячего пара и резко пахнущей угольной пыли поглотила нас, накрыла с головой, заполнила наши глотки, ноздри и уши. Потом мы, задохнувшиеся, вырвались из нее, и тут же обожгло холодом и долго било встречным колесным громом. Потом стало почти тихо, лишь свистел ветер и ритмично стучали внизу колеса, когда отчетливо щелкнул ключ — и дверь растворилась. Мы осторожно, боясь помешать друг другу, медленно втянулись в тамбур.

— Ревизор шел, не могла сразу открыть, — объяснила она просто.

* * *

Сперва мы виделись с Симой Вихлининым, затем долго не встречались, теперь опять стали видаться. Мы вспоминали о Горловке, о Балатоне и Вене, когда воевали рядом, но еще не были знакомы, и о сенокосе вблизи Калуги, о делянке в новгородских лесах, о хмуром острове на Балтике. Но почему-то мы никогда не говорили об этой ночи.

Прошло более двадцати лет. Я ехал с женой в отпуск. Скорый уже громыхал дачными подмосковными местами, когда в купе вошла проводница в форменном сером костюмчике.

— Ваши билеты, пожалуйста.

Я протянул ей билеты и, глядя, как она вкладывает их в пронумерованные ячейки брезентового кляссера, вдруг спросил:

— Вы не работали на линии Ленинград — Москва?

Она вскинула на меня большие светлые глаза, но ничуть не удивилась моему вопросу.

— Работала.

— А когда? — я почувствовал, что волнуюсь.

— С шестьдесят второго по шестьдесят пятый.

И поскольку я ничего на это не сказал, добавила:

— За постели, пожалуйста.

1985

ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ

Чем ближе было к концу войны, тем шире входила в обиход переписка между незнакомыми прежде людьми — между женщинами и мужчинами, между тылом и фронтом. Одинокие люди, чувствуя, что вскоре начнется другая жизнь, искали в ней чего-то заранее. Для иных это было развлечением, многие относились к переписке вполне серьезно.

Сватало радио — писали туда, и оно сообщало адреса желающих познакомиться. Взаимная тяга была столь велика, что это выглядело совершенно естественно. И текли двумя встречными потоками письма: из России в разнокалиберных, часто самодельных, неуклюже склеенных конвертах, с войны — только треугольнички. Сложить исписанный листок в треугольное письмо было столь же привычным, как свернуть из газетной бумаги самокрутку.

Текли в военном, потревоженном пространстве письма, но то и дело выбывал один из адресатов — временно, по ранению, или уже навсегда.

Занятие, разумеется, было на любителя. Шутка ли сказать, — война. Но охотники находились. Один спит или крючок к шинели пришивает, а другой пишет. Раз — и готово.

В нашей роте был такой мастак — отчаянный малый Володька Ратковский. Он переписывался сразу с несколькими студентками какого-то ленинградского института, учил их жизни, снисходительно над ними посмеивался. Они отвечали ему наперебой. Я тогда в это не вникал, мне было неинтересно, а сейчас жалею, что не попросил у него посмотреть, о чем же они пишут,

даже когда они вывели на конверте — он всем показывал — «Владимиру Ратковскому — человеку XX века». Слава его в том институте была велика, и другие девчонки захотели переписываться с товарищами столь выдающейся личности. Он дал адрес нашему ротному писарю, тот начертал послание особенно красиво, с фирменными завитушками, но спустя время получил свое письмо обратно — несколько незначительных орфографических ошибок были подчеркнуты красным карандашом. Писарь обиделся, долго и весьма изобретательно с неодобрением отзывался о своих адресатках. Да и другим история эта не понравилась.

Мне тоже написала как-то раз неизвестная девчонка. Я с удивлением бегло пробежал глазами все, что она подробно рассказывала о себе. В конце она сообщала, что номер полевой почты узнала у моих родственников. Я ей не ответил.

Но были ребята, которые регулярно переписывались с незнакомыми девушками, никого особенно в свои дела не посвящая. К таким относился Лешка Пинаичев, спокойный и рассудительный уральский парень.

Я встретил его через много лет, и он поведал мне эту историю.

В течение года он переписывался с девушкой Верой, работавшей на большом заводе под Москвой. Их общение все учащалось. И тут я действительно вспомнил, что буквально с каждой доставкой почты прибывало ему письмо. Чаще, чем Ратковскому.

Он уже все знал о ней — конечно, с ее слов, была у него и ее фотокарточка. Он загадал: если останется жив, по дороге домой обязательно заедет к ней и все решит на месте. Ну, и она о нем все знала — с его слов.

Кончилась война. У него было три ранения — он попадал под первую же демобилизацию. Он попрощался и убыл от нас — мы тогда стояли в Венгрии — осенью сорок пятого. В ту пору их еще встречали, как встречают первых. Но он не торопился, не суетился и сошел с эшелона, специально сформированного на Урал.

До поселка он добрался во второй половине дня. Уже смеркалось, непривычно щедро светились окна и особенным белым светом — заводские корпуса. Скрипел под ногами снежок. Поселок был большой, людный, Лешка не сразу нашел нужную улицу и дом. У него на плечах висело два набитых вещмешка, но он легко поднялся на четвертый этаж — лифта не было.

— А ты хоть лифтом-то ездил до этого? — спросил я.

Он удивился, хлопнул меня по плечу:

— А ведь правда, нет. Ни сном ни духом, — и расхохотался.

Он поднялся на площадку и позвонил, как было указано, два раза. Ему открыла девушка, такая миловидная, домашняя, что у него с непривычки зашлось сердце. Она глянула на него, и ее ресницы радостно затрепетали.

— Вы Леша? Проходите.

Он в ответ чуть не назвал ее Верой, но в это время за ней открылась дверь из комнаты, золотой свет широко ударил в прихожую, и на его фоне возникла истинная Вера, он сразу узнал ее. И душу его посетило разочарование. Он представлял, что она выше, тоньше, — на снимке она была совсем не такая.

Он потопал сапогами, вошел в переднюю, потом в комнату, опустил на пол вещмешки и долго здоровался с каждой за руку.

Теперь он все вспомнил — она же писала ему. Квартира была трехкомнатная, две комнаты занимала семья, тоже, разумеется, свои, заводские, муж, жена, двое детей и бабушка, а третью комнату дали Вере и ее закадычной подруге Нине, как лучшим работницам. Это был первый шаг от общежития, следующий предполагал отдельную площадь на каждого.

Лешка снял шинель, запоясался. На нем было отличное диагоналевое обмундирование, яловые сапоги. Орден, медали и гвардейский значок посверкивали. Они усадили его в обложенное вышитыми подушечками креслице и, еще не придя в себя, расспрашивали.

И он рассказывал о дороге, осматриваясь по сторонам, надолго останавливая взгляд на Вере, коротко встречаясь глазами с Ниной. И первое ощущение все не оставляло, бередило.

В комнате было уютно, тепло. Квадратный стол с низко висящим над ним оранжевым абажуром, две аккуратно застеленные кровати, половички-коврики возле них.

Смущение проходило. Девчонки уже смотрели на него весело, по-свойски. Он освободил горловину мешка, вытащил на стол ржаную буханку, банку тушенки, бутылку водки.

— Надо же отметить наше знакомство.

Они быстро достали тарелочки, стопки. Пошли приглашать соседа, но тот отказался, однако заглянул познакомиться с Лешкой:

— Как же, как же, наслышан...

Это Пинаичеву не очень понравилось, и он осуждающе глянул на Веру, — что ж, мол, ты всем раззвонила. Ну, Нина, понятно, а зачем соседям. И она поняла его взгляд и взглянула ответно: да не огорчайся, не сердись, ничего здесь нет такого.

— Ну, давайте, за встречу, — он налил всем по полной и чокнулся с каждой, глядя в глаза. Ему понравилось, что они, не ломаясь, выпили сразу.

Скоро уже казалось, что они знают друг друга давно, — да, собственно, так оно и было. Напряжение ушло совсем, но когда он встречался взглядом то с одной, то с другой, на миг обдавало звенящим ожиданием.

Потом они стали поглядывать на пузатый будильник и шептаться. В чем дело? У него были трофейные карманные часы марки «Лонжин», он, держа их на ладони, нажал на шпенек, — мягко отскочила золотая крышка.

— Ваш спешит на шесть минут.

— Да он у нас всегда бегом, — смеясь, объяснила Вера. — Тут знаешь какое дело, нам в смену сегодня с ночи.

— На работу? С двенадцати? Жалко!

Они, перешептываясь, засмеялись, и Нина глянула на него из-за Вериного плеча.

— Ну, давайте допьем, — предложил он.

— Нельзя, а то мы будем на работе пьяные.

Нина неожиданно встала, набросила платок и пальтецо.

— Ты куда? — удивился он. — Еще рано.

— Значит, надо, — сказала она строго и вышла.

— Куда она? — спросил он у Веры.

— Потом скажу, — пообещала она. — Ты выпить приглашал. Давай с тобой вдвоем выпьем. За что? За то, что живой, за то, что приехал. За все хорошее.

Он смотрел на ее доброе, взволнованное лицо, на ее округлые мягкие плечи и кивал в лад ее словам.

Они выпили и первый раз поцеловались.

Потом пришла Нина, кивнула Вере и, когда Лешка предложил ей выпить, отказалась чуточку устало и суховато.

Она вышла из комнаты, тут же вернулась в синем сатиновом халатике и, не глядя на них, начала собираться.

— Пора? — посочувствовал Лешка. — А ты?

Вера ничего не ответила, только встала закрыть за Ниной.

— А я переменилась, — сказала она, входя. — Понял? Теперь с утра пойду...

Он сразу протрезвел и ничего не ответил.

Она вмиг убрала со стола, раскрыла свою постель, взбила подушку.

Он посмотрел на Нинину кровать и подумал: «Неужели она разорит и ее?»

— Ступай, умойся там, приходи, туши свет и ложись, — сказала она просто. — Вот тебе полотенце.

Он вернулся, сел на кровать, стянул сапоги, сунул в них фланелевые портянки и босиком дошел до выключателя.

Вошла она, прикрыла дверь, щелкнула задвижкой. Стало совершенно темно. Он хотел расслышать, как она раздевается, ему это не удалось. Что-то белое и мягкое промелькнуло рядом с его лицом, — она примостила у его головы вторую подушку.

По-настоящему заснули в конце ночи, и, показалось, в тот же миг ударил трещащей трелью будильник.

Когда Вера зажгла свет, она уже была в синем халатике.

— Вставай, чайку попьем, — сказала она, торопясь. — Ну, ладно, полежи пока. А уйду — вставай, а то Нинка вернется, неудобно.

Она утвердила на место вторую подушку, поцеловала его, за ней щелкнула замком дверь, и он тут же вскочил, застелил койку. Плеснул было себе чаю, но пить не хотелось, он взбил в никелированном блюдечке пену, густо намылил щеки. Он брился еще не каждый день. Бритва была немецкая, с широким, в два пальца, почти синим лезвием. Она снимала волос легко, без всякого усилия. (Через семь лет лезвие непоправимо высоко и прямо посередине выщербилось. Такой бритвы у него не только никогда уже не было, ничего похожего он не встречал и не видел.)

Щелкнул замок, — у него заколотилось сердце, — легонько постучав, вошла Нина, буднично поздоровалась.

— Чай пить будешь? — спросил он.

— Попью.

Она вышла, вернулась уже в домашнем, попробовала ладонью чайник, поставила на плитку подогревать. На Лешку она словно старалась не смотреть.

— Устала? — нужно же было спросить что-то.

— Точно.

— Надо говорить: «Так точно».

— Это в армии, — усмехнулась она. — А у нас — точно.

Он посмотрел на нее снова и с болью подумал: как же это так он не к ней приехал.

Она начала убирать чашки, он встал, взял ее за плечи:

— Знаешь, что я хочу тебе сказать?

— Знаю.

Он был несколько задет:

— Да не знаешь ты.

И, прижав к своей груди ее голову, предложил ей тут же, не задерживаясь, уехать к нему, к его родителям. Она слушала, не отстранялась, а когда он замолчал, еще постояла так немного и сказала:

— Да нет, ну что ты!

Он поцеловал ее, она, подождав, слегка оттолкнула его, убрала посуду и сказала:

— Ну, ты пойди погуляй часика три, мне поспать нужно. Я утром больше не сплю.

— А я что же, помешаю?

— Конечно, помешаешь.

Он, как пьяный, спустился на улицу, пошел в одну сторону и остановился, только когда увидел, что поселок кончился, впереди снежное поле и лес вдали. Он свернул цигарку, задымил и пошел обратно. На клубе висела афиша — довоенный, известный ему фильм «Машенька», но сеансы были только вечерние. Он заходил в магазины, везде было полно народу, карточек у него, понятно, не было, он просто хотел убить время. Что там продавалось — он не запомнил.

Дверь ему открыла соседская девочка, но Нина уже не спала, а сидела у стола и читала книжку. Она встала ему навстречу, ресницы ее, как вчера, затрепетали, и у него тоже, как вчера, зашлось сердце.

— Ну, что? — спросил он, словно продолжая тот разговор и опять целуя ее.

Она тоже, как-то неловко поцеловав его, сказала мягко:

— И не думай!..

Она уже была в платке и в пальто и говорила быстро, не глядя на него:

— Хорошо, что ты пришел, а то мне уже пора. Мне в завком нужно забежать и в общежитие к девочкам. А ты отдыхай, скоро и Вера придет.

Оставшись один, он постоял посреди комнаты, быстро выкурил самокрутку и придавил окурок на блюдечке. Затем он завязал оба свои мешка, взял с полки тетрадку, вырвал листок и написал химическим карандашом записку Вере. Он писал, что в суматохе совсем забыл сказать ей о своем уговоре встретиться в Москве с закадычным фронтовым другом, который ждет его, беспокоится и не понимает причины его задержки. Он написал, что через день или два будет обратно.

Он положил листок на середину стола и, боясь больше всего столкнуться с соседями или с Ниной, вышел. Свободно вздохнул он только на автобусной остановке.

Глубокой ночью он уже сидел в вагоне поезда, отходящего от московского перрона. Он курил и представлял себе предстоящую встречу с родителями, вспоминал роту, переписку Володьки Ратковского, вспомнил к чему-то и обо мне. О другом он старался не думать.

Дома он поступил работать, окончил заочно техникум, женился. Веру и Нину он никогда больше не видел и не слышал о них.

— И ни разу не съездил? — спросил я.

Он пожал плечами:

— А как поедешь?

— Да, может, у тебя там ребенок, — сказал я, желая как-то прошибить его спокойствие.

Он посмотрел удивленно, с недоверием.

1985

НА УЧЕТ

Обитая коричневой клеенкой дверь с табличкой «Секретарь» приоткрылась, и девичий голос назвал его фамилию. Алексей вылез из-за казенного, заляпанного чернилами стола приемной и прошел в кабинет. Нет, это не было заседанием бюро, в комнате находилось всего три человека. На заглавном месте сидел чубатый парень. Посмотрев на его прическу, Лешка снял шапку. В армии, как сержант, он был подстрижен под полубокс, сейчас волосы успели еще немного отрасти, но было далеко до прежней полечки.

Кроме чубатого секретаря, в кабинете сидели еще худощавый малый в очках и румяная девушка.

— Садись, — сказал секретарь. — Это ваш комсомольский билет, товарищ Пинаичев?

— Мой.

— Вы встаньте, когда отвечаете на вопросы, — мягко посоветовал очкастый.

— Зачем же тогда усаживать? — хотел было изумленно возмутиться Алексей, но раздумал.

Он поднялся с места и больше уже не садился.

Он стоял, высокий, ладный, в шинели без погон. Паспорт он уже выправил, теперь пришел становиться на комсомольский учет.

На улице трещал мороз. Брат Пашка предлагал свой белый, в желтизну, полушубок, но Леха пошел как есть, в шинели.

— Ты что же, на нем орехи колол? — спросил секретарь, помахивая раскрытым билетом.

Теперь удивился Алексей:

— Как орехи?

— Почему он у тебя в таком виде? Ты садись. Тут и не поймешь, Алексей ты или Александр.

— Видно.

— Ты что же, на нем орехи колол? — не унимался секретарь. Ему, видно, очень нравилась версия про орехи.

— Билет пострадал немного при форсировании водной преграды, — хмуро объяснил Пинаичев.

— Водной преграды?

— Да. Реки Раба.

— Раба? — секретарь помолчал, посмотрел на остальных. — Не слыхал.

— Это в Венгрии.

— Ну, расскажи.

— Чего рассказывать. У меня все документы в бумажнике лежали. Брезентовый бумажник, трофейный. Да вот он у меня, — Алексей отпахнул полу шинели и показал всем бумажник. — Брезентовый! Но вода, она щелку найдет. — Он говорил: щ е л к у.

— Щёлку? — переспросил очкастый.

— Да. Не пять минут в воде были.

— Но откуда вмятины эти? Я же не зря спросил про орехи.

— Снаряд разорвался, меня шатнуло, или сам отклонился, а там на дне он рельсы какие-то натыкал, вроде надолбы. Я и ударился ногой.

Наступило молчание.

— То есть как ногой? — спросил секретарь. — Он что, был у тебя в брючном кармане? Не в нагрудном?

Теперь замолчал Пинаичев. Он посмотрел на секретаря, на очкарика, на девушку, которая что-то быстро писала, и только потом сказал:

— А нагрудные карманы были только на старых гимнастерках. До сорок третьего. У офицеров остались, а у нас нет.

Все внимательно и задумчиво посмотрели на Пинаичева, потом почему-то за окна, где клубами дымился мороз.

— Ну, все. Взыскания тебе давать не будем. Садись, я тебе говорю. Укажем на небрежность хранения.

— Есть билеты, залитые кровью, — неожиданно сказала румяная девушка, еще более покраснев и глядя за плечо Пинаичева. Он даже оглянулся: на стене висел портрет Николая Островского.

— Извините, у меня не залит, — чуть не вылез он, но девушка оказалась на его стороне:

— Так там тоже можно указать на небрежность хранения?

— Все! — прервал ее секретарь. — Закончили. Нет вопроса. Выписать новый билет. Принесешь две фотокарточки. — И уже другим, почти приятельским тоном обратился к Алексею: — Куда устраиваешься?

— Месяц отгуляю, как положено, а там решу, — отвечал Леха основательно. — Места есть. Зовут.

— Ну, держи! — секретарь на прощание хлопнул пятерней по его твердой ладони.

Пинаичев вышел на крыльцо, потопал сапогами, закурил и сказал себе:

— Строго!

Как мартеновская плавка, густо дымился меж домов малиновый закат. От магазина, где они грелись, торопились через площадь к нему брат Пашка и его дружок Валька. Они ждали Алексея, чтобы вместе идти на танцы.

И пока они топали к нему, такие молодые и самостоятельные, он подумал, как это ему в голову не пришло сказать, что у него три ранения, что он и демобилизован-то поэтому. Три дырки в шкуре, — как говорил Володька Ратковский. Но он ничего не сказал им. Зачем?!

— Чего так долго? — спросил, подходя, Пашка. — Мы уже три раза грелись.

— А до этого как долго меня не было, ты помнишь? — сказал Алексей и ткнул его кулаком в бок.

1986

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Отмена карточек смутно связана у меня с классической музыкой, с консерваторией. Странно, но так.

А когда же их отменили? То есть как — когда? Это было вскоре после войны. Сказал и подумал: а что это значит? Через неделю? Да нет, то была еще почти война. Сдержанное ржание обозных лошадей, — их набралось к концу как в кавалерии, — западная сторона Влтавы, вечер, туман, составленное в козлы оружие. Через месяц, через два? Пустынный берег Малого Дуная, старые акации, слабый всплеск строевой песни вдали. Потом зима, эшелон, Карпаты. Ослепительный снежный склон, деревушка наверху, и от нее спускается старик, сидя на корточках и ловко помогая себе палкой. А у дверей вагона стоят молодые местные парни и зачарованно слушают, как гремит изнутри:

Очеретом хата крыта,
Хоп, чита-рита я...

Война тянулась четыре года. Без малого. Без сорока трех дней! А ведь это для войны немало.

И прошло еще целых два с половиной года. Даже больше, еще месяц с чем-то, впрочем, теперь это не имело такого значения.

Наша молодая неустроенность, неприкаянность после армии, — разве можно это забыть! И постоянное чувство голода, ну хотя бы неполной сытости, прерываемое столь редко...

Я учился в институте, жил у друга своего, Толи Клочкова; в тот памятный декабрьский день приехал за го-

род к родителям и гулял по поселку. А там был небольшой такой рыночек, крохотная толкучка с самым немудреным выбором. И как везде, главным товаром шел хлеб, за него можно было иметь и все остальное. Хлеб, скорее всего, ворованный, а иначе откуда бы ему взяться, — я не встречал ни одного человека, которому хватало нормы. Стоимость черной буханки весом в два четыреста колебалась в войну от ста до трехсот и даже до четырехсот рублей. Последнее время она упала до отметки «девяносто» и трепетала на этой черте. В кармане у меня примерно столько и было — остаток от стипендии.

Таким образом, вся эта роскошь не имела ко мне решительно никакого отношения, но, проходя мимо, я подсознательно отметил, что хлеба сегодня на рынке очень много, хотя и не придал этому значения. И тут я услышал нечто такое, что заставило меня остановиться: за буханку просили теперь тридцать, двадцать пять и даже двадцать рублей. Я ничего не мог понять, я ничего не знал, а они каким-то образом знали.

Я купил-таки буханку, но, ожидая подвоха, мошенства, подделки, сперва велел разрезать ее пополам. Нет, все было в порядке.

Уезжая через час, я взял с собой хорошую горбушку и доел ее на остановке автобуса. Место нашлось, уютное, у окошка. Проезд до Москвы стоил четыре с полтиной. Сколько билетной бумаги разного достоинства отматывали тогдашние кондукторши с висящих на груди пестрых рулончиков! Я получил полную руку билетов.

Автобус катился к Москве. Одна деревня сменяла другую, — шоссе, по сути, было сплошной деревенской улицей. Лишь изредка автобус вырывался в поле, где поземка, дымясь, перетекала через асфальт, а хмурое декабрьское небо сливалось воедино со снегом. Тянулась по горизонту темная полоска леса, и все это

вместе напоминало иную дорогу, по которой столько довелось пройти.

На остановках входили, втискивались, вталкивались в автобус люди, они были чем-то возбуждены, растеряны, — а может быть, мне это только казалось. Автобус ехал уже мимо замерзшего пруда, старинной церквушки, по заводской окраине, пересекая мерцающие из-под снега трамвайные рельсы.

У конечной остановки, возле метро и поблизости раскачивалась и кидалась в разные стороны подвижная толпа. Но на дверях всех магазинов, ларьков и палаток висели одинаковые таблички: «Закрыто на учет». И тут мне на ходу, бестолково и невнятно, объяснили: завтра отмена карточек и вообще денежная реформа.

Оживление царило возле аптеки. Все подряд покупали витамины в драже — А, В, B_1, B_{12}, С и другие. Но очередь была велика, не подступиться. И в самом метро стояла плотная, многослойная очередь за абонементными книжечками. Тогда еще там не было автоматов, — каждый раз покупался бумажный билетик, который нужно было сохранять до конца поездки, ибо часто случались проверки: контролеры в форме шли по составу, открывая ключом и тут же запирая за собой соединительные двери вагонов.

Я купил разовый талончик и поехал.

По Жукову проезду навстречу мне мчался Толя.

— Нужно деньги срочно потратить! — крикнул он мне еще за десяток шагов.

— Да ничего не купишь...

— Куплю! — он всегда был оптимистом. — Что там у тебя?..

Я отдал ему то, что оставалось, и он понесся дальше своей легкой побежкой, высоко закинув голову.

Но какие у нас были деньги, смешно! А у иных, как выяснилось позднее, большие тыщи горели. Рассказывали про человека, который, будучи не в состоянии сроч-

но потратить деньги, приобрел несколько дирижерских палочек из слоновой кости и потом не знал, что с ними делать...

Со следующего утра действительно отменили все продовольственные и промтоварные карточки и ввели новые деньги из расчета: десять к одному. Но вот интересно: эти новые деньги выдали в тех же размерах, что и раньше, а не в десять раз меньше.

Потом, в шестьдесят первом, была еще одна реформа, опять: десять к одному. Таким образом, та купленная мною с рук буханка подешевела за это время в сто раз...

Толя заявился вечером и с торжествующим видом выволок из кармана разбухающую на глазах толстенную пачку билетов, — куда тем, автобусным! Это были билеты в консерваторию.

Вообще-то, в обычное время попасть туда было несложно. Достать билеты в Художественный, Малый, даже Большой тоже не составляло труда. А ведь там выступали истинные корифеи. Чем же это объяснить? Появлением на прославленных сценах новых, ничтожных спектаклей? Но ведь оставалась и классика — и какая! Или тем, что застенчивых девушек и пылких юношей играли великие, но, увы, почтенного возраста актрисы и актеры? Или причина в том, что почти каждый спектакль состоял из пяти действий и четырех удручающе-длинных антрактов?

Кто ответит? А вот заполучить билет на футбол зачастую бывало непросто, почти невозможно. В этих людях еще прочно сидела война, они жаждали тесного общения, непредсказуемого взрыва страстей, неизвестных, рождающихся на их глазах сюжетов.

Но наш случай был особый. И почти каждый вечер мы с Толей Клочковым посещали в ту зиму концерты в Московской консерватории.

Недавно я видел фильм, где действие происходит в первые послевоенные годы. Зимняя улица, похожая на тогдашнюю, и герои картины одеты как тогда. И тут же — консерватория и памятник Чайковскому перед ней.

Памятника тогда, конечно, не было. Его поставили куда позже. Но что поделаешь! Тогда было другое. Тогда была отмена карточек. Это историческое событие сияет в моей жизни строгой нарядностью Большого зала, навсегда звучит во мне классической музыкой. Эти вечера, это время — как одна общая симфония под названием «Вскоре после войны».

1985

ОКНО

Воздушную тревогу объявили заблаговременно, все кому положено давно убрались в бомбоубежища, а до отбоя было еще далеко.

Налет только лишь разрастался, — это был мощный налет, один из самых крупных на его памяти, во всяком случае, самолетов прорвалось к городу больше, чем всегда.

Если вдуматься, это было дико — налет на Москву. Но Петров привык, как все привыкли. Сейчас ко многому пришлось привыкать.

Он стоял на крыше, словно поднятой к небу, открыто подставленной под его холодный мрак, стоял возле поручней, как на палубе. Это была высокая крыша с хорошим обзором. Когда он дежурил здесь днем, он видел в ломающихся лучах предзакатного солнца чуть не весь город, — зашитые тесом витрины, слепящую восьмерку реки, черные трубы Могэса; затянутые в чехлы звезды и купола, купы осенних рощ, писанные маслом на скатах кремлевских крыш.

Сейчас он стоял, готовый выполнить свое дело: привычно схватить брызжущую огнем зажигалку, сунуть ее в бочку с водой или в ящик с песком, а то и просто скинуть с крыши. Но до их кварталов еще не дошло.

Было почти совсем темно, лишь вспыхивали и исчезали в вышине огненные очертания воздушного боя. Затем небо стало полосоваться молочно-голубыми прожекторами, они выбрасывались и втягивались назад мгновенно, как удар штыком, а иногда и задерживались. Как у них на занятиях: «Коротким коли, на выпаде останься!..»

Вдруг один из лучей после множества промахов выхватил из тьмы тяжелый самолет. «Дорнье», — почему-то подумал Петров, хотя и не был уверен. Прожектор выявил, высветлил его и тут же передал другим, подоспевшим, как передают с рук на руки пойманного вора. Тот еще пытался вырваться, уйти, ослепший, затопленный прожекторным светом, а по нему уже били скорострельные зенитки, и вот он вспыхнул и опрокинулся. Прожектора тут же отстранились, и в черном небе радостно было видеть его устрашающее падение.

И еще один внезапно обнаружился уже горящим, — его завалили истребители.

Сквозь слитную пальбу близких и дальних зениток улавливались больно отдающиеся где-то внутри отдельные ухающие удары. В нескольких местах горело, а в Замоскворечье, в той стороне, где был его дом, — а может, и не там? — начало колебаться, расти и шириться густое зарево.

Потом звуки налета скатились вбок, стали слабеть, стихли.

— Николай, давай закурим, — услышал он голос Вити. Друг подходил, гремя по кровельному железу, остановился рядом. — Жив буду, картину напишу «Ночной налет». Серьезно.

— Боюсь, не по дому ли моему попало, — отвечал Петров, не слыша.

Едва окончился комендантский час, он вышел из общежития и заспешил к метро. Подземный вестибюль уже освободился от ночевавших там и заполнялся утренним рабочим людом. В вагоне было много женщин, несколько военных с оружием. Разговоров не было слышно.

Перед войной Петров перешел на четвертый курс художественного факультета и имел сейчас отсрочку от призыва. Почему им дали ее, — никто не мог понять. Петров устал от всей этой неразберихи, от трудового фронта с долгим бесцельным копанием противотанковых рвов, с бесконечным выбрасыванием бесконечных кубов серой смоленской земли, от ожидания, недоедания,

собственной неприкаянности, нелепости своей гражданской жизни, от самой этой брони.

Они с Витей подали заявления добровольцами, но старый военком, может быть жалея их, посоветовал подождать до очередного набора в офицерские училища.

Отец Петрова, несмотря на изрядные годы, был уже на войне, мать и сестру эвакуировали. Иногда, в перерывах между дежурствами и занятиями во Всевобуче, Петров забегал домой, проведать пустые стены, глянуть, все ли в порядке, — как обещал матери. Соседи почти не встречались. Со странным чувством тревоги и смятения он поворачивал ключ в замке, вступал в крохотную темную прихожую. Пол и мебель были закрыты газетами, — как при ремонте. Он с минуту стоял посреди своей комнаты, служившей ему и мастерской. Окно, выходившее в некогда людный, веселый двор, закрывала защитная штора, склеенная еще им из черной плотной бумаги. Он никогда не оттибал ее.

Сейчас, поднявшись из метро, Петров почти побежал к своему переулку. Сердце его стучало, дыхание сжималось дурным предчувствием. Навстречу ему несло запахом недавно горевшего кирпича и металла, охваченных нездешним огнем.

Он остановился. Соседний пятиэтажный дом был развален прямым попаданием. Двор, где Петров еще недавно играл в волейбол, где сидел в темноте на лавочке с девчонками, слушая патефон с открытого освещенного окна, этот двор был косо заполнен рассыпавшейся осевшей стеной, и еще дымящийся завал разбирали пожарные.

А его дом — рядышком — чудом был цел, — то есть он был побит, фасад закопчен пламенем, в окнах ни одного стекла, но он стоял, — живой рядом с убитым.

Петров взбежал по лестнице. Под ногами хрустела осыпавшаяся штукатурка, он не обращал на это внимание. Дверь была цела, он открыл замок и вошел в квартиру.

Внутри пахло дымом, гарью, — не своими, наружными, но еще более резко. Порванная бумажная штора была скомкана в углу, будто кто-то топтал ее ногами. Газеты со стола, стульев и кушетки сдуты и словно прилеплены к противоположной стене. Отдельные редкие осколки висели на полосках, прежде перекрещивавших окно. Остальное размельченное стекло ровным слоем лежало на полу.

Окно зияло. Петров подошел и посмотрел на черноры жие, все еще едко дымящие развалины, на разрез живой жизни, сделанный жестоким, смертельным ножом.

О том, чтобы вновь застеклить окно, разумеется, не могло быть и речи. Он начал было разбирать, а потом просто отбрасывать в сторону свои учебные курсовые работы, прислоненные к стене. Затем он взял гвозди и молоток и стал забивать окно. Он плотно забивал его старыми холстами и картонами с окрестными пейзажами, наивными довоенными натюрмортами, с обнаженной натурой, — лицевой стороной, разумеется, внутрь. Еще бы не хватало наружу!

Через месяц был объявлен комсомольский набор в воздушно-десантные войска, и они ушли с Витей.

И как это все пошло в охотку, — служба рядом с подмосковным аэродромом, откуда еще недавно поднимали свои машины все самые прославленные летчики. Строевая, стрельбы, — стрелковое оружие они уже хорошо знали, — окапывание, — помнишь трудфронт? — выходы, тактика. Укладка парашюта на парашютном столе, оказавшемся просто расстеленным на траве длинным авиазентовым полотнищем.

И прыжок — с ТБ-3. Они, как куры в курятник, набились в эту громоздкую неудобную машину. Внутри крыла, где стоял Петров, мешали какие-то рейки, перемычки, жердочки. Люк, из которого предстояло выпрыгнуть, выглядел слишком узким. Его открыли, Петров сел, свесив ноги над немыслимой глубиной, а затем, не видя земли, с трудом протиснулся в проем. И тело его с неожиданной готовностью рухнуло в небесную зыбкую пелену.

Когда раскрылся купол, смазало лямками по лицу, и Петров с ужасом заметил, как что-то, вероятно из его снаряжения, оторвалось и стремительно унеслось к земле. Потом выяснилось, что это был противогаз. Ох, старшина его и жучил!..

Как случалось на войне, и на этот раз десантников использовали на земле, пехотой. Фронт стоял в сплошных болотах. Кочки, чахлое мелколесье, пустые дома на высоких подклетях. Они с Витей попали в артиллерию. Семидесятишестимиллиметровые, но не дивизионные, а старые, тяжелые пушки тонули в сырой почве, под колеса и правило нужно было класть жерди. Они стреляли с закрытых позиций и ни разу не видели немцев.

Стояла весна, дороги совершенно развезло, со снабжением стало совсем плохо, продуктов не было, и осталось по нескольку снарядов на орудие. Большое наступление готовилось где-то в другом месте.

Но с передовой санинструкторы, выбиваясь из сил, тянули на волокушах раненых, — а умерших сбрасывали на ходу.

— Что же ты делаешь! — обратился раз Петров к пожилому, черному от усталости санитару. — Разве так можно?..

— А что же делать? — отвечал тот зло. — Мы обратно, к живым спешим, нам их вывозить надо!

Однажды появился на вездеходе незнакомый майор, с ним еще офицеры.

— Кто здесь старший? — крикнул он.

Петров не был здесь командиром, но он был сержант, а рядом, на лапнике, из-под которого проступала вода, сидело несколько солдат, и то не совсем свои, — соседи.

— Сержант Петров, — доложил он.

— Я вернусь через сорок пять минут, — сверля его глазами, сказал майор. — Если не будут убраны убитые, вы будете расстреляны.

Петров хотел объяснить ему, что он это сделать не в состоянии, что нет людей и нет сил, что надо управлять-

ся с орудием, а мертвые все прибывают. И почему именно сорок пять минут?..

Но он ничего не успел сказать, даже «есть» или «слушаюсь», потому что майор вскочил в свой вездеход и мигом уехал.

Солдаты встали и не говоря ни слова начали оттаскивать близко лежащих покойников за кусты, но очень медленно и неумело. Потом приспособились цеплять их проводом и тянуть к лунке, как на волокуше. Там, за кустами, складывали их бедные тела и забрасывали лапником. Это было все, что они могли сделать. Петров просовывал руку в нагрудный карман каждого и вытаскивал документы. Всякий раз он отворачивал лицо, старался не смотреть, но нельзя же было оставить их безызвестными.

Майор на вездеходе так и не возвратился.

Потом их полк сняли, отвели на переформировку. К тому времени они уже съели всех артиллерийских лошадей, пушку везли на себе, по воде, под ногами лежал донный лед. Побросали все, что могли, — почти все, кроме оружия, — и так брели вплоть до эшелона.

А потом на юг, на юг. И все совсем другое. Старинная барская усадьба, где они формировались, каре из густолиловой сирени, третий эшелон.

Потом наступление, мощнейшая, не то что в болотах, артподготовка, дымы горящих танков, соединенные в один низкий горизонтальный черный дым.

Немцы оказались в кольце, но не хватало сил и средств, чтобы затянуть до конца, и они медленно, как вода, вытекали из котла.

Врезалось в память: чуть смеркается, и на фоне пожара четко видятся за оврагом немецкая пушка и немец, ломающий ветки орешника и аккуратно маскирующий ее. А Петров от него в семидесяти метрах за станковым пулеметом, тоже как на ладони, на бугре.

И еще: по завязшему нашему танку бьют немцы и попадают то и дело — болванки рикошетят от брони, — и каждый раз падает сердце. И наконец танк взрывается.

Но танкисты раньше уже выползли из нижнего люка и лежат за кустами, — Петрову видно это.

А потом ранило и его, сразу после форсирования Днепра, когда налетели «лаптежники» и хлестали длинными, как бич, очередями. Он шел, загребая носками песок, а кровь текла по руке и боку вниз, в сапог, и он не понимал и не верил, что это его кровь...

Здесь он остановился, потому что об этом он рассказывал мне раньше, и даже не раз.

Четверть века спустя, делая мой акварельный портрет, он рассказывал мне все это, — не по порядку, к месту, вразбив, как, впрочем, почти всегда идут и ведутся фронтовые воспоминания.

— Давно я мечтаю написать вещь, — говорил Петров, — да все руки не доходят. «Мастерская художника. 1941 год». Ну, там стол, печурка и прочее. А главное — окно, забитое холстами с натюрмортом, пейзажем, портретом, все такое мирное, — иные работы боком или даже вверх ногами, — просто как сподручнее легло....

А я, слушая его, подумал о том, что этот пронзительно-жизненный сюжет выглядел бы сейчас на холсте, пожалуй, несколько литературно.

1985

ПУЛЯ

Мой товарищ, художник Николай Петров, получил когда-то в сорок третьем, сразу после форсирования Днепра, пулевое ранение в грудь, ранение слепое, то есть не навылет, — пуля застряла в грудной клетке, внутри, в глубине. Хирурги решили ее не трогать.

Так он жил, — отвалялся в госпитале, сперва не работали пальцы, мучаясь, начал опять рисовать, поправился, вернулся в свой институт, окончил его, женился, стал отцом, потом дедом.

Много работал, просто зверски; работает вовсю и до сих пор. Крепкий мужик, здоровый. Да и наследственность завидная: и отец, и мать завершили свой путь где-то у отметки девяносто.

Когда изредка смотрели его на рентгене, обычно спрашивали:

— А что это у вас? Пуля? Ну, ладно, пускай...

Вот характер русского человека — он ни разу не поинтересовался самому посмотреть, не попросил сделать снимок. А чего смотреть? Да и некогда, всю жизнь голова другим занята.

Может быть, давно когда-то и сказал мимоходом домашним, а возможно, и не сообщал ничего.

Наступили иные времена, ввели диспансеризацию, и среди прочего флюорография — крохотный снимочек, вроде простейшей схемы. Пуля там выглядела ничтожной черточкой.

И вот более сорока лет прошло, и встретил Коля Петров бывшую соученицу по школе, одноклассницу. Не видел ее с войны, еще до того ранения. Теперь она оказалась врачом-рентгенологом. То да се, чем могу быть

полезна? Что у тебя, бронхит? И вот так, по не слишком серьезному поводу, сделали снимок.

Он развернул на свет еще мокрую, непросохшую пленку и испугался.

Ранение было в правую сторону груди, через погон, через ключицу, — может быть, с самолета, тогда как раз налетели «лаптежники», — но пуля оказалась слева, поблизости от сердца, — она прошла наискосок.

Он смотрел как зачарованный.

Пуля была хорошо видна и лежала в глубине его тела, как лежит на дне вражеская подводная лодка, которую давно затянуло песком и илом, а вокруг нее движется и дышит живое спокойное море.

Но все равно выглядела она жутковато.

— Сейчас профессору покажу, — сказала одноклассница весьма бодро, — хирургу...

Тот пригласил Петрова в кабинет.

— Ничего, ничего, — ободрил он, — жить можно. Нужно только ограничить физические нагрузки...

Петров подумал о том, как сразу после войны и в дальнейшем многие годы копал у сестры в деревне картошку, какие таскал мешки и какие ворочал бревна, перебирая избу, да и по своей работе — сколько раз рюкзак и этюдник ломали ему плечи. Он вспомнил все это и поблагодарил, вежливо улыбаясь.

1984

ПОЛЕННИЦА

Он увидел ее, идя в составе взвода по улице, он увидел ее из строя, а это в понимании военного человека, которым он уже становился, почти то же самое, что из окна трамвая или автобуса.

Он увидел ее, стоящую на тротуаре, и одновременно она увидела его и соступила на дорогу, ни на миг не задержалась, не заколебалась, что его тронуло более всего. Они были знакомы, но настолько, что в другое время могли пройти мимо как незнакомые.

— Товарищ старший сержант! — громко сказал он и не узнал своего голоса, как поначалу не узнают собственного голоса, записанного на пленку. — Разрешите выйти из строя.

Помкомвзвод удивился, но тут же заметил ее и разрешил. Как бы для нее.

Он двинулся навстречу, подал ей руку, а она обе и взяла его за обе руки.

— Я на фабрике работаю, — объяснила она, не дожидаясь его вопроса. — А ты?..

— Наши землянки в лесу.

— Я приду, — пообещала она.

Они шли за взводом, не по тротуару, а по краю мостовой, постепенно отставая.

Помкомвзвод обернулся неодобрительно.

Тогда он отпустил ее руку и побежал трусцой. Этот основной, экономный, солдатский бег был известен задолго до нынешних времен.

— Я приду, — подтвердила она вслед.

Он догнал взвод и занял в ряду свое место.

Он знал ее немного до войны, когда жил за две оста-

новки отсюда, в рабочем поселке, — она дружила с его знакомыми девчонками. Потом, когда стал подходить немец, их семья эвакуировалась, да и все знакомые эвакуировались, и призвали его уже на Урале. А после запасного полка он неожиданно опять попал сюда, в маленький подмосковный городок, где заново формировалась гвардейская бригада.

Немцев уже отогнали, и он даже съездил, с разрешения, в свой поселок, но никого там не нашел: из уехавших никто еще не вернулся.

И вот эта встреча.

Землянки располагались в сосновом лесу. Со стороны города была ограда, контрольно-пропускной пункт, — ворота со шлагбаумом, будка с полевым телефоном, дежурили сержант и два солдата, — останавливали всех: рядовых и офицеров, «виллисы» и грузовые машины. Но с другой стороны — лес не перегородишь. Бабы с молоком и махоркой подходили прямо к задней линейке. И еще приезжали из Москвы толпы женщин — скапливались в лесу, к концу дня и особенно в полумраке — матери, жены и, нет, слово невесты не было в ходу, — девушки. Одни привозили скудный гостинец, другие только так, навестить. Солдат выпускали к ним почти беспрепятственно.

Через несколько дней его окликнули после ужина:

— Там спрашивает тебя какая-то...

Он, не веря, выбежал за землянку и увидел ее.

— По всему батальону прошла, около всех землянок спрашивала, — сказала она, беря его за руку. — Теперь знаю.

Они пошли вглубь леса. Стояло начало осени, смеркалось. Лес вокруг был густо наполнен голосами, тихим смехом, шепотом, шорохами. Казалось, у всех было свое место, своя стоянка. Они тоже остановились уже в темноте около сосны, она стала спиной к стволу, положила

руки ему на плечи и тихонько, бегло поцеловала в губы. И они говорили о чем-то далеком, довоенном, а потом пошли обратно к землянкам — она провожала его — и там, прощаясь, еще раз поцеловались.

Они не договаривались о встрече, но она пришла на другой день, и опять. И в шевелящемся, шепчущем лесу она опять повторяла какие-то четко или смутно знакомые сочетания имен, и он радостно подхватывал и произносил свои, другие.

Это было как пароль и отзыв, пропускающие туда, в недавнее, довоенное. Или, наоборот, оттуда. Она приходила каждый вечер. Теперь они целовались почти беспрерывно. Он боялся за нее, когда она уходила одна в темноту.

После его неожиданных отсутствий — учений или наряда — он не спрашивал, появлялась ли она без него. Это было ясно.

Все круче забирала осень, все более холодало.

Теперь она приходила в пальто, он в шинели. В лесу висел туман, с хвои капало. Они стояли, прижавшись друг к другу. Он чувствовал ее груди сквозь шинельное сукно. Как он ругал себя и сожалел о том времени, когда был в гимнастерке! Но распахнуть шинель духу не хватало. И как бы он выглядел — не по форме. Странно, но это уже сидело в нем.

Однажды перед вечером объявили об отъезде. Слух об этом уже возникал, но дата отправки не была известна. И сейчас присутствовал момент неожиданности — для всех, кроме женщин.

Это было непостижимо: они всё знали, словно им объявили по радио. Их, тоже по тревоге, собрали сюда телепатические токи любви и жалости.

Куда уезжают — сомнений не было. Рота за ротой, неся на себе оружие и нехитрый свой скарб, двигались в холодной темноте к станции. А по обеим обочинам, забегая вперед, отставая или идя рядом, окликая или

молча глотая комки в горле, неразличимая и слитная, текла женская толпа. Но все, кому было нужно, замечали и узнавали своих. И он в темноте увидел ее, — она шагала рядышком с их взводом.

На боковом пути стоял эшелон, а на платформе во мраке уже раздавались спокойные, сдержанные голоса:

— Хозяйство Самсонова!..

— Хозяйство Алейникова!..

— Хозяйство Меняйло!..

Так, для секретности, именовались роты и взводы.

Погрузились по теплушкам, на ощупь составили в походную пирамиду автоматы, побросали на нары вещмешки. Сержант выделил дневальных, а остальные высыпали наружу.

На платформу женщин не пускали, но по другую сторону эшелона тянулись высокие и длинные поленницы крупных, даже громадных, березовых дров, грузимых поверх угля в паровозные тендеры.

И вот за этими штабелями и между ними, в каждом проходе и колене, как недавно в лесу, скопились женщины со своими дорогими и любимыми или просто со своими знакомцами, кого, неизвестно, придется ли когда-нибудь еще повидать.

И как в лесу, все кругом шуршало, шептало, но не смеялось, а чаще плакало.

И он стоял рядом с нею, приперев ее спиной к поленнице, а она целовала его в губы. Он, с трудом выковыривая пуговицы из петель, расстегнул ее пальто, дотронулся до ее груди, потом до другой — осторожно, словно боясь привлечь к своим действиям ее внимание. А она прижималась к нему, тихонько дрожа.

— Замерзла? — спросил он.

И тогда она сказала ему:

— Я трусы не надела...

Эти слова потрясли его до основания. И в тот же миг над черно-белыми поленницами, над платформой, над безмерной затемненной землей, многократно повторяясь, подхваченная вблизи и вдали, прокатилась команда:

— По вагонам!..

Много разного было потом в его жизни, но забыть это ощущение растерянности и стыда оказалось невозможно. Многое было впереди, но этот ранний опыт не слишком добавил ему смелости в отношениях с женщинами.

Всего несколько раз в жизни, под влиянием минуты, он рассказывал об этой истории самым близким своим друзьям. Столько лет прошло, и он не боялся показаться нелепым. Но никто никогда не смеялся.

1984

ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА

Ждали гостей на печеную картошку — фирменное блюдо жены. Тут уж никто не опаздывал. Жена к тому же любила повторять, что печеную картошку обожал Пушкин, — вычитала где-то, — и это тоже всем нравилось.

А пекла она здорово. Отмытые щеткой, аккуратно подобранные, одинаковые картофелины укладывала в духовку на лист, покрытый толстым слоем соли. Картошка пеклась в ней как в золе, не подгорала, а постепенно румянилась и пропекалась до самого нутра.

Подруги тоже пекли по этому методу, но у них почему-то так не получалось.

Остальное все уже было на столе: селедка с лучком, квашеная капуста и прочее, и Дмитрий Александрович сидел в кресле, в полутьме большой прохладной комнаты, слабо ощущая ногами идущий из кухни истомный жестяной жар духовки.

Он сидел, расслабившись перед приходом гостей, и смутно вспоминал, как пек картошку в детстве и особенно в армии. Как, дуя на пальцы, поднимал из кострища испачканную землей и золой картофелину с впаянными в кожуру синими угольками, обжигаясь, разламывал и ел торопясь, чтобы поспеть к следующей. Один бочок или сердцевина порою оказывались почти сырыми, но и это он глотал, — не выбрасывать же.

Да, не то что в духовке. Впрочем, почему же, — потом стало именно так. Какой-то гениальный рационализатор додумался, и все подхватили. Были американские консервы, нет, не тушенка, что-то вроде колбасного фарша, — высокие, узкие четырехгранные банки, по два килограмма восемьсот. Открывались припаянным щелястым ключиком, сматывающим с крышки тонкую жестяную ленту. Но до этого не доходило, — вскрывали финкой. Он пробовал-то эти консервы, наверно, раза два, — а так ими заправлялась каша на кухне. И вокруг валялись пустые банки. Умельцы, понятно, их приспосабливали: кто звездочку вырежет, кто портсигар смастерит.

И вот сообразил кто-то в них картошку печь. Принцип тот же, что в духовке: мытые картофелины закладывали в банку, закрывали крышкой, и под угли. Получалось — объедение. Была бы только картошка!

Он неожиданно остро увидел, как они сидят на валежинах вокруг огня, — только что поели, и костер еще шевелится, догорая. Коля Кудряшов уснул и не заметил, что отскочивший уголек прожег ему полу шинели.

Ах, короток привал! Еще бы немного. Но нет, пора, сержант уже встал и подал команду. Они тоже поднялись и окончательно затушили костер старинным и простейшим солдатским способом.

А чай? Как заваривали чай? Дмитрий Александрович не раз видел эти огромные пачки. По килограмму, наверное, была расфасовка, не меньше. Заваривали в обычном походном котле на колесах. Высыпали в кипяток и затягивали болтами крышку. Но ведь что характерно: солдат чаёк пьет, только когда сыт. А голодный к нему никакого интереса, — пить-то его не с чем.

Всплыли как сквозь сон первые дни в училище. Начало службы — все как сквозь сон. Рота стояла километрах в двух от столовой. Уходили на обед, в расположении оставался дневальный. А котелков в училище не положено, — был у старшины один, кажется, трофейный, плоский, с крышкой. Вот в нем и приносили дневальному обед. На первое — борщ с нарубленными сосисками, на второе — пшенка с чайной ложечкой масла, на третье — компот из сухофруктов. Все — в одном котелке, да еще ледяное — зима стояла. Ел за милую душу, только дай!

Недавно Дмитрий Алексеевич читал новую книгу своего любимого писателя, который был его сверстником,

даже моложе на год. Писатель не был в армии по состоянию здоровья, по зрению, и Дмитрий Александрович охотно прощал ему это, хотя многим не прощал их бронь. Но ведь больно уж точно, по живому, писал он о всей сумятице, сложности и неразберихе семейной и прочей другой жизни.

И вдруг прочитал в одной фразе, между делом, мимоходом, что главный герой был в армии, прошел войну. Об этом только упоминалось, потому что автор, видимо, не знал, куда определить его на эти четыре года. Но ведь так не бывает, чтобы был там, и нигде, ни разу не вспомнилось, не отозвалось, не заметилось, не заныло. Нет, не бывает. И в первый раз не поверил...

— Митя, ты что, задремал? — долетел из кухни голос Нины.

Но он уже сам услышал дверной звонок и шел открывать.

1984

СЕРАФИМ

Это он для меня Серафим. Даже, если угодно, Симка. А для вас-то он Серафим Васильевич. Он был начальником колонны автокранов. Работа на нервах, на крике. Автохозяйство, правда, помещалось в его деревне Машково, здесь, под Москвой. В трех минутах от дома. Машково — в честь какой-то неведомой Машки. А поблизости есть еще Марусино.

Существует такое понятие: предпенсионный возраст. Люди, вошедшие в его слои, резко разделяются на две категории. Первые думают: скоро черта, как бы не погнали, и вторые: только бы дотянуть и — привет!

Серафим относится ко вторым. На другой день после дня рождения он уже уволился. Я был на его юбилее, на официальных проводах. Говорили о нем сердечно, подарили от предприятия маленький переносной телевизор. И все руководители заканчивали выступления одинаково:

— Не уходи! Поработай еще хоть немного! (Или соответственно на «вы».)

А он свое:

— Нет, нет, сил уже нет.

А здоровый мужик, — когда обнимает при встрече, поражаешься железной хватке его мускулов, облапит, сдавит, и ждешь терпеливо, пока не отпустит. Вырываться бесполезно. Только скажешь:

— Симка, осторожно, очки в нагрудном кармане...

Живет в деревенском родительском доме, хозяйство на ходу. Живут вдвоем — с милой и рассудительной женой Анной. Она была медсестрой, поблизости, в больнице, сейчас, понятно, тоже на пенсии. Единственная дочь Инна, очень похожая на отца, — отдельно, в Москве, с мужем и двумя мальчишками.

Серафим рассказывает:

— У нас две коровы (одна ремонтная), две свиньи, кот, собака...

Анна продолжает:

— Два телевизара, два холодильника. И нас двое...

Он:

— Мясо сдаем государству, по четыре десять за кэгэ. Молоко по сорок одной копейке литр, комиссионное. Приемный пункт рядом, у соседки. Ей выгодно, она получает по сорок шесть. На рынок не вожу, там обдерут (он употребляет более сильное слово). Собрали в этом году тонну картошки, триста кэгэ свеклы — для коровы, моркови — двести пятьдесят...

Хозяин!

— Сено кошу, сухой, хоть бы что, а зять молодой, а весь мокрый. Он хочет побыстрее, побольше взять и выдыхается. По канавам косить тоже не может. А я любую кочку обкошу. Как хороший парикмахер, знаешь, хоть одни бородавки на лице, побреет чисто, а другой сразу обкровенит...

Главная Симкина черта — нетерпеливость.

Когда-то приехали к нему, выскочил с лаем пес из будки. Серафим тут же загнал его обратно и заткнул конуру первым, что подвернулось — стоявшим поблизости ведром, — оно точно подошло.

— Давай, проходи.

Однажды поехали в подшефную школу, где помещается музей нашей воздушно-десантной бригады, — Аркадий Зайцев с сыном Толей (десантником следующего поколения), Николай Чибисов, с которым мы были в одной роте, а он почему-то называет меня на «вы».

Симка должен был подсесть по дороге, в Люберцах.

Я ему объяснил, на какой примерно электричке мы поедем. Встречаемся на платформе «Фабричная», у головного вагона. Если нас или его нет, договорились подождать следующего поезда.

Сели в Москве уже перед отправкой, в последний вагон. Народу много, идти по составу невозможно. Вылезли на «Фабричной», прошли вперед, — никого. Стали

ждать. Электрички здесь останавливаются не все. Повалил снег. Однако ребята ждут терпеливо. Второй поезд — Симки нет.

Пошли к школе, до нее с километр. И вот глазам своим не верим: Серафим в нетерпении расхаживает по школьному двору.

— Ты же сказал: ехать в первом вагоне! — оправдывался он.

— Я вот сейчас выступлю и скажу: «Дети, не будьте такими, как Серафим Васильевич...»

Мы поломали школьникам весь их график. Но встречавшая нас учительница Эльза Евгеньевна и ребята все-таки были рады, что мы наконец появились.

Там на «уроке мужества» Сима неожиданно прочел мои стихи о войне. Но что значит неожиданно, — это же он не первый раз. Он читает мои стихи вслух только при стечении публики, — на встрече однополчан, на своем юбилее или вот в школе. Иногда он в них что-нибудь изменяет, как я заметил, вполне сознательно.

У меня есть «Баллада о натурщице», и в ней строчки:

А кожа цвета лилий,
Изысканно бела.
Да и по части линий
Точеная была.

Серафим читает: «Да и по части женских линий». Я поинтересовался, зачем он это делает. Он ответил:

— Чтобы было понятней...

Он знает мои стихи, но не потому, что любит поэзию, а потому, что любит меня.

Однажды, давно уже, сидели мы с ним в нашем писательском Клубе. Проходил Окуджава, увидел меня, подошел поздороваться.

— Познакомься, — сказал я. — Это мой друг, однополчанин, Сѐрафим Вихлинин. А это — Булат Окуджава.

— Прямо так вместе и были? — спросил Булат. — Приятно, приятно... — И удалился.

— Это кто? — осведомился Симка.

— Я же сказал — Окуджава.

— А он кто?

— Неужто не знаешь? Булат Окуджава! Поэт, певец. Сам поет свои песни под гитару. Неужели не слыхал?..

И тогда он произнес свою знаменитую (для меня) фразу:

— У нас всё краны...

Однажды Серафим предложил мне:

— Давай выпьем на брудершафт.

Часто он обращается ко мне: «Почтеннейший...» — или: «Любезнейший...»

Когда звонит, всегда начинает с вопроса:

— Как жизнь молодая?

Вот совсем недавний наш телефонный разговор:

Серафим:

— У тебя ноги на улице мерзнут?

Я:

— Мерзнут.

— Может, у тебя обувь холодная?

— Обувь теплая.

Он:

— Может, носки холодные?

Я:

— Теплые.

Он:

— А руки мерзнут?

— Нет.

Он:

— А у меня и руки мерзнут.

Я:

— И уши не мерзнут. Я наушники у шапки ни при каком морозе не опускаю.

Он:

— Да? А может, они у тебя меха касаются...

Я:

— Не касаются.

Он (после паузы):

— Нет, у меня все конечности мерзнут...

Боже, сколько мы с ним повидали!

Я закончу свой рассказ стихами, которые он тоже знает наизусть. Называются они — «На встрече фронтовиков».

День прошел, и вечер длинен,
Но, как прежде, мы сидим,
Дорогой мой Серафим,
Боевой мой друг Вихлинин.

Годы ветром отнесло,
Словно лодку от причала.
Можно б все начать сначала,
Да обронено весло.

Меж домами гаснет зорька.
Погоди ты, Серафим.
Получилось: помним столько,
Что не верится самим.

Помним, помним, помним, помним, —
Видно, в этом наша суть, —
По лесам, болотам, поймам
Простирающийся путь.

Сима, Сима, друг мой Сима,
Посоветуй, как нам быть.
Что-то стоит позабыть.
Помнить все невыносимо.

... Теперь, увы, и Симки нет.

1984–2003

Содержание

I

ЕГО ОПАСНЫЕ ПАСЫ *(История одного пристрастия)* 7
ВТОРАЯ ПОПЫТКА 63
ЛЕША 91
ВОСПОМИНАНИЕ О СПОРТЕ 97
ВРАТАРИ 159
ФУТБОЛ ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ВПОСЛЕДСТВИИ 162
ФУТБОЛЬНЫЙ ВЕТЕР 169

II

КАК СОЛОВЕЙ ЛЕТА 181
РАЗГОВОР О ПТИЦАХ 186
ХУДОЖНИКИ 191
СУХАЯ СОСНА 203
ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ 210
МАЛЬЧИК 212
РУКИ 215
ДВА УТРА 217
МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ САША 222
МАРАТ ТАРАКАНОВ 226
АЛЕША И АЛЕНА 231
ПЕРВАЯ ЖЕНА 237
ДОН ЖУАН ВЕНЯ 241
ИСПОРЧЕННЫЙ ВИТЬКА 250
АКЕНТЬЕВЫ 253
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАССКАЗ 261

III

«ТАМ, ГДЕ СЕМЕНОВСКИЙ ПОЛК...» 271
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ 296
ГРАФИН С ПЕТУХОМ 354

IV

ЛЕЙТЕНАНТ КАРЕТНИКОВ 413
ПОВЕЗЛО 429
СЛУЧАЙ 443
МОСКВИЧИ 456
ЗАТВОР И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 468
ВИНОГРАДНИК 475
КОРАБЛЕВ 479
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ 492
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЗА ДВЕРНЫМ СТЕКЛОМ ВАГОНА 498
ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ 504
НА УЧЕТ 512
ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 515
ОКНО 520
ПУЛЯ 527
ПОЛЕННИЦА 529
ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА 534
СЕРАФИМ 537